5.1977

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

РЕНАТО ГУТТУЗО (Италия). Рабочий с ребенком

ИНОСТРАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ
ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ
ЖУРНАЛ

■

ОРГАН СОЮЗА ПИСАТЕЛЕЙ СССР

■

ИЗДАЕТСЯ С 1955 ГОДА
ИЗДАТЕЛЬСТВО «ИЗВЕСТИЯ». МОСКВА

1977

5

МАЙ

Содержание

ОМАР ЛАРА — Стихи *(Переводы с испанского Риммы Казаковой и Л. Беринского. Вступление Риммы Казаковой)* 3

РЕНАТО ПРАДА ОРОПЕСА — День рождения *(Повесть. Перевод с испанского Г. Вержховской)* 10

ДЮЛА ИЙЕШ — В ладье Харона, или Симптомы старости *(Роман-эссе. Перевод с венгерского Т. Воронкиной)* 25

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ — День нетерпения *(Роман. Окончание. Перевод с болгарского Лидии Баша)* 69

Литературное наследие

Классические японские танки *(Перевод и вступление Веры Марковой)* 101

ГЕРМАН ГЕССЕ — Степной Волк *(Окончание. Перевод с немецкого и послесловие С. Апта)* 108

Критика

В. ИОРДАНСКИЙ — Внутренняя динамика народной культуры (Опыт Тропической Африки) 178

Ц. КИН — Пессимист, который не сдается 186

Писатель и время

ВИЛЕМ ЗАВАДА — Земля и люди моего сердца (Главы из книги. *Перевод с чешского и вступление Л. Будаговой*) 195

Культура и современность

Заметки на полях

В. П.— В гуще жизни, среди народа. О. Тимашева — Бельгийцы открывают Бельгию 207

Публицистика

К 60-летию Великого Октября

«Я видел будущее». Зарубежные писатели о Советском Союзе:

АРТУР РЭНСОМ. ЦЮЙ ЦЮ-БО. АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС. ПЕТЕР ИЛЕМНИЦКИЙ. ТЕОДОР ДРАЙЗЕР *(Предисловие Евг. Долматовского)* 214

РУДИГЕР БЕРНГАРДТ — Масштаб гуманизма (Начало строительства новой демократической немецкой культуры и вклад офицеров Советской Армии. *Перевод с немецкого Н. Истоминой. Послесловие Григория Вайса)* 235

Антирубрика

ЖОРЖ ГОДО — Миниатюры *(Перевод с французского Людмилы Вединой)* 246

КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН — Стихи *(Перевод с немецкого Виктора Топорова)* 254

Наши гости

Н. Булгакова — Элисео Диего (Куба) 256

Советская литература за рубежом

ФЛОРИАН НЕУВАЖНЫ — «Потерянный кров» Йонаса Авижюса *(Перевод с польского В. Агриколянского)* 259

Среди книг

Издано в СССР

И. Попов — Человек нового мира ✦ Анатолий Софронов — Песни борьбы 261

Издано за рубежом

Константин Еленков — Неустаревающий жанр ✦ Хуан Кобо — Заново открывая прошлое... ✦ Губерт Кушник — Разговор о насущных проблемах 264

Из месяца в месяц 269

Авторы этого номера 285

На обложке: ОТО ЛУПШАК (Чехословакия). Первое мая (плакат).

© «Иностранная литература», 1977.

ОМАР ЛАРА

■

С испанского

Два года назад в Лиме, в Перу, меня познакомили с печальным, темноволосым и темноглазым молодым человеком, по виду — почти мальчиком, который говорил еле слышно, ходил как-то осторожно, нервно подергивая плечами, и казался пораженным тяжким недугом. Это был чилийский поэт Омар Лара. Мы пили кофе и скупо, словно боясь разбить что-то хрупкое, говорили о Чили. Омар пробыл несколько месяцев в тюрьме, потом каким-то чудом выбрался оттуда и сумел выехать из страны. Спрашивать подробности было неловко. Когда я поднимала глаза на собеседника и видела его по-детски беззащитные, часто мигающие ресницы, я боялась, что он расплачется, и не проявляла настойчивости с расспросами.

В конце нашего разговора Омар все таким же тихим, нежным от грусти голосом сказал, что писать о нем ничего не надо, потому что в Чили пока его семья, жена, дети.

Когда потом я вспоминала Омара, все мои воспоминания и размышления, отнесенные к нему, укладывались в одно короткое, емкое слово: поэт. Да, Омар Лара прежде всего поэт, в том трогательном смысле, который мы вкладываем в это слово, имея в виду нечто вроде звукового инструмента, созданного природой для того, чтобы она могла выпевать на нем свои грустные и веселые песни,— естественно, искренне, бесхитростно. Его стихи и он сам — явления любви к миру и духовности, житие души, не искаженной ни корыстью, ни суетой, явление культуры, которая может быть попрана, но не может быть отнята у человека, отринута от человечества.

Так думала я о своем новом друге, прочно и благородно вошедшем в мой мир. И не удивилась, когда в Ташкенте, на встрече молодых писателей Азии и Африки в сентябре прошлого года, Омар, приглашенный на этот форум, в одном из своих выступлений говорил именно о том, как губительно сказался фашистский переворот в Чили на культуре страны.

Он стоял перед сотнями людей, тоненький, почти прозрачный, и своей мальчишеской незащищенностью, укоряющей красотой и облика, и стихов был как бы живым, вещественным воплощением того интеллекта и духа Чили, который ненавистен хунте Пиночета.

Сейчас Омар Лара живет в Румынии. Социалистическая страна дала приют ему, его семье, его стихам. Он автор пяти поэтических сборников, один из которых удостоен премии «Каса де лас Американас». Он пишет и напишет еще много Оправданная печаль строк Омара Лары будит в сердце чувство сопричастности судьбам его народа, его родины.

Принимая святую печаль поэта, позволяя этой высокой печали войти в душу, начинаешь вдруг ощущать и энергетический ее заряд, ее действенное начало: начало протеста и веры в то, что придет день — и мажорная нота станет ведущей в песне Омара Лары!

РИММА КАЗАКОВА

Из истории города

Я встретил на улице девушку.
Я знал ее
давно
в далекой стране.
Мы вспомнили, что могли бы полюбить друг друга.
Тогда.

(А ныне в тех городах,
где мы жили однажды,
множатся мертвецы, а история делается молча.)

Мы ломали ветки кустарника,
похожего на кедр.
И мы снова простились с порой,
когда могли бы любить друг друга.
Та пора...

«В общем-то,— сказала она,— я слабая женщина.
Но я люблю Революцию
и отдала бы за нее жизнь...»

Я встретил на улице девушку...

Говорю о Луисе Ойярсуне, о реке Вальдивии и так далее...

Эухенио Матусу,
Гринору Рохо

Иные чилийские поэты — Браулио Аренас,
старый Уберт Корнелиус, по чистой случайности
родившийся на юге Чили,
маг и волшебник Луис Ойярсун
с первого взгляда соблазнились
чувственным волнующим хвостом реки Вальдивии.
Луиса Ойярсуна я встречал не раз
беззаботно скользящим по краю скал,
при встрече он рассказывал мне о разных растениях,
цветах, кустах, лечебных травах, о всевозможной
неприметной зеленой пакле,
обо всех удивительных лесных сокровищах, доступных глазу.
Он рассказывал о том, что его поразило в Кольигуае,
в Китае или у Хорхе Мильяса, который
вместе с матерью разводил кур
на ферме недалеко от Сантьяго.
Оттуда он и начинал свои прогулки ботаника
вместе с Мильясом и еще одним поэтом,
который в то время как раз спускался с Олимпа.
(Он и сейчас, похоже, довольно удачно проделывает
то же самое.)

С этой реки доносится шепот вод и шепот
слов,
нервное, ритмичное шлепанье
причаливающих лодок,

размеренные подземные жалобы.
доносящиеся то ли из покинутой пивнушки,
то ли с маленького кладбища,
мягкие удары плавников рыб, выпрыгивающих
у лодок.
Слово —
это тревожная линия
в воздухе,
в волнах,
когда нас преследуют бессонница одиночества и воспоминаний,
бессонница разлуки,—
никто не одинок так, как тот, кто познал
однажды
полную ясность или непроглядную тьму.

Что-то скользит, как тени,
по безлюдным берегам и пляжам,
напоминающим картины Немесио
Антуньеса, по улицам с наводящими ужас автомобилями,
хриплыми и надежными моторами
смертоносных машин,
по улицам, где грохочут тяжелые сапоги
и орошаются кровью, где тяжелые сапоги
грохочут и оскорбляют теплую, изувеченную плоть,
которой — о боже! —
назначено любить и работать.
Но не одиночество —
самое противоестественное в этой ситуации.
Тупые кровавые звери овладели
городом,
они смеются черным оскалом зубов,
распространяя зловоние.
Они творят людское одиночество,
суть которого — не в нем самом,
а в том,
что окружает этот огромный заплеванный колодец.

Луис, как бы ты удивился,
если бы, взглянув сегодня на свои любимые
пестики и тычинки, пытаясь скрупулезно их описать,
ты бы увидел, что соки уже не текут по стеблям:
ядовитая слюна умертвила жизнь,
которую ты так любил, так знал.
Низкие твари развлекаются тем,
что убивают все живое
и разрушают все построенное,
они осквернили реку, завалив ее недвижными телами
(не мертвыми рыбами, не мусором, приплывшим
от моста,
не бутылками неопределенного назначения) —
телами без жизни, телами тех, у кого была жизнь, телами,
какими были однажды ты и я.

Так изменилась география Вальдивии. Не только
география.
Помнятся ли тебе утки, фаршированные каштанами,
которые готовила нам сеньора Аурорита?

Из всех нас, кто зачарованно слушал
твои рассказы о Хуане Рамоне Хименесе, о Габриэле, обо всем
этом сказочном мире, в котором ты жил,— уже никого не осталось,
нас разметало. Я — в Перу,
об остальных ничего не известно.

Перевод РИММЫ КАЗАКОВОЙ

Пейзаж

Луису Бустаманте

Вдруг стало оранжевым небо,
и в тучах открылись ущелья
с водой голубою на дне.
И все это вспыхнуло разом,
и красный посыпался пепел
на черные склоны холмов.

Весна в Чили

Вспоминаю весну, в ноябре, в стране моей Чили.
Сквозь решетки тюрьмы
виднелась роскошная зелень.
Поле было покрыто ромашками.
По вечерам
река, словно чудо, струилась, тяжелые звезды
неся к океану и пламя гася в камышах.
Цветущие яблони благоухали в садах,
и розовый клевер качался на пастбищах дальних.

Весна!
Весна в стране моей Чили...

Под весенним ноябрьским солнцем
я смотрел на моих друзей —
я их видел в последний раз.
Убивали их на рассвете,
на заре, когда нежный любовник
покидает черешневый сад.
Убивали их на закате,
на заре, когда сумрак вечерний
в акациях растворен.

Весна...
Весна в стране моей Чили...

Вечером перед смертью

Вечером перед смертью
пели они
«Интернационал», «Молодую гвардию», «Ла Морена» —
так прощались с нами они.
Мы —
четыре нескончаемые шеренги —

стояли и ждали,
когда
нас по камерам разведут.
Сверху, из одиночек,
тревожно и нежно
доносились их песни, которые наш народ
соберет по строкам.
Пусть не в строчках моих,
написанных
в тоске и оцепенении,
сохранится память о них:
о Фернандо Краусе, Рене Барриентосе и Пепе
и многих других, чьих имен я не знаю, —
но они останутся с нами,
даже если эти стихи развеются ветром.
Даже если не эти страницы
увековечат их имена.

Двое

Лучо Ньето

Зачем стоят они вместе
и врозь под деревом этим?
Зачем она под гитару
поет? Он не слышит ее.

О, боль раздвоенного древа!

Растут они рядом, раздельно,
а корни их под землею
в объятьях переплелись.
Стоят под солнцем и смотрят
все видят, но не понимают
всего, что видят они.

Вот чудак

Я говорю устами гуляки
устами бродяги из «Империяла»
устами безропотного скитальца
устами преследуемого законом
устами заброшенного существа
устами голода и нужды
устами разбитыми кулаком
устами тринадцатилетнего
читателя Достоевского
Я говорю злыми устами
непорочными устами
устами малолетнего пьяницы
устами ранней униженности
устами завтрашнего пациента психиатра
я говорю устами доверчивого простака
когда я тебе говорю я тебя люблю.

Из цикла «Обыватели»

В ТО ВРЕМЯ, КОГДА

бандит готовит свое преступленье
(окна зашторивает, сдвигает стулья и шкаф),
в этот час обыватели прячутся по квартирам,
снова надеясь выжить и всех пережить.

ОБЫВАТЕЛЬ

Покуда он спал,
был город разрушен до основания.
Обыватель проснулся и бодро отправился
купаться на речку,
где начал нырять как ни в чем не бывало
с белых руин Городского Муниципалитета.

ГОСПОДИН КАК-БЫ-ВОВРЕМЯ-СМЫТЬСЯ

И эта листва на рассвете
тоже погибнет,
упав на мокрую клумбу или асфальт.
Поутру
всю ее
подгребут до листочка
и вывезут прочь на тяжелых грузовиках.

ПЕСОК, ПОГЛОЩАЮЩИЙ КАМНИ

Путник уходит, швыряя за камешком камешек.
Нет, он не думает возвращаться —
это он так развлекается, за собой оставляя
исчезающие следы.

ЯНВАРСКИЙ ДОЖДЬ, ВАЛЬДИВИЯ, 1973-й

За окнами этого дома
движутся тени, похожие на ладони,
словно кто-то идет и спешит руки нам протянуть.
Не обольщайся. Это шевелятся листья,
это черви во тьме пожирают живую листву.

Венское кафе

У памяти собственный счет.
Пират нападает и грабит,
пират нападает и отнимает единственное, что есть.
Все рассчитано и предусмотрено —
даже время и место, где надо сдаваться.

О, эта старая странная
мрачная страсть — рассчитать!
Мухи усеяли потолок.
(Ослепляя юную парочку, шалопаи на автомобилях
гоняют, кружат возле яблоньки
и сигналят,
озера бензина
напуская у самых дверей.)
Мы еще отквитаемся (слышны голоса).
Мы еще пустим ко дну дырявую эту посудину,
всю загаженную скопищем мух.

В этот день 7 Ноября

(ФРАГМЕНТ)

Ленин
однажды
со мной говорил
огненным голосом Маяковского,
космическим голосом Маяковского.
Пламенным голосом поэта.
А потом
мой народ,
спустившийся с гор на повозках,
и пивший вино в своих жалких лачугах,
и проклинавший горькую жизнь,
мне сказал:
— Ленин
сеятель, руки простерший...

И сегодня,
в этот торжественный день,
я обращаюсь мысленно
к моей Родине, гибнущей во мгле,
к моей Родине, борющейся во мгле,
и к Родине 7 Ноября,
где я увидел дружеский взгляд,
ясный взгляд,
уверенный взгляд,
и услышал простые слова:
— Ты не одинок, товарищ...

Перевод Л. БЕРИНСКОГО

■

РЕНАТО ПРАДА ОРОПЕСА

День рождения

ПОВЕСТЬ

Перевод с испанского Г. ВЕРЖХОВСКОЙ

Побег назначен на сегодня. Воспользуемся футбольным матчем с охранниками лагеря. И оба баркаса, кстати, будут здесь к четырем часам. Об этом нам стало известно от «зверюги» Мендиеты — того солдата, которого наши успели «обработать». В операции он — с нами. Со вчерашнего вечера мы не сомкнули глаз: ожидание мучительно. К тому же полковник Перейра, словно что-то заподозрив, устроил повальный обыск в бараках. В конце концов он приказал отобрать четырех заключенных и наказать их «авансом». Полковник делает так всякий раз, когда налакается: то стращает нас, «чтоб неповадно было», а то, как он мрачно шутит, «пресекает зло в зародыше». В ледяной ночи до рассвета разносились вопли пытаемых. Нервы у людей напряглись до предела.

Потом наступила тишина — кое-кому из нас даже удалось подремать, пока всех не подняли чистить бараки и готовить завтрак. Четверых пострадавших мы нашли распростертыми посреди лагерного двора, их израненные руки и ноги кровоточили...

— Кишки из тебя выпущу, сучий сын! — сжав кулаки, рванулся было Маурисио к полковнику. Его остановили: «Погоди! Полковника Перейру захватим заложником».

Днем, занимаясь обычной работой, каждый из нас старался собраться с силами, сосредоточиться. А время еле-еле тащилось — совсем как баркасы, серые, медлительные...

В полдень появился лейтенант Флорес, как всегда подтянутый и вежливый. Улыбаясь, он подошел ко мне.

— Так, значит, завтра у тебя день рождения, а?

— Да, лейтенант.

— Я уже заказал шампанского,— пошутил он.

— Передайте, чтобы с ним поторопились,— откликнулся я тем же тоном.

Слышавшие наш разговор заключенные молча застыли вокруг. Лейтенант, не обращая на них внимания, звонко рассмеялся мне в ответ.

— Ладно,— сказал он, уходя,— завтра увидимся.

После обеда пришел полковник Перейра, коротышка с бледным костлявым лицом и блестящей, словно смазанной жиром, лысиной. Улыбаясь, он обнажал два желтых клыка, одиноко торчащие из без-

зубых десен. Его тощая фигура вызывала и жалость и отвращение. Недаром Роли, один из наших товарищей, прозвал его Дракула-крошка [1]. При прежнем правительстве [2] полковник был разжалован за какое-то серьезное преступление, совершенное на службе в пограничном гарнизоне, и бежал в Парагвай. Оттуда он вернулся с группой высланных из Боливии военных и принял участие в перевороте, свергнувшем Торреса. Его тут же восстановили в чине и назначили комендантом нашего концлагеря.

Полковник Перейра расхаживал в окружении двух телохранителей, ни на шаг от него не отходивших и все время что-то вынюхивавших вокруг. Внезапно — с ним иногда так бывало — глаза его вспыхнули, а кожа утратила обычный землисто-пыльный оттенок. Ударом ноги он выбил карты из рук двух заключенных, в тени развлекавшихся тайком игрой. Пожалуй, только в такие мгновения в чертах его я различал нечто человеческое...

Лейтенант Флорес, уходивший после разговора со мной, обернулся, видимо желая проверить, заметил ли я вспышку гнева его начальника. Взгляд лейтенанта встретился с моим — весьма выразительным. Лейтенант остановился, точно собираясь что-то мне объяснить, но потом решительно зашагал по направлению к «кабинету» полковника — зловонной комнатушке, где было больше пустых пивных бутылок, чем деловых бумаг.

Двум пострадавшим пришлось поднимать разбросанные карты — одну за другой. Они кусали губы, с трудом сдерживаясь, чтобы не взорваться.

В половине первого полковник отдал нам приказ построиться во дворе. Все мы, готовившиеся к побегу, с тревогой переглянулись: нас обуревали самые мрачные предчувствия.

Нервное напряжение спало только после того, как сообщили, зачем нас согнали: оказывается, начальство решило через каждые два дня лишать заключенных ужина — «бережливости ради и в знак поддержки правительственной политики жесткой экономии». Затем нам приказали совершить часовую пробежку. Мы старались выкладываться как можно меньше: нужно сохранить силы для матча. Полковник, однако, заметил, что бегаем мы кое-как, остановил нас и подозвал меня к себе.

— С чего это вы все, ленивые дьяволы, так отяжелели? — спросил он.

— Только что пообедали,— пробормотал я в ответ.

Его черные, налитые кровью глазки сверкнули злобой.

— А может, просто силенки бережете? — скривился он издевательски.

— Не так уж для нас важна эта игра,— сказал я, посчитав, что напал на спасительную мысль.

— Брось зубы заговаривать! Я-то знаю, что вы пустите в ход все свое коварство и подлость, только бы выиграть... хотя бы тут. Хотите расквитаться... Матч — лишь предлог для вас, сволочи! — Он явно радовался тому, что «изобличил» нас.

Я старательно прикидывался ошеломленным, изображая дурня набитого, этакого простака из американского фильма.

— Но меня вокруг пальца не обведешь,— завопил полковник,— никому не позволю себя дурачить!

---

[1] Персонаж американских «фильмов ужасов» *(здесь и далее — прим. перев.).*

[2] Речь идет о правительстве генерала Хуана Хосе Торреса, осуществлявшем ряд прогрессивных мероприятий в Боливии и свергнутом в 1971 году реакционными силами. Генерал Торрес был убит в 1976 году, находясь в эмиграции.

Я почти физически ощущал, как струной натягивались нервы товарищей, пока полковник выкрикивал все новые проклятия и угрозы.

— Никому меня не провести! Никому! — Перейра вытащил из кармана сложенный в несколько раз лист бумаги. Разворачивая его, он бросил на меня взгляд, полный презрения и высокомерия.— Вот список всех сколько-нибудь приличных футболистов нашего исправительного лагеря. Зачитай их фамилии, и пусть-ка пробегутся для разминки, чтобы разогреться перед игрой,— сказал он, протягивая мне бумагу. Среди нас, решившихся на побег, лишь одного можно было назвать «приличным игроком».

Футбольный матч начался в два часа дня. В команде гарнизона лагеря играли оба телохранителя полковника, его же особу оберегали два других солдата, в том числе — наш «зверюга» Мендиета. Казалось, все шло как по маслу: опасность упорной и кровопролитной стычки с головорезами полковника больше не грозила. Когда я проходил мимо Перейры, мне даже почудилось, что, взглянув на меня, Мендиета лукаво подмигнул.

Часть наших товарищей осталась в бараках; некоторые попрятались даже в туалетах; в здании комендатуры еще оставались охранники — чтобы с ними справиться, требовались люди.

Прежде чем дать знак к началу матча, полковник приказал выстроить игроков в две шеренги и, обращаясь к присутствующим, произнес напыщенную речь:

— Кое-кто здесь тайком замышляет сделать этот матч символическим — я разоблачил их коварные планы. Пусть будет так, как им хочется. Но мы придадим символике свой смысл и выдержим ее до конца. Это будет бой сил общественного порядка и спокойствия против тех, кто сеет в нашей стране смуту и хаос. Подрывными действиями они пытаются измотать и обессилить страну — пусть сами попробуют играть в таком состоянии. Защитники же порядка выйдут на поле спокойными, отдохнувшими, полными сил...

Он захихикал, его услужливо поддержал хор охранников. Громче всех хохотал, конечно, «зверюга» Мендиета.

Игра началась. Минут через пятнадцать охранники подбили одного из наших игроков и он был вынужден удалиться, хромая, как самый настоящий футболист-профессионал. А через двадцать минут один из наших вконец измученных игроков забил гол. От радости мы запрыгали. Лицо Дракулы-крошки пылало гневом.

Мы все еще старательно симулировали спортивный азарт, а между тем внутреннее волнение наше нарастало. Постепенно стали подтягиваться поближе к тому месту, где каждому следовало быть в момент операции.

За минуту до окончания первого тайма один из телохранителей полковника забил гол. Перейра торжествовал: ничья!

Едва завершился первый тайм, наши игроки повалились прямо на землю: от усталости уже не было сил шевельнуться. Некоторые готовы были покинуть поле. Их стали убеждать продолжать матч — ради осуществления задуманного это необходимо — и, наконец, уговорили остаться. Им даже принесли холодной воды. Полковник — с поистине нероновским великодушием — позволил нам это.

Незадолго до начала второго тайма послышался шум мотора катера. Он медленно подплыл к главному причалу. С катера спрыгнул солдат и побежал к нам. Планом такое не предусматривалось — все мы замерли в ожидании.

Начальник нашего «генерального штаба» сжался как пружина, взгляд его был прикован к Мендиете. Казалось, вот-вот он отдаст «зверюге» приказ, и операцию придется начать раньше, чем предполагалось. В последний момент он все же удержался, решив подождать, что доложит солдат.

— Мой полковник, я ищу лейтенанта Флореса,— проговорил солдат, вытянувшись по стойке «смирно».

— Ах, вот в чем дело,— проворчал полковник.— Он наверняка торчит у меня в кабинете и, как всегда, читает... Настоящий книжный червь!

Второй тайм начался.

Краешком глаза я следил за тем, как лейтенант вместе с солдатом удалялись по направлению к катеру.

Вновь взревел мотор, потом звук его стал постепенно затихать. На душе у нас сразу стало спокойнее: лейтенант Флорес славился своим самообладанием да к тому же и стрелял с завидной меткостью. Я, признаться, еще ранее осторожно пытался сблизиться с ним, поговорить, привлечь его на нашу сторону, но так и не решился довериться ему и попросить о помощи. И потому было решено вывести лейтенанта из игры первым — это поручили трем товарищам, которым надлежало захватить лагерную комендатуру.

Едва игра возобновилась, гарнизонная команда забила в наши ворота гол, а десять минут спустя — еще один. Полковник так и сиял. Нам же не позволяло уйти с поля лишь чувство достоинства и солидарности.

На радостях Перейра велел принести себе пива. «Зверюга» сделал вид, что не расслышал распоряжения,— выполнять кинулся другой солдат. Когда тот скрылся в здании комендатуры, я понял, что время действовать настало.

Я и наш «начальник штаба» обменялись молниеносными взглядами — он подал условный знак и сразу же в сопровождении двух товарищей направился к комендатуре: по первоначальному плану они должны были помочь мне обезвредить полковника и его личную охрану с помощью револьвера, единственного нашего оружия.

Я подошел к полковнику.

— Ну что, товарищ Ленин, пришел пустить слезу по случаю проигрыша? — спросил Перейра, как всегда обнажая в ухмылке клыки— они показались мне еще желтее и длиннее, чем обычно...

— Нет, «мой» полковник. Я хочу предложить вам сдать пистолет — иначе можете считать себя покойником,— ответил я с улыбкой, но твердо. Клыки исчезли за складками бледной и трясущейся кожи.

— Что, что такое?..— растерянно забормотал полковник, отступая назад и оглядываясь на Мендиету. Тот, не говоря ни слова, уперся дулом карабина ему в спину.

— Ты поплатишься за это, дерьмо, предатель! — обрушился на него полковник.— Всю жизнь себе изгадишь!

Мендиета смотрел на него невозмутимо:

— Нет, мой полковник. Это прежде я изгадил себе жизнь. И если не теперь, го никогда не смогу ее поправить.

— Сколько ты хочешь? — бросил ему полковник и, не теряя ни секунды, сунул руку вниз — выхватить пистолет из кобуры.

В ответ «зверюга» Мендиета ткнул его дулом карабина в спину и, не меняя выражения лица, приказал:

— Бросьте дурить, полковник! Я не продаюсь. Я выбрал то, что считаю справедливым. А сейчас давайте свой пистолет, если не хотите, чтобы в вас всадили порцию пуль.

Мендиета прикрывал меня, пока я расстегивал блестящую новенькую кобуру полковника и вытаскивал пистолет.

Операция проходила спокойно. Мы даже удивлялись, как легко все получается.

Меня охватило странное ощущение раздвоенности: словно действовал не я, а кто-то другой, будто не я, а этот другой подвергал смертельной опасности собственную жизнь и судьбы дорогих мне и связанных со мною людей.

Полковник выполнил наше требование, уже не сопротивляясь, лишь стал еще бледнее обычного. Вернувшемуся с пивом солдату он приказал повиноваться мне — и без глупостей.

— Не хочу напрасных смертей. Позже мы заставим их раскаяться в том, что они делают,— храбрился он, тщетно силясь скрыть нервную дрожь.

Солдат послушно протянул мне свой великолепный карабин, а я отдал его подошедшему товарищу. Бедняга солдат так растерялся, что не мог сообразить, куда девать бутылку пива. Я взял у него бутылку и налил себе в поднесенный им стакан.

В эти мгновения игроки из гарнизонной команды, заметив, что происходит нечто странное, остановили игру и недоуменно переглядывались. По моему настоянию полковник приказал, чтобы на поле все продолжалось «нормально». Игра должна была идти, пока наши не справятся с часовыми в здании комендатуры.

— Ну что вы там? — крикнул полковник.— Играйте, шевелитесь, сучьи дети! Этот матч мы должны выиграть.

Охранники явно колебались, затем, посовещавшись, подчинились приказу.

Мендиета и наш товарищ повели солдата к гарнизонной комендатуре. Я остался с полковником. Он хранил молчание и как будто сосредоточился на игре.

Мы действовали так молниеносно и решительно, что не возникло и попытки сопротивления. Замешательство охраны было полным. И все же в здании комендатуры оставался еще часовой — на вышке, напоминавшей дозорную башню. Проникнуть туда можно только по деревянной лестнице. Часовой, охранявший вышку, подчинялся лично полковнику, а легкий пулемет в его руках — оружие довольно грозное. Вблизи вышки мы не могли позволить себе никаких рискованных передвижений, чтобы не возбудить подозрений часового. Не могли мы положиться и на свою меткость: вряд ли кто-нибудь из нас сумел бы сразить часового одним выстрелом.

Игра тем временем подходила к концу.

На поле вернулись Мендиета и Моро, переодевшийся в военную форму.

— Полковник Перейра,— сказал Моро,— сейчас вы пойдете с нами и прикажете часовому спуститься вниз — для смены караула.

Полковник зашагал в сопровождении Мендиеты и Моро.

Время шло — и некоторые из заключенных, не посвященные в наши планы и сидевшие по баракам, догадываясь, что происходит, бросились к шоссе. Я взглянул на часового — он стоял так высоко, что его едва было можно рассмотреть.

— Тихо! — скомандовал я беглецам.— И не разбегайтесь!

Они остановились, с опаской уставившись на мой револьвер.

— Все в порядке? — спросил меня один из них. Я узнал Мурильо по прозвищу Кондор; его мы еще раньше засекли как «подсадную

утку» для слежки за нами. Одним прыжком я подскочил к нему и приставил к спине револьвер.

— Молчи, гадина, если хочешь спасти шкуру! — тихо сказал я и приказал ему следовать за мной.

Мы подошли к тому месту, где перед матчем солдаты сложили свое обмундирование и оружие.

На вышке по-прежнему неподвижно торчал часовой.

Охранявший вещи и оружие футболистов солдат подозрительно взглянул на меня, инстинктивно сделал шаг вперед и схватился за винтовку. Но, увидев рядом со мной доносчика, осклабился.

— Вот теперь мы проигрываем,— сказал я, кивая головой на футбольное поле. Охранник, однако, не поддался на мою уловку — вновь насторожился.

— А что ты здесь делаешь? — в голосе его прозвучала угроза.

— Смотрю на игру, как и ты,— ответил я и еще раз взглянул на башню. Часового там уже не было.

Доносчик так и не осмелился открыть рот, ни одним знаком не предупредил солдата об опасности. Я выхватил из кармана револьвер.

— Давай винтовку! — скомандовал я охраннику.

— Как так? — растерянно пробормотал он.

— А так, все в наших руках,— и я показал на вышку. Там, на месте часового, стоял Моро и, словно приветствуя нас, размахивал карабином.

— А полковник? — почти беззвучно спросил солдат, вконец сбитый с толку; он даже выронил винтовку.

— В порядке, не волнуйся! — ответил один из заключенных и с силой ударил его по затылку.

— А ну прекрати! — крикнул я, заметив, что солдат рухнул наземь.

Матч кончился. Игроков-охранников, все еще одетых по-спортивному, мы заперли в бараке в качестве заложников. Некоторые, опасаясь нашей мести, скулили от страха, совсем как дети.

В четверть пятого прибыл баркас — единственный. Полковник Перейра вел себя покорно, хотя время от времени разражался страшными угрозами: он был уверен, что план наш провалится.

Баркас мог вместить лишь немногих, с трудом в него втиснулось человек тридцать. Бежавшие захватили с собой и полковника Перейру: он должен был служить заложником до перехода через границу. Половина повстанцев осталась в лагере. Мы знали, что рыбаки из окрестных мест, заслышав о прибытии баркаса, явятся предлагать свой немудреный товар. На них-то и надеялись — ничего иного не оставалось. И верно, через полчаса они явились — сначала один, потом еще четверо. Их самодельные лодки были ненадежны, и вряд ли они могли взять на борт более четырех-пяти человек, но мы решились на риск и в каждую лодку посадили шестерых. Рыбаки, увидев, что мы вооружены, послушно согласились. Кроме того, мы раззадорили их, пообещав в виде вознаграждения поношенную одежду и разные мелкие вещицы из тех, что у нас остались при себе.

Садясь в лодку, я заметил, что один наш товарищ осеняет себя крестом. Поймав мой взгляд, он залился краской стыда, перестал креститься и отвел глаза.

— Что считаешь нужным, то и делай,— сказал я ему на ухо.

— Спасибо, товарищ,— ответил он.— Сдается мне, что из этого переплета нам не выйти живыми.

— Лучше это, чем подыхать в тюрьме, разве не так? — вмешался в разговор Ромуло.

Товарищ вновь отвел взгляд.

— Лучше смерть, чем позор и страх,— пробормотал он, судорожно глотнув.

Лодки продвигались вперед, как-то жалобно и подчас зловеще поскрипывая. Грузные и неуклюжие, будто бревна, они, казалось, вот-вот затонут.

Чтобы не привлекать внимания обитателей прибрежных поселков, мы отчаливали не сразу все, а через определенные промежутки и старались держаться подальше друг от друга. Потом нам предстояло поскорее пристать к берегу и форсированным маршем следовать через Кордильеры — в Перу. Ненавистный остров Коати постепенно таял на наших глазах.

Солнце садилось прямо в озеро, но никому и в голову не приходило полюбоваться великолепным закатом.

Лодки были так перегружены, что от воды нас отделял какой-то дюйм.

— Того и гляди, начнем тонуть,— забеспокоился лодочник, указывая на днище. Лодка оседала все глубже, а мы в крайне нервном напряжении совсем не заметили, что ледяная вода дошла уже до щиколоток.

Я перестал грести и начал раздеваться.

— Двое из нас будут плыть рядом с лодкой, пока хватит сил. Потом их сменит другая пара. Иначе лодка пойдет на дно,— сказал я.

Товарищи проявили поразительную дисциплинированность. Даже Ромуло, довольно пожилой человек, бросился в воду, когда наступил его черед. Правда, вскоре ему пришлось вернуться в лодку: силы его быстро иссякли, мышцы в воде стало сводить. Только через два часа, уже глубокой ночью, мы пристали к берегу в том месте, которое лодочник считал наиболее удобным.

Было решено разбиться на две группы — по три человека в каждой. Одну группу должен был сопровождать лодочник, для другой был нужен еще проводник. Лодочник утверждал, что знает, как пройти к границе, но потребовал денег вперед. Сумма, которую мы собрали, показалась ему недостаточной. Дело решил револьвер, который я пообещал отдать ему на границе, когда оружие нам уже не понадобится.

Бросили жребий, кому идти с хозяином лодки. Выпало Ромуло, мне и Мауро — молодому партизану, покалеченному во время пыток: на каждой ноге у него отрубили по три пальца, и двигался он с большим трудом. Я предложил свое место любому из оставшихся. Ведь предстояло искать проводника, а я, владея языком местных индейцев аймара, мог легче договориться с крестьянами. Вместо меня пошел Фабро.

Оказавшись втроем в полной темноте, мы обсуждали положение. Другая тройка в мгновение ока исчезла в распахнувшейся черной пасти ночи. Минут через десять, спотыкаясь, вернулся Фабро.

— Где вы? — свистящим шепотом спросил он. Заслышав шаги, мы притаились было за скалой, но, узнав его голос, вышли из убежища.

— В чем дело? — спросил я.

— Там проводник по-своему болтает со встречным крестьянином. А мы ни черта не понимаем на аймара,— объяснил он.— Пойдем-ка со мной.

Хозяин лодки и вправду был занят беседой с каким-то незнакомцем. Я расслышал последние слова лодочника: «Поможешь — так хо-

рошо заплатят». Заметив меня, лодочник поспешил пояснить, что это его кум, бродячий торговец, и знает он округу намного лучше.

Лица незнакомца в темноте нельзя было разглядеть. Одет он был в длиннейшее пончо, доходившее до земли.

— По-испански говоришь? — спросил я.

— Немного.

— Почему же тогда вы разговаривали на аймара? — допытывался я.

— Так нам понятнее,— вмешался лодочник,—...привычнее.

— Граница далеко? — спросил я у незнакомца.

— Да нет, совсем рядом, несколько часов ходу — и все...

Я подошел еще ближе, однако заглянуть ему в глаза не удалось.

— Хочешь помочь нам? — задал я вопрос в упор.

— Смотря сколько дадите. Я ведь бедный торговец,— торопливо ответил он. Я посоветовался с товарищами. Другого выбора у нас не было. Мауро сказал, что, по его мнению, индеец, похоже, «с неба к нам свалился», ему и лодочнику, пожалуй, можно довериться, хотя и следует быть начеку — «на всякий случай». К счастью, мы располагали двумя винтовками и двумя револьверами. Решили распределиться на группы и разделить оружие. Меня включили в первую группу — по предложению Фабро, который сказал, что так мне «выпало по жребию».

Вдали на горизонте светились редкие огоньки — где-то там находились хижины индейцев. Понемногу, словно приподнимая черную шаль, небесный свод покрывался крупными звездами — мерцающее озеро огоньков, сказочное и вечное. Взошла луна, и мы зашагали увереннее.

Впереди размеренно и легко шел лодочник. Молча. Время от времени он останавливался, поджидая отставших. Я заметил, что Мауро мог пройти без остановки не более ста метров — ему то и дело нужно было переводить дух.

— Ноги болят? — спросил я его.

— Ничего, ничего, товарищ, идем дальше,— ответил он, стараясь казаться бодрым. И все же через какую-то сотню метров вновь стал, видимо выбившись из сил.

Так мы шли несколько часов. Наступила полночь. Измотаны были все, но Мауро в особенности, часто приходилось его поддерживать. Лодочник тоже подставил ему плечо. В первом часу ночи мы решили сделать короткий привал. Ели вареный картофель, холодный и мучнистый, с трудом глотали: нечем было запить. Немного картофеля предложили лодочнику. Он поблагодарил и, когда снова двинулись в путь, протянул нам горсть листьев коки [1].

— Не так устанете,— сказал он.

Я принялся жевать горько-сладкие листья и вскоре почувствовал, что язык мой и скулы как будто вспухли, стали чужими.

Шли медленно. Мне казалось, что перед нами все те же горы, те же склоны и что вообще мы топчемся на месте. На мгновение в памяти всплыл эпизод из какой-то пьесы (названия я уже не помнил), читанной давным-давно, в юности: черный император в черной ночи спасается бегством, настигаемый грозным звуком тамтамов; продирается сквозь колючие, безжалостно ранящие заросли сельвы и в конце концов... Что же с ним сталось в конце концов? Император, разу-

[1] Кустарник, произрастающий в Боливии и Перу, листья которого, содержащие кокаин, индейцы жуют для поддержания сил.

меется, погиб: он блуждал по кругу, в то время как неутомимые преследователи отливали серебряную пулю, предназначенную для него. Хорошо читать про такие истории в книге, уютно устроившись в кресле, или видеть их на сцене. Это удобно и спокойно: все в рамках воображаемого, события не могут втянуть вас, сделать своим участником и жертвой. Нечто такое, что вас не задевает,— всего лишь зрелище, несколько, правда, печальное. И совсем иное дело — то, что выпало на долю мне и моим усталым товарищам, убегавшим от смерти...

Временами откуда-то издалека доносился лай собак.

Прошел еще час. Измученный сверхчеловеческими усилиями, Мауро стал упрашивать нас бросить его. Он говорил, что найдет ночлег в какой-нибудь горной хижине, а на следующий день нагонит нас на границе. Я спросил у проводника, долго ли еще идти.

— Нет, уже близко,— ответил он.

— Сколько часов? — хотел уточнить я.

— Да несколько,— уклончиво сказал он.

— А все-таки сколько? Три, четыре?

— Да нет, несколько часиков,— повторял лодочник.

Мне стало ясно, что дальнейшие расспросы бесполезны. Я переговорил с каждым из товарищей по отдельности. Ромуло считал, что очень важно спастись мне: если я опять попаду в лапы врагов, меня наверняка ждет смерть.

— Что же до нас, то мы слишком многого натерпелись и уже не способны совершить для нашего дела столько, сколько ты,— при этих словах взволнованный голос его прервался.

— Чепуха. Все мы одинаково нужны для борьбы. Мы — единомышленники и в революции участвуем все,— решительно возражал я.

— А я говорю, что нужно идти врозь, и, кстати, мы об этом договорились,— настаивал Мауро.

Молча прошагали мы еще полчаса. Мауро ужасно страдал — тихо стонал, стремясь подавить рвущиеся из горла вскрики. Я понял, что требовать от него еще бóльших жертв слишком жестоко, даже преступно.

— Отдохнем минут тридцать,— объявил я.

На горизонте, за изломанным контуром гор, робко начинал пробиваться рассвет. Я тоже чувствовал себя вконец измотанным: усталые мускулы то и дело сводила боль, судороги. Приглядевшись, неподалеку можно было различить хижины, притулившиеся к косогору.

— Что это? — спросил я у лодочника.

— Должно быть, ранчо Руми,— сказал он.

— А что там за люди?

— Из независимого синдиката. У них неприятности с правительством, со всеми правительствами,— ответил он.

— Мы вдвоем пойдем туда, поищем пристанища,— решительно заявил Ромуло.— А ты подожди здесь с полчаса. Если нас встретят хорошо — останемся, если нет — вернемся. Но в любом случае нельзя дать им понять, что нас более двух,— добавил он.

Возражать я не мог, хотя не по душе мне была мысль расстаться с товарищами. Но, с другой стороны, я прекрасно понимал, что продолжать путь было бы безжалостно по отношению к ним и — в конечном счете — означало бы поставить под угрозу все.

Небо светлело.

Я жевал листья коки и следил за товарищами, пока их фигуры были различимы. В последний момент они решили было захватить револьвер, чтобы не привлекать внимания местных жителей, а мне

оставить винтовку. Это не понравилось проводнику: револьвер я обещал ему.

— Да ты хоть знаешь, как с ним обращаться? — спросил его Мауро.

— Нет, но ведь можно и выучиться. А вот ружье отберут военные.

Бормоча проклятия, Мауро забрал у меня винтовку и вернул револьвер.

— Что-то не верю я этому типу,— шепнул он мне.

— Да брось ты,— урезонивал я,— он как ребенок, уже вообразил себя владельцем игрушки, вот и все.

Я и лодочник выжидали почти час. Стояла полнейшая тишина, и в ней было что-то неестественное. Не слышалось даже собачьего лая.

— У этих людей и собак нет? — спросил я у проводника.

Он рассмеялся.

— У них самих чутье и слух почище, чем у собак.

— Ты тоже революционер, как они? — спросил я.

Помолчав с минуту, он заговорил:

— Был я в одном крестьянском синдикате. Да осточертело мне то, что они там делали... и делают. Сначала поддерживали президента Паса Эстенссоро[1] и выступали против «роски»[2], потом поддержали Барриентоса [3], который предал Эстенссоро, потом поддерживали Овандо [4]. И наконец, переворот, который устроила сама «роска» [5]. Совсем рехнулись! Вот я и стал рыбачить. Так лучше, да и посвободнее.

Я ничего не сказал ему. Да и что сказать? Лодочник разуверился в политической борьбе, и веру могло вернуть лишь время да новый поворот событий в стране.

Мы снова тронулись в путь. Меня клонило ко сну, веки слипались. Ночь представлялась нескончаемой, как тропа, по которой мы брели. Ступни у меня невыносимо болели, словно я ходил босиком по острым камням. Когда я делал шаг, ступня, казалось, опускалась на сплошные шипы — я отдергивал ногу, поднимал ее, вновь опускал — и ступня опять погружалась в боль...

Неутомимый проводник шагал впереди. Время от времени оборачиваясь, он останавливался и, дергая головой в нетерпении, ждал, пока я догоню его. Он смотрел на меня с любопытством. А то трогал за плечо, будто проверяя, жив ли я еще.

— Уже совсем близко, еще часик — и все,— говорил он и снова исчезал, растворяясь в тумане, начинавшем обволакивать нас. Я поднимал к небу глаза, стараясь передохнуть от слепящего тумана, от постоянного вглядывания в пустоту, обступавшую со всех сторон. Звезд становилось все меньше.

Нога. Вытащить ее из зарослей колючек — и опустить на шипы. Опять открыть глаза. Звезды и проводник. Он останавливается, качает головой. «Откуда у тебя берутся силы?» — спрашиваю я. «Кока,—

[1] Виктор Пас Эстенссоро — боливийский политический деятель, был президентом республики в 1952—1956 гг. и 1960—1964 гг.

[2] Под таким названием известна группа крупнейших боливийских капиталистов — Патиньо, Хохшильд и Арамайо,— до недавнего времени владевшая горнорудной промышленностью страны.

[3] Генерал Рене Барриентос захватил власть в стране, свергнув в 1964 г. В. Паса Эстенссоро, был диктатором Боливии по 1969 г.

[4] Генерал Альфредо Овандо Кандиа — президент Боливии в 1969 — 1970 гг.

[5] Речь идет о перевороте, свергнувшем президента генерала Х. Х. Торреса в 1971 г. и приведшем к власти нынешнего главу государства — генерала Уго Бансера.

говорит он и снова протягивает мне пригоршню.— На-ка, пожалуй, еще листиков». Я прикусываю язык — и не ощущаю его, он разбух, нечувствителен к моей боли и усталости. «У меня больше нет языка,— думаю я,— ничего нет». Эта мысль утешает. «Фашисты, по крайней мере, не смогут отрезать мне язык, им вообще уже нечего отнять у меня». Я смеюсь про себя. «Ты что, друг?» — спрашивает проводник, глядя откуда-то сверху. Он склоняется надо мной, словно рассматривая какое-то насекомое. «Где же граница?» — хриплю я. Он поднимает палец — длинный, скрюченный, с грязным кривым ногтем. «Здесь, рядом, какой-нибудь часик — и все». Делаю шаг. Еще один. Вцепляюсь руками в колючки — они в меня. Вдалеке лает собака. Мычит корова. Протяжное мычание разносится в воздухе как звук трубы. Отдохнуть хотя бы еще полчаса. Голова раскалывается от боли.

— Водичка! — восклицает проводник и указывает на родник в нескольких метрах от нас. Пью прохладную воду. Жжение в пересохшем горле проходит. Умываюсь.

— Зверски устал,— говорю я.

Смотрю на часы: уже половина шестого утра. Звонко журчит вода, словно посмеиваясь над моей усталостью и над тем, как мне хочется спать.

— Можешь немного вздремнуть,— говорит проводник.— Я дам тебе укрыться пончо.

— Долго идти? — спрашиваю я, теряя терпение.

— Да нет. Перу там, вот за тем склоном,— отвечает лодочник и показывает рукой на гору, сереющую вдали в рассветных лучах.

— Как, еще столько осталось? — протестую я.

Индеец пожимает плечами. Я бросаюсь на землю. Он накидывает на меня сверху свое пончо.

— Нет, спать не буду,— бормочу я, но все же кутаюсь в пончо, весь съеживаюсь, стараясь согреть окоченевшее тело.

— Как тебя зовут? — пытаюсь я завязать разговор, чтобы не забыться в дремоте.

— Ромуальдо. Ромуальдо Киспе...— льстиво улыбается проводник и добавляет: — К твоим услугам, друг.

Он усаживается на камень, напротив меня. Что такое — опять туман? Какая-то легкая дымка медленно окутывает его голову. Ромуальдо вынимает из кармана коку и, отобрав листья, протягивает мне.

— Спасибо, нет... пока нет...— говорю я.

Ромуальдо принимается жевать, набивая листья за обе щеки. Взгляд проводника неподвижен и устремлен куда-то вдаль. Его фигурка, маленькая и сухая, застывает — кажется, будто ветер и холод за тысячелетия высекли ее из гранита.

Я сворачиваюсь клубочком еще теснее. Не могу унять дрожь, по телу пробегают волны озноба.

— Ты болен, друг? — слышу я незнакомый тихий голос, звучащий как-то безлично.

Силюсь сказать, что нет, но уже не хватает времени: я должен сейчас же вскочить на ноги и шагать, шагать, шагать, пока не достигну границы.

— Он болен, так болен, что, пожалуй, умрет,— говорит другой голос, резкий и отрывистый. Ему вторит неясный шум голосов, смеющихся, оживленно переговаривающихся — словно шелестит крона большого дерева. Открываю глаза.

— Кто это? — спрашиваю я.

Проводник по-прежнему сидит рядом. Луч солнца бьет ему прямо в лицо, однако он не прикрывает глаз и даже не щурится.

— Ты сильный,— говорю я.

Он словно не слышит моих слов.

— Сейчас отдохну немножко — и снова тронемся в путь,— продолжаю я.

— Мы столько тебя ждали, что потеряли всякую надежду, заперли ворота,— кричат мне друзья, стоящие где-то высоко, на стене. Огромные ворота действительно плотно закрыты.

— Откройте, за мной гонится враг! — кричу я в отчаянии.

Они не слушают. Они разглядывают меня и забавляются, показывая друг другу на что-то за моей спиной. Я поворачиваюсь. Из озера вздымается гигантская волна и заливает место, где я стою. Холодная вода доходит до пояса. Я молю о помощи.

— Бросьте же мне что-нибудь!

Полковник Перейра, сжалившись, кидает мне веревку. Она раскручивается у меня над головой. Изо всех сил пытаюсь ухватиться за нее, но когда мои пальцы уже касаются ее, она разевает вдруг пасть и по-змеиному кусает меня. Довольный полковник радостно жестикулирует, стоя на вершине скалы. Вода накрывает меня. Я задыхаюсь. Стараюсь выплыть на поверхность, но не могу оторвать ног от илистого, вязкого дна. Отчаянно барахтаюсь — и глотаю, глотаю ледяную воду. Стягиваю с себя пончо — оно мешает двигаться,— потом освобождаюсь от тяжелого револьвера. Мне становится легче — я устремляюсь вверх. Наконец, почти уже потеряв сознание, добираюсь до поверхности и хватаю ртом воздух. Жадно дышу. Машу руками. Но вокруг не видно никого и ничего — сплошная голубая гладь. «Нужно плыть»,— твержу я себе и делаю взмах рукой. Однако удар о воду вызывает резкую боль. Рука моя никак не может погрузиться. «Все равно смерть»,— думаю я. И в ужасе просыпаюсь.

Ромуальдо уже нет рядом, я весь дрожу от холода — оказывается, с меня сняли пончо, которым он меня укрыл. Я вскакиваю в растерянности. Пейзаж выглядит все таким же пустынным и мрачным, хотя из-за вершин далеких гор уже выглянуло солнце, а рядом, извиваясь среди скал, простодушно и весело журчит ручеек.

— Ро-омуу-у-а-альдо-оо!

Бреду куда-то. Ощупываю карманы: револьвера нет!

— Сволочь, подлец! — кричу я, с трудом выплевывая слова. Поднимаю вверх сжатые в кулаки руки и хочу со всей силой обрушить их на издевательски ухмыляющееся лицо лодочника... Увы! — напрасно: он недосягаем.

Беспорядочно мечусь из стороны в сторону. Взбираюсь на какой-то пригорок и вижу расстилающееся впереди озеро. «Где же я все-таки?» — спрашиваю я себя. Сознание собственной беспомощности почти лишает меня самообладания. Ощущая полную беззащитность, я едва сдерживаю рвущийся из груди стон, нет — почти звериный вопль. «Нужно успокоиться»,— уговариваю я себя. Спускаюсь с пригорка. Жар прошел, но горло по-прежнему жжет. Вдалеке виднеется какая-то лачуга. Я решаюсь рискнуть, попросить помощи.

В этот момент до меня доносится шум мотора. Судорожно ищу, где бы укрыться: вокруг ровная местность, плоскогорье, ни скалы, ни камня — спрятаться негде. Бегу в сторону, противоположную той, откуда доносится звук. Оглядываюсь, чтобы посмотреть, что за машина преследует меня... Военный джип!

Бегством не спастись. Джип все ближе. Наконец, он настигает меня. Почти задыхаясь, поднимаю вверх руки.

— Недалеко же ты ушел, товарищ Ленин,— слышу я насмешливый голос.

Не веря своим ушам, оборачиваюсь. Лейтенант Флорес. Он целится в меня из своего любимого карабина. Сидя в джипе, за нами с интересом наблюдает Ромуальдо.

— Твой проводник заставил тебя изрядно поплутать вокруг да около. Зато теперь ты рядышком с нашим островом. Несколько минут — и мы в лагере. А он вот сам заявился к нам в лагерь, там и передохнул,— с видимым удовольствием поясняет лейтенант, заметив мой ужас и изумление. Подходит ближе. Холодный пот скатывается у меня со лба, заливает глаза. Я отираю его рукой. Лейтенант протягивает мне носовой платок.

— На сей раз нюх тебя подвел,— говорит он с издевкой.

— Убей меня! — кричу я срывающимся голосом. Он не отвечает.

Лейтенант одет в светлую куртку, прекрасно облегающую фигуру. Он, как всегда, безукоризненно выбрит.

Я все еще не могу отдышаться.

— Ромуальдо просит хорошего вознаграждения, и он его получит,— говорит лейтенант, знаком приказывая мне садиться в джип.— Ты пересядешь назад,— обращается он к лодочнику,— заодно присмотришь за этим коммунистом.

Я вновь ощущаю боль во всех мышцах. Думаю о своих товарищах. «Охота, наверное, уже началась,— шевелится в мозгу; бедная моя голова буквально раскалывается от боли.— Ромуальдо, конечно, выдал все насчет побега». В зеркальце джипа стараюсь перехватить взгляд лодочника. Встретившись со мной глазами, он отводит свои. Хочу крикнуть ему в лицо, что он гнусный предатель, но тут же понимаю — это бесполезно.

Джип трогается с места. Лейтенант молча закуривает сигарету и передает ее Ромуальдо. «Пребольшое спасибо, мой лейтенант»,— отвечает тот и затягивается — он на седьмом небе.

Лейтенант закуривает еще одну и протягивает мне. «Благодарю», — бормочу я и с наслаждением вдыхаю ароматный, такой успокаивающий дым.

Лейтенант включает транзистор подле своего сиденья. Звучит народная музыка — старинная мелодия «уайно», печальная, как проносящийся мимо нас ландшафт. Лейтенант находит другую программу. Раздается военный марш, потом хорошо поставленный голос читает последние известия. Из Вьетнама... Янки виновны в неслыханном в истории человечества массовом уничтожении людей; почетным миром они считают тот, когда в живых не останется ни одного вьетнамца... Боливийские новости... «На всей территории республики царят мир и спокойствие: впервые за всю свою историю боливийцы побратски обнялись...», забыв, что у одних желудки пусты, а другие лопаются от сытости... По слухам, в Чукисаке [1] объявился чудотворец — ремеслу своему обучился в Соединенных Штатах и обещает так одурманить людей, чтобы те позабыли о повседневных лишениях и унижениях, очередной же диктатор тем временем может спать спокойно. В Соединенных Штатах один американец, воевавший во Вьетнаме, взобрался на крышу небоскреба и бросился оттуда вниз — наивный протест против современных крестовых походов; психиатры, которые ныне заменяют священников на посту пастырей духовных, уверяют, что он душевнобольной... Первая дама государства была принята папским нунцием и получила его благословение — небесная благодать всегда поспевает вовремя... Диктор приветствует радиослушателей и

[1] Департамент в Боливии, близ границы с Парагваем.

сообщает, что ровно в час мы опять услышим его в эфире. Пока же он отправится прополоскать натруженное горло яичным белком, чтобы затем без остановки опять проговаривать бодрую ложь, угодную тирану. Дерьмо! И ни слова об инфляции, о кровавых беспорядках в Ла-Пасе, вызванных голодом. Ни слова о нашем побеге.

Лейтенант выключает радио, стряхивает на дорогу пепел с сигареты. Мы проезжаем мимо какого-то селения. Похоже, там много крестьян — слышны их голоса, доносится монотонная музыка. Я раздумываю, можно ли, спрыгнув с машины, убежать и затеряться в толпе.

— Не выйдет. Не сделаешь и трех шагов,— уверенным голосом обрывает мои мысли лейтенант.

Я встречаю встревоженный взгляд Ромуальдо. Он вертит головой то в одну, то в другую сторону. Потом оборачивается и смотрит назад. Джип стремительно несется вперед. Лейтенант снова закуривает сигарету. Теперь он курит один. Его поведение начинает меня беспокоить. Думы о смерти, которая надо мной нависла, глухо стучат в висках, странным звуком отдаются в ушах. Я кусаю губы и едва сдерживаюсь, чтобы не кинуться на лейтенанта, не влепить ему в качестве прощального сувенира — увы! не вечного — несколько хороших пощечин.

— Мой лейтенант,— бормочет Ромуальдо. Лейтенант молча и холодно глядит на него в зеркальце. Минуты тянутся медленно, страшно. Озноб снова сотрясает мое тело. Я стискиваю челюсти, чтобы не застучать зубами.

— Мой лейтенант,— робко повторяет Ромуальдо.

— Что там? — резко спрашивает лейтенант.

— Куда мы едем?

— Не твое дело,— отвечает лейтенант.

В лице лейтенанта появляется что-то суровое. Он словно поддается какому-то жестокому порыву, который его самого мучит.

— А закон о побеге? — лепечет лодочник.

Внезапно лейтенант переключает скорость, джип издает скрежет. Нас встряхивает.

— Ромуальдо говорил только со мной,— произносит лейтенант, прерывая молчание.

— Что вы сказали, мой лейтенант? — спрашивает лодочник, решив, что Флорес обращался к нему.

— Я сказал, что ты будешь говорить то, что прикажу я. Так или нет?

Ромуальдо следит сейчас в зеркальце за мной. Вопроса он не понял, но на всякий случай отвечает: «Да, мой лейтенант».

Я теряюсь в догадках. Мне трудно поверить, что лейтенант Флорес поступит так, как другие, как все кадровые военные, в чьих руках власть. Вспоминаю наши разговоры о политике, о сознании людей, о классовой борьбе. «Неужели все это для него было пустой болтовней? И он забавлялся, стараясь убедить меня в обратном?..» — спрашиваю я себя.

Лейтенант Флорес резко тормозит.

— Выходи,— говорит он мне.

— Но...

Лейтенант смотрит в небо. Какая-то большая птица описывает круги над нашими головами. Голодный стервятник высматривает добычу.

— Уже почуял твою смерть,— улыбаясь, говорит лейтенант и целится карабином в небо.

Раздается выстрел, и я вижу, как черная птица, сложив крылья, обрывает свой полет. Падает в нескольких шагах от джипа.

Я напрягаю все свои силы, свое мужество — стараюсь сообщить их своему мозгу, своему языку, чтобы как можно больнее задеть лейтенанта:

— Ах, какая смелость! А мне плевать на этот спектакль! Достойное завершение стрельбы по уткам, которую ты устраивал на озере... Ты самый обыкновенный палач, дерьмовый палач — и ничего больше!

— Вот граница, к которой ты хотел выйти ночью,— говорит мне лейтенант, словно не слыша моих последних слов.— А теперь беги! — приказывает он.

В джипе завозился Ромуальдо.

— Но...— с трудом выговариваю я.

— Беги! Считаю до двадцати, потом стреляю,— заявляет лейтенант и начинает считать. Лицо его сурово, глаза сверкают. Я отступаю на несколько шагов.

— Но...— вырывается у меня.

Из джипа выскакивает Ромуальдо и, замявшись, останавливается. Стягивает шляпчонку, скребет затылок.

— ...четыре, пять...— невозмутимо и властно считает Флорес.

Я поворачиваюсь и бегу длинными прыжками, сознавая, что все бессмысленно. «Да остановись же, кретин»,— кричу самому себе, но ноги не повинуются мне... Десять, одиннадцать, двенадцать... Плоскогорье передо мной уходит в бесконечность. Ноги мои действуют сами по себе — усталости как не бывало. Легким моим, правда, не хватает воздуха, но и это не мешает бежать. Семнадцать... На пути моем рытвина — я теряю равновесие. Почти падаю. И тут замечаю, что взбираюсь по склону на косогор. «До вершины не добраться...» — проносится в голове. Девятнадцать... Еще три шага. Выстрел.

Громкое эхо разносит его звук далеко-далеко, должно быть сотрясая все горы вокруг... Я все еще бегу. Натыкаюсь на какие-то густые заросли, падаю навзничь. Поднимаюсь. Слышен еще выстрел. Собираю все свои силы — бегу дальше. Двадцать пять? Воздуха, воздуха моим легким, черт возьми! «Сейчас он сядет в джип и будет гнаться за мной столько, сколько вздумается»,— мелькает мысль. Вот и вершина. Больше бежать я не могу. Останавливаюсь — и прежде чем оказаться в Перу или в когтях смерти, оглядываюсь назад.

Там, внизу, стоит лейтенант Флорес. Он приветствует меня, размахивая фуражкой, зажатой в правой руке. Левая сжимает карабин. У ног его лежит распростертое на земле тело предателя Ромуальдо Киспе.

■

ДЮЛА ИЙЕШ

В ладье Харона, или Симптомы старости

РОМАН-ЭССЕ

Перевод с венгерского Т. ВОРОНКИНОЙ

Не тогда мы садимся в ладью Харона,
когда пробил наш смертный час.
Еще много раньше по этим водам
роковым уже носит нас.

Нас извечно судьба норовит пораньше
в этот челн усадить, и в нем
мимо дивного берега так же долго,
так же медленно мы плывем,

как в гондоле свадебной вдоль Канала —
те же небо, земля, вода,—
с тою разницей только, что наша лодка
держит путь уже не туда.

В остальном все так же, и берег дальний
нам милее еще вдвойне,
как мотив, который покинул скрипку,
но звучит еще в тишине.

И сидим, и шутим себе, и спорим —
так приятен привычный круг,—
когда вдруг качнется ладья и с нами
(только с нами!) отчалит вдруг...

Мудрый встретит улыбкой тот путь, слезами
благодарственными из глаз
за все пьяцца, за все эти Casa d'Oro[1],
что увидел хотя бы раз![2]

---

[1] Дворец в Венеции, памятник архитектуры XV в. *(Здесь и далее — примечания переводчика.)*

[2] Стихи переведены Юрием Левитанским.

© Illyés Gyula, 1969.

Иллюстрации Миклоша Боршоша

Юлишка

— Ох, Барышня, и чего только опять не судачат на деревне про вас и про господина писателя!

— Что же именно, Юлишка?

— Будто бы господин писатель улиток ест!

— Но, милая Юлишка, мой муж действительно ест виноградных улиток! И я тоже их ем.

Молчание.

— Зато я не ем! — взрывает лед паузы звонкий, жизнерадостный и от полноты жизни задорный до дерзости голосок девчушки лет шести-семи.

Но Юлишка — семидесятилетняя Юлишка — лишь чуть заметным поворотом головы и брошенным искоса взглядом выражает вопрошающее «почему». Да и то не сразу, а какое-то время погодя.

— Они все такие скользкие, противные! Ни за что на свете не согласилась бы проглотить улитку! Брррр!

Наконец — после новой паузы — Юлишка, с неподражаемым оттенком порицания:

— Скажете тоже: вот ведь мама ваша их кушает.

Юлишка знает свою Барышню с пеленок. Она уж и сама запамятовала, какой год кряду ходит стирать, а иногда и готовить (правда, только в летние месяцы) на это в полном смысле слова благородное семейство. А господина писателя она знает с тех пор, как однажды, в июне, он так неожиданно водворился в их красивом доме на берегу озера — в качестве мужа Барышни.

Юлишка и его отнесла было к истинно благородным людям и числила среди них вплоть до того праздничного воскресного обеда, пока собственными ушами не услыхала от молодого хозяина, что бывали в его жизни периоды, когда он месяцами перебивался сухомяткой. Без тарелки супа, вообще без горячего!

И ее прежнее твердое мнение о муже Барышни как человеке благородном поколебалось. Хотя и теперь ей хотелось бы видеть в нем по возможности только хорошее. Она по-прежнему держала открытой для господина писателя дорогу к своему старому сердцу, простому и незлобивому.

Через два дня снова появились улитки.

Ночью шел дождь; в такую погоду виноградные улитки обычно вылезают из своих укрытий: им легче ползать по влажной траве. Барышнин муж еще неделю назад отыскал на чердаке разбитую оплетенную бутыль; кропотливо, не жалея труда, выковырял по стеклышку, и пустая плетенка стала теперь садком для улиток; он насобирал уже с полплетенки.

Вот и сейчас он пытается подкормить свою живность. Сует им на пробу лепестки роз.

Юлишка — тоном человека, которому невтерпеж молчать при виде столь несусветного невежества:

— Не едят они это!

— А что они едят? Чем лучше их кормить? Особенно в неволе.

— Изволили знать господина Коложа?

— Кто это?

— Да он все больше по заграницам разъезжал. В Фехерваре был директором банковского дома. Так вот, господин Колож накажет, бывало, мелко-мелко нарезать капустных листьев и морковной ботвы — тем и кормил улиток, а держал их в большом корыте.

— Все-то вы знаете, Юлишка! Уж наверное, вы и жарить их умеете? Господин Колож как их готовил?

— И не спрашивайте! Он только покажется с ними на кухню, а я сразу шасть за порог, еще и дверь не успевала за ним захлопнуться.

Вот и сейчас она поспешно уходит.

Один из зятьев Юлишки служит матросом на пароходике, он же проверяет там билеты.

На голове у него красуется «адмиральская» фуражка, но если жара идет на подъем, а поток пассажиров на убыль, да и те что есть — сплошь все друзья-приятели, матрос несет вахту босым.

— Я слышал, товарищ, вы хотели, чтобы мама приготовила вам улиток? — спрашивает он.

— Ну уж нет, этой чести я ей не уступлю. Особенно теперь, когда я обзавелся поваренной книгой о съедобных улитках!

— А мама-то наша, уж кому она только не плакалась. Как есть всю деревню перебаламутила.

— Да нет, она, наверное, старалась унять пересуды. Вот и жене пересказывала всякие слухи о моей охоте на улиток.

— Ну а кто эти слухи-то распускает? Кто, кроме мамы, мог узнать, чего это выискивает товарищ в своем собственном саду? — торжествующе вопрошает адмирал, подворачивая штанины и погружая ноги в ведро с водой, вода ему требуется, чтобы время от времени окатывать безлюдную палубу.

Улитки никак не сползают с повестки дня.

Прошло три недели, в доме затеяна большая стирка.

Над корытом, установленным в тени старой сосны, хлопочут две женщины, они обе трудятся в полнейшем душевном согласии, час сменяется часом. Юлишка будто и не стирает вовсе, а месит тесто. Засучив рукава до самого верха, заталкивает она внутрь корыта хлопья мыльной пены, которая вздымается горой и даже свешивается через края. А напротив Юлишки — девочка, дочка Барышни, ведь Барышня, к слову сказать, вот уже десять лет как замужем. Вооружившись длинной камышиной, девочка усердно дует, старается запустить в воздух гирлянду мыльных пузырей.

Бывают моменты, когда Юлишке кажется, что эта малышка в доме — существо чужеродное. Но как ни суди, а девчушка по праву относится к чтимой семье, она — ее кровь от крови, попала сюда, как говорится, на законном основании. А может статься, что Юлишке эта девочка вдвойне дороже: ведь она — зеница ока для той, кто для Юлишки и сама — свет в окошке.

К корыту приближается муж Барышни.

Юлишка наклоняется к девочке:

— Ну-тка, посторонитесь малость, кровиночка моя.

Юлишка слегка туговата на ухо, и потому шепот ее поражает слух метров с пяти. Барышнин муж останавливается возле корыта. Услышанную фразу он воспринимает так, будто Юлишка хочет доверительно сообщить ему что-то. Но тут же и забывает обо всем на свете, засмотревшись, как вздымаются одна другой выше эти Монбланы мыльной пены.

Юлишка не такая, чтобы первой заговаривать с мужчинами. Сейчас, однако, она вынуждена пойти на это.

— Правду ли говорят, будто вы изволили выписать поваренную книгу?

Специальность Барышнина мужа — постигать сокровеннейшие

движения человеческих душ. Мгновенно проносится у него в голове, как это может быть истолковано Юлишкой: выписать поваренную книгу в дом, куда вхожа — пусть раз в две недели, пусть ради стирки — повариха, в прошлом стряпавшая для знатных господ.

Но такого поворота и господин писатель не предвидел: на глазах у Юлишки блестят слезы!

Даже идущее из глубины сердца желание Барышня стесняется высказать как свое собственное. Поэтому разговор с Юлишкой она начинает так:

— Мужу не нравится, Юлишка, когда к маленькой девочке обращаются на «вы».

Юлишка отмалчивается.

— Еще в прошлом году вы говорили ей «ты»; мужу хотелось бы, чтоб вы и впредь к ней так обращались.

— Маленькая Барышня тоже говорит мне «вы».

— Но так и должно быть! Ведь она вам во внучки годится! — пытается возразить мать младшей Барышни.

Затем, чтобы расположить к себе Юлишку, отступается даже от собственного мужа вместе со всеми его присными.

— Уж так он приучен у себя дома, в пусте[1], откуда он родом.

Глаза у Юлишки мечут стрелы, когда она слышит это «у себя в пусте». Уж кто-кто, а она-то знает, что такое пуста. Жила там в стряпухах при барской усадьбе. Сама интонация ее голоса — отравленная стрела:

— Может, кто другой и приучен, а мне к этакому ни в жизнь не привыкнуть!

Барышня беспомощно озирается по сторонам, потом заглядывает в глаза Юлишке. Она улыбается, но улыбка ее — сама мольба.

Мольба тщетная.

— Значит, впредь будете говорить ей «ты»?

У Юлишки в запасе еще один убийственный аргумент. Она извлекает его со строгим и колким прищуром, как матерый душегуб — нож. И вонзает его безжалостно, по самую рукоятку.

— Барышне я тоже «тыкала», да не дольше, как до седьмого годика.

Вечером Барышнин муж дает волю накипевшей страсти:

— Что кроется в самом глубоком, самом потаенном уголке души семидесятилетней прачки?! Дух князя Тасило Фештетича![2] Но чтобы его туда занесло в поисках вечного пристанища — нет, даже я этого не мог предположить, хотя более надежного прибежища и не сыскать, это уж точно. Черт побери! Как видно, мир и вправду не переделаешь!

— Сгоряча, во всяком случае, трудно.

— Сгоряча! А ты знаешь, что выкинул наш Тасило сегодня после обеда?

— Что же?

— Когда ты рядом, она говорит девочке «ты», а с глазу на глаз продолжает ей «выкать».

— Старая она...

— Это ничуть не оправдание.

---

[1] Имеется в виду степь или поселок в степи, где основное население составляли батраки и сельскохозяйственные рабочие.

[2] Представитель старого аристократического рода, фанатический поборник кастовой ограниченности.

С раннего утра и допоздна в доме все трудятся. Вот и сейчас, помимо Барышни, неустанно хлопочет по хозяйству одна из бабушек. С головой погружена в работу и тетка, она же — крестная мать. Не присядет, снует по делам невестка; невестки в доме часто меняются, не уступая одна другой в деловитости. И наконец, не менее усердно трудится и дочка Барышни.

Эти постоянные хлопоты пяти-шести женщин пятикратно усугубляют в глазах Юлишки явное бездельничанье единственного в доме мужчины.

Ведь если разобраться, чем он, собственно, занимается начиная с утра, с того момента, как выходит из своей комнаты?

Со страдальческим видом слоняется по дому, жадно высматривая, не надо ли чего починить, поправить: защелку у двери, электроплитку, свою авторучку, кофейную мельницу, или насадить рукоятку какого ни есть инструмента. Если надо — полдня прокопается. А не надо? Совсем ничего не надо? Тогда физиономия его отражает еще горшие муки, и обреченной походкой, будто к зубному врачу, он плетется в верхний сад, что за домом.

По саду разносится радостный детский вопль. Барышня тотчас одергивает дочку:

— Не мешай папе, он работает!

Юлишка, не щадя натруженных ног и ноющей поясницы, карабкается по откосу, заглядывает в верхний сад.

Однажды лет пять назад она не выдержала, спросила у Барышни, сгорая со стыда от собственной дерзости:

— А чем занимается ваш уважаемый супруг?

— Он пишет заметки.

— Куда?

— В общую тетрадь, Юлишка.

Этакому может верить только бедная Барышня, ведь ее обвести вокруг пальца ничего не стоит.

Тетрадь, прижатая обломком кирпича, как лежала, так и лежит себе на жернове, а ее хозяин — все с тем же убитым видом, ну точно зубы болят, — мотается по саду. Копает (там, где не след); или возле каменной ограды якшается с Имре Канташем (правит ему косу); одним словом, и тут он хватается за работу, за какую и вовсе бы ему лучше не браться. Вот попалась ему на глаза беседка с провалившейся крышей; раздобыл камыша и сам давай крепить камыш проволокой; целых полдня просидел на крыше, а из себя солидный такой мужчина! Или же примостится где на ступеньках беседки, начнет кромсать карманным ножом ремешок у сандалий; штаны у него по колено, солнце жарит, а он знай покачивает головой и в невзрачненькой такой записной книжечке черкает что-то огрызком карандаша: покачает головой и задумается, похоже, складывает чего или считает; не худо бы узнать чего? А чуть ляжет роса, он уж и вскакивает, ворочает камни в саду: собирает улиток.

Барышня, горемычная, не только что в одиночку везет на себе домашнее хозяйство. Каждый день, будто нанятая, еще печатает на машинке и, судя по всему, не иначе как для этого же непутевого, что целыми днями прохлаждается да шастает вокруг дома, потому что Барышня как напечатает листик, так и несет ему.

А если когда и не печатает, то опять же не сидит сложа руки: и теперь все учится, даже между стряпней старается урвать минутку-другую, голова, знать, все занята делом, которое в городе ждет.

С тех давних пор, как Барышня научилась говорить, Юлишка каждое лето выпытывала у нее всю подноготную своими окольными, но

дотошными расспросами, а Барышня с общительностью воспитанной и благонравной девочки рассказывала Юлишке действительно все: и о своем учении, и об экзаменах, и о своих планах, но только не о той стороне жизни, о которой Юлишке, пожалуй, любопытнее всего было бы узнать.

Хорошо бы дознаться, к примеру, как это угораздило Барышню заполучить себе в мужья неповоротливого бездельника. И чего она так за него держится, этакая-то раскрасавица и происхождения благородного! Сама Юлишка сравнительно поздно вышла замуж (как все хорошие поварихи), и потому она зрелым разумом могла выверить глубины любви и страсти. Жалеючи смотрит она на Барышню — хотя та с виду кажется веселой и здоровой,— смотрит как на жертву какого-то темного, непостижимого сглаза-напасти. Но чем больше жалеет она Барышню, тем больше — к чести ее будь сказано — любит ее, сердешную.

Движимая любовью, неустанно наблюдает она, как этот незнамо откуда затесавшийся к ним чужак то бродит, точно неприкаянный, еле ноги волочит, а то и вовсе сиднем сидит, с места его не сдвинешь,— пожалуйте обслуживать его. Весь дом заставляет крутиться-вертеться вокруг своей драгоценной особы. А в воскресный день назовет к обеду дружков — бездельников себе под пару — и потчует их охальными побасенками.

Юлишка идет по главной улице деревни, на голове у нее полная корзина — и не просто корзина, а та, что принята в крестьянском обиходе за меру, причем не только полная, до краев, но даже сверху выпирают кукурузные початки.

Старой женщине приходится делать передышки, потому что улица здесь вздымается круто, что твоя лестница. Юлишка тяжело отдувается, поглаживает поясницу — восьмой десяток, не шутка.

Еще немного прошла и опять останавливается передохнуть. Прислонила ношу к забору, так ей легче, пусть на минуту, а все лишняя тяжесть долой.

— Давайте-ка снимем ее ненадолго! — слышит она вдруг за спиной.

Господский зять, Барышнин муж, стоит рядом с ней. Не успела глазом моргнуть, как тот уже снял корзину и поставил ее на землю.

— Для дома, для хозяйства, Юлишка?

— Да вот, собралась полущить цыплятам на корм.

Еще минуту поговорили о том о сем. Пора уже двигаться дальше, а тут Барышнин муж возьми да и скажи:

— Беритесь-ка за вторую ручку, Юлишка. Нам все равно по пути!

Юлишка противится, отнекивается; на старом лице появляется застенчивое выражение: того гляди, девичий румянец зальет огрубелую кожу.

— Не извольте беспокоиться.

Все же наконец она берется за ручку корзины.

Они проходят десять, пятнадцать шагов; потом Юлишка норовит поставить корзину. Не из-за собственной немощи! Она щадит его милость. Не господское это дело, не пристало его милости!

— Дозвольте, я сама понесу! Хороша хозяйка: не управиться с этакой безделицей.

Дорога круто вздымается в гору. Отсюда деревенская улица — все равно что проспект в городе. По обе стороны дома плотно жмутся

друг к другу. И народу на улице прибывает. Хозяева подметают дорожки перед домами.

Сегодня суббота, и время за полдень.

— Премного благодарна за вашу любезность, теперь попрошу, пособите поднять корзину на голову.

— Зачем это, если нам все равно по пути?

— Не пристало вашей милости таскать ношу!

— Почему? — спрашивает «его милость», глядя Юлишке прямо в глаза.

Неужели краска все-таки залила огрубелое, продубленное трудом и заботами лицо? Юлишка вздыхает, как человек, вынужденный примириться с чем-то, что ему весьма не по душе. Взгляд ее неприязненно скользит вдоль улицы, где с ней все чаще раскланиваются знакомые и ей все чаще приходится отвечать на приветствия.

Когда она вновь заговаривает с мужем Барышни, голос ее звучит любезно, но в горле как будто комок какой.

— Ну, вот я и добралась.

Поставив корзину на землю, она дергает щеколду, намереваясь нырнуть в калитку.

— Разве вы не домой направлялись, Юлишка?

— Премного благодарна вам за любезность, за доброту вашу. А только мне сюда...

И она тянет ношу в узкую калитку.

— Не стоит благодарности, Юлишка.

В следующий раз, когда Барышнин муж садится на пароходик и суденышко выруливает на середину озера, на безлюдной палубе к нему подходит адмирал, как обычно босой и в штанах, закатанных по колено. Вначале обсуждаются насущные темы: где какой клев, как и чем опрыскивать садовые деревья,— после чего адмирал делает потрясающее сообщение:

— А маму-то нашу вы, товарищ, ей-ей, обратили в святого Петра!

— Каким образом?

— Да в прошлый раз, как втащила она во двор к мельнику свою кукурузу, мельничиха и спрашивает у нее: кто-де помогал тебе нести корзину? — «Почем я знаю!» — «А мне показалось, ты к ним ходишь стирать, ведь это, сдается мне, был Барышнин муж!» — это мельничиха ей.— «И вовсе не он!» — «Так кто же это был?» — «Ведь сказала я, деревенский какой-то».

— Вы сами при этом были? Слышали собственными ушами?

— Именно что так и сказала: «Деревенский какой-то, почем мне знать кто!» — удачно копируя Юлишку, смеется адмирал.— Ну ни дать ни взять святой Петр, когда тот перед стражниками отрекся от Иисуса Христа. Я уж и то не удержался, говорю ей: «Ну, мама, сей момент бы только петуху прокукарекать!»

— Куда запропастились эти батоны?!

В битком набитой кладовке я переворачиваю все вверх дном; время — пять утра, надо успеть к поезду.

— Какие батоны?

— Два, пятилитровые!

— Батоны? — В неизменно ровном, профессионально ласковом тоне моей жены проскальзывает удивление. Всем нам знаком жест досады на самого себя, когда мы совершаем какую-нибудь оплошность. Именно такой жест предваряет мой ответ:

— Бидоны!

Через короткое время словесный сбой повторяется: «Здесь надо подклеить корешок, не могу я в потрепанном виде возвращать книги в библиотеку». И эта сцена также разыгрывается рано утром, и тоже в спешке:

— Разыщи мне бикарбонат!

— Чтобы подклеить книгу?

Снова раздраженный жест, досада на самого себя:

— Гуммиарабик!

На очередном заседании меня трогает за рукав один из собратьев по перу:

— Х. говорил, будто бы ты сердит на меня. Скажи хоть за что?

А я и не помню за что! Но отмалчиваюсь, так как уже имел возможность убедиться, что некоторые вещи начисто выпадают у меня из памяти.

Коллега протягивает мне спасительную десницу:

— Может, ты вовсе и не говорил ему ничего.

Подобные осечки меня попросту забавляют, если они касаются меня одного. Однако на сей раз во мне закипает глухое раздражение. Оно-то, по-видимому, и есть подспудное доказательство того, что я действительно когда-то за что-то был сердит на этого человека.

— Не помню, может, и говорил что, а может, и нет.

— Значит, ты не был на меня сердит?

— Как бы не так!

— Тогда скажи хоть за что?

— Разве все упомнишь!

Я и Д. К. стоим у бензоколонки в Фюреде. Ждем автобуса на Тихань. Собственно, ехать собираюсь только я; мой спутник просто вышел прогуляться и закончить начатую беседу. Автобус здесь ходит каждые три часа. И сейчас, минут через десять-пятнадцать он вынырнет из предвечернего сумрака, затопившего остановку.

И автобус действительно выныривает из сумерек и подкатывает к остановке. Он тормозит, резко распахиваются пневматические двери и точно так же быстро захлопываются, потому что никто не садится.

Мы продолжаем ждать, нас по-прежнему только двое на остановке. Проходит не менее получаса... Час...

Заправщик бензоколонки — мой давний знакомый, что дает мне право без церемоний окликнуть его через дорогу; чуть повышенным тоном я спрашиваю, уж не изменилось ли расписание тиханьского автобуса.

— С чего бы это ему меняться! Как раз последний и шел на Тихань.

Все верно, теперь я вспомнил даже молодого кондуктора, тоже давнего моего знакомца. А в те считанные секунды, когда двери раскрылись, но еще не захлопнулись, он даже выглянул из автобуса.

Отчего же тогда я не сел? Сейчас, задним числом, все вмиг прояснилось.

Автобус показался мне существом враждебным. Уже то, как он полз сюда, к перекрестку, и как полыхнули красным его глаза-подфарники. Как лениво надвигался на нас своей грязно-серой тушей; и даже сама манера его вкрадчиво притормаживать показалась мне отвратительной. А уж это самодовольное лязганье дверей!

Нет уж, теперь я стал разборчив; я прислушиваюсь к подсказке своей души.

Зубной врач на тысячную долю миллиметра смещает бур, и тотчас боль взрывается пучками молний, искры сыплются из глаз. Я не вздрагиваю, но, должно быть, срабатывает безошибочный врачебный инстинкт, потому что я слышу: «Больно?» Ловлю себя на том, что занят самоанализом. Хотя мне больно, хотя боль растет, но, не ведая сам, под давлением каких переживаний, я погружаюсь в безразличие и жестом, почти пренебрежительным, даю понять: сверли дальше, мне все равно.

«Вы не чувствовали боли?!» — недоверчиво, едва ли не подозрительно допытывается врач, кончив меня терзать. Теперь уже ничто не мешает моему языку, я могу заговорить, однако немотой сковано все мое тело; я отвечаю взглядом: больно не больно, какая разница?

С языка готова сорваться фраза: «Терпеть можно», однако я вновь ограничиваюсь жестом и сам не понимаю, с чего я взял, будто бы боль терпима; может, это продиктовал мой жизненный опыт или внушили какие-то друзья-приятели — кто знает, к чему этот волчий оскал улыбки. Ведь истина в том, что подобной боли мне в жизни не доводилось испытывать, потому-то я и приглядывался к самому себе как бы со стороны: сколько я вынесу, где предел?

Что годы предательски быстро летят и что время нарушило все свои обязательства, я принимаю как должное. Мне наскучили причуды времени, однако я уступаю им — с быстротою фокусника отсчитывает оно мои года,— равно как принимаю на веру столбцы цифр, набрасываемые ловким карандашом официанта. Я не доверяю времени, но я приноровился к его подозрительной алгебре настолько, что отношусь к его манипуляциям свысока. И даже больше того, из чистого упрямства — доказывая свою независимость,— я сам помогаю времени обсчитывать себя и делаю это почти инстинктивно. Даже не отдаю себе в этом отчета!

Подчас я ловлю себя на том, что когда меня спрашивают о годах, мне хочется назвать цифру, лет на десять или пятнадцать завышающую истинный мой возраст. Не только в конце года, но и при смене его времен мне кажется, что минул полный год. А помимо того существуют праздники, разные там пасхи, дни именин. По мне, все это тоже самостоятельные единицы времяисчисления: знай скачет и мелькает карандаш, и этот счет не поддается проверке.

Не будь за мной присмотра, иначе говоря, если бы жена не поправляла меня постоянно — на людях или с глазу на глаз,— я давно бы объявил всем, что мне полтораста или добрых две сотни лет. Я убежден, что ошеломляющий нас сверхпреклонный возраст ветхозаветных старцев Мафусаила и иже с ним объясняется не тем, что тогда по-иному вели отсчет лет, а тем, что не вошло тогда в обычай — и едва ли были к тому возможности — с дотошностью нашего времени подсчитывать годы, прожитые отдельным человеком. А потому легко представить, что, когда их все же спрашивали о возрасте, старцы, отчасти произвольно, а отчасти имея на то свои основания, называли поистине астрономические цифры прожитых лет, в слаженном соперничестве друг перед другом уподобясь скакунам у финиша.

Особого воображения тут не требовалось — довольно было окинуть взглядом окрестные шатры, табор кровных отпрысков, меж которыми были и старцы с длиннейшими седыми бородами, деды их правнуков!

Я уважаю в женщинах и признаю за ними своего рода экстерриториальное право, с каким они — каждая в меру своего темперамента — манипулируют отсчетом прожитых ими лет. Хотя я не разделяю

этих их чувств. Переоценивая силу календарных лет, заранее страшась погрома, чинимого временем, они стремятся удержать свой возраст в деспотических шорах. Я тоже склонен претендовать на право экстерриториальности возраста. Но стою на противоположном полюсе. Можно ли пренебречь столь редкой ситуацией: говорить и чувствовать, что тебе идет двухсотсемидесятый год, и одновременно, полуобернувшись, с искушенностью библейского Авраама провожать взглядом какую-либо юную даму! Кто способен в возрасте четырехсот двадцати лет с первыми лучами солнца отправиться на озеро или в бассейн, чтобы поплавать вдосталь, да при этом еще разок-другой нырнуть головой вперед? Тот, кто достаточно умен, чтобы за мыслями о времени не забывать себя. Нужно ли еще тратить слова в защиту относительности времени как мироощущения?

Коль скоро эскулапы постигли искусство заменять почти любой из органов человеческого тела, бессмертие в принципе достигнуто: ставишь запасную часть, и вся недолга. А уж когда врачи научатся заменять сознание и в особенности память! Еще один виток в истории человечества, и возможно, что на свет появятся младенцы с запасом жизни лет в триста как минимум. Однако велик ли будет выигрыш, если и эти долгие годы люди станут считать-пересчитывать с той же навязчивой скрупулезностью? А для чего? Чтобы еще того дольше метаться в панике, чтобы дольше мучить себя страхом смерти.

Стало быть, засорившийся мундштук надо продуть с другого конца. Не время должно довлеть надо мною, а я — полновластно распоряжаться временем, и, понятное дело, как можно дольше.

Расположимся на очень низком сиденье, к примеру, в провисшем чуть ли не до пола шезлонге, ненадолго расслабим мускулы и затем попробуем рывком подняться на ноги. Пока мы дергаемся, пытаясь выкарабкаться, с лица у нас не сходит улыбка.

Та же улыбка, как если бы кто-то, стоя позади шезлонга, удерживал нас за плечи. Конечно же, этот кто-то — один из приятных нам людей. Или как если бы тот же человек, подкравшись со спины, ладонями прикрыл наши глаза: в шутку, чтобы на секунду мы ослепли.

И чем настойчивее наши попытки тотчас же с детской резвостью вскочить на ноги, тем шире, лучезарнее становится наша улыбка. Можно подумать, что игра лицевых мускулов находится в прямой зависимости от мышц ног и спины. Как в народном поверье, будто бы рябь и пенистые гребешки на поверхности горных озер как-то связаны с волнением океанов. Внизу — буря и, возможно, кораблекрушение, а наверху, в горах,— всего лишь переливчатый отблеск водной глади.

Но вот мы и встали. Ничего, что слегка запыхались, но лицо наше светится торжеством: иной раз даже вырвется легкий смешок. Как бы в самооправдание. И не только перед другими. Перед самим собой тоже. Над чем же мы в таком случае потешаемся?

У смерти свой юмор. С точки зрения подростка, неожиданный тычок или каверзная подножка — верх остроумия. Шутки смерти не менее плоски: она подкрадывается к нам исподтишка, играя с нами то ли в прятки, то ли в жмурки. Но отчего же мы втягиваемся в эти забавы, место которым разве что на школьном дворе? Играя в чехарду и пританцовывая, приближаемся мы к собственной кончине. Самое время одуматься и стать серьезнее.

Но подойдем к этой теме с другой стороны.

Дебрецен времен первой мировой войны, год 1917-й; Лёринц Сабо[1], студент, влюбленный в Като Дьенеш. И вот он замечает, что бабушка Като, старая Дьенеш, поднимаясь по лестнице, всякий раз стонет и охает; этих стонов и охов было ровно столько, сколько ступенек на лестнице. В полной уверенности, что бабушка Дьенеш больна, автор «Стрекота кузнечика», и в ту пору жаждавший познать природу человеческих страданий, спросил, отчего старушка стонет.

— Оттого, сынок, что облегчает душу!

И рассмеялась. Объяснение тому двояко. Первая из причин — насмешка над шутовскими уловками Старухи с косой, чьи проделки под стать дурачествам подмастерья. Другая причина и значительнее первой, и возвышеннее: ею вполне могло стать удовлетворение от того, сколь точно — пусть даже выведя самое себя на чистую воду — старушке удалось выразить свое ощущение.

А это и есть самая действенная — и, пожалуй, единственная—защита против гримас и кривляний Старухи.

Смерть, когда она впервые дает нам знать о своем приближении, поначалу вызывает комическую реакцию, потому что тогда она — как все, что мы подвергаем осмеянию,— теряет свою непреложность: вроде бы и есть она, и ее нет, наш разум одновременно и оповещает о ней, и отрицает ее. Поначалу уверенный в себе, наш трезвый разум смехом встречает первые заигрывания смерти, потому что — приспособим мысль к ее манере — смерть приближается, словно удаляясь. Потому что она — само противоречие. Потому что бессмыслицу, какую она собой являет, она осмеливается проделывать над взрослыми людьми, осознающими свои цели и задачи, над убежденными тружениками и созидателями, которые, выверяя жизнь логикой, не только производят вино или самолеты, но строят планы на будущее и рожают детей, возводят на века мосты и создают стихи или химические формулы, не подвластные времени. И вот к этим-то людям дерзает она приближаться, то повернувшись к ним спиной, то заманивая и пятясь, на манер Петрушки или Балды, забавных разве что для несмышленышей! Достойным ответом будет: присесть на корточки позади нее, чтобы, пятясь, она полетела вверх тормашками. Коль скоро уж мы дали втянуть себя в эту игру.

Стало быть, у нас есть еще возможность выбора, когда мы впервые осознаем, что не болезнь и не усталость тому причина и даже не заплечный мешок, который мы случайно забыли скинуть, мешает нам с присущей вчера еще живостью вскочить с низкого ложа или сиденья. Первый ответный импульс человеческой натуры — можно сказать, подсказка мускулов — улыбнуться. Даже расхохотаться и хохотать тем безудержнее — а оснований для этого у нас все больше,— чем долее тянется эта неловкая ситуация.

Пока мы с безукоризненною логикой излагаем эти истории, дело на первый взгляд кажется довольно простым. Кто-то задумал вдруг подшутить надо мною, и потому я, естественно, отвечаю смехом. Все так, но ведь подобного рода плоские шутки, в особенности же когда они затягиваются, мне претят. И все же я улыбаюсь; потому, быть может, что эту вульгарную шутку я разыгрываю сам над собой. Но в чем же тогда здесь юмор? Разве что предположить, будто эти низкопробные коленца взаправду выкидываю я, но смеюсь я не над собой. Значит, над кем-то другим? Не исключено. Допустим, над человеком, кому пришла в голову блажь вдруг резко вскочить на ноги из сидячей позы: ну как тут не насмехаться, да я откровенно смеюсь над ним, потому

[1] Лёринц Сабо (1900—1957) — видный венгерский поэт; наиболее значительное его произведение — лирико-автобиографическая поэма «Стрекот кузнечика».

что отнюдь не отождествляю себя с ним. Да он и впрямь совсем не похож на меня! Все повадки его — иные, не те, что свойственны мне, как фиксировал мой разум! И даже более того: совсем не те, какие тот же разум фиксирует сейчас, в первый момент столь необычного знакомства со Старой...

Конечно, эти судорожные попытки вскочить на ноги пробуждают в нас и другие мысли. Но поначалу ошеломление подавляет их.

Я существую и в то же время самим фактом своего существования утверждаю небытие, поскольку человек смертен: здесь столь же явное противоречие, как если бы я приближался к чему-либо и одновременно отдалялся от того же места. Нам остается быть признательными природе человека за то, что она отвечает на ситуацию юмором наидревнейшего ранга — непритязательным юмором дружеских пирушек или гуляний с ряженными. То, что уходит,— стирается, отрицает себя. Но человек не должен отрицать себя. А мужчина — тем паче! Уважающий себя человеческий разум признает логичность этого процесса лишь в отношении вещей, сработанных человеком: поделок, механизмов, то есть мерит длительность их жизни сроком действия. Иное дело растения или животные: миг, когда обрывается их жизнь, буквально неуловим. Как и миг возникновения их жизни. Это проистекает из самой сути общей нашей с ними вечно живой природы.

Наше чувство, «душа», подсказывает нам, конечно, иной ответ. Но ведь мы не первый день относимся с подозрением к советам так называемой души. Какова она в действительности, эта пресловутая душа? В представлении многих она — невинная девственница: это-де лучшая половина нашего существа! Однако эта половина готова сожительствовать с любым сутенером не хуже профессиональной шлюхи — что тоже установленный факт.

Так пригласим же этих двух свидетелей как равных и выслушаем их с должной беспристрастностью. При этом условимся делать хотя бы мину судьи непредвзятого и делом этим участливо заинтересованного. Жду свидетельских показаний, непреложных фактов.

Другого нам судьбою не дано. Но это к нашим услугам. Вести подобное следствие, очевидно, потому так интересно, что нас захватывает процесс вскрытия мотивов, вынесения окончательного приговора, установления истины.

Давно же я не видел себя! Самое время для короткого рандеву. Интересно все-таки, как я выгляжу? Люди, отпускающие себе бороды, не лишены мудрости: по крайней мере, они избавлены от необходимости ежедневно или через день сталкиваться лицом к лицу с самым придирчивым из очевидцев, с тем, кто для них одновременно и кредитор и должник. Была своя мудрость и в том, как люди пользовались доброй старой опасной бритвой: сначала ее извлекали из продолговатого футляра и, прежде чем пустить в дело, каждый раз тщательно правили, откидывали лезвие под углом к рукоятке, а затем с сосредоточенной бережностью касались щеки. Начать таким образом день — все равно что начать его с очищения души: отринув сторонние мысли, по-буддистски углубиться в себя. Разгадка в том, что люди, пользующиеся опасными, остро правленными лезвиями, из года в год и десятилетиями видят в зеркале лишь одно: как бритва подбирается к щетине; этим людям не случалось заглядывать в собственные глаза — так утверждают очевидцы. Бродячие цирюльники, те, что ходили из дома в дом, с презрением отзывались о клиентах, которые после их работы требовали зеркало, чтоб взглянуть на себя проверки

ради! Именно по этой причине цирюльники тех времен вообще не держали зеркала в чемоданчике с принадлежностями для бритья.

Бреющимся электрической бритвой зеркало заменяют кончики их пальцев; а кончики пальцев особенно чувствительны в темноте. С тех пор как я перешел на электрическую бритву, случается, я месяцами не вижу смерти. Я беззаботно старею, отгородясь от всех должников своих и кредиторов.

Не осталось ли где щетины на подбородке, я проверяю левой рукой, на левой кончики пальцев более чувствительны. Тем самым сразу убиваешь двух зайцев. Осязательные нервы, не в пример нервам зрительным, хотя и точнее скажут мне о пропущенном волоске, о морщинах предупредительно не обмолвятся ни словом. Преимущество первое, но есть и другое: сколько бы я ни водил пальцами по своей физиономии, отыскивая огрехи, всякий раз я, в сущности, ласково поглаживаю, утешаю самого себя. Воскрешаю в памяти жест, каким в пору далекого детства касались мальчишеского лица взрослые и чаще других, конечно, моя мать, вкладывая в тот жест всю свою нежность ко мне.

Что пора бы отдать себя под контроль светочувствительным нервам — эта мысль обычно приходит мне на ум с приближением субботы. Но для рандеву с самим собою здесь, в этом уединенном тиховском доме мне необходимо перейти в другую комнату, вернее, подняться на второй этаж, там стоит шкаф, в дверцу которого женщины — по моде, завезенной из Франции,— велели врезать зеркало.

Однако неделю за неделей я забываю про зеркало и потому не попадаюсь самому себе на глаза. Так что отображение мое месяцами пылится в больших городах, подкарауливая меня где-либо в витринах, в зеркальной глубине которых прохожий, обозревающий выставленные товары, на заднем плане (позади декоративных цветочных ваз, ночников или дамских шляп, да и по ценности, пожалуй, тоже не случайно попавший туда) вдруг натыкается на собственный портрет.

На дворе март, а я с начала года, пожалуй, еще и не видел себя. Ну, а в прошлом году?

Чтобы установить в точности, когда же мы расстались, приходится возвратиться в далекое прошлое. Проблему ужинов мы разрешили в Копенгагене довольно просто, ужиная дома, в небольшом уютном номере миссионерской гостиницы, и пробавлялись преимущественно молоком, несравненным молоком датских ферм. Через неделю врожденная галантность, желание сделать приятное близкому человеку толкнули меня на бунт против экономии. В то время как вдохновительница бережливого отношения к карману задержалась в молочном павильоне, который по чистоте соперничал с провизорской, я подступил к стерильно чистой витрине ближайшего гастрономического магазина. Тут рыба всех сортов, устрицы, морские и речные раки предлагали себя наперебой, в расчете на всякий вкус — в натуральном виде и заливными, в маринаде и засоле, выложенные на фарфоровые блюда и на пластмассовые тарелочки, в открытых коробках и закрытых; вся эта снедь наступала со стеклянных полок, идущих ярусами из глубины витрины. Дальняя стена той витрины — дабы подчеркнуть чистоту ее и приумножить изобилие — была забрана огромным зеркалом. На нижних полках разместились более дешевые продукты, разные салаты и пикули; мне пришлось присесть на корточки, чтобы прочитать обозначенные на маленьких ярлычках цены. В памяти моей и посейчас живо то лицо из глубины витрины: чревоугодие и скаредность встретились со мной глазами, выглядывая то из-за консервированных маслин, то из-за банок с огурцами.

К старости у человека вытягивается нос. О чем нас известил еще

Костолани[1] и тотчас утешил шуткой: все мы вешаем нос, расставаясь с жизнью.

Уши к старости тоже пускаются в рост. И об этом также мне известно не из учебника анатомии, а из дневника помышлявшего о самоубийстве Дриё Ла Рошеля[2]. Он тоже не удержался, чтобы не прокомментировать этот факт убедительно и с литературным блеском: «L'homme montre, en prenant de l'âge qu'il n'est qu'un âne» — с годами по человеку становится видно, что он не более как осел.

Так, стало быть, все мы уныло бредем по неминуемому пути? Но на путника, на его внешний облик можно взглянуть и иначе. Нос вытягивается в длину оттого, что только теперь пришло умение принюхиваться к следу; а уши растут оттого, что всегда навострены, как бы не пропустить чего мимо ушей.

Самая непослушная часть человеческого лица — безусловно, нос. И неуклонное его разрастание мы, пожалуй, еще могли бы принять снисходительно, если не с чувством успокоения. Тем более, что существует теория, вернее, давний спор между коротконосыми в большинстве своем англичанами и аборигенами южной Франции, обладателями горбатых носов, будто бы нос — свидетельство незаурядного ума, утверждают даже, следствие ума. По этой теории, увеличившийся к преклонным годам нос есть признак зрелого разума или, можно и так сказать, его неотъемлемое условие.

Но факт, что красноречивее носа ни одна часть человеческого лица не отражает той борьбы, которую душа наша ведет с бренностью плоти. По сравнению с глазами или ртом нос куда более своенравен. Подурнеть самым каверзным образом — это он умеет; но не без того, чтобы сохранить при этом известную внушительность и даже задор. Наверное, есть своя логика, и отнюдь не случайная, в том, что клоуны, шуты на масленичных гуляниях, актеры commedia dell'arte в своих масках больше всего подчеркивали уродство носа; если образ трагикомического казался им недостаточно броским, они привязывали к носу огромный стручок перца из папье-маше.

Именно потому женщины, направляемые верным инстинктом, едва осознав, что их чувство прекрасного затронуто мужчиной не первой молодости, на лице, пробудившем симпатию, в первую очередь отмечают нос и стараются дать ему свою оценку. С обособлением носа и другие части лица — губы и впадины глаз — тоже становятся более выразительными; обретя независимость, они обретают свой голос.

Над страдальческими ужимками шута мы смеемся лишь потому, что они сменяются мгновенно. То же самое выражение боли или отчаяния на лице, будь переход к нему более плавным и более естественным, вызвало бы у нас не смех, а слезы.

Время, что с постарением нашим неистово ускоряет свой бег, преображает нас примерно в таких вот шутов. Старинному приятелю по школе, с которым по глубокому нашему убеждению мы виделись какой-нибудь месяц назад (на самом деле минуло лет пять), нам больше всего хочется задать вопрос: «Что это ты опять с собой сотворил?» Столь смешной — и глубоко ранящей — нам кажется гримаса, наложенная старостью на его лицо. А все потому, что перемены застали нас врасплох.

Избитый прием комедиографов — нагромождать к финалу трюки: тем самым «напрягаются» динамика действия и диафрагмы зрителей. Мольер оставлял свои комедии незавершенными, а если завершал их,

[1] Дежё Костолани (1885—1936) — известный венгерский писатель, поэт, публицист.
[2] Пьер Дриё Ла Рошель (1893—1945) — французский писатель.

то финал был горек. Человека, участь человеческую он принимал всерьез. Ни смерть, ни распорядитель ее — сам господь бог — не принимают нас всерьез. Остается только один ответ, достойный человека: тоже не принимать их всерьез.

Я отворачиваюсь от друзей своих:
Их лица для меня — зеркал непрошеная вереница.
По их улыбкам с ужасом я вижу,
Как ломится ко мне всесокрушающая смерть.

Однако я умею владеть собой. Нет во мне той, впрочем, не столь уж редкой страстишки подмечать в других людях признаки старости. В себе же самом я их высматриваю с каким-то упоительно-горьким наслаждением, с удовлетворением подозрительного свойства. Но чтобы я за кем-то стал подглядывать! Наблюдать человека в минуты его воссоединения со смертью вряд ли более пристойно и этично, нежели застичь его в высший момент любовного экстаза. Сопричастность к обеим ситуациям даже в смысле права быть свидетелем — неотторжимая собственность индивида. А подтверждается это мое наитие тем фактом, что, и встречаясь со смертью, человек не борется с нею, но, сливаясь, растворяется в ней.

И все же наблюдать симптомы старости только у себя самого, уподобившись врачу, до последней минуты сознания фиксирующему ход своей болезни, скажем, рост злокачественной опухоли,— для взыскательного лирика это дешевые лавры. Ну а пример исследователей Южного полюса, когда они в своих ледовых склепах вели дневник об атаках холода, покуда не отказывали коченеющие пальцы? Это героизм, но с нашей точки зрения он излишне патетичен и не свободен от рисовки — мы видели, как люди шли на смерть!

Но тогда какой избрать масштаб для той карты, по которой я проложу свой собственный маршрут? Последний свой маршрут! И, как там ни крути, он будет моим заветом. Как ни отпугивает меня в сем деле очевидная его банальность, как ни претит возможность быть заподозренным в кокетстве, выклянчивая каплю жалости, толику сострадания к себе.

Незаметно подкравшись, провести по подбородку вымазанным в саже пальцем или украдкой подрисовать усы — шутки такого пошиба даже малый ребенок едва терпит, надувши губы на своих старших сестренок, а в общем веселье семьи он участвует разве что поневоле.

Так же вот и все проделки старости, самочинно уродующей наши лица, мы должны ставить много ниже тех грубых шуток, что она вытворяет внутри организма — с нашими мускулами и рассудком.

Здесь уместно будет привести одно письмо. Хотя и несколько кружным путем, однако попадает оно на ту же улицу и затрагивает ту же тему праведного негодования, вокруг да около которой мы крутимся с нашими откровениями.

«С тех самых пор — тому полтора года,— как я стал пользоваться электробритвой, я тоже редко смотрюсь в зеркало. И со мною та же история: постепенно тускнеет в памяти, забывается собственное лицо. Точнее говоря, последнее из зафиксированных обличий я смешиваю со своими более ранними и хорошо знакомыми мне отображениями. Сознание мое рисует этакий сводный портрет и на том успокаивается: образ неизменен, подобен портрету, созданному кистью.

Но слушай дальше. На днях мне все-таки пришлось взглянуть на самого себя; не в зеркале, а на фотографии. Снимок был сделан совсем недавно, незаметно для меня и отнюдь не ради моей персоны.

Я там — побочная фигура в компании; образовался непринужденный круг, кто-то завладел вниманием общества, я слушаю... с непередаваемо бессмысленной ухмылкой на физиономии.

Глаза — не придерешься: глаза — мои. Лоб тоже. И седые космы, уж эти точно, что мои.

Но зато ухмылка и эта тупость, почти скотоподобная,— они разят в самое сердце, все во мне бунтует.

Это выражение, прилипшее к моему лицу, неужели оно теперь навек мое? Неужели рот мой навсегда застыл в уродливой гримасе?

Мой разум противится твоим рассуждениям. Не вижу здесь повода к потехе или острословию.

Я отыскиваю свое старое зеркало для бритья и подхожу к окну.

Как это я смеялся там, в тот момент, когда делали снимок? Так? И я улыбаюсь, как обычно привык улыбаться.

В зеркале появляется страшная маска. Та же самая, что на фотографии. Или то перестроились сами мускулы моего лица?

Я улыбаюсь еще раз; осторожно, как пробуют ржавый замок.

Результат тот же самый.

Я отворачиваюсь и пытаюсь без зеркала «разработать» мускулы лица, которые участвуют в улыбке. Потом, когда улыбка отделана в совершенстве, я неожиданно снова заглядываю в зеркало: да, теперь все иначе, теперь это моя улыбка, доподлинная, прежняя.

И вновь наскоки старости меня ошеломляют. Лицо мое деформировано. Там, где прежде была резкая линия, теперь дряблая извилина, вместо гладкой некогда равнины — бугры и ухабы.

Да, мускулы моего лица явно попали в чужие руки. Какой-то кукольник, разнузданный комедиант дергает их по своему произволу, сообразуясь со вкусами ярмарочных зевак, будто это ниточки марионеток.

Должно быть, смешно? Но мне не до смеха, нет. От увиденного, вернее, от одного сознания, что и другие видят то же самое, что узрел в зеркале я, улыбка стынет на губах».

До сих пор шли выдержки из дружеского письма, в нашем контексте эти строки обретают новый смысл.

Вот так-то: приходится признать, что менее всего мы склонны терпеть шутки по поводу своего лица. Над старческой деформацией ног или раздобревшей талией еще можно поизмываться. Но если дело касается физиономии, то здесь уж наше самолюбие всего уязвимее.

Очевидно, потому, что лицо наше — зеркало души. И метаморфозы лика подсказывают вывод, будто бы и душевный наш мир тоже преобразился.

А это никак не соответствует действительности. Вернее сказать, мы не чувствуем этих пертурбаций.

И значит, взрыв оскорбленного самолюбия — едва затронуто наше лицо — бунт справедливый и обоснованный.

Поистине он разителен, этот контраст между тяжестью отеков, набрякших под глазами, сеткой морщин вокруг и теплым, лучистым взглядом самих глаз, полных трепетной жизни. А кроме того, у нас — отвислый двойной подбородок, что твой подгрудок у вола; за ним упрятана ненасытная глотка; да, подбородок наш и шея раньше всего поддаются эрозии времени.

Ведь это не секрет — понятно, не секрет для узкого круга лиц,— что женщина, чье лицо уже отмечено печатью пережитого и смято тяжестью десятилетий, при этом нередко сохраняет почти девическую свежесть плеч, груди, бедер, ягодиц. Атаки времени дольше всего отражают те части человеческого тела (женского, мужского ли — все равно), которые мы прячем под одеждой, что по сути глупо: ведь если

мы в глазах ближних желаем казаться молодыми, нам бы следовало открыть взору лучшее в нас.

Отчего же раньше всего старится именно лицо? Право, объяснений тому тысячи. Лицо наше — это щит. В противоборстве с внешним миром на его долю выпадает больше всего ударов, испытаний. Терпи не только ветер, град или мороз, но и людские взгляды — стрелы, ранящие душу; равно как и разящие удары истории — событий малых и великих.

Мужчины нашли себе защиту, а вернее, способ скрывать предательскую поступь лет, равно как и следы житейских невзгод: многие считают, что самое лучшее средство — отпустить бороду. Мы уже касались этой темы, однако не исчерпали ее до конца. Валики и складки подбородка (тот самый воловий подгрудок) у мужчин надежно скрывала борода «под Кошута». Для маскировки отвислых, по-бульдожьи, щек вполне пригодны усы а-ля Бисмарк. Но все эти уловки — до поры до времени, потому что приметы старости в лице становятся все очевиднее и проторенный путь защиты все настойчивее вынуждает человека закрываться той буйно-косматой порослью, какую отращивали Толстой, Шоу, а раньше их еще целый сонм пророков древности. В гуще этой поросли настороженно, точно партизан, укрылось человеческое лицо; хотя оно наполовину скрыто от нас, но мы чувствуем: лицо достойно лучшей участи; и затаилось оно напрасно, потому как и маскировка, седея, вопиет о дряхлости.

Лица стареющих женщин и вовсе беззащитны. Косметика в таких случаях — тоже ничего не скрывающий грустный осенний перелесок. Нет, не искусственными методами, а естественным путем — щедростью сердца — должен человек оберегать свое лицо.

Лондонская зарисовка.

Заслуженно известный наш соотечественник, не одно десятилетие живущий вдали от родины, на шестидесятом году жизни вкушает стряпню своей супруги:

— В твоей ухе полно рыбных снастей!
— Полно — чего?
— Я хочу сказать — рыбьих пастей!
— Вот как?
— То есть рыбацких костей!
— Да-а?
— Рыбь-их кос-тей!

Забавно, не правда ли? Однако же не смешно. Над подобного рода симптомами старости, прорывающимися в словесных оговорках или в путанице поступков, первым, как мы упоминали, потешается сам пострадавший.

Из бергсоновской теории комического определенная ее часть (та, что существовала и до Бергсона) выдерживает испытание временем, а именно: смешными кажутся действия, совершаемые разумным существом механически, тогда как они должны совершаться обдуманно. Один из признаков старости, как мы видели, автоматизм подобного рода. «Автомат» к тому же дает перебои. Мы «рассеянны»? Мы пустили на самотек систему отработанных годами рефлексов, и теперь эта система рефлекторных действий вышла из-под контроля разума и вертит человеком, как ей заблагорассудится.

Добавим фактов? Себе же на потеху?

Я поднимаюсь из-за стола, чтобы, не беспокоя жену, достать из

буфета солонку. А вместо солонки извлекаю оттуда бутылку виноградной палинки и ставлю на стол перед нашей гостьей, совсем юной девочкой — школьницей.

А все потому, что из этого буфета я по выработанной годами привычке достаю к столу только вино.

Конечно же, все веселятся, и я вместе с ними. Дерзновеннее всех.

Что помогает мне сохранить хорошее расположение духа? Мудрость или взгляд патриция сверху вниз, о котором в последнее время я столь пространно разглагольствую как о средстве против недугов описываемого периода жизни?

Нет, над подобной оплошностью волен потешаться каждый. В компании приятелей, равных по годам, мне никогда не удается рассказать кряду больше одной истории курьезного характера. Остальные тотчас начинают наперебой сыпать случаями из своей жизни под оглушительные взрывы хохота.

Неправда, что путники в ладье Харона, скованные молчанием, плывут в страну теней. Если народ подбирается более или менее сходный, то путешествие к неминуемому концу не обходится без разных баек, подшучиваний друг над другом и всплесков веселья с азартным хлопаньем по коленям.

Ведь в самой смерти так много механического! Если вдуматься хорошенько: живой человек — и вдруг лежит хладный и застылый, вдруг становится мертвым, это ли не смешно? Автомат подвела механика! Бессмыслица!

(P. S. Все эти наблюдения я записал позавчера. Вчера же, сумерничая с одним из своих погодков — тоже писателем, я не удержался, чтоб не поделиться с ним кое-чем из литературных заготовок. И на сей раз я не продвинулся дальше первой зарисовки старческого симптома; улыбка понимания, а затем из уст Л. Н., будто забавные анекдоты, один за другим посыпались истории, достойные научного исследования. Вот хотя бы одна для наглядности: в свой маленький домишко, стоящий на отшибе, Л. Н. сам носит бидонами воду для питья и умывания из колодца, расположенного на порядочном расстоянии. А в зимнее время, почти из такой же дали, он носит уголь в бидоне для угля. Но еще ни разу он не испытывал досады из-за того, что, подхватив бидон из-под угля — а это случается с ним теперь все чаще,— он отправляется по воду. Л. Н. не досадует нисколько.)

И действительно, безнадежно стар тот человек, который гонит от себя проказницу фею, сбивающую нас с толку. Вместо того чтоб вступить с нею в разумную беседу, угадав единственно верный тон, какой возможен в диалоге между старцем и юной девой, чья грудь едва круглится. Шуткою — на шутку, равной крепости, хотя выдержка различна и рознится букет. В начатом поединке бренности, седовласой, с потухшими глазами без ресниц, и бессмертия, этой вечно юной девы с очами — бриллиантами во сто каратов, именно первой надлежит проявить понимание.

Однако нам пора расширить круг, раздвинуть горизонт.

С моего стола, прицеливаясь исподтишка, как из засады, меня подстерегает фотография, изображающая несомненно меня. Присланная в память о радушном приеме гостившими у нас знакомыми. Не признаю я продукцию профессиональных служителей, а тем более художников объектива. Объектив фотоаппарата и поныне все тот же коварный дикий зверь, нам до сих пор даже с помощью самых ловких приемов и упорнейших дрессировок не удалось укротить его, отучить от скверных замашек.

Фотоаппарат, хотя он и живет среди людей уже второе столетие, завидя человека, тотчас выпускает когти, норовит укусить, брызжет ядом. Старинные дома еще можно фотографировать; старые деревья тоже. Запечатлеть на фотографии пожилых женщин или мужчин — значит оскорбить человеческое достоинство.

И действительно, увековечить на полотнах старческие лица во все века удавалось лишь величайшим мастерам кисти, да и то, как правило, на склоне лет, в пору их творческой зрелости: вспомним Тинторетто, Тициана и многие полотна Рембрандта. Скульптура до сих пор лишь стремилась к этим высотам мастерства, и теперь уже весьма проблематично, сможет ли она их достичь когда-либо. Она связана теми же путами натурализма: подменой глубинной сути объекта его внешним обликом,— что и фотография.

Не преодоленный поныне, еще не изжитый садизм фотографии сродни жестокости разнузданных юнцов. И в самом деле, чему радуется сорвавшийся с цепи фотоаппарат, рыскающий по человеческому лицу, сладострастно «потирая руки»? Смакует морщины, бородавки, лишенные ресниц веки, удачно схваченную, неутаенную, впечатляющую гримасу боли.

Нам известен подобный шедевр одного художника-недоучки: портрет старушки, с лицом, похожим на сморщенное яблоко. Портрет верен как отражение духовного облика людей, считающих этот образ поразительно правдивым. И достоверно свидетельствует об их садизме. В этом плане правдив и фотообъектив.

Правдив даже в тех случаях, когда фотографы — как бы в качестве своеобразного извинения — прибегают к ретуши. Но, как известно, импрессионизм пришел на смену натурализму не тогда, когда художники стали пальцем смазывать резкие линии. А когда они увидели скрытое за резкой линией.

Облик стариков за последние десятилетия поражает воображение — в том числе и их собственное. И это в немалой степени зависит от того, что вошло в обычай их фотографировать. И только фотографировать.

Кисть направляет рука художника, творца, прозревающего глубинную суть. Фотоаппаратом же орудует заурядный человек. Кандидат в заплечных дел мастера, палач-практикант.

Нет, старость следует изображать отнюдь не через изменения эпидермы.

Разительные изменения в своем облике мы впервые претерпеваем в пору отрочества, полового созревания. Эта начальная метаморфоза вызывает у нас улыбку — и улыбки окружающих тоже, как любые изменения, которые не зависят от нашей воли; которые совершаются механически, а нам отводят роль маленькой детали в некоем огромном механизме. Когда в конце учебного года мы возвращаемся под отчий кров, двоюродные сестры всплескивают руками и прыскают со смеху при виде пробивающихся у нас юношеских усиков; мы же с ответной улыбкой оглаживаем этот первый пушок, а взгляд наш, между тем, отмечает, как совершенно по-новому лежит ткань на девических лифах: лучиками двух звезд.

И остается винить лишь собственную трусость, что с появлением первой седины в усах — иными словами, при встрече с точно такою же шуткой природы — улыбка наша обретает совершенно иной характер. Теперь она гримасой застывает на губах.

Итак, повторное разительное изменение своего облика мы подмечаем в период гормональной перезрелости.

Так отчего же на сей раз шутка природы представляется нам забавной лишь в случаях исключительных? И почему забавное здесь подмечают лишь индивиды исключительной духовной одаренности?

На шутку — шуткой. И мы пытаемся достойно отбиваться от целого каскада тех дурацких клоунских приемов, что вытворяет Бренность, прокравшись внутрь: с нашими мышцами, с нашим умом и памятью.

Но вот к наружности своей — как и подобает и как мы уже отмечали — мы относимся более ревностно. Нет уж, увольте: над лицом нашим пусть не разыгрывает — по крайней мере раньше срока — своих пошлых шуточек смерть.

Я сижу в кресле у парикмахера, перед двухметровым зеркалом, и мне приходится сдерживать себя, чтобы не расхохотаться сокрушенно над самим собой: не физиономия, а какая-то маска ряженого. На шее с двух сторон словно вожжи натянулись жилы, те самые, из-за которых некогда в школе ватага злорадно гогочущих сорванцов прозвала озорайского плебана[1] «взнузданным лошаком». Еще обзывали его «сверху блин» — прозвище, казалось бы, бессмысленное, но тем вернее вызывающее безудержный ребячий хохот: из-за его лысины, похожей на тонзуру.

— А теперь подержите-ка сзади ручное зеркальце,— обращаюсь я к мастеру,— посмотрим, что там осталось от моей шевелюры.

— Мда... не густо.

Иными словами, от той шевелюры, которую я помнил, не осталось и следа; и все совершилось без моего ведома и согласия! Жизнь всех стрижет под одну гребенку, вот и меня сравняла с озорайским плебаном времен моего детства.

С возмущением человека видавшего виды трясу головой; но как только улыбка моя в зеркале встречается с улыбкой мастера, свою мне приходится удерживать на лице известным усилием воли.

Ничто так не близко моему пониманию, как ежедневные контратаки женщин, защищающих свое лицо от сокрушительных нападок времени. Чувство юмора у женщин (порукой тому мой опыт) с годами тоже изменяется, но совсем не так, как у нас. Юмор их мельчает и скудеет. Оттого, должно быть, в сравнении с мужчинами и получают они у смерти несколько лет отсрочки: ведь юмор самой смерти, в чем мы убедились, низкопробен уже в преддверии старости, а с течением лет шутки ее становятся все более плоскими, доколе он, тот юмор... Однако же попробуем придерживаться порядка в изложении.

Не следует, стало быть, с самого начала принимать эти грубые выходки смерти за нечто большее, чем щелчки по носу.

Передо мною встает картина: Боньхад, мы — второклассники, учитель Генерзич прохаживается по школьному коридору. Мы покатываемся со смеху, едва только Генерзич успевает миновать нас. Именно потому, что, встречаясь нос к носу, строим ему постные мины. А на спине учителя пришпилена бумажка с единственным словом, но слово это обладало атомным зарядом расхожего острословия всех галактик Боньхада: «Макака».

Так отчего же нас самих особенно задевает, когда смерть вытворяет с нами этакие школярские куншткюки? Не оттого ли, что по нашему адресу прохаживаются за спиной? Значит, и здесь нам необходима своевременная осведомленность. Генерзич замечательно парировал шутку. Ведь в конце концов он не мог не заметить, что все над ним смеются.

[1] Приходский священник.

В таких случаях смех достигает своего пароксизма, когда жертва собственноручно срывает с себя ярлык, негодуя или же присоединяясь к общему веселью. Однако Генерзич не доставил нам подобного удовольствия. Он все понял, махнул рукой и не стал снимать бумажку со спины. Отчего раздутый и радужный мыльный пузырь злорадного напряжения вмиг лопнул.

Так и следует их сносить, эти наглые проделки старости, постыдные, точно плевки в лицо, схлопотанные нами неизвестно от кого на перекрестке полутемных улочек.

Можно подметить, что менее всего обращают внимание на неизбежные плевки старости иль моментально стирают их, копируя женские приемы самозащиты, те из мужчин, чья деятельность не позволяет им отвлечься на то, чтобы легкой гимнастикой ума и улыбкой, натренированной до степени инстинкта, постоянно бодрить дряблые мускулы души и тела.

Здесь на первом месте стоят поэты-провидцы и государственные мужи.

В мастерском портрете Миклоша Вешелени [1], который нарисовал Жигмонд Кемень [2] и который с нашей сегодняшней точки зрения почти кинематографичен — столько в нем жизни, экспрессии,— отмечен один характерный штрих: этот старый зубр, слава Трансильвании, человек трагической судьбы, в передышках между великими патриотическими деяниями ежедневно усаживается перед зеркалом и маленькими щипчиками тщательно выщипывает из своей кудрявой бороды седые волоски.

Деталь потрясает. Ведь эти щипчики — тоже оружие, как и сабля Вешелени, перед которой обращались вспять враги прогресса и которою Вешелени, если можно так выразиться, вырубил себе памятник при жизни — пример для лучших сынов отечества.

Передо мною любительская фотография: человек запечатлен на фоне джерсейских скал (ее делал бедняга Шарль); на негативе снимка поэт-изгнанник, суровый Виктор Гюго сам делал ретушь, срезая выступающий живот; но, к сожалению, столь скверной выцветшей тушью, что из-под ретуши отчетливо проступают подлинные контуры фигуры.

Эта история тоже берет за душу. Унизительностью ситуации: читатель, увлекающийся поэзией, за малую толику денег получает помимо мятущихся волн стихов также изображение самого поэта: этого утеса, дробящего валы. И возможностью аллегории: для бренной плоти не утешительна мысль о нетленности духовной.

Так что же нас в силах утешить?

Дабы избежать категоричности в ответе, ответим жизненным примером и под этим предлогом продолжим разговор о фотографиях стареющих людей.

Итак, я извлекаю их из шкатулки своей памяти: дагерротипы стареющего Кошута и стареющего Араня, выполненные в один и тот же год. Прежде чем их сравнивать, расположивши друг подле друга, отмечу кстати: как поэт, в моих глазах разумеется, верховный правитель — Арань, но как общественному деятелю в истории Венгрии той поры трон отдается мною — со всем пиететом — Кошуту. Кошут на фотографии, выполненной, очевидно, в каком-нибудь лондонском фотосалоне, опирается на бутафорскую мраморную колонну; прекрасное, мученическое лицо его обращено вверх; на этой фотографии, несом-

---

[1] Миклош Вешелени (1796—1850) — видный венгерский общественный и политический деятель.

[2] Жигмонд Кемень (1814—1875) — венгерский писатель и публицист.

ненно, запечатлен государственный муж; Кошут до пят задрапирован в тривиальный гамлетовский плащ, какого ни он сам, да и никто в Европе никогда не носил; из-под плаща выглядывает только носок ботинка; нога упрямо выдвинута вперед. Картина батальная; театрализованно батальная; изображенный на ней пожилой человек желал бы всем своим видом показать, что он готов к боям и полон сил, он хотел бы заставить забыть про свои тогда уже искореженные ревматизмом колени — вот почему они и закрыты плащом,— но желание его тщетно, потому что оно слишком явно. Именно недостаток силы и ощущается в изображении; и театрализованность его лишь подчеркивает это.

Арань сидит. В сапогах, усталый и согбенный. Как вольный зверь в своем логове. И посмотрите-ка, его колени тоже скрутила старость. Но старость его неприкрыта, и потому она отважна. А поскольку преклонный возраст преобразил поэта, и сейчас он как комедиант в маске морщин и в седом парике — в роли Мудрости и Слабости людской,— то именно в Аране мы видим подлинного Гамлета. Он побеждает, даже если терпит крах; и гибелью своей он утверждает жизнь.

Приметы старости, проступающие во внешнем облике человека, можно спутать с симптомами болезни, если не проводить между ними коренного различия. Уж не потому ли, что как те, так и другие признаки предвещают смерть?

Но из множества болезней едва ли один процент приводит к смерти. А приметы старости отстоят от смерти еще дальше.

Смерть — это особое царство. И с тех пор, как стоит мир, молодежь туда валит валом в количестве, ошеломляющем более, нежели вереницы старцев.

Стало быть, мы вправе наблюдать внешние приметы старения без страха перед летальным исходом.

К чему отрицать: новизной и своеобразием своим эти симптомы воздействуют на нас иначе, нежели разительные перемены нашей юношеской поры. Если теперь чувство юмора в нас идет на убыль, то здесь всему виною та особенность симптомов старения, что они — как мы видели — весьма чувствительно задевают наше самолюбие. И наше чувство стыда.

О мучительно-сладостных переживаниях, связанных с церемонией посвящения в мужчины, мы теперь можем судить только по обычаям первобытных племен. Хотя у всех народов, кому религией не предписан ритуал обрезания, и по сей день бытуют праздники, приуроченные к периоду возмужания.

Вряд ли сыщется в Европе хоть один подросток, который, забившись в канаву пастбища или дальний угол школьного сада, ни разу не демонстрировал бы перед ватагой сверстников — на изумление им или потеху, но всегда как равный среди равных — свидетельство собственной возмужалости, который не сопережил бы всех особенностей переходного возраста, ведущих к вратам рая и ада половой зрелости.

Это буйство плоти с годами в нас стихает, чтобы к старости, как и положено, сойти на нет. Точно так же и давний наш знакомый — юмор, чья механика основана на склонности человеческой речи к автоматизму, теперь не срабатывает; машина стопорит и, как живое существо, противится шуткам старости.

Мужчинам не пристало торчать у трельяжей, двукрылый разлет которых так роднит туалетные столики дам со створчатыми алтарями. Зато нам, мужчинам, куда как полезно силою своего воображения —

и возможно почаще—ставить себя перед зеркалом. В особенности же при появлении первых устрашающих признаков заката жизни.

Как и во всякой схватке не на жизнь, а на смерть, в сражении со старостью нашим оружием является точное знание ситуации на поле боя. Разведка и рекогносцировка. Тогда по крайней мере будет обеспечен плацдарм для отступления.

В литературе о старости человеческой — преимущественно в сочинениях классиков—о самой физиологии старения мало что удается почерпнуть, поскольку упомянутые авторы, хотя и вполне оправданно, взывают к сознанию, к рассудку, пытаясь отбить атаку на физическую природу человека доводами разума, но с этим духовным оружием обращаются неловко, по старинке. Они пускают в ход ложные аргументы и — протыкают чучела. Их звонкие и блестящие афоризмы — это по-ярмарочному крикливая, дешевая утеха. На их приманку, вполне естественно, всегда попадались те, кому нет нужды что-либо знать о старости: то есть люди молодые. Однако создается впечатление, что именно этим людям авторы и желают импонировать, не без некоторой доли кокетства. Ведь остается в силе известная истина: что больше всего книг читают в молодости.

Старики, те, как закон, горазды писать.

Молодыми умирают в тысячу раз больше, нежели старыми. Так что смерти следует остерегаться именно молодым. У стариков же, выходит, вовсе нет причин бояться смерти. Да, не часто встретишь собранными воедино столько логических подвохов, искрометнейшей игры слов и хитросплетений разума, как в рассуждениях о смерти. Да еще ученые отцы церкви — святой Августин, святой Фома — внесли сюда свою лепту.

«И не страшно тебе всходить на корабль? Ведь столько людей погибло при кораблекрушениях!» Это логика обывателя. «А тебе не страшно ложиться в постель? В постели умерло еще больше людей». Таков ответ моряка.

Обтачивать стекло со тщанием, достойным алмаза, после долго шлифовать все грани, затем сортировать, оценивать... Какая бездна напрасного труда все эти нагромождения силлогизмов на тему о смерти; и ни о чем другом с большим основанием нельзя сказать, что все накопленное чохом давно пора вымести за порог. Весь «блеск самоцветов», все так называемые «перлы мудрости» самое большее, на что годятся, так разве что служить забавой для младенца, быть находкой шустрых кур или блеском радовать сорочий глаз. Философия и азов не ведает о смерти. Доказательства? Иначе она давно бы их сформулировала.

Философию больше волнует каверзный вопрос о самоубийстве. Стоит ли жизнь того, чтобы принимать ее сознательно, по нашей собственной воле?

Личная жизнь человека — частица вечного процесса бытия. Стало быть, любая добровольная уступка смерти равна самоубийству. Уступка старости по сути то же самое. Но спрашивается, есть ли у нас выбор, коль скоро мы отвергаем ее? Старость и тогда неумолимо подчиняет нас себе. При молчаливом нашем соучастии.

Ей бы, старости, следовало стать объектом упорных философских размышлений.

Здесь постоянное противоречие.

В Триденте и Констанце борьба двух лагерей конклава кипела не только в главном зале для собраний, она не затихала в галереях, в

кельях, в саду, в кабаках и в борделях. Хотим мы того или нет, а внутри нас точно так же, ни на минуту не прекращаясь, даже на время сна, идет все тот же вечный спор живого с отмирающим; отзвуки его слышны не только в сердце и рассудке человека, но и в клетках почек, печени, и в желчном пузыре, и в легких, в каждом органе и в каждой частице тела.

Итак, смириться ль нам со старостью иль нет: ее отвергнуть, не приняв?

А вдруг она одержит верх, перекричит нас? И запечатает навек нам уста?

Но доколе теплится в нас хоть искорка сознания, разум не устанет выдвигать встречные аргументы.

Ведь бытие — и само по себе уже аргумент.

Бытие... а принадлежит ли оно нам всецело?

Но смерть повременит, заглянем прежде в ее преддверие: мир старости.

Цицерон в известном трактате «De senectute»[1] мысли свои намеренно вложил в уста Катона Старшего. «Чтобы придать своей речи большую убедительность» [2]. Катон был много старше Цицерона. Из диалога двух мафусаилов мы почерпнули близкие к нашей теме — утешения в старости — сентенции, за два тысячелетия повторов отшлифованные до классического блеска.

Их отточенные аргументы до сих пор в ходу. «Ведь достигнуть старости желают все, а достигнув, ее же винят. Таковы непоследовательность и несообразность неразумия!» — мудрецы переглядываются; похоже, что оба удивлены. Бояться смерти? «Смешно!» Поскольку смерть либо угасит душу, а вместе с ней и страх, либо перенесет ее в вечную обитель. Там обретет она счастье, станет более совершенной и более образованной. Доказательством последнего служит общеизвестный факт: дети, существа, чьи души очищенными явились к нам из вечности, с поразительной быстротою усваивают геометрию и географию, легче, нежели мы, взрослые люди; наверняка их натаскали заранее там, в инобытии, как прозорливо полагал еще сам великий Платон!

Сентенции двух старцев представляются столь вескими лишь потому, что их подкрепляет основательный фундамент. Глубина мысли здесь не что иное, как результат пространности суждений. Умело подобранные, они тоже пролагают свой собственный путь утешений в старости, хотя и в ином направлении, чем указует крючковатым пальцем костлявая рука.

У старости, вещают нам с котурнов оба мудреца, есть множество таких достоинств, о коих молодежь и догадаться не способна. В старости, например, все меньше докучают нам плотские желания. Особенно же наиболее беспокойные из них, ублажающие утробу человека. Плотские услады, что доставляют нам доброе вино, вкусные паштеты и женская красота, с течением лет человек все успешнее заменяет наслаждениями более возвышенными; становятся милее игра ума, и мыслями обмен, и радость поучительных бесед. Желудок наш в известном возрасте уж не приемлет изысканнейшей дичи из Фалерна. А вот голосовые связки и язык безотказно служили Киру, а также всем другим ораторам, дожившим до преклонных лет, служили вплоть до часа смерти, и голос их звучал при полном собрании сената. Сопоставляя факты, спросим себя: можно ли сравнить те наслаждения, что дает нам ложе, то есть утоление физических страстей и удовле-

[1] «О старости» *(лат.)*.

[2] Здесь и далее цитируем по книге: Марк Туллий Цицерон. Избранные сочинения. Москва, «Художественная литература», 1975, стр. 358—385.

творение суетного тщеславия, с тем, что доставляет нам сенатская трибуна и знаки одобрения собратьев патрициев: нашей мудростью заслуженный авторитет!

Блага эти несопоставимы, в чем не усомнится любой из проживших долгую жизнь и способных трезво судить.

Два старца, драпируясь в тогу справедливости, легко разделываются с так называемыми недостатками старости. Слабеют наши умственные способности? Лишь в том случае, если их не упражнять. Пифагор, Ксенократ, Зенон, Диоген и многие философы — и седовласые, и начисто лишенные волос — могли дать фору хоть кому.

А Гомер, который, помимо того, был слеп?

Над Софоклом, правда ссылаясь на обуявшую его страсть к расточительству, пытались установить опеку, однако чем же доказал сей старец незамутненность своего рассудка? Прочел перед судьями созданную именно в те лета трагедию «Эдип в Колоне». Сократ перед концом жизни постигал искусство игры на лире.

Будто бы слабеет также и сила наших мышц? Тому первопричина не старость, а строение тела и здоровье человека; и кроме того, закон издревле избавляет людей преклонных лет от изнуряющего физического труда. Ведь какова главнейшая среди обязанностей человека зрелых лет перед обществом?

Руководство.

Руководство ближними, а то и государством. Для чего нужны не мышцы, но характер, а его-то именно и закаляют годы. В истории известны и не единожды анализировались примеры, как самые крепчайшие из государств разрушали молодые, старики же восстанавливали их вновь. А ведь воссоздавать все заново — гораздо более тяжкий труд, нежели ниспровергать.

Истина не тускнеет от повторения, а стало быть, уместно здесь напомнить: к измене отечеству, к пагубным для отечества деяниям ничто не совращает более, чем молодые лета, особенно же главный их порок — распущенность. Оба старца, дойдя до излюбленной темы, начинают состязаться как в оперном дуэте, все с большим увлечением, но не забывая и об эстетическом впечатлении. Цитирую дословно: «О, прекрасный дар позднего возраста, уносящего как раз то, что в молодости всего порочнее!» — ведет один голос, а другой вторит ему: «Природа не наслала на человека напасти более губительной, чем страсть к наслаждению!» «Где властвует похоть, нет места воздержанности»,— провозглашает один. На что второй мудрец: «В царстве наслаждения доблесть утвердиться не может». И дальше уже совсем в ритме танца: «Человек, пока будет наслаждаться, ни над чем не сможет задуматься!»—«Ничего не постигнет ни разумом, ни мыслью!»— «Вот почему всего отвратительнее, всего пагубнее наслаждение».— «Оно чем сильнее и продолжительнее, тем вернее гасит свет разума!»

«Не бранить, а хвалить надобно старость, коль скоро она совсем не ищет наслаждений». — «Чего не желаешь, без того и легко прожить». — «Нет ничего приятнее старости, располагающей досугом».

Ибо к истинным радостям, к наслаждениям, достойным его, человек приобщается только в старости.

Следует долгий перечень этих истинных наслаждений, примерами из жизни подтвержденный. Извинительно то, что и здесь наш автор избирает форму дидактической проповеди.

Упражнения ума сделали прекрасной старость Цетега.

Гай Гал же на закате жизни увлекся измерениями небесных тел и Земли: «Какая была для него радость за много дней вперед предсказывать нам затмения Солнца и Луны». Для Лициния Краса усладой сердца стали понтификальное и гражданское право. «Разве

сравнятся с этими наслаждения от пиршеств, от игр, от блуда?» Ни в коей мере.

С ними позволительно сопоставить лишь счастье, даваемое землепашеством. Ведь «сам Гомер показывает, как Лаэрт, стараясь унять тоску по сыну, обрабатывает и унавоживает поле». «В те времена в поле, бывало, находились сенаторы, то есть старики; ведь пришедшие известить Луция Квинкция Цинцинната о том, что он назначен диктатором, увидели его идущим за плугом».

Приведенные строки — пример того, как два великих старца античной поры — Катон и Цицерон — предлагают возместить известные недостатки преклонного возраста. И с тех самых пор человечество прибегало к этим аргументам как к наиболее действенной панацее.

Феномен заслуживает внимания. Он показывает, сколь малым способен утешиться наш разум. Ему довольно иллюзии утешения.

Цицерона нетрудно уличить кое в чем. Он не прочь покрасоваться перед нами; он проявляет склонность к старческому бахвальству. Любыми способами стремится он представить моложавым свое тело и свою душу, потому что он больше всего страшится сойти со сцены, оказаться среди стариков (где ему и место); страшится собственной старости (а старость давно уже вступила в свои права). Свою жизнестойкость и врожденные способности к великим свершениям он тщится подтвердить такими свойствами натуры, кои не зависят от возраста. Что воля его и по сей день так же непреложна для окружающих; что голос его по-прежнему заставляет всех смолкнуть. Что он умеет властвовать.

Уж что-что, а это мы умеем — начиная с пятилетнего возраста. Но зрелые годы труда, как пора человеческой жизни от ее рассвета до заката, имеют другую меру оценки: что именно мы утверждаем своим властным словом, как и на основании чего мы «властвуем». Цицерон обходит это молчанием. В его уме — как и во многих умах ему подобных — эта мысль подверглась обызвествлению. Да и возрастающее самолюбование его заставляет нас сокрушенно качать головою.

«Мне уже восемьдесят четвертый год,— говорит он устами Катона,— а есть у меня силы и для курии, и для друзей, и для опекаемых, и для гостеприимцев». Дозволено ли будет нам дать волю своим чувствам, высказать свое личное мнение по поводу того, что вернее и надежнее всего защищает от старости и от смерти и самого Цицерона, и Катона, в старую тогу которого он рядится, чтобы придать больше веса своим аргументам?

Как раз то, о чем он не написал, да и не мог написать, но что отчетливо проступает наравне с ангельским простодушием и убежденностью автора за каждой строкой «De senectute». Это и есть suprema consolatio — абсолютная истина! И она могла бы составить основу другого трактата, под названием «De senilitate» [1].

Все современные средства против старения физического, не духовного по сути, можно разделить надвое. Многие предлагают: по мере того как слабеют мышцы тела, в равной пропорции уменьшать нагрузку на них. Так, при подъеме в гору постепенно выдыхающимся легким способно помочь одно: если мы с тою же постепенностью будем уменьшать свою ношу. Другое рекомендуемое средство — эвтаназия, или смерть, опережающая страдания, а выражаясь яснее: заблаговременное умерщвление ближних и к тому же без их ведома, ибо

[1] «О дряхлости» *(лат.)*.

смерть, о приближении которой заранее знает уходящий из жизни, не может быть лишенной страданий.

Литература с описаниями обоих методов обширна. Принципиальная разница между двумя путями заключается в том, что если первый—это сугубо личное, индивидуальное решение, то второй же недостижим без посторонней помощи и в этом смысле коллективен: здесь требуются согласованные действия больших или меньших человеческих сообществ. А главное, необходима полная моральная слаженность. Лишать жизни человека, даже совершившего преступление,— далеко не безусловное право; ибо жизнь — это абсолютная данность, преступление же в сравнении с нею — относительно. Убийство существа безвинного дозволено разве что богам, и даже среди богов подобное сходило с рук лишь тому, кто сам способен был вдохнуть в человека жизнь. Можно ли оборвать жизнь человека, исходя из его же собственных интересов, сколько бы бесспорным ни казался подобный исход при некоторых обстоятельствах — к примеру, для страждущих, для неизлечимо больных,— это по существу глубочайшие вопросы философии: что есть время, что есть наше ощущение, наш подход к действительности.

У эвтаназии на Западе имеется немало восторженных сторонников, и доводы их сводятся к тому, что, мол, не за горами день, когда эвтаназия вступит в свои права. И что со временем права ее окрепнут. Мы же со своей стороны, поскольку предметом нашего исследования служит не смерть как таковая, но область, географически граничащая с нею — старость,— коснулись права на эвтаназию лишь в связи с возможностью устранения стариков из жизни; то есть затронули один аспект: имеют ли право жить люди, перешагнувшие за тот весьма преклонный возраст, когда самопожертвование не умножит моральных капиталов, чтобы старикам жить на проценты с них, видеть благосостояние сыновей и принимать знаки благодарности от внуков.

Известный афоризм, что самое верное средство, чтобы не состариться,— это умереть молодым, при всей его заманчивости придется отклонить ввиду двух непреложных истин. Старение, пусть оно во многом непостижимо, наш разум приемлет. Смерть человека в равной степени непостижима и неприемлема. Поистине смерть равно чужда и старцу, и младенцу. Откуда еще не следует делать вывод, будто бы смысл жизни совсем не связан со смыслом смерти или рассудочным ее истолкованием.

Чем изощреннее наш разум, тем дальше он от понимания смерти. Смерть для нас — неумолимый враг, но ей противостоит инстинкт еще более неумолимый — инстинкт жизни. Он напрочь отметает все дешевые истолкования смерти. Каждый человек в меру своего развития способен сносить пошлые проделки возраста, вульгарные его коленца и фамильярные шутки над нашим телом.

Человеку, близкому к искусству, пристала снисходительность при встрече с величайшей из бессмыслиц — бренностью нашей плоти, то есть смертью.

Мы видели предел изобретательности, с какою великие трибуны древности убеждали нас, что старость приемлема, то есть логична. А тем самым, стало быть, логична и смерть.

Что скажут люди, искушенные в хитросплетениях разума — философы,— об этой самой Страшной из проблем или Важнейшей?

Известно знаменитое изречение Эпикура о смерти: «Если будет она, не будет меня, пока буду я, не будет ее». И поныне не сказано

слов более метких и более утешительных. Дефект этой мысли кроется именно в ее совершенной отфильтрованности, в ее абстрактности: логика наша ее приемлет, но плоть — нет, нисколько, она не мирится даже с тенью этой мысли, так как в ее прекрасном, эфемерно легком танце сама плоть наша уничтожается предельно безжалостно. «Смерть есть само небытие»,— утверждают стоики, развивая все ту же мысль. Формулу их можно бы перевести точнее: «Смерть не есть», или еще доскональнее: «Смерть есть Ничто». Тем же путем и Фейербах пришел к своему столь часто цитируемому афоризму: «Смерть есть смерть смерти». Блистательный холостой ход мысли здесь обрел ту же завершенность, что и бег деревянных лошадок в карусели.

Карл Маркс на тех грандиозных путях, что он проложил в философии, никогда не сталкивался подобным образом со смертью. С ним утверждается известная мировоззренческая теория, делающая излишней веру в потустороннее блаженство: существуют вполне реальные вещи, ради которых стоит умереть; следовательно, и сама смерть может обрести смысл без вмешательства высшего, или «божественного, промысла». Несомненно также, что Гегель, от первоначальных идей которого зажглось так много ясных мыслей, заронил несколько искр и применительно к рассматриваемой здесь проблеме. По его концепции, смерть есть жертва отдельного индивида во благо рода человеческого, а тем самым во имя более высокой цели. Мысль довольно перспективная, не подмени сам Гегель на склоне дней своих род человеческий апологией государства. Ниже мы возвратимся к этой теме: действительно, можно ассимилироваться в сообществе — верить в относительное бессмертие рода человеческого; теперь же окинем взглядом — как бы с птичьего полета — те средства переправы, те хрупкие суденышки, с помощью которых современные мыслители дерзают переплыть Стикс, чтобы разведать области, пролегающие по ту сторону потока. О том, что жизнь наша может направляться нами, а стало быть, и смерть может быть приручена, написана обширная, буквально неохватная литература. Лучше многих представляет эту тему работа французского философа и историка Альфреда Фабр-Люса[1] «Обличья смерти» («La Mort a changé»): оригинальная по мысли, остроумная по форме книга вышла в 1966 году в Париже. По мнению автора, даже ультрасовременные мыслители Запада —экзистенциалисты—относительно конечности существования говорят мало вразумительного, хотя в теории познания сам факт существования ставят выше субстанции бытия. Правда, великий их глашатай Хейдеггер сделал попытку ввести формулу «бытие ради смерти» в круг магического экстаза гармонии, однако вся эта эквилибристика ума приводит лишь к смысловой перетасовке глагола «быть»; здесь есть блеск стиля и поэтическая игра слов, а за нею, как осадок,—усталая расслабленность. В промывном лотке у мэтра поблескивают фразы: «Божественное чуждо роду человеческому в целом и чуждо отдельно взятому индивиду. Больше на эту тему вряд ли можно что сказать. Все так запутано... И метафизика как таковая сама находится на пути к исчезновению».

Слишком дешева острота, так и напрашивающаяся в отклик на эту фразу: «Ну, а само исчезновение, на пути к чему находится оно?»

Мы знаем о западноевропейском — особенно значительном во Франции — возрождении религиозного подхода к бытию. Здесь — коль скоро существование бога предполагается априори, без каких-либо обоснований,— нам нечего добавить: верующий пусть верует; ну, а

[1] Альфред Фабр-Люс (род. в 1899 г.) — французский писатель, публицист и философ.

если кто не верит? Пруста — мы снова цитируем Фабр-Люса — интересовало переселение душ. Но его благочестивым мечтаниям — так слово в слово говорит философ — «не растревожить душу». «Ведь Пруст лучше любого из нас мог знать: то пережитое, что не вместила наша память, лишено для нас всякого значения». Другая концепция, которую разделяет, к примеру, Фердинан Алькье [1], берет за основу положение, что жизнь человека может стать частицей вечности лишь ценою полного отречения от собственного «я». По мнению третьих, Жана Ростана[2] например: человек уже по самой природе своей чужд так называемого небесного блаженства; и между прочим, из-за маниакального любопытства, свойственного человеку. Симона де Бовуар в одном из своих романов попыталась описать историю любви человека и существа бессмертного. Но такая Любовь абсурдна, невозможна. Ведь смертный готов пожертвовать ради нее жизнью, а наделенный бессмертием отдает свою жизнь лишь во временное пользование. Да и само бессмертие стало весьма нудным, поскольку жизни ничто не угрожает и ада можно не бояться. Бессмертие и для других людей выходит из моды. Смерть страшна не потому, что она грозит; а потому — и тем,— что смерть — ничто. Так вот и старость. Не то страшит нас, что к старости над нами обретут власть дурные чувства. А то, что в нас вовсе не останется никаких чувств.

Лорант Баш скончался — моя жена так и не успела передать ему письмо от меня. Скончался он на восемьдесят первом году жизни, убежденным холостяком; несколько лет он пытался побороть рак. Его отличала сдержанность эмоций, всегда, вплоть до последней минуты. Лишь слезы двумя дорожками неудержимо катились по упрямому лицу. «Хотелось бы еще пожить»,— сказал он как бы в оправдание.

Даже заканчивая это последнее к нему письмо, я не знал, как правильно пишется его имя: через «д» или через «т» и надо ли ставить долготу над «о»? Меня беспокоило, как бы не обидеть человека, если случаем исковеркаешь его имя. Теперь я мог быть спокоен! Всю жизнь я чувствовал его неизменно радушное и предупредительное отношение ко мне. Весть, что он близок к смерти, давила душу тяжелым гнетом; и одновременно в сердце невесомой пушинкой закралась мысль: лишний камень с души. Вот и верь после этого сердцу!

Такова уж, как видно, природа наших взаимоотношений с уходящими из жизни.

Рождаемся мы простыми людьми, но умирать нам следовало бы подобно богам. И сила в нас — от земли. В единоборстве с небом земля держит нашу сторону, она за людей. За каждого бой на особицу. Люди великих свершений отвечают достойно на столь же великое унижение земной природы человека, на оскорбительное равнодушие небес.

On naît avec les hommes, on meurt inconsolé parmi les dieux. «Рождаемся мы людьми, но умираем богами, не видя в том утешения» — эта фраза Рене Шара, если развить скрытую в ней мысль, поистине могла бы стать апологией человека. Могла бы стать бунтарской: притязанием человека на бессмертие.

---

[1] Фердинан Алькье (род. в 1906 г.) — французский философ.

[2] Жан Ростан (род. в 1894 г.) — французский биолог, писатель, автор научно-популярных трудов.

Неправда, что приближение смерти всегда вызывает панический страх. Надобно лишь не терять рассудка, и тогда не покинет нас не только спокойствие, но и благодушие, направляемое расчетливой мудростью. Я унаследовал довольно крепкие зубы, но с течением лет они тоже снашиваются. Снова и снова ловлю себя на том, что в минуту задумчивости проверяю их прочность, простукивая ногтем, и сопоставляю число зубов с годами, которые мне предстоит прожить; я проделываю это столь беспристрастно, как торговец скотом, и устанавливаю очевидный факт: да, я вполне протяну до могилы без вставной челюсти. Это успокаивает меня, потому что по натуре я бережлив.

Страж минувшего

Экскурсовод музея был человек пожилой. За плечами его угадывались долгие годы; не только им прожитые, но и долгие годы работы гидом; последнее наложило печать на его внешность и манеру держаться.

С благожелательным превосходством он встретил нас у порога своих владений. Он столько раз демонстрировал публике, столько раз представлял этот без малого тысячелетний памятник искусства, что стал относиться к нему как к своей личной собственности; на нас же, вопреки тому, что в нашей группе немало было убеленных сединами мужчин и почтенных дам, экскурсовод взирал как на наивных подростков, падких до зрелищ.

Манера говорить и держаться и даже запах одежды выдавали его крестьянские корни, подлинную его среду. У многих из нашей группы за стеклышками очков проглядывало как минимум среднее образование, но были один-два человека и с университетским дипломом. Данное обстоятельство ни в коей мере не изменило его первоначального отношения к нам: мы принадлежали к числу любопытствующих, а значит, были невеждами, он же, экскурсовод музея,— официальный хранитель исторических реалий.

Уже в том, как он откашливался, прежде чем повести рассказ, сквозило превосходство.

Мы находимся во Франции: в бургундском Клюни, точнее — в Клюнийском аббатстве; с точки зрения географической и исторической — в самом сердце Франции. Мы — то есть моя жена и я — прониклись чувством, близким благоговению паломников. Мы готовы были взять на себя и сложить у врат музея признательность всего нашего народа, насколько отдельный человек способен воплотить в себе и передать чувства целого народа.

Своим христианским просвещением — переходом наших предков-язычников к обновленной форме христианства — мы в немалой степени обязаны Клюни. Святой Иштван поддерживал тесные связи— постоянно обменивался грамотами — с главою аббатства тех лет святым Одилоном и его сподвижниками. Первый наш король именно от них воспринял христианство, равно как и просвещенность; король нуждался в советах духовной братии да и в самих советниках — членах ордена — ради задуманного опыта: утвердить вначале царство небесное, чтобы потом создать рай на земле.

Их символом веры было святое слово, коего жаждал тот век не менее века нынешнего. Pax, *и еще раз* Pax, *и трижды* Pax, *мир во имя и на благо всего сущего на земле. При любых обстоятельствах.*

А обстоятельства и в ту пору были неблагоприятные. Обстоятельства редко бывают благоприятными.

И все же, подобно Акрополю античной Греции, духовной цитаделью средневековой Европы было именно это аббатство. Как знаменательные даты отмечены года набегов наших предприимчивых предков, в седле обрыскавших вдоль и поперек весь континент: 907, 910, 925, 933. А среди городов и провинций, где при приближении их полчищ возносились литании: «De sagittis Hungarorum libera nos, Domine», то есть: «От стрел угорских избави нас, господи»,— от Шампани до Пиренеев можно назвать и Бургундию.

В само же аббатство Клюни — по прошествии нескольких десятилетий — наведывались те из мадьяр, кто более преуспел не в метании копий, но в коленопреклонениях, в земных поклонах и в осенении себя крестом. Великие даты в истории обители: 927—942 годы, время, когда во главе аббатства стоял один из его первооснователей, святой Одон; с 942 по 964-й — годы пастырства Блаженного Эмара; святого Майенля —964—994-й; и с 994 по 1049 год аббатом Клюни был упомянутый ранее святой Одилон.

Орден, названный по имени духовного отца святого Бенедикта, на заре второго тысячелетия имел под началом более тысячи двухсот монастырей, разбросанных по всем странам от Атлантического океана до Карпат. Посредством каких же посулов утверждала свое земное влияние церковь после крушения ее великого пророчества: о переселении в царство небесное? По исчислению первых христиан конец света и второе пришествие Христа на землю должны были свершиться в 1000 году; и до сих пор еще я помню то нервное напряжение, которое владело мной, когда я в пору своего ученичества вынашивал замысел драмы о последнем дне 999-го года. Драма повествовала о том, как на второй день после похмелья Вера в Человека нетвердыми ногами вновь забрела в Европу; тогда стала она — вернее, пыталась стать — Человечною. Под наставничеством старцев. Эти люди подолгу жили и правили тоже подолгу. Один из позднейших в плеяде «Grands Abbés» — «Великих Аббатов» — Вседостойный Петр целых тридцать четыре года укреплял души людские в новой вере.

Они настраивали людей против баронов, этих варваров феодальной анархии, более опасных, нежели скифские лучники. Далеко опередив свой век, мудрые старцы, многое пережившие, но крепкие терпением людей, которым будто бы суждено жить вечно, принялись плести над буйными порослями предрассудков сеть разума. В противовес распространяющимся уродствам в характере и вкусах человека — мир благородного и прекрасного; в противовес языковой, можно сказать, расовой разобщенности — связующую силу единого языка. Противопоставляя грабежам и произволу милосердие, защиту сирых и убогих. Памятуя также о приумножении благосостояния. У аббатов были четкие представления об органической взаимосвязи базиса и надстройки. Святые старцы, хотя дни жизни каждого из них уж были сочтены, в оставшиеся лета возделывали сады, плоды которых вызревали для грядущих поколений; на землях, подвластных их духу, они основывали школы и больницы, где учат и врачуют по сей день. Семена раздора, плевелы души они искореняли не только лишь с амвона. Перебранное заботливой рукою чистое зерно отсюда шло и в Лиссабон, и в Шомодьвар, вдобавок каждому свое. Тем сильны и неуязвимы они были, что бросались меж остервенело бьющимися противниками, вооруженные не мечом, но умиротворяющим словом. Их открытием было «Treuga Dei» [1].

---

[1] «Божеское перемирие» *(средневек. лат.).*

Волю божью они отождествляли с миролюбием. Вражду всяк противу каждого стремились обратить в согласие, судить о всех и каждом непредвзято и по справедливости... Не суровые крепости, но храмы, радующие глаз человеческий, не оружие, пригодное для боя, но прекрасные, художественно выполненные предметы утвари оставили они после себя. И оставили немало, так что едва ли удалось все уничтожить.

Все это было известно мне и без гида, тем более что я, дабы освежить свою память, заглядываю в брошюру, приобретенную вкупе с входным билетом в кассе при входе. На эту брошюру и в особенности на мои попытки почерпнуть оттуда исторические сведения наш экскурсовод, хранитель музея, взирает с ледяным равнодушием многоопытного человека.

Он выжидает, когда число посетителей достигнет пятнадцати. После чего извлекает покоящиеся в жилетном кармане добрые старинные часы. Выстраивает нас, чуть ли не попарно, молча становится впереди и затем, милостиво обернувшись к нам, дает понять, что нам разрешается следовать за ним.

Отшагав положенное, он останавливается и сообщает, что сейчас нам откроются вещи поразительные, о чем у нас даже при виде этих старинных стен не могло бы возникнуть и догадки.

Аббатство это — доподлинный город. Независимое хозяйство, где вертелись колеса мельницы, а жители сами откармливали свиней, доили коров, стригли овец, собирали и давили виноград. Сами же они обтесывали и строительный камень; более того, даже знаменитый собор сложен их руками.

Года 1088 тридцатого сентября святой Гуго — современник святого Ласло — в двенадцать часов пополудни заложил первый камень в фундамент храма; и о кафедральном соборе сразу заговорили как о несравненной красоте, как о чуде света. Этот освященный колокольным звоном миг был и вершиной расцвета аббатства. «Второй Рим» — так называли его люди. Папейший из пап Григорий VII провозгласил на собрании конклава: «Нет храма, равного храму в Клюни».

Мы пересекаем главную площадь монастырского городка. И наконец-то видим достопримечательности, о которых у нас «не могло бы возникнуть и догадки».

Зрелище воистину поразительное и терзающее душу. Беспристрастно говорить о нем может разве что старец, в душе которого все перегорело.

Беспристрастно, однако все же высказывая свое суждение.

От воплощенного в камне чуда, перед которым не только что христиане падали ниц в религиозном экстазе, но потрясенный его красотою преклонял колени и весь прочий мир, сохранились лишь руины. Жалкие обломки, едва вздымающиеся на пядь от земли.

Все сметено с лица земли суетною страстью к переменам; невежеством, не способным к преклонению; всесокрушающей стяжательской потребностью. Стяжательским неистовством, которое осмелилось провозгласить себя душою прогресса.

Эту историю сдержанный экскурсовод поведал нам на пустыре, где раньше стоял собор; старик прежде всего выстроил нас в ряд и, предваряя свои слова, не один раз смерил нас с головы до пят уничижительным взглядом.

Кафедральный собор аббатства уходил ввысь на 187 метров, гигантскую абсиду храма венцом обрамляло пять великолепных часовен. Свод его нефа вздымался на немыслимую дотоле высоту в три-

дцать метров. Даже в выставленном для обозрения небольшом макете чувствуется пленительная гармония его пропорций. Это чудо средневековой архитектуры дополняли достойные его искусные украшения: великолепные по мастерству исполнения цветные фрески и богатой резьбы капители. Резные колонны, вернее, обломки колонн даже теперь составляют музейную гордость.

Эту часть собора взорвали весной 1811 года, для чего понадобилось несколько возов пороха.

Старик делает паузу, проверяя эффект своих слов. Эффектом этим он явно не удовлетворен; мой сочувственный кивок головой — вот, пожалуй, и вся реакция слушателей.

Разрушение собора не было варварской вспышкой антирелигиозной нетерпимости, а следовательно, и Вольтер может считаться виновным лишь в незначительной степени. Во время французской революции было разрушено огромное количество памятников архитектуры — замков и монастырей, однако лишь в редких случаях это было делом рук крестьян, уроженцев края. Судьбу всех замков решал Париж, сколачивающий капиталец буржуа. Такого рода «общественную собственность» — равно как и конфискованные у аристократов земли — скупала крупная городская буржуазия, сама же сбивая на торгах цены, даже те, что выплачивались в ассигнациях. Скупленные оптом земельные угодья и замки они впоследствии перепродавали в розницу тем, кто нуждался в землях и жилье, но теперь уже за полновесные наполеондоры.

Но кто купит кафедральный собор? Храмы продавали по цене камня, затраченного на постройку. Но прежде стены взрывали порохом. Клюни много лет считался выгодной каменоломней. Мраморные статуи, резной и тесаный камень готических окон и стен рушили наземь с десяти- двадцатиметровой высоты весьма остроумным способом, бывшим в ходу по всей стране: захлестывали зубец крепкой веревкой, после чего впрягали волов. Настенные башни были выше, массивнее, чтобы порушить их, мало одних волов; здесь прибегали к помощи инженеров: те закладывали порох. Да и то иной раз давали промашку. Часть купола одного из трех алтарей, когда-то всемирно известного шедевра архитектурной элегантности, возведенного в чисто бургундском стиле, и поныне парит в тридцати трех метрах над нашими головами на своем изначальном месте. Точно так же и поныне устремляется ввысь каменная звонница Clocher de l'Eau Bénite, шпиль которой сверкает в шестидесяти двух метрах от земли — красноречивый символ того, что даже глупость человеческая иной раз не достает до небес.

Руины сменяют руины, целый город руин, приведенных в образцовый порядок; руины, перебинтованные вечнозеленым плющом и приукрашенные клумбами; и вновь идут руины и руины. Старик давно уже покончил с пояснениями и теперь высказывает свое личное мнение. Все, что здесь вершилось когда-то, он прочувствовал каждым нервом; по меньшей мере лет сорок вызывает он из небытия дух великих миротворцев прошлого, постоянно наталкивается на великое непонимание рода человеческого, а к этому роду как ни втягивай голову в плечи, относимся все мы.

Я пытался было — даже дважды — пробраться поближе к старцу, выносящему суждение. Ведь и я тоже — не зеленый юнец, и мой взгляд с годами тоже делается все более строгим, словно и на меня порою нисходит взыскующий дух минувших времен.

И в этой ситуации было бы естественно обменяться мыслями.

Провели нас по зданию, где разрушительное время оставило лишь беглый след — farinier, построен в 1257—1275 годы, верхняя часть

служила складом для зерна и муки, нижняя — винным погребом,— экскурсовод направил нас к фонтану, бившему столетия назад. Сам же он старческой походкой засеменил к привратницкой; я последовал за ним. Под колокольный благовест. Был полдень.

В крохотной комнатенке и на крохотной же печурке булькал крохотный горшок, распространяя характерный аромат национальной кухни, смесь чеснока и тимьяна; варево клокотало столь яростно и неуемно, словно хотело в одиночку отстоять честь всей Бургундии. Старик торопился сюда затем, чтобы подлить воды и унять нетерпеливое пыхтенье горшка с похлебкой. Покончив с неотложным делом, он обернулся ко мне. Вот когда представился мне случай сказать ему... но что? Сказать, что для людей, взваливших на себя бремя представлять эпоху и в какой-то степени олицетворять ее, по-прежнему главная заповедь — терпение? Что род людской, как ни клейми его, этот «посев, возросший из зубов дракона», не весь дал горький урожай? И кое-что в нем даже вселяет надежду. Что вот ведь даже лучники, прежде сеявшие страх своими стрелами, и те не прекращают сюда паломничества — в знак покаяния... К сожалению, басовито гудящий колокол топил все иные звуки. Да и старик этот вынужденный перерыв в экскурсии употребил с пользой: проверить, не выкипела ли похлебка. Это значило, что экскурсия подходит к концу: смотритель в считанные минуты проводит нас до ворот музея. Поскольку же при входе висела табличка с призывом к посетителям воздержаться от чаевых, то свою скромную, из дальней дали привезенную лепту я — за неимением другой возможности — вручил старику в привратницкой. Он принял мзду со снисходительностью опального вельможи.

— Как пройти отсюда на станцию?

— Вам теперь придется сделать немалый крюк,— отвечаю я с готовностью.— Надо было еще во-он где свернуть.

— Черт побери! Что же мне теперь, возвращаться назад?!

— Если торопитесь, то не стоит. Здесь дорога хоть и пойдет на подъем, но вы быстрее доберетесь.

Я поистине рад, что могу оказаться полезным.

— Черт бы побрал того типа, кто послал меня сюда!.. Похоже, у вас тут дурак на дураке!

Я сочувственно смотрю вслед незнакомцу; тот уже припустился рысцой. Но скоро сочувствие сменяется изумлением.

С какою предупредительностью я все это объяснял какому-то неотесанному субъекту и готов был объяснять еще подробнее!

И это — я! Да не сыскать человека, у кого я хоть когда-либо попросил форинт взаймы. Я, проплутавший версты в чужих городах, только бы не выспрашивать у незнакомых людей, как пройти на ту улицу, что мне нужна.

Или, быть может, люди стали мне ближе? В компании я и теперь еще по привычке отмалчиваюсь; в спор меня приходится втягивать арканом или же если уж очень задеть за живое. Мало кто слышал мой голос на дискуссиях в Академии или в Союзе писателей. А на деле, выходит, язык мой тотчас развязывается, стоит кому-либо остановить меня на улице и попросить моего совета. И если уж быть до конца откровенным, то я согласился бы проводить этого наглого типа хоть до самой станции, лишь бы тот снова не заплутал. Ноги мои зудели, оттого что меня распирала словоохотливость.

— Дядя, скажите, пожалуйста, который час?

С детьми я и подавно никогда не умел сходиться. Чем меньше ре-

бенок, тем труднее найти мне с ним общий язык. Помимо своего собственного, я в жизни не брал на руки ни одного младенца. Никогда не сюсюкал. И что же я слышу, какая тирада сейчас срывается с губ?

— Час тридцать восемь, нет — уже тридцать девять минут! А зачем тебе нужно знать точное время? Опаздываешь, наверное? В каком же ты классе? Или ты ходишь в детский сад?

И я, как мне представляется, снисходительно жду ответа. Еще бы, ведь я оказал любезность; да вот и слова утешения для малыша уже наготове. Но, как видно, те лишние фразы диктовала мне простая жажда общительности. Я испытываю явное разочарование, точно от губ моих отняли наполненный влагой стакан, когда маленький негодник оставляет меня ни с чем и без оглядки припускается по мостовой, неловко волоча оттягивающий руку громадный портфель.

В свое время я неправильно понимал фразу старика Г.: «Не проходит и часа, чтобы я не вспомнил о своем возрасте». Как мне представлялось тогда: не проходит и часа, чтобы он не подумал о смерти. А теперь и мне самому изо дня в день все чаще — причем в самой неожиданной взаимосвязи — приходится вспоминать о собственном возрасте, но это не значит, что меня непрестанно донимают мысли о смерти. Заглядывая вдаль через призму логики, как через линзы для дальнозорких, я констатирую, что конец мой уже не за горами и что жить мне теперь осталось считанные годы. Но мне постоянно приходится делать усилие над собой, чтобы осознать надвигающуюся опасность. Впрочем, нередко это мне и удается.

Но тем чаще наталкиваюсь я на открытие другого рода: как нелегко дается мне осознание этой опасности во всей ее полноте, без скидок.

Случается, иной раз я еле сдерживаюсь, чтобы с улыбкой не оглядеться по сторонам: где же он затаился, этот прожорливый удав с отверстой пастью, который столь искусно гипнотизирует жертву, что парализует в ней даже рефлекторный скачок к спасению?

Ногти мои слабеют. Карманный нож, который в прошлом году я легко открывал, цепляя ногтем большого пальца за лунку в лезвии, теперь я вытягиваю не без усилий.

Царапаться, стало быть, я теперь вряд ли способен.

Конечно, было бы преждевременно понимать это и в иносказательном смысле.

Здесь, кажется, я — и совершенно неожиданно для себя — обнаружил обратную закономерность. Ногти, как и оружие, тупеют с годами, покрываются зазубринами, но душа, та заметно твердеет, обретает закалку булата. Сердце не размягчается столь податливо, как кусок железа. Ничья болезнь или старость не остановит меня, не помешает выложить о человеке всю правду. Теперь мы стали равны: и сам я так же болен и стар. О мертвых или хорошо, или ничего? Тогда поскорее выскажем все плохое, без остатка, чтобы не пришлось деликатничать потом — за порогом смерти.

Да, собственно старость, близость смерти освобождают нас от сего принципа: «О мертвых или хорошо, или ничего». Ведь скоро и мы сами окажемся в их числе! Не стоит говорить обиняками, коль времени у нас в обрез. Тут уж не до учтивости, успеть бы выложить главное. Итак, карты на стол: правду, и только правду, обо всех, и о мертвых тоже. Они такие же люди! Призовем их к закону и порядку, потому как те же права и нормы будут применены и к нам!

В молодости я был потрясен словами Андре Жида, который в тот момент, когда Катюль Мендес[1] еще лежал на катафалке, предлагал вместе с покойником в той же могиле захоронить и его писания. «Вы дадите пощечину мертвому?» — так называлась статья Арагона, где он призывал современников отдать последний долг Анатолю Франсу при его погребении.

Со всей строгостью взыскивать с мертвых, хотя бы и усопших не далее как вчера,— теперь я воспринимаю этот постулат отнюдь не как кощунство, а как неукоснительное требование. Как спешное и не требующее отлагательств дело. Не желаю я попадать через разверстые для каждого из нас врата — через зияние могилы — на барахолку по распродаже душ. Нет и нет: я не желаю начинать сначала. Не желаю протягивать руку почившим в бозе — ни Х., ни Х. Х. Живущим я прощаю многое, мое прощение им может пойти впрок. Мертвым же это явно безразлично даже после смерти, но мне — нет, мне они не безразличны. И обратясь во прах, песчинкой малой я не хочу соседствовать с Х. и с Х. Х, прошу меня не путать с ними. Не для того я выстрадал свою судьбу; не для того страдал от них при жизни.

One of the great old men[2]

Престарелый писатель — за долгие десятилетия вполне сформировавшийся в посредственность — предупредительно провел меня по своим апартаментам и впустил в ту овальной формы комнату, где он хранил свои отжившие, но в известном смысле «оставившие след» произведения. На идеально отполированных и сверкающих лаком книжных полках из тисового дерева и кедра его творения заняли целый ряд: роскошно изданные, отливающие позолотой.

Они кичливо красовались на самой верхней, парадной полке трехъярусного стеллажа, венчая боевой строй тщательно подобранных античных и позднейших классиков, скромно теснящихся внизу.

Эти престарелые, однако жизнестойкие опусы хозяина дома были все переплетены одинаково в мягкую кожу, а на корешках у них одинаковым же шрифтом вытеснены названия и, разумеется, имя их творца.

Число книг меня поразило. Но загадка выяснилась тотчас.

Там стоял в восьми переводах «бородатый», но вполне читабельный «Затонувший колокол»; все тридцать четыре издания древнего, но пользующегося неизменным спросом у невзыскательной публики романа «Двое на скале»; далее шло точно такое же дряхлое, но кокетливое сочинение «Страсти осени», также в нескольких роскошных юбилейных изданиях. Там же выстроились в ряд все его юношеские труды, не менее замшелые, но уцелевшие во всех перипетиях времени: «Рефлексия пережитого в подсознании», «На арфе водопадных струй»; дальше — больше, за допотопными беллетристическими сочинениями не менее допотопные, но авторитетные трактаты; на двух иностранных языках представлена рыхлая от многословия и кичливая биография писателя, правда, уже в пору своего расцвета классически бесцветного, но неизменно плодовитого.

Во мне вспыхнули мучительные ассоциации.

Одинокий титан нашей отечественной лирики конца прошлого

---

[1] Катюль Мендес (1841—1909) — французский писатель.

[2] Один из маститых старцев *(англ.)*.

века — слагатель поэтического цикла Гины[1]*,— на склоне лет сломленный старческим страхом перед болезнями, завел дома у себя, в убогом своем жилище, некое подобие врачебной лаборатории, чтобы самостоятельно следить за деятельностью кишечника: расставленные в ряд по полкам в тщательно закупоренных банках из-под компота стояли пополняемые ежедневно, но хранимые неделями материалы исследований. Об этом мы узнали из наивных и потрясающих по откровенности воспоминаний его поздней, самоотверженной музы — почти неграмотной Розамунды.*

Меня преследовал навязчивый образ: будто передо мною не помпезные издания с золочеными корешками, отсвечивающими в свете люстры, а те самые банки из-под компота, плотно завязанные, чтобы не просачивался запах. И копившееся годы содержание сих кожаных, украшенных позолотою томов невольно ассоциировалось в моем сознании с содержимым пресловутых стеклянных банок.

Гротескное противоборство трагически величественного гения — создателя «Через двадцать лет»[2] *— с бренной плотью ни в коей мере не снижало моего почтения к его трудам духовным. Напротив!*

Над книжной полкой, своими переливами золота и пурпура напоминающей алтарь, вся стена вплоть до потолка была увешана тугими лавровыми венками: они парили подобно звездам, взирающим с высот на эти изжившие себя никчемные писания. По обе стороны полки — также в позолоченных и темно-пурпурных рамках — под стеклом поблескивали дипломы о присвоении хозяину различных литературных премий, степени академика, наград отечества или иных земель. Диплом о присвоении звания почетного доктора. Напротив — фотография известной кинозвезды, в знак признательности, как то удостоверял автограф, начертанный несоразмерно крупным почерком, за особенно бездарный и растянутый роман. И еще одна, нет, целых две фотографии с обычными банальными росчерками кинодив. С ними соседствовало изображение упитанного политического деятеля, на этот раз линии автографа были четкими, отработанно-внушительными. Все эти экспонаты также подтверждали былую мощь неудобоваримых опусов.

Деликатное прикосновение к моей руке направило меня к следующей фотографии.

Здесь напрашивался на комплимент столь хорошо знакомый по иллюстрированным еженедельникам и телепередачам высокогорный тускул. Соседняя фотография изображала троих очаровательных пухлощеких малышей, по всей видимости, с мамашей; семейство позировало на палубе яхты. Чуть в стороне аккуратным рядом были развешаны снимки, сделанные на лоне природы, вид с самолета на Монблан, северные фьорды, римский собор святого Петра; и сразу не определишь, находятся ли все эти места вне границ или же внутри владений писателя, распространившихся сверх меры благодаря прямо-таки фантастической притягательной силе, каким-то пробивным захватническим свойствам его пожухлых пьес и рассказов.

В комнату вошла супруга знаменитости, слегка увядшая, неприметно тронутая старостью. Волосы ее побелели, но лицо осталось почти таким же, как на фотографии, где она держит на руках грудного сына, ныне доросшего до дипломата и только что представившегося нам.

Пожилая дама была в длинном, до полу, алом вечернем платье, с ниткой жемчуга на белой шее. Мы — с головы до пят в черном, при

[1] Янош Вайда (1827—1897) — известный венгерский поэт, автор цикла лирических стихов «Память о Гине».

[2] Одно из наиболее известных стихотворений Я. Вайды.

белоснежных сорочках и накрахмаленных воротничках. Под стать парадным туалетам было и наше обхождение друг с другом.

Каждым жестом своим почтенная матрона стремилась подчеркнуть: она сознает, что ступила в святая святых. С царственной осанкой, величественно прошествовала она вдоль ряда книжных переплетов, укрывших за своей дикарской роскошью опусы в поэзии и прозе, произведения смердяще-скверные, однако же чванливые неистребимо, и полка эта, изукрашенная по обе стороны фотографиями, с отдаления вполне могла бы сойти за роскошный алтарь. Меня не удивило бы, если бы за исполненным благоговения взглядом хозяйки дома последовало легкое, но почтительное коленопреклонение.

Дама пригласила нас к вечерней трапезе. Горстка избранных уже ждала в столовой.

Но подметив, с какой заинтересованностью я рассматриваю все вокруг, хозяйка дома не торопила нас присоединиться к гостям. Следуя за моим взглядом, хотя она и видела это тысячи раз, она с удовлетворением оглядела кабинет.

— Творческое гнездышко, так мы его называем между собой,— сказала дама проникновенным и все же безукоризненно светским тоном; сия поэтическая муза отлично выполняла свою миссию.

Супруг скромно кивнул. Дама продолжала, но теперь тоном любезной хозяйки дома:

— Именно сюда удаляется он, в сию обитель, всякий раз, как на него нисходит вдохновение. Для творчества мы отвели уединенный уголок нашей квартиры. Вот его обжитое рабочее место, бумага всегда под рукой. Иногда он засиживается далеко за полночь.

Любвеобильный взгляд ее ласкал фигуру мужа, а пальцы гладили письменный стол изысканной работы: и превосходнейшее дерево стола, и полировка красивы и подобраны в тон роскошной книжной полке.

— Легко ли вы пишете? — спросил я.

Мэтр промолчал, за него вновь ответила хозяйка дома; в голосе ее соединились беспристрастность гида с материнской гордостью:

— Такого не бывало, чтобы он просидел впустую. Он не поднимется, пока из-под пера его не выйдет нечто прекрасное. С юношеских лет его девизом было: «Nulla dies sine linea»[1]; он верен ему и поныне.

И безошибочно воспроизведенное изречение Плиния будто прибавило ей благородства и достоинства. Она милостивым и вместе с тем величественным жестом указала на полки, где наглухо закупоренные в позолоту корешков выстроились те самые посудины.

— Как видите, результаты налицо.

Я молча кивнул.

— Всем этим мы обязаны ему. Все это плоды его труда.

Да, все это нагадил ты, почти что вслух продолжил я то, что читалось за ее мыслью, но вовремя спохватился. Всю эту кучу сверху донизу навалил ты, скотина,—получила во мне пусть молчаливое, но более образное выражение фраза хозяйки дома, тем самым впервые в данных обстоятельствах напомнив мне, что сам я — низкого происхождения, из простонародья, и наиболее переимчивые в отношении опыта годы провел среди конюхов и погонщиков волов, а стало быть, даже не в мельничном подвале, а много ниже: на конюшне, у навозных куч.

---

[1] Ни дня без строчки *(лат.)*.

О природе старости — истинная правда — нет литературы. И уж подавно молчит о старости литература художественная.

Выпускают книги для детей, чтение для девочек-подростков и для юношества. Только вот для стариков и поныне не затевается чего-либо подобного.

Пока что немыслимо представить себе — по аналогии с имеющимися в каждой стране молодежными издательствами и молодежными газетами — существование столь же оправданного издательства для стариков или газеты для престарелых. Равно как и основание отдела для долгожителей при разного рода литературных объединениях, наряду с традиционным молодежным отделом, сейчас вызвало бы разве что улыбку.

Хотя все эти меры лишь восполнили бы пробел в общественном устройстве. А пробел становится все заметнее. Число стариков на земле возрастает из года в год. Нет ни малейшего сомнения, что благодаря прогрессу медицины и переходу фармакологии на массовое производство и вместе с распространением взгляда на жизнь, ведущего свое начало от древних греков,— взгляда, согласно которому жить на этой земле стоит, во всяком случае так долго, пока живется,— недалеко то время, когда число стариков возрастет до цифры «катастрофической» по самым разным ее аспектам.

Вследствие чего может вскоре измениться соотношение возрастных слоев, как это, к примеру, случилось во Франции, где увеличение рождаемости в последние десятилетия повлекло за собой бурное разбухание масс молодежи. Подобно тому как в иных местностях Франции за считанные годы почти в четыре раза возросла потребность в школах, детских садах, казармах, исправительных домах и стадионах, точно так же у нас, в Венгрии, к примеру, следовало бы увеличить число институтов, изучающих проблемы досуга престарелых, их питания, призрения и опеки.

По мере того как удлиняется жизнь человека, омолаживается и сама классическая литература. В обществе, где сорокалетних будут считать юными, «Анна Каренина» и «Госпожа Бовари» станут учебниками для начальных школ.

Старость есть высылка. Из той страны, где утро жизни. Изгнание из садов Эдема; нас выпроваживают оттуда с поразительной бестактностью. Эти райские кущи — обнесенные великолепной стеною или другой оградой, с ухоженными плодовыми деревьями, с цветочным бордюром вдоль дорожек,— по отсчету времени в любой исторический период пролегают на отдалении в пятьдесят иль шестьдесят лет от момента, когда обычно начинают рассказ.

Если каждый из прожитых годов приравнять, ну скажем, к километру пути, то родимый кров, откуда нас изгнали, находится не более как в часе или в полутора часах автомобильной езды от того места, где мы теперь остановились передохнуть. Вот и сейчас я сижу у стола, смотрю в окно, где, извиваясь змейками по стеклу, ползут, перегоняя друг друга, потоки капель —странным образом они набухают влагой не сверху, а наоборот, снизу вверх; и ей-богу, лишь этот непрестанно моросящий дождь да общеизвестная моя крестьянская скаредность — единственное, что мешает мне вызвать по телефону такси и махнуть за полтора-два часа в Рацэгрешскую пусту [1]; в ту самую залитую весенним солнцем далекую Рацэгрешскую пусту, где мой отец только что кончил красить зеленой краской бока приземистой паровой моло-

[1] Место, где родился и провел детство автор.

тилки — ее плюющийся огнем движок — и теперь открывает банку с суриком, чтобы превратить широкий железный обод на округлом брюхе молотилки в пурпурный епископский пояс.

Прижимистость — это бунт. Скупость — уже восстание. Ну, а пресловутая скаредность стариков...— это возвышающая их свобода, последний их оплот супротив произвола неопределенности. Их последняя баррикада.

Не буду говорить о страсти к карандашным огрызкам, их копит каждый из одержимых манией писания; но откуда взялась эта уйма скрепок, которая периодически скапливается в ящиках моего стола?

Ну а пропасть ненужных, натасканных в дом отовсюду бросовых сельскохозяйственных орудий? Два плужных лемеха, боковых тележных перекладин — четыре, путлищ седельных тоже четыре, не говоря уже о решетчатых задниках от повозок и кованых шкворнях. Все эти этимологические реликты я собираю, дабы сохранились их названия, и потом передаю кому-нибудь. Теперь, после переустройства села, они просто выброшены за ненадобностью, но почему же тогда именно я собираю их в таком количестве, какое только могу себе позволить, не привлекая излишнего любопытства?

И впрямь, хотя дома у меня уже валяется одна наковальня, я чуть было не прикупил еще две, и задешево. Не будь со мной Ф., я подобрал бы и ржавый обруч от бочки и обязательно поднял бы здоровенный суковатый кол; если же она рядом, то я лишь запоминаю, где что брошено без присмотра, и с наступлением темноты отправляюсь за добычей; если же нельзя тащить отслужившее свой век старье прямо в дом, то стараюсь его где-нибудь припрятать в саду.

Ну, а деньги... Этот своенравнейший из всех потоков.

Волна инфляции, случалось, захлестывала печные трубы, но мне она не доходила и до щиколотки; к домашней кассе лично я не имею ни малейшего касательства. В семьях людей физического труда или же в домах, где этот обычай передается от родителей, денежными делами заправляют женщины. В нашей семье с давних пор было заведено так, что я, как правило, даже ведать не ведал, много ли денег у меня при себе. По комедиям я знал, что бывают женщины, которые тайком вытаскивают из пиджака спящего или моющегося в ванной мужа бумажник, чтобы проверить содержимое. Первая часть этой процедуры знакома и мне: нередко та или иная из близких потихоньку брала в руки мой бумажник, открывала его. И так же потихоньку клала туда запас денег, нужный мне на неделю или на месяц, а то и на целое полугодие,— даже не ставя меня в известность. Знакома нам и поныне нередкая для какого-либо провинциального ресторанчика сцена: завидя официанта со счетом, жена под столом сует деньги мужу, тюфяку с лениво-неживым взглядом. То знавали еще мои деды и прадеды, а от них знаю и я, что точно так же под скатертью принимали деньги и державные монархи, после чего властители передавали их в другие руки, но не раньше, чем смиренный взгляд супруги давал понять, какую сумму следует оставить на чай.

Примерно таким же вот было и мое обращение с деньгами, как вдруг неожиданно для себя я обнаружил, что помимо залежей из скрепок самой разной формы и размеров, помимо вечно высыхающих вечных перьев, помимо тетрадей, блокнотов для записи и наконечников для карандашей у меня на столе в медной пепельнице, теперь уже не нужной, начали скапливаться алюминиевые форинтовые монетки, в книги меж страниц заложены десятки, двадцатки и даже стофоринтовые банкноты, а в сердце копятся такие чувства, что их тоже впору было бы припрятать подальше с тою же скаредностью,

с какою я берегу неизменно исчезающие с моего стола конверты и канцелярский клей. Открытие это тревожное, но и бодрящее отчасти. Мой нюх улавливает здесь атмосферу собственной юности; ту эру доматриархата, когда я еще не переложил тягчайшую заботу о деньгах на хрупкие женские плечи, которые от этих тягот лишь хорошеют, точно так же, как молодицы из нашей пусты обретали королевскую стать оттого, что они даже наполненные до краев кувшины носили на голове.

Помимо революции единственный способ обретения свободы — бережливость. Для бедных и для тех, кому угрожает бедность. Кого ж из людей сильнее всего страшит этот жесточайший и гнуснейший из тиранов? Стоящих на пороге жизни и в самом конце ее.

Мы сочувственно улыбаемся, от умиления пуская слюнки, когда наблюдаем инстинктивную жадность в младенце, подмечаем невинный эгоизм в широко раскрытых глазенках, алчущих губках, хватающих что ни попадя и тянущих к себе ручонках: все — мне, для меня, в меня, и даже сверх того — весь мир вращается вокруг меня, в угоду мне, ради меня. Есть теория, объясняющая, почему даже с отходами пищеварения малыши соглашаются расстаться лишь в знак особой милости, в надежде на ответное вознаграждение.

При виде же старческого эгоизма у нас тоже скапливается во рту слюна — для плевка. Конечно, преимущественно у тех, в ком гнездится эгоизм, противоположный старческому: у наследников или близких, кого определенные общественные отношения в какой-то мере обязывают содержать стариков. Кто они, интуитивно, всеми силами души отстраняющиеся от отца Горио? Те, что предпочли бы видеть его мертвым, дабы заполучить все оставшееся после него в наследство.

Защита собственной свободы и скаредность, сей цепкий симбиоз в частнособственническом обществе ничто не может выразить полнее, нежели общеизвестная и в глазах непосвященных чуть ли не болезненная склонность к скопидомству среди людей искусства — этих уже в силу своей профессии одержимых поборников независимости.

Историки венгерской литературы располагают сотней фактов — свидетельств пунктуальности, могущей посрамить любой банкирский дом, с какою Петефи, безалаберный во всех прочих отношениях, неукоснительно расплачивался со своими редкими долгами. Его собрат по искусству и служению народу, гениальный Арань, в страхе перед призраком голода столь бережно откладывал полученные за свои стихотворения филлеры, что накопилась сумма, равная стоимости тысячехольдового имения. Скряжничает полунищий Вёрёшмарти[1], так же как и полумагнат Бержени[2]; скупость последнего значительно сократила его литературное наследие: свечи стоили дорого. Сечени[3] хоть и посулил в пылу юности пожертвовать двадцать пять тысяч на основание Академии наук, но так и не вынул из кошелька ни одного форинта.

Мюрже изобразил в «Богеме» безразличие к материальным благам, свойственное якобы людям искусства того времени, но сам он, как установили, подняв королевские архивы, историки-коммунисты, строчил исчерпывающие полицейские доносы за две сотни в месяц. Основная тема последних писем Бодлера — сколько франков он зарабатыва-

[1] Михай Вёрёшмарти (1800—1855) — венгерский поэт-романтик.

[2] Даниэль Бержени (1776—1836) — венгерский поэт.

[3] Иштван Сечени (1791—1860) — видный венгерский общественный и политический деятель.

ет в Бельгии; последней заботой его меркнущего рассудка были подсчеты: сколько же у него останется наличными, если из гонорара за выступления вычесть дорожные расходы. Как урок промотанного в молодости крупного родового наследства остался в нем этот страх.

Лёринц Сабо в те годы, когда мог ежедневно покупать к обеду мясо и даже мог бы позволить себе раскатывать в автомобиле, тем не менее распределял свои доходы с неукоснительным расчетом: на какое время достанет ему средств, если питаться одной вареной картошкой. Современник Лёринца Сабо — некий гениальный прозаик — откладывал из своих отнюдь не меньших поступлений всего лишь пятьсот форинтов на месячное содержание. И так каждый мало-мальски стоящий художник жил в постоянном страхе, как бы голод не прикончил его раньше, чем он закончит главный труд всей жизни. Енэ Хелтаи[1] одолевала тревога, что под старость ему не хватит писчей бумаги; и потому за долгие годы жизни скопил столько бумаги, что впору было хоть открывать писчебумажную лавку.

Истинность аксиомы убедительнее всего доказывают исключения. Легко добытые деньги в руках людей искусства тают стремительнее, чем у кого-либо. Ади сыпал пятифоринтовыми бумажками на чай. Поверхностное объяснение: в нем сказывалась кровь джентри. Гораздо глубже психологическое толкование: и самому Ади, правда более крупными суммами, деньги эти бросали как своего рода чаевые. Особенно вопиющи примеры из жизни художников, опутанных тенетами так называемых меценатов. Известен случай с престарелым поэтом Йожефом Кишем, когда он на двадцать форинтов, вытянутые из денежного мешка — крупного банкира того времени,— тут же на глазах у мецената назло ему купил завезенный в Пешт первый ранний ананас. Да и как даже сам Меценат — что отражено в стихах Горация — был далеко не меценатом, а расчетливым работодателем. Все меценаты же более близких нам эпох суть заурядные заимодавцы, к тому же ростовщики самого низкого пошиба: они взимали мзду духовными ценностями и зачастую десятилетиями драли с людей искусства ростовщический процент. Да только ли десятилетиями?

К примеру, чем больше появляется новых жизнеописаний Модильяни, тем резче выступают в них два контрастирующих факта, и эти взаимоисключающие друг друга обстоятельства, похоже, никому не бросились в глаза: художник умер в нищете, хотя... какие у него были меценаты!

Поэт, умей быть скаредным; в одержимости не уступая Гарпагону, стереги сокровищницу своего таланта; в особенности же прячь его как можно дальше от этих спекулянтов земельными участками бессмертия на полях Элизиума. И если ты — уже старик, стоящий на грани между бренностью и бессмертием, оберегай свою независимость пуще любого поэта: ведь для тебя творение — это твоя жизнь.

Раздражительность — пресловутая старческая раздражительность — вот она и пожаловала к нам. И приветствуя, встретим ее улыбкой.

Не переживание — в данном случае мысль — порождает ее.

Обрывки воспоминаний в минуты полнейшего душевного покоя. Причем воспоминания эти из жизни людей сторонних.

На память мне приходит известная фраза из надгробной речи Кёлчеи[2], вспоминается безо всякой видимой связи. Те слова, что он

[1] Енэ Хелтаи (1871—1957) — венгерский поэт и прозаик.
[2] Ференц Кёлчеи (1790—1838) — поэт, критик, публицист.

сказал о Бержени, как бы открещиваясь от нашумевшей своей рецензии: «И сей юнец — ужели то был я!»

Кокетливое вихляние задом перед разверстою могилой!.. Сколько жеманного кривляния в самой позе раскаяния: «сей» и «ужели то». Нет, молодой человек, после того как вы сгубили мужа и заставили смолкнуть гения, вам не к лицу высокий стиль. Искреннее раскаяние нашло бы верные слова: «И тем ослом был я!»

Или он тщится доказать, что в конце концов он тоже стал фигурой значительной? Да, именно этот смысл он вкладывает в свою фразу! Наперекор всему!

И утекут минуты, прежде чем — переходя от мысли к мысли — мне удастся вернуть утраченный покой.

Стало быть, не только вчера ушедшие не вправе рассчитывать на наше всепрощение; когда мы уже переступили за определенный возраст, нашему суду подвластны все канонизированные усопшие из минувших поколений человечества.

Вслушаемся в голоса веков минувших: откуда получаем мы впервые достойные нас, людей, наделенных зрелым разумом, ответы о судьбе человеческой? Вне сомнения, из времен Эллады. От кого же к нам через столетия дошли эти ответы и каковы испытанные средства человеческого общения? Поэты древности отвечают нам языком трагедий.

Так что, собственно, нам говорят далекие поэты языком своих художественных образов, столь далеким от методов подачи истины философами, что они едва понимают друг друга? Что дошло до нас из того поэтического ответа сквозь более чем двухтысячелетний хаос голосов, в котором смешиваются на равных шумные диспуты философов, и обрушиваемый на кафедру кулак церковников (вспомним хотя бы Лютера), и вопли дервиша, и грохот шаманского барабана (который служил не только для врачевания, но был и способом аргументации); однако в том же хоре — и мессы Моцарта, и ежедневные последние известия, доносимые разноязыким радио?

Так что же нам советуют ушедшие поэты?

Выстоять наперекор всему!

Хоть и довлеет смерть над человеком, но несправедлива она; в том понимании, что не на ее стороне истина; не на ее стороне логика и красота.

Конечно, на нас обрушит свои чудовищные симптомы старость. Смерть высылает вперед своих лазутчиков. Те набрасываются на человека подобно волчьей стае или вырвавшимся на волю сумасшедшим, подобно ошалелой ватаге школяров или банде пьяной солдатни. Сноси эти наскоки достойно; смерть улюлюкает, а ты улыбайся своему.

Как бы абсурдно это ни звучало, не мирись со смертью.

Смерть сама — олицетворение абсурда.

(Окончание следует)

ВЛАДИМИР ЗАРЕВ

День нетерпения

РОМАН

Перевод с болгарского ЛИДИИ БАША

Усилие

Ему сказали, что отдел кадров еще не перебрался в новое, похожее на гостиницу девятиэтажное здание, и, показав на длинный барак с выкрашенными в приятный красный цвет дверями, посоветовали зайти в комнату номер пять.

Сразу же за бараком начиналась недостроенная заводская ограда, желтела редкая трава, над железной крышей мерцало знойное марево; к свежести большой реки примешивался жаркий дух растопленного асфальта. Кучи земли, груды труб, покрытых маслянистым потом, непрерывно работающие бульдозеры и катки, рабочие, присевшие передохнуть в жиденькой тени,— все это напоминало ему казарменный плац, где так же, как и здесь, каждое движение имело свой необходимый смысл.

Подойдя к бараку, Игнат скромно постучался в комнату номер пять, вытер ладонью лицо и вошел с ощущением, что все именно так и должно быть.

Комната была маленькой, стояли в ней три обшарпанных коричневатых письменных стола и столько же плотно заполненных пожелтевшими папками полок. Сидевшие за столами пожилые, с усталыми лицами, женщины быстро печатали на машинках. Они посмотрели на него с молчаливым любопытством, истомленные жарой и работой, утратившие, казалось, не только ощущение времени, но и принадлежности к своему полу. Посмотрели с той нескрываемой неприязнью, которую испытывает парализованный человек ко всем, кто способен двигаться.

— Добрый день... — тихо сказал Игнат и поставил на пол свой туго набитый дешевый чемодан, сохранившийся у него с военной службы.

— Что вам угодно? — спросила женщина с красивой черной родинкой на щеке, сидевшая ближе всего к нему.

Она сразу догадалась, что он деревенский, хотя на нем были новые ковбойские брюки «Тревел» и модные красноватые туфли (Игнат хоть и вошел робко, но как-то неожиданно и, казалось, принес с собой запахи села и мужского пота. Он и смотрел робко, но дышал шумно, словно вокруг него простиралось поле).

Окончание. Начало см. в № 3, 4.

— Я ищу работу,— спокойно ответил Игнат и по солдатской привычке поспешно застегнул верхнюю пуговку белой рубашки.

— Сейчас нельзя — не приемное время. Вам надо подождать...— быстро заговорила женщина, губы ее как будто продолжали писать на машинке.— Подождите во дворе, пожалуйста...

— Благодарю,— сказал Игнат, взял чемодан и вышел с ощущением, что именно так и должно быть.

Он сел на ступеньку перед входом в барак, закурил сигарету и стал смотреть на асфальтовое шоссе, по которому проносились автомобили, на далекие, неясные очертания Видина. Но ему это быстро наскучило. Он облизнул сухие губы и, прислонившись к стене, зажмурился. Он ждал.

Часа через два дверь комнаты номер пять отворилась, и он увидел кривоватые ноги женщины с черной родинкой, она чуть не споткнулась о него. Взгляд ее стал злым, подбородок обиженно задрожал.

— Что вы здесь делаете? Что вам надо?..— возмущенно накинулась она на Игната.

— Вы же сами сказали, чтобы я подождал...— вежливо пояснил Игнат и встал.

— Так нельзя... тут нельзя, вы мешаете... Вон там, на той скамейке ждите...— крикнула она, убегая к административному корпусу, похожему на ультрасовременный отель.

Игнат заметил, что каблуки на ее туфлях были основательно, даже непоправимо сбиты.

Он взял чемодан и покорно направился к скамейке. Это было, наверное, самое солнечное место на всем объекте. У засохшей акации лежало брошенное кем-то ведро, а на дне его блестел растопленный асфальт. «Можно вообразить, что это чашка с кофе...» — вяло подумал он. Сиденье зеленой скамьи обожгло его, но он не пошевельнулся — сидел и наблюдал, как постепенно удлиняются, становятся все прозрачнее тени. Тело постепенно притерпелось к жарким, солнечным лучам, и он, немного конфузясь, снял мокрую, просоленную потом рубашку. Но никто не обращал на него никакого внимания.

Постепенно объект обезлюдел. Игнат изрядно проголодался и часов в семь съел баницу, которую купил по дороге, потом подошел к ближайшему шлангу и долго пил теплую, отдававшую резиной воду.

За несколько недель до этого дня Игнат встретил как-то вечером Тошо возле хлипкого, деревянного моста МТС. Тошо завертелся, стал озираться по сторонам, как испуганная лошадь: он не мог убежать — знал, что Игнат его догонит, но и остаться не мог, потому что ему пришлось бы защищаться. Синеватый полумрак увеличивал расстояние между ними, и пока Игнат закуривал сигарету, у Тошо от напряжения пошла носом кровь. Несколько капель ее попали на его пеструю рубашку, но не оставили следа, потому что слились с кирпичными разводами. Его ноги, в таких же, как и у Игната, ковбойских брюках «Тревел», дрожали, а Игнат, охваченный чувством жалости к нему, приближался мучительно медленно.

— Застукал меня, твоя взяла... только и я с Калиной влип... ох как влип...

— Да погоди ты,— перебил его Игнат.— Ты же ей нравишься... Прежде я ей нравился, а теперь ты...

Он и сам не ожидал, что сможет так ясно и просто все выразить. Выразить то, что долгие месяцы не мог пережить. А страх Тошо нарастал, искажал лицо, сталкивал с губ грязные и мерзкие, как тина, слова...

«Ударь меня...— молил взгляд синеватых глаз Тошо.— Ударь меня, и дело с концом...» А Игнат, хотя его всего трясло, не ощущал гнева в своих кулаках — пальцы, державшие яблоко, поглаживали округлую гладкую поверхность плода. «Подожди,— с тоской думал он, глядя на Тошо,— так всегда бывает... но именно потому и не следует торопиться, раз так бывает всегда...»

Потом они разошлись, но у каждого осталось тревожное чувство, что другой ничего не понял, ничего не исправил и что напряженность сохраняется.

Вот тогда-то и возник у Тошо безудержный мучительный страх, о котором стало известно всему селу.

Трижды председатель ТКЗХ вызывал в свой просторный кабинет Игната; постукивая ногтем по полированному столу и устало почесывая большую лысую голову, он спрашивал:

— Черт вас подери, чего ты, сукин сын, хочешь от Тошо?

— Ничего...— отвечал, мягко улыбаясь, Игнат.

Но председатель Ненков не верил ему. Докуривал, что называется, до последней затяжки сигарету и, цокая языком, грозил обрубком пальца:

— Ну, смотри у меня... а то натворите глупостей и пропадете оба ни за что ни про что!

Страх, как это ни странно, сделал Тошо задиристым и дерзким. Почти каждый день он — бригадир — приезжал на кооперативное поле на своей красной разболтанной «Яве» и, вызывающе расстегнув ворот рубашки, искал повод для ссоры с Игнатом. А тот обычно невозмутимо курил, опершись на свой трактор. Глубоко вспаханная, израненная плугом земля дышала спокойно и ровно, гулко разносился по полю рокот мотора, словно кто-то прострачивал на швейной машине воздух.

— Опять мелко пашешь...— вытягивая тощую шею, орал Тошо и тыкал рукой на ровные, красиво проложенные глубокие борозды.— Все перепашешь заново, а расходы на бензин — за твой счет...

— Ладно, сделаю, как ты скажешь,— сдержанно отвечал Игнат.

А округлившиеся от страха глаза Тошо с каким-то самоотречением молили: «Ну, ударь... ударь, и дело с концом...» Он должен был заплатить хоть чем-то, чтобы ему можно было спокойно лечь рядом со своей будущей женой. «Должно же, наконец, что-то произойти»,— неотступно думал Тошо. А Игнат лишь с трезвым добродушием покуривал сигарету.

Тошо изводил своими придирками Игната... Но Игнат сносил все, потому что источником его силы была не мстительность, а упорство. Хотя именно в готовности простить и состояли его месть и его освобождение от муторной любви к Калине. Силой разума, волей превозмогал он огромное желание ударить, размозжить, окровавить плоскую физиономию стоящего перед ним бригадира и тем самым делал бессмысленным свое чувство, глушил воспоминания о теле и голосе Калины, о ее блуждающей улыбке, меняющейся, как отражение бегущих в небе облаков в стоячей воде.

Игнат выключал мотор. Они с Тошо оставались совсем одни. Кузнечики своим стрекотом разрывали между ними воздух, приятно пахло сеном; дальние холмы походили на обломки окаменевшей тишины. На заросшем бурьяном противоположном конце поля свирепо жужжали дикие пчелы. Тошо покрывался испариной, на лице его выступали багровые пятна, словно он в сильную жару хлебнул лишнего...

Так могло бы продолжаться долго. Чувства Игната, как ни сжимал он зубы, как ни силился вычеркнуть из памяти Калину, умерли бы не скоро, если бы вчера под вечер он не встретил ее и...

Случалось и прежде, что они встречались, проходя по площади; она смотрела на него словно бы и свысока, но с каким-то виноватым простодушием нерешительной женщины. А в этот раз он заметил, что и походка ее была какой-то особенной, податливой. Головка подсолнуха, которую она держала в руке, мерно покачивалась из стороны в сторону. Белая блузка и синяя юбка смутно очерчивали контуры ее тела, грудь высоко вздымалась. Игнат, сам не зная почему, подумал, что губы у нее, должно быть, сейчас влажные.

Конечно, Калине разумнее было бы его обойти, он мысленно молил ее, чтобы она свернула в одну из боковых улочек, потому что великое желание простить боролось в нем с искушением сказать ей: «Я не понимаю тебя и не хочу понять... и так все совершенно ясно».

— Как живешь? — поравнявшись с ним, спросила Калина, и он испугался, что она остановится.

— Хорошо...

Калина и в самом деле остановилась, молча и сосредоточенно она щелкала семечки, и шелуха серебристыми стружками разлеталась вокруг. На безлюдной площади лишь несколько белых кур копошились в пыли, и старушки, дожидавшиеся своей очереди возле пекарни, сразу же углядели одинокие фигуры Калины и Игната.

Постояв немного, они пошли вместе. Калина нервно приглаживала рукой свои светлые волосы, как будто хотела привлечь внимание всех окружающих и сказать: «Вот видите, я его обманула и стыжусь этого... Вы должны понять, как мне стыдно, можете насмехаться надо мной и злопыхать». Тени Игната и Калины неотступно шли впереди них. Подойдя к воротам своего дома, Калина, наступив на свою тень, сказала:

— Почему не входишь?..

Он помнил ряды виноградных лоз по обеим сторонам садовой дорожки; высокие, облицованные плиткой ступени; первую большую комнату с новым трехстворчатым гардеробом и телевизором, но он никогда еще не входил в спальню Калины. Ее маленькое оконце глядело на него испытующе, как сердитый глаз, и это ощущение не покидало его до тех пор, пока Калина не опустила «веко» — плотные розовые занавески с неприглядными цветами домашней вышивки.

Внутреннее напряжение плотно прижало тело Калины к одеялу, покрывавшему постель, и в легком пушке на ее верхней губе блеснули крохотные капельки пота. Он почувствовал, что Калина противится его доброте, что ей ненавистно его прощение — оно унижало ее.

— Хочешь уйти?..— запинаясь, тихо спросила она.

Игнат промолчал, загасил окурок в розетке для варенья. Он и в самом деле хотел уйти. С торжественной медлительностью он посмотрел на часы, завел их и пробормотал:

— Да-а...

Вдруг Игнат увидел, как руки ее тянутся к его шее... А ему так хотелось покоя. Да, этот надвигающийся вечер развеял в прах его прекраснодушные помыслы. И тут же почувствовал, как воле и разуму вопреки в нем закипает кровь... как тонет в постели ее тело... Ее широко открытые глаза молили... но не о милости...

«Мы ведь хотели пожениться... это должно было произойти...» — мелькало у него в голове.

Калина пахла луговой травой... В нем снова вспыхнули прежняя любовь к ней и надежда, что существуют вещи, незыблемые для сознания,— такие, как родное село, как его упорство и страх Тошо... И ему стало вдруг мучительно больно, потому что он понял — это, такое обыкновенное, счастье никогда не повторится, а навсегда останется лишь воспоминанием.

Он отстранился немного и в сумеречном свете опустившегося вечера увидел страдальческое лицо Калины. Руки ее уже не искали его объятий. Она была похожа на оскверненную статую, неожиданно обретшую способность чувствовать. Глядя на него сухими глазами, бесстыдно раскинув колени, она сказала:

— Вот ты и отомстил... теперь тебе следует поскорее отсюда убраться...

Так вот что все это значило!

Калина рассчитала поразительно точно — унизила не его боль, а его упорство! Игнат, казалось, зримо ощущал, как блекнет, становится бессмысленным его прощение. В голове назойливо вертелась успокоительная мысль: «Она всегда меня боялась и потому ушла к Тошо». Немного погодя, когда он, наконец, сумел зажечь дрожащими пальцами сигарету, он добавил про себя: «Нельзя говорить это, нельзя...»

Игнат так и не обернулся, даже когда за его спиной послышались всхлипывания. Он ощупью нашел дверь, и ночь встретила его, как темный дом. Откуда-то доносились собачий лай и старческое покашливание. Игнат долго не мог ни на чем сосредоточиться, горечь и боль перемешали и заглушили все его мысли. И вдруг он понял: когда Калина произнесла: «Вот ты и отомстил... и теперь тебе следует поскорее убраться!» — она, в сущности, сказала: «Вот ты и отомстил... и теперь ты можешь остаться!»

Чудовищной казалась изобретательность и жестокость этой женщины, которая всего лишь за несколько мгновений до того так искренне и страстно тянулась к его губам... Он должен был уехать — другого выхода не было; он должен был уехать, чтобы остаться самим собой.

Игнат пришел домой поздно. Душа его была пуста, но голова полна самых разных планов. Бесшумно проскользнул в кухню, съел все до последней крошки, что оставила ему на ужин мать, и принялся укладывать в чемодан вещи. Потом, лежа в постели, долго следил за золотым рожком молодого месяца, который прислонился к окну, дожидаясь, когда, наконец, сон смежит пылающие веки. За это время он сумел спокойно во всем разобраться и понял: Калина рассталась с навязчивым страхом и своим холодно рассчитанным падением освободила его от любви к ней... Игнат вдруг ощутил всю силу и прелесть полной свободы — когда не связан ни с кем и ни с чем.

Часа в три ночи Игнату стало холодно, он вынул из чемодана толстый шерстяной свитер. Ночь лениво передвигала звезды к западу. В эту спокойную пору новолуния небо казалось черным. Вблизи не было ни одного деревца, шелест листвы которого он мог бы послушать; жесткая редкая трава покрылась росой.

Игнат швырнул подальше от себя окурок, и светлый огонек прочертил красивую дугу. Как только у него кончились сигареты, ему ужасно захотелось курить, но он знал — надо оставаться на этой скамье, сидеть на этих твердых сырых досках, даже если утро вообще не наступит. Постепенно сон одолел его, и он хоть и несладко, но поспал до шести часов.

Солнце уже давно взошло, по дороге один за другим катили автобусы и останавливались перед административным корпусом, похожим на гостиницу, оставляя здесь толпы заспанных рабочих. День обещал быть знойным; на синеватом, еще не обретшем своей глубины небе не было даже намека на облачко. Но все это не имело сейчас для Игната никакого значения, потому что он устал и был голоден.

Прошел уже час, как Игнат проснулся и, наконец, увидел женщину с черной родинкой — узнал ее издали по выцветшему желтому платью и по особой неровной походке — казалось, она ступала по раскаленным углям.

Он поднялся, расправил онемевшее тело и с ощущением, что именно так и должно быть, подошел поближе ко входу в комнату номер пять.

Женщина остановилась у двери и, увидев его, никак не могла попасть ключом в замочную скважину — так дрожали у нее пальцы. Лицо ее исказилось от испуга, а глаза заметались, ища помощи.

— Вы что?! Что вы тут делаете? — растерянно спросила она.

— Вы велели мне подождать — вот я и жду,— спокойно ответил Игнат с неловкой учтивостью крестьянина, и в голосе его не было ни злобы, ни нетерпения.

Тогда он ясно увидел, как расширились ее зрачки — в них вспыхнул страх, бессмысленный, непреодолимый, напоминающий одновременно и детское удивление.

— Пожалуйста... входите... эти автобусы... с ума сойти от них можно...

Игната зачислили в цех номер сто еще не до конца отделанного корпуса шинного завода. Он почувствовал себя неловко, когда входил со своим потертым чемоданом в этот красивый высокий и просторный зал.

Игнат был совершенно неподготовлен к работе в ограниченном пространстве закрытого помещения, где ни на минуту не умолкал равномерный гул аппаратов и стоял малоприятный запах сажи и каучука, словно тут только что залили водой буйно разгоревшуюся печь. Особенно трудно было в первые дни. Правда, этот непривычный, раздражающий шум временами вдруг будил у Игната тихие воспоминания, и тогда он часами механически следил за тем, чтобы десятиметровой высоты аппарат бембер, к которому он был приставлен, заполнялся в должное время и в должных пропорциях сажей и каучуком.

Его сразу же прикрепили к веселому здоровенному парню, которого все звали Большой Пешо. Густые русые волосы этого парня были по-модному острижены и обильно напомажены; распахнутая клетчатая рубашка открывала крепкую волосатую грудь. Большой Пешо пальцем поманил его к себе — точно так же, как это делал старшина в казарме,— и с нескрываемой иронией спросил:

— Ты откуда?

— Из Тырнян,— неестественно тонким голосом ответил Игнат и покраснел.

— Значит, ты деревенский, человек до всего жадный... ну, а молодуха у тебя есть?

— Нет, я еще не женат...

— Молодец! Так вот гляди, деревня,— этот зверь называется бембер! Конечно, тут тебе не картошку копать или домашнее винцо попивать, но ничего, привыкнешь...

Большой Пешо сразу почувствовал, что этот Игнат — парень особенный, не похожий на других. Глаза у него какие-то монгольские — узкие щелочки, в себя они вбирают все, что видят вокруг, а вот что внутри у него делается — ничего не узнаешь. Красивые губы — в трещинках, как непаханая глинистая земля, а кисти рук всегда сжаты в кулаки.

Все знали, что смутить Большого Пешо нелегко: он был не роб-

кого десятка и побаивался лишь собственной силы. И потому, когда у него начинал подергиваться глаз — верный признак, что он выходит из себя,— Пешо шел в буфет, чтобы выпить для успокоения рюмочку «мастики». Но разговаривая с Игнатом, он весь как-то напрягся, хотя продолжал иронически улыбаться. А сам в это время думал: «Если он из тех типов, что придерживаются принципа «ударь меня первый, чтобы я разозлился», то я ему так накостыляю, что весь форс с него сразу слетит, родная мать и та его не узнает».

Игнат продолжал по-прежнему неподвижно стоять перед ним со своим потертым чемоданом с видом человека, ждущего приглашения. В его скромности было и что-то величавое, и простецкое.

Большой Пешо вдруг учуял запах свежей редьки. Он давно уже не видел ее — редька была далеким воспоминанием его голодного детства. Редька была ахиллесовой пятой Большого Пешо, но никто, даже он сам, не сознавал этого... И расчувствовавшись, Большой Пешо в последний раз подумал: «Я все же собью с этого болвана форс... Он у меня попляшет...»

Игнат же, со своей стороны, воспринимал Большого Пешо просто как Большого Пешо. С тем же чувством стоял бы он и перед Пешо Маленьким, если бы здесь такой существовал. Он облизывал обветренные губы и постепенно привыкал к непрестанному громыханию машин, которое, казалось, раздвигало стены обширного помещения и давало ощущение пространства.

Он понимал: между ним и Большим Пешо обязательно что-то произойдет. Столь же для него непостижимое, как и то, что они встретились. Игната раздражало его постоянное пренебрежительное обращение: «Эй, деревня!» — но он знал: самое главное, что в данном случае необходимо сделать,— это ничего не делать. Он старался полюбить машины и заводские порядки, последовательность и правомерность которых так напоминали ему человеческую мысль и так чужды были человеческим чувствам. Сажа, сера и другие составные части закладывались в высокий бембер, и из него медленным заболоченным ручьем вытекал сырой каучук. Пористый и мягкий, он продолжал свой путь, проходя через строй ритмично действующих механизмов под наблюдением сосредоточенных рабочих, чтобы превратиться в автомобильные шины, способные катиться по дорогам пятьдесят тысяч километров...

— Значит, мы поняли друг друга?..— улыбаясь, обратился вдруг к Игнату, заставив его вздрогнуть от неожиданности, Большой Пешо.— Ну-ка сбегай в буфет, купи мне пачку «Арды».

С этой минуты Большой Пешо непрерывно находил для Игната какое-нибудь дело — посылал его за сигаретами, заставлял его в обеденный перерыв мыть пол, читать ему вслух газету. Игнат все добросовестно исполнял с пугающим спокойствием и с ощущением, что именно так оно и должно быть...

Игнат стоял у первого стола и ждал, хотя сам точно не представлял, чего именно он ждет. Он был готов ко всему, мысли его перескакивали с одного на другое, мешая ему сосредоточиться и разглядеть находившихся рядом с ним людей.

Кольо Барчето и Серафим Тыртея играли в кости, окруженные голыми спинами «болельщиков»; незнакомый еще ему молодой парень разглядывал в зеркале свою мускулатуру. Двадцать застеленных потертыми одеялами кроватей выглядели неприглядно; сквозь запыленные окна с трудом пробивался свет неяркого вечернего солнца; в комнате стоял тяжелый запах мужского пота, одеколона «Весенние

грезы», стираного белья и тушенной с мясом картошки. Мелькали устало-сонные лица, доносился разноголосый шум Главной улицы. Слышались даже старческие вздохи древнего паровичка, который маневрировал, казалось, под самыми окнами общежития.

«Ну хорошо,— подумал рассеянно Игнат,— я просто откупорю бутылки, и пускай каждый наливает себе сам...»

Чувство одиночества обострило его воображение, и он представил, как оживятся, засуетятся парни при виде объемистых бутылок, станут добрее, сердечнее. Правда, пластмассовые стаканчики из-под кислого молока «Снежанка» могли оказаться для них слишком хрупкими и недостаточно емкими, потолок общежития — слишком низким, чтобы вместить их слова, а воздух — слишком влажным, чтобы впитать их пот. Игнат попросил было Кольо Барчето завести патефон, но тот как-то отвертелся — видно, берег иглу и совсем новую пластинку Эмила Димитрова. У Кольо Барчето — как и у всех остальных, кто находился в длинном душном помещении общежития,— не было оснований настолько уважать Игната, чтобы ради него изводить патефонную иглу.

Игнату было невдомек, что его сторонятся. Он просто чувствовал, что ему не одолеть самому скуку воскресного дня. Он откупорил бутылку с «мастикой», но слабый хлопок пластмассовой пробки не привлек ничьего внимания.

В эту минуту отворилась с треском дверь и вошел — нет, вторгся — Большой Пешо в желтых замшевых джинсах и в неизменной клетчатой рубашке, счастливый уже от одного того, что живет на белом свете. Позже Большой Пешо с грустью вспоминал это свое вторжение и, покачивая большой головой, зло повторял:

«Но почем я мог знать?..»

Его появление сразу встряхнуло всех. Общежитие стало вдруг и просторнее и светлее, парни зашевелились, задвигались, а Игнат, не долго думая, наполнил до краев один из стаканчиков и направился к нему.

— Ты что это делаешь, деревня?! Совсем спятил — да разве можно в такую жару?

— Так ведь с первой получки...— пояснил смущенно Игнат и споткнулся.

Все захохотали, словно случилось бог знает что.

— Чего же ты сразу не сказал, балда!..— крикнул Кольо Барчето.— Мы бы патефон завели...

Парни подошли поближе, и у стола стало тесно. Они его приняли, но не потому, что он угощал, а потому, что вдруг поняли: он хотел угостить именно их.

Виновником празднества оставался Большой Пешо — в равной мере строгий и добродушный, свободный от мучительной потребности говорить, которая так одолевала Игната, но в то же время наделенный исключительным талантом общительности — все принимать, участвовать во всем целиком, наслаждаться всем полностью. Его обращение «деревня» так и плескалось в воздухе, вызывая у Игната и неприязнь к нему, и благодарность.

Игнат еще не мог по-настоящему оценить значение этого дня. Он понимал только, что, утратив все в деревне (тоска по Калине и по незатейливым сельским вечеринкам еще тлела в его сердце), он пока ничего не обрел на заводе, где и знал-то всего лишь дорогу к цеху номер сто. А цех был похож на многолюдный рынок, но он чувствовал себя там еще более одиноким.

Постепенно ребята вошли во вкус, и стало ясно, что выпивки не хватает. К лавине звуков подключился патефон; несколько человек

пустились в пляс — мужчины постарше с трудом перебирали ногами: давала себя знать боль в пояснице. Потом принялись рассказывать про женщин, про службу в армии. Игнат был снова забыт, хотя и не брошен ими. Сквозь запотевшие окна с улицы уже проникал свет неоновых фонарей. Никто почему-то не догадывался включить лампы. Большой Пешо вдруг поднялся с треногой табуретки.

— Чао, ребята! Пойду... Приветствую вас...— сказал он и вышел.

Игнат, замешкавшись было от растерянности, тоже встал и кинулся следом за ним.

На пороге Игнат остановился и перевел дыхание — Большой Пешо стоял возле таблички, на которой синими кривыми буквами было выведено: «Общежитие химических заводов», а под нею кто-то мелом дописал: «Вход в любое время строго разрешен!»

Большой Пешо, думая, видимо, что Игнат хочет его поблагодарить, покровительственно похлопал его по плечу и с неловкой усмешкой сказал:

— Не за что, деревня, не за что...

И снова это насмешливое обращение «деревня» вызвало у Игната неприязнь к Большому Пешо, хотя только что он испытывал к нему чувство благодарности и даже любви. Правда, тут же возникло и желание простить ему «деревню». Конечно же, парни выпили его «мастику» ради Большого Пешо, как будто Пешо, а не он купил на свою первую получку эти три бутылки...

Они пошли вдвоем по Главной улице. Игнату вдруг нестерпимо захотелось рассказать Большому Пешо о себе, излить ему душу. Но рассказывал он неумело — вяло и рассеянно. Большой Пешо слушал его тоже вяло и рассеянно, перебирал крепкими пальцами цепочку с ключами, время от времени зевал во весь рот или же, неожиданно взбодрившись, разглядывал ноги проходивших мимо девушек.

— Ведь я поступил вполне честно,— заключил расстроенно Игнат,— а Калина и бригадир... за моей спиной...

— Понимаю, тебе это обидно.

Игнат с благодарностью поглядел на Большого Пешо, который так терпеливо слушал его. Они остановились на площади перед кинотеатром «Цветок», окруженным плотной толпой школьников и мальчуганов поменьше, пришедших смотреть вторую серию «Троянской войны».

— Ох, тракторист, тракторист,— скучным голосом заговорил Большой Пешо, всем своим видом показывая, что хочет поскорее отделаться от Игната,— и чего это ты решил плакаться мне в жилетку?.. Тут у нас все по-другому... Наше дело тонкое, на учительское смахивает. Сидишь всегда в тепле, поглядываешь одним глазом на аппаратуру и насвистываешь, понял?

Игнат видел, что Большому Пешо не терпится поскорее избавиться от него, но, руководствуясь каким-то чутьем, решил ни в коем случае не уходить, пусть даже у Пешо назначено свидание с самой английской королевой. Стремясь покончить с одиночеством, он не задумывался о последствиях своего решения.

Большой Пешо беспокойно переминался с ноги на ногу и непрерывно поглядывал на часы. Игнат понимал, что у него, самого крепкого из всех встречавшихся ему парней, уже лопается терпение.

— Тяжко мне... так скрутило меня...— сказал он тихо, но безо всякой тоски в голосе.

Эту фразу Пешо слышал уже несколько дней. Игнат повторял ее так упорно, бессмысленно и беспомощно, что Пешо не выдерживал и, шумно вздохнув, приказывал ему, словно он был слугой, сбегать в буфет за сигаретами.

Они продолжали стоять друг против друга, ощетинившиеся и жалкие, неспособные даже подраться. Такими их и застала знакомая Большого Пешо. Она появилась неожиданно и словно бы случайно. Первое, что приметил Игнат — это ее покачивающуюся замшевую сумку, а уж только потом увидел ее глаза — синие, с длинными ресницами,— которые она непрерывно щурила. Наступила долгая неловкая пауза, когда каждый старался настроить себя на другой лад. Наконец Большой Пешо сказал — любезно и немного подчеркнуто:

— Магдаленка, познакомься — мой кореш Игнат.

С деланно веселой улыбкой они вошли в кафе. Мужчины заказали себе по большой рюмке ракии, а Магдалена попросила принести ей маленькую рюмку коньяку «Плиска» и кока-колу. Большой Пешо неумело ухаживал за Магдаленой.

— Извини, пожалуйста, я хотел купить тебе пачку «Кента», но...

Он говорил как-то непривычно деликатно для него, а девушка, два месяца назад получившая учительский диплом, упивалась возможностью курить и пить в присутствии такого множества людей.

Часов в десять вечера они перебрались в ресторан и, уничтожив там по отрезвляющей свиной отбивной, стали по очереди танцевать с Магдаленой. Причем Большой Пешо предпочитал танцы быстрые, поскольку года полтора назад ему во Враце сказали, что он замечательный «шейкист». На долю же Игната оставались медлительные блюзы. Пальцы его ощупывали пуговки бюстгальтера Магдалены или же мягко прикасались к ее талии. Игнат краснел, но не отрывал взгляда от ее лиловатых нежных губ и глубоких синих глаз, которые все время улыбались. Очевидно, Магдалена, как и Игнат, впервые проводила вечер в ресторане. Ей было приятно демонстрировать свои стройные ноги, привлекающие взоры сидящих в зале мужчин.

«Ох, уж эти ковбойские брюки «Тревел»...— огорченно думала она.— Хоть бы они у него не вспучивались так на коленях». Магдалена старалась быть гибкой в неловких руках Игната и тайком ловила его взгляд. Когда же Игнат умудрялся наступать ей на ногу, он так странно бормотал «пардон», что это скорее походило на ругательство, произнесенное с французским прононсом, чем на вежливое извинение. Потом Игнат, сидя за столом, отдыхал. Он испытывал такую физическую усталость, словно его заставили ходить по канату с драгоценной хрустальной чашей в руке. Он наблюдал, как Большой Пешо трясет своими широкими клетчатыми плечами, и почти догадывался, о чем они с Магдаленой говорят во время танца.

— Он ужасный нахал, этот твой приятель,— задыхаясь и прищуривая глаза, говорила она, чувствуя на своих коленях чей-то искушенный взгляд.— Он как слепень нахальный.

— Да, с манерами у него слабовато,— отвечал Пешо, ублаженный ее словами.— Ну какие же манеры приобретешь в Тырнянах...

В одиннадцать часов прекратили подавать еду, и они допивали втроем бутылку «Тракии»; в зале уже погасили половину ламп. Большой Пешо зевал со львиным рыканьем, Игнат был весь во власти ожидания чего-то необыкновенного, сильного и нежного, а Магдалена не переставая курила и рассказывала городские сплетни — как жена адвоката Евдокиева накрыла своего супруга, когда он уединился в конторе с какой-то деревенской красоткой; что закупщик сигаретной фабрики Терзиев встретил случайно в парке их начальство — Килкина, его ведь знает весь город... Он сидел на скамейке среди осенних роз и ласкал бездомную собаку, но нельзя было сказать наверняка, кто был более одиноким — Килкин или собака.

Шикарное времяпрепровождение в ресторане «Балкантурист», глубокий взгляд синих глаз Магдалены и городские сплетни, которые она рассказывала со счастливой небрежностью, рассеяли его чувство одиночества. Пресытившись собственными ощущениями, став почти отвратительным самому себе, Игнат получил, наконец, возможность приглядеться к другим. Уже на следующее утро, встретив в умывальной комнате Кольо Барчето, он вдруг брякнул:

— Ну, и дурацкий же у тебя патефон...

— Что ты хочешь этим сказать? — спросил озадаченный Кольо Барчето, вытирая полотенцем намыленное лицо, и на всякий случай снял свои новые часы.

Парни, находившиеся там, насторожились, в наступившей напряженной тишине слышался лишь звук капающей из неисправного крана воды.

— Что ты хочешь этим сказать? — повторил Кольо.

— Ничего...

Игнат смотрел прямо в глаза Кольо. Взгляд его был спокойным. Жилы на короткой шее казались странно расслабленными и нежными, словно это был не деревенский парень, а какой-то юный бородатый интеллектуал. Потом он невозмутимо обошел Кольо, предоставив ему возможность тупо созерцать в мутном зеркале красноту своих щек.

Отправляясь в автобусе на работу, Игнат сердечно здоровался, кивал многим с крестьянской верностью обычаю.

Впервые в жизни на него произвела впечатление легкая розоватость осеннего утра; она как бы приземляла вздымающиеся к небу заводские корпуса, придавала им более реальный вид, четко обрисовывая их резкие контуры. Связывающие их серебристые трубы, по которым устремлялись потоки азота, воздуха и пара, затейливо переплетались в красивый орнамент. Над Дунаем стелилась красноватая мгла, которая вынуждала суда долго и утомительно выть. К проходной непрерывно подъезжали автобусы, доставлявшие сотни людей, которые мгновенно рассыпались по обширной заводской территории.

Во время работы под неподвижным, но постоянно напряженным бембером, откуда вытекала темная каша сырого каучука, Игната не покидало ощущение, что он ведет трактор. В его мозгу, успокоенном после вчерашнего дня, ознаменовавшегося такими важными для него событиями, возникла неожиданная мысль: если ему удалось однажды так счастливо провести время, то почему бы это не могло повторяться. Она быстро оформилась в его сознании в идею необходимости непрестанного движения к чему-то определенному, что никогда не может быть исчерпано в своей бесконечной сущности. Эта сладостная и мучительная мысль непонятным для него образом сливалась с той чистой восторженностью, которую вызвала у него Магдалена — почти девочка, но уже в чем-то и немного женщина. Она напоминала ему фотографию из старого календаря — девушка в национальной одежде собирает виноград и смотрит с гордостью и страхом прямо в объектив аппарата.

Может быть, поэтому Игнат весь день работал с увлечением; впервые он как бы сросся с цехом — ему не досаждали ни запах горелой резины, ни высокие панельные своды, а по дороге к общежитию он догнал Большого Пешо, схватил за рукав клетчатой рубашки и с ощущением, что именно так оно и должно быть, тихо сказал:

— Не забудь, сегодня у нас свидание...

— То есть как это у нас свидание? — не поверил своим ушам Большой Пешо.

— В двадцать тридцать. Ведь мы вчера условились с Магдаленой...

— Слушай, с этой девушкой гуляю я, понимаешь! — прервал его Большой Пешо и с силой нажал на его плечо.— Тебе нечего приходить.

— Я не помешаю,— мягко возразил Игнат, уверенный, что этого вполне достаточно.

Он даже не дал себе труда вспомнить, что за весь этот день Большой Пешо ни разу не посылал его за сигаретами и не заговаривал с ним. Игнат был слишком занят собой, своими мыслями, а Большой Пешо все еще колебался, все еще чувствовал себя неуверенно. Обычно очень сильные люди боятся собственной силы, а об остальных думают, что они устрашены, запуганы ими.

Оба, продолжая идти за своими тенями, пересекли улицу, усыпанную опавшей желтой листвой, и вошли в общежитие. Миновав прохладный, полутемный вестибюль и длинный коридор, они, наконец, добрались до своей комнаты, где Кольо Барчето уже завел патефон и звучал голос Эмила Димитрова. Большой Пешо сразу же лег на кровать и сделал вид, что спит.

Вместе они как бы составляли некую значительную личность, тогда как каждый из них в отдельности, обладая лишь одним каким-то приметным качеством, был самым обычным. Игнат воплощал в себе упорство, Большой Пешо — силу, а Магдалена, наделенная, как всякая нормальная женщина, чутьем,— беспокойство.

Они ходили в летнее кино и, глядя фильмы, заодно с местной шпаной лузгали, словно автоматы, семечки; пили в «Ровно» или в кондитерской «Балкантурист» кофе; прогуливались по парку. Магдалена чувствовала себя абсолютно защищенной, потому что Игнат мешал Большому Пешо позволять себе вольности, и это до известной степени ее успокаивало, хотя она не была вполне уверена в том, что хочет быть от кого-то защищенной. На Большого Пешо нападала скука, он грыз ногти и ждал, когда же, наконец, заболеет Игнат. А Игнат сохранял отличное здоровье и пытался осмыслить появившееся у него новое чувство. Они или не были влюблены, или не знали, что влюблены, но Игнат все же с удивлением отметил, как быстро запечатлелся в его сознании образ Магдалены. Она была не особенно красивой, но стройной и умной девушкой; Магдалена прочла по меньшей мере в два раза больше книг, чем он и Большой Пешо вместе взятые. Книги сделали ее умеренно романтичной, но они же обострили ее жажду «красивой» жизни. Больше всего на свете ненавидела она «мещанскую атмосферу» Видина, без которой, однако, как думал Игнат, сама не могла бы существовать.

Игнат не догадывался, что Магдалена его боится; ей казалось, что его постоянное, почти несокрушимое молчание предвещает несчастье. Игнат молчал с таким же постоянством, с каким она одиннадцать лет училась, но, в конце концов, ученье ей просто надоело. Они проводили свой досуг всегда втроем, и это позволяло им верить, что даже если какой-то конфликт между ними и назревает, то настолько медленно, что пройдет незамеченным.

Одинаково проведенные вечера и заканчивались одинаково — они с Пешо провожали Магдалену до ее желто-оранжевого дома с пышной лозой у главного входа. Метрах в пятнадцати от ворот Игнат останавливался у фонарного столба с разбитой электрической лам-

почкой и, почти невидимый, оцепенев от бурлившей в нем крови, жадно приглядывался к беззвучным поцелуям Пешо и Магдалены.

В эти краткие мгновенья, оставаясь наедине с Магдаленой, Большой Пешо ликовал. А Магдалена, устроенная куда сложнее, ощущала одинаково отчетливо и терпкий вкус влажных губ Большого Пешо, и почти демоническую фигуру Игната. Заключал прощальные минуты диалог между Магдаленой и Пешо.

— Кто с кем гуляет? — спрашивала она шепотом, потому что боялась Игната.— С тобой я встречаюсь или с ним?

— Со мной, а он гуляет с нами...

В свои двадцать семь лет Большой Пешо чувствовал себя очень сильным и потому был очень наивным. Магдалена разбиралась куда лучше в жизни и, как говорится, нутром угадывала, что именно Игнат навязывал ей свое присутствие, тогда как общение с Большим Пешо было естественно и необходимо.

Расслабившись на прохладной простыне, она долго не могла заснуть; вертела рычажок радиоприемника, отыскивая в эфире самую дикую музыку; зубрила немецкий, ничего не запоминая; испытывала непрестанное желание мыться или гладить; все время ощущала голод, словно беременная женщина, и отдавалась во власть раздвоения, от которого у нее голова шла кругом. Трудность выбора состояла в том, что Магдалена как будто предпочитала фигуру и приветливое лицо Большого Пешо, его простоватость и ничем не защищенную силу, потому что Игнат с его странной галантностью был утомительно однообразен и, главное, неясен. И все же она почти физически ощущала, что его присутствие ей необходимо на время более долгое, чем короткие вечерние прогулки. Игнат для Магдалены все еще был загадкой и поэтому пугал ее. Она как будто бы давала каждому из них право выбрать ее, но точно знала, что все зависит от нее самой. Зарываясь головой в подушку, она ругала Видин, его «мещанскую атмосферу» и засыпала с мыслью, «как беден мир», к которой, правда, примешивалось еще и горькое разочарование тем, что она не знаменитая французская киноактриса.

В самом конце ноября, холодным ветреным вечером Игнат решил, наконец, поехать к себе в село, чтобы запастись копченостями и домашней шестидесятиградусной ракией.

Заняв в холодном автобусе последнее свободное место, Игнат долго наблюдал сквозь затуманенное, изукрашенное серебристыми цветами изморози окно за Магдаленой и Большим Пешо, которые, прощаясь с ним, не скрывали своего нетерпения поскорее остаться вдвоем. Они торжественно прошествовали по площади и исчезли в неоновом свете. Игнат знал, что в эту ночь он не заснет. Перед его глазами все время стояли коричневая дубленка Магдалены и шикарное серое полупальто Большого Пешо, так подчеркивающее его могучие плечи.

Добравшись до дома, он сразу же вошел в кухню, сел на свое любимое место напротив окна и погрузился в легкое забытье. С буфета ему подмигивала счастливо улыбающаяся, ярко одетая японка — эту открытку он купил у какого-то цыгана. Над столом висело стираное белье, пахнущее самодельным мылом; на плите в закопченной сковороде лежали покрытые застывшим жиром огромные жареные котлеты; во дворе скулила собака... Все это напомнило Игнату детство, вернуло ему что-то безвозвратно ушедшее, которое было каким-то непонятным образом связано с Магдаленой.

В этот вечер он впервые в жизни пил один. А потом плакал попьяному перед красной от жара кухонной плитой, пока отец и их сосед, не обращая на него внимания, чистили ружья, готовясь к завтрашней охоте, и, наконец, заснул. Никто его не тревожил, и он спал как убитый до полудня...

Когда перед Новым годом Большой Пешо уезжал к своей сестре в Софию (она пригласила его еще за две недели до праздника), Игнат и Магдалена проводили его на вокзал.

Более получаса, продрогшие до костей, стояли они втроем в неуютном зале ожидания, непрерывно курили и рассеянно посматривали на длинную очередь перед билетной кассой. Впервые Большой Пешо был не похож на самого себя. «Ведь все может случиться запросто...» — с мрачным видом думал он, поглядывая на резкий профиль Игната, растерянно переминался с ноги на ногу и непрестанно растирал озябшие пальцы Магдалены.

Игнат поддерживал две оплетенные бутыли с вином, время от времени стряхивая с сигареты пепел за скамью, на спинку которой они опирались, и напряженно ждал, когда же придет конец остававшимся до отхода поезда пятнадцати минутам. Магдалена улыбалась; она улыбалась совершенно одинаково им обоим, но по всему было видно, что ей не по силам уже терпеть этот пронизывающий сквозняк.

Наконец, Большой Пешо понял, что выглядит смешно со своей нахмуренной физиономией. Он улыбнулся и предложил идти к поезду. Они вышли на заснеженный перрон, вдоль которого чернел, похожий на гигантскую насыпь из сажи, состав скорого поезда.

Пешо вошел в вагон и высунулся из окна, Игнат подал ему бутыли.

— Чао! Раз не будем видеться, то спишемся...— пробормотал Пешо и помахал рукой.

«Ну, да...— размышлял Игнат, стараясь в то же время уловить ритм шагов Магдалены,— прежде так было со мной, а теперь будет с ним. Так бывает всегда...» Но он без злорадства думал о Большом Пешо. Игнат понимал, что ему надо что-то сказать Магдалене, однако слова, которые вертелись на языке, казались ему слишком обыкновенными, незначительными. Он нервно вертел в кармане ключ от общежития и слегка цепенел, когда его плечи случайно прикасались к дубленке Магдалены.

«А Пешо сейчас черт знает что думает, весь извертелся, должно быть, как чесоточный, в своем купе... Чем занять себя, не придумает— то бутыли с вином поправит, то... хорошо еще, что карты взял... Так бывает всегда...»

Игнату не было жаль ни Большого Пешо, ни самого себя — он был настолько во власти охватившей его вдруг слабости, что почти не замечал присутствия Магдалены. Она шла рядом с ним неровной нервной походкой — то делала большие шаги, то едва семенила. Город еще не спал, но уже притих под пологом мерно сыпавшегося снега, который соединял небо и землю и, залепляя неоновые витрины, сгущал ночной мрак.

Они равнодушно взглянули на рекламные щиты возле кинотеатра «Цветок», обошли стороной кафе «Балкантурист» и направились в парк. Игнату не терпелось поскорее добраться до недавно открытого здесь новомодного ресторана «Венецианский склад», где они еще не были ни разу,— Магдалена шла рядом с ним, красивая, притихшая и

невероятно далекая. В одной из аллей Игнат остановился, чтобы закурить, и тихо произнес:

— Он, значит, уехал...

— Да,— отозвалась Магдалена, присматриваясь к нему незнакомым напряженным взглядом, будто хотела узнать что-то очень важное, о чем, может быть, он и сам еще не догадывался.

Но Игнат догадался. «Я бы тебе сказал,— подумал он,— но прежде мне самому надо в этом разобраться. Все дело в том, что Пешо уехал... Так бывает всегда... прежде я, теперь он».

Игнат понимал, что у него сейчас тот самый единственный шанс...

Они сняли пальто в вестибюле и спустились в каменное подземелье. Здесь было людно, душно и как-то призрачно. Многие танцевали шейк, беспорядочно вертясь и прыгая друг перед другом. Магдалена оставалась задумчивой. Впервые Игнат столкнулся с неопределенностью — самым тревожным и самым мучительным для человека состоянием.

О существовании Большого Пешо он уже почти не помнил и был уверен, что месяц назад тот изъяснялся с Магдаленой столь же нелепо, как нелепо сам он молчал. Они сели за столик вблизи оркестра, совсем близко от ударника, оглушавшего их барабанными ритмами. Каменные блоки, из которых были сложены стены зала, напоминали чешую мертвой рыбы; солидные официанты утрачивали свою внушительность, пробираясь сквозь толпу сумбурно танцующих пар.

Игнат выпил две рюмки ракии — одну за другой, потом еще две, чтобы притупить в себе все чувства. «Пешо болтал такие же глупости, какие приходят в голову мне. Так всегда бывает...» Игнат смотрел на замкнутое лицо Магдалены и не знал, что она в эту минуту припоминала как раз те простые слова, которые Большой Пешо произносил с той же неловкостью, с которой Игнат сейчас молчал.

«Который час?» — спросила тогда Пешо Магдалена.

«Около десяти».

«Не опоздать бы нам!»

«Еще рано, я давно так хорошо не проводил время. А Игнат уехал в деревню — ну и черт с ним...»

«Да, уехал»,— сказала она, бессознательно ощущая присутствие Игната, хотя и не хотела признаться себе, что огорчена его отъездом. Она тогда не вполне отдавала себе отчет в своих чувствах и еще боялась Игната; ей хотелось слушать его молчание и им проверять, действительно ли она любит Пешо.

Магдалена спросила Игната:

— Который час?

Молчаливость и сдержанность Игната располагали теперь к себе, выгодно отличали его от простоватого Пешо, а узкие глаза казались даже красивыми.

Игнат смотрел на ее лицо — такое кроткое и спокойное, но то и дело ускользавшее от его взгляда, словно тени танцующих. Он и не предполагал, что в эти минуты Магдалена думает о том же, о чем думает он, и ждет, обнаружится или не обнаружится вдруг здесь Пешо. Если Пешо действительно едет сейчас в поезде, тогда все просто. Но если он находится где-то рядом, то как же быть тогда — такой обыкновенной девушке, как она, Магдалена?..

Игнат почувствовал, что тонет в прохладной синеве ее глаз, и понял, что пьян. Крепкий кофе обжег ему нёбо и заставил вернуться в окружающий его вещественный мир — полный запахов кухни, сырости, сигарет, человеческих тел...

И вдруг он обмяк, расслабился, разоткровенничался. Стал рассказывать ей о Калине, о том, как хочется ему сохранить себя таким, какой он есть,— в чем-то беспомощным, в чем-то сильным, но одинаково упорным во всех своих устремлениях, которые...

— Которые вечно повторяются.— Закончил свою мысль Игнат и провел кончиком языка по сухим губам.— Потому что всегда, значит, происходит одно и то же...

Магдалена следила скорее за тем, как крепла решимость в его голосе, чем за его мыслью, наконец-то осознав, что произошло невероятное: они с Игнатом остались одни — Большой Пешо действительно уехал.

Игнат подозвал официанта и, расплачиваясь, дал ему лев на чай, что показалось Магдалене неразумным. Они вышли из-за стола и направились к выходу. Она держала его под руку и пыталась представить себе Калину. Он не подал ей пальто, и это ее рассердило.

Они вышли в парк. Плотное марево снега показалось им прекрасным. Совсем рядом светились башни «Бабы Виды». Окутанная снежной дымкой, подсвечиваемая юпитерами, крепость напоминала увядший желтый тюльпан... Большой Пешо уехал, оставив их вдвоем, и им обоим, сосредоточенным в их святом эгоизме исключительно на собственных переживаниях, было совершенно все равно, играет ли он сейчас в карты или же спит под синей лампочкой в ночном купе. Игнат — как и положено человеку, излившему душу,— выглядел бодрым и уверенным, а Магдалена все еще думала о Калине.

Они остановились на берегу реки. Игнату было жарко, а Магдалена вся дрожала от холодного ветра.

— Ты сегодня очень часто употреблял слово «значит»,— тихо сказала она, приподнялась на носки и поцеловала его.

Через пятнадцать дней Большой Пешо вернулся в Видин. Он приехал в новых ботинках на толстой подошве, с красивой черной сумкой из искусственной кожи; на щеках, вдоль ушей, у него слегка кудрявились русые бакенбарды.

Он устало бросил сумку на кровать, причесал гребенкой жесткие волосы и подошел к Кольо Барчето. Напевая тихонько «Черный поезд», Кольо смазывал разобранный механизм своего патефона. Было еще рано, но тусклый свет короткого зимнего дня слабо освещал комнату с тремя рядами кроватей, застланных словно солдатские койки.

— Что нового? — спросил Большой Пешо и с добродушной улыбкой закурил сигарету.

— Ничего особенного...— спокойно ответил Кольо.— Игнат женился.

Большой Пешо ухмыльнулся еще добродушнее, даже глуповато, но бакенбарды его слегка вздрогнули.

— Свадьба была что надо,— продолжал все так же невозмутимо Кольо.— До двух часов ночи гуляли и зверя моего перегрели. Пока нашел смазку — все каблуки сбил...

— А я ведь отсутствовал всего-то две недели... — начал было Пешо, но осекся и тут же нервно рассмеялся.

«Не имеет ровно никакого значения сколько — две недели или два года — был я в Софии. Они бы все равно это сделали!» — подумал он, и ему захотелось пнуть ногой кровать, на которой сидел Кольо.

Но он не сделал этого, а пошел в умывальную комнату и долго мыл там руки и лицо; ледяная вода скатывалась по шее и вызывала приятную дрожь. Пешо уже представлял себе важность того, что произошло, хотя чувства еще мешали ему осознать все до конца.

И вдруг, всем его горьким переживаниям вопреки, у Пешо возникло искреннее желание снисходительно отнестись к тому, что произошло. Это великодушное чувство буквально захлестнуло его. И он, подобно роженице, сгорающей от нетерпения поскорее увидеть свое дитя, причинившее такие нечеловеческие муки, захотел немедленно увидеть Игната и Магдалену. Из треснутого зеркала его собственные глаза смотрели на него с удивлением и насмешкой...

Пешо вышел на улицу и, почти не отдавая себе отчета в том, что делает, ввалился в первый же магазин. На последние деньги купил транзистор «Турист» и шесть батареек. «Почему именно шесть батареек?» — подумал он, продолжая идти вниз, к центру. На улице, где жила Магдалена, кто-то с ним поздоровался, но он никого и ничего не замечал — настолько был поглощен охватившим его благородным чувством. Он постоял немного у входной двери и, взяв себя в руки, нажал кнопку звонка.

Почти тотчас он увидел синие глаза Магдалены, которые моментально скрылись под длинными ресницами. Потом разглядел в полумраке маленькой гостиной Игната, сидевшего с сигаретой во рту у покрытого скатертью стола.

— Поздравляю!..— испытующе глядя на Игната, сумел выдавить из себя Большой Пешо, пока они пожимали друг другу руки.

Магдалена сразу же вышла из гостиной, и это позволило обоим собраться с мыслями.

— Спасибо...— сказал Игнат и поглядел на него так, как посмотрел бы и на Пешо Маленького, если бы тот существовал.— Садись!

Большой Пешо — весь во власти благородных чувств — был уверен, что Магдалена плачет на кухне. Игнат же был уверен, что Магдалена наливает в кувшин немного вина, приготовленного его отцом, и нарезает тонкими ломтиками купленную им сегодня после работы брынзу.

— Могли бы и подождать...— сказал Большой Пешо и включил транзистор.

— Могли,— согласился Игнат, и Пешо почувствовал, что женитьба на Магдалене для Игната — дело самое что ни на есть обычное, само собой разумеющееся.

— Это все же имело бы для меня кое-какое значение,— продолжал Большой Пешо.

— Наверное,— невозмутимо подтвердил Игнат.— Но мы уж так решили.

— Рад за вас...

Большой Пешо продолжал бы говорить, возможно, еще минут пятнадцать, но тут вошла Магдалена. Она принесла полный до краев кувшин красного вина и тарелку с крупно нарезанными ломтями брынзы. Магдалена не отрывала взгляда от пола, но глаза ее были сухими.

— Того же и тебе желаю,— сдержанно сказал Игнат.

— Вам не темно? — спросила громко Магдалена и включила торшер с красным абажуром за спиной мужа.

«Ее мужа!..»

Игнат наливал в бокалы вино ловкими, даже изысканными движениями, словно он уже лет сорок был женат и принимать гостей — дело для него привычное.

Включили телевизор и молча смотрели одну из серий телефильма про капитана Клосса. Прозрачный зимний сумрак постепенно загасил в окне свет. Большой Пешо мучительно думал, что бы еще ему сделать для них такого доброго.

Игнат держал руку Магдалены, а она молчала и не отрывала глаз от экрана. Когда кончился фильм, она снова неестественно громко сказала:

— Очень хороший транзистор — он нам так кстати!

Большой Пешо был окончательно сломлен — они ведь даже не поняли, не оценили его благородства, а приняли все как должное...

— Мне пора идти...— с виноватой улыбкой, словно извиняясь, сказал он и с трудом поднялся со стула.

— Спасибо за подарок,— поблагодарил с серьезным видом Игнат и проводил его до ворот.

Холод с неожиданной силой охватил Пешо. Мертвенно-синим казался ему снег. И только пожимая Игнату на прощанье руку, он почувствовал задержавшееся на мгновенье между их ладонями слабое тепло. Пешо понял: он уже никогда не будет вместе с Игнатом и Магдаленой, как прежде рядом с ним и с нею был Игнат. И никто уже тут ему не поможет...

Сразу же после женитьбы Игнат и Магдалена зажили так, как все остальные видинцы,— размеренно, правильно и скучно, словно они вдруг постарели лет на десять.

Магдалена, хоть ей об этом никто не говорил, на семь сантиметров выпустила все свои платья и юбки, подстригла красивые черные волосы и почти перестала курить. Она быстро привыкла к телу Игната, которое причиняло ей и радость и боль, но продолжала испытывать страх перед его нежностью и молчанием, как будто его любовь и преданность ей были связаны с каким-то предательством.

А Игнату уже в первые дни после свадьбы стало ясно, что любовь — это самое неудовлетворимое, что есть в жизни. Она требует от человека слишком многого. По ночам, уставившись на маятник старых стенных часов, он пытался размышлять о Магдалене и своем отношении к ней, но мысли его путались и все казалось таким сложным. Он чувствовал, что им с Магдаленой обязательно надо было пожениться, но не мог объяснить себе почему; понимал, что борьба и любовь между ними начнется только теперь, но они оба еще не имеют достаточного опыта — ни как надо бороться, ни как надо любить. Нехотя отгонял он от себя образ ее гибкого и жадного тела, вызывавший на губах его ощущение горечи.

Игнат вставал еще затемно, завтракал, погруженный в свои мысли,— медленно и сытно, по-крестьянски; брился у большого зеркала в прихожей и шел на завод. Работал добросовестно, с интересом обдумывал возникшую у него недавно, связанную с работой идею, которая поражала его воображение своей масштабностью; научился оставаться наедине с собой среди множества людей, работавших рядом с ним в цеху, и вовсе не старался избегать Большого Пешо, хотя того это и задевало. К пяти часам Игнат возвращался домой, испытывая чувство приятной усталости, но с изрядно взвинченными нервами. Они с Магдаленой сразу же шли гулять по Главной улице, расцветающей в эти часы от множества людей; раз в неделю ужинали в «Ровно» — заказывали мясное ассорти — или же заходили в кинотеатр «Цветок», независимо от того, какой фильм там показывали.

Обычно они возвращались домой к восьми и тогда заставали в гостиной отца Магдалены. Он сидел в полумраке, сияя красивой сединой, и встречал их меланхоличным взглядом.

Жизнь Игната и Магдалены протекала очень однообразно и буднично; вскоре она забеременела...

Отец Магдалены был учителем. Он и не принял, и не отверг Игната, а просто присматривался к нему. В его маленькой комнате на гардеробе лежало несколько увядших плодов айвы, а над простой пружинной кроватью висела большая фотография покойной жены.

У него было более двухсот книг. Как все мужчины в Видине, он на досуге занимался виноделием — для себя, конечно. Был молчалив. Магдалена утверждала, что ученицы его любят, но находят слишком старомодным.

Он имел привычку пить до ужина некрепкий кофе с поджаренным турецким горохом. Игнат старался воспользоваться этими минутами, когда они оставались вдвоем,— Магдалена в это время готовила ужин либо листала на диване журналы — и поговорить с ним. По всему было видно, что отец Магдалены, которого Игнат называл просто по имени — Пейо, отнюдь не презирал своего зятя, но его безразличие угнетало Игната, и во время этих коротких бесед он говорил с ним излишне торопливо, сбивчиво, не очень-то задумываясь над тем, что говорил.

— И вы прочли все эти книги? — с сомнением в голосе спросил как-то тестя Игнат, кивком указывая на две этажерки в глубине гостиной.

— Почитываю,— мягко улыбаясь, ответил Пейо, шумно отхлебывая кофе.— Читать необходимо!

«Значит, прочли их!» — хотел было сказать восхищенный Игнат, но после замечания Магдалены, сделанного ею в «тот» вечер на берегу Дуная, он старался не употреблять слово «значит». Игнат тяжело вздыхал, чувствуя, что этот хилый замкнутый человек хочет, видимо, вовлечь его в какую-то сложную игру, смысл которой ему еще не ясен.

Большой Пешо запомнил и этот день, но не только потому, что он был связан с Игнатом, а потому, что все произошло так неожиданно и нелогично.

Кабинет Килкина показался ему огромным; на широком книжном шкафу выстроились чинно в ряд шпули с разноцветным синтетическим шелком, несколько новых автомобильных шин и большие пластмассовые часы с надписью. Воздух в кабинете был горячий и сухой от парового отопления, пять белых телефонных аппаратов звонили без умолку.

Килкин разговаривал по телефону вяло, рассеянно, тер по привычке очки о борт нового серого пиджака и приглядывался близорукими глазами к лицу Пешо.

«Что-то постарел наш Килкин,— подумал озабоченно Пешо,— переутомился, видно... Он скоро либо совсем размякнет, либо озлобится, как цепной пес. Будет просто чудо, если он останется самим собой».

Большой Пешо сидел в кожаном кресле и, казалось, был целиком поглощен созерцанием облицованного красным деревом письменного стола Килкина. Но так только казалось. Он просто никак не мог дать Килкину ответ, не мог решиться — слова застревали в горле. Килкин принял его исключительно сердечно, сразу же велел секретарше принести кофе и заговорил с ним — живо, энергично — о том, как начинали строить завод, и вот — подумать только! — он уже построен. Это было любимой темой главного механика, как утверждали многие. А некоторые даже считали, что тут у него просто заскок какой-то... Потом Килкин, вдруг покраснев, шумно откашлялся и без долгих слов предложил Пешо взять на себя бригадирство в их цехе.

— Сколько времени тебе надо на размышление?

— Пять минут,— ответил простодушно Пешо и закурил сигарету, которая почему-то подрагивала в его пальцах.

Ему, конечно, было приятно это предложение, он даже почувствовал гордость, да и квартиру это сулило. И он пожалел, что сразу не ответил утвердительно. Потом он вдруг вспомнил Игната, и уверенность его как ветром сдуло. Тлеющая в нем боль, с которой он хоть и свыкся за эти несколько месяцев, все же сказалась на его нервах — он уже не мог, как прежде, управлять своими мыслями и чувствами. Тупо уставившись на безвкусные пластмассовые часы, которые должны были напоминать своей формой темно-синий кристалл, он с удивлением отметил, что и сейчас в нем нет ни зла, ни гнева, а есть желание окончательно примириться с тем, что произошло. И вдруг ощутил в себе столько доброты и поистине детской отзывчивости, такое удовлетворение от того, что он сумел проявить благородство, которое давало ему право быть действительно Большим Пешо. Ему нестерпимо захотелось сделать Игнату что-то доброе, помочь ему советом и делом — такое он испытывал впервые за свою уже довольно долгую жизнь и был рад этому. И как раз в эту минуту Килкин снова закашлялся, приложив к губам платок, и вопрошающе поглядел на него.

Большой Пешо начал странно и закончил странно. Он стал говорить, что в его восприятии завода есть еще что-то неясное. Засыпанное галькой болото, на котором высятся теперь заводские корпуса, он знал еще ребенком, ловил здесь рыбу... Что ему не знакомо пережитое Килкиным чувство нетерпения, когда же, наконец, на этом болоте поднимутся заводские корпуса. Что для него, как и для большинства горожан, завод все еще понятие отвлеченное, он не чувствует еще кровной связи с ним.

— Лишь теперь, работая в его цехах, мы убеждаемся, что завод существует на самом деле... Поэтому мне сегодня как-то не по себе...

Большой Пешо заметил, как рука Килкина слегка дернулась, словно он хотел помахать платком. Килкин внимательно, почти любовно приглядывался к нему — так смотрит отец, радостно удивленный тем, как вырос его сын.

Большой Пешо вытер рукавом лоб и продолжал уже спокойнее. Он, мол, хотел бы предложить главному механику на эту должность кого-нибудь из своих товарищей по цеху, кто не имеет ни его комплексов, ни иллюзий... Но больше всех других ему хотелось бы рекомендовать Игната Босева.

— Потому что этот Игнат, товарищ Килкин, парень особенный. Или он — дай бог! — станет большим человеком, или же кончит плохо. Ему надо помочь стать крепко на ноги.

Большой Пешо откинулся на спинку кресла и устало вздохнул — ему не часто приходилось говорить такие длинные речи, да еще в кабинете начальства. Килкин, видимо, оценил его благородный жест.

— Ты имеешь в виду того низенького? — спросил он.

— Нет, он среднего роста, и с головой. Башковитый парень...

Килкин нажал кнопку звонка на столе и, когда секретарша вошла, строго сказал:

— Дайте нам два кофе и вызовите ко мне Игната Босева из цеха сто.

Вскоре дверь отворилась, и в кабинет вошел, не постучавшись, Игнат, как всегда невозмутимо спокойный. Большой Пешо уставился на разноцветный узор персидского ковра, а Килкин, вооруженный своим многотрудным опытом, сразу же определил:

«Эти узкие глаза как полузакрытая или полуоткрытая дверь. Раз-

ница между этими понятиями тонкая. А в остальном как будто ничего особенного».

— Хочешь принять на себя бригадирство?— спросил Килкин нарочито бесцветным голосом.

Большой Пешо упорно подсчитывал красные ромбики на левой стороне ковра и не мог видеть лица Игната.

— Да,— сразу же ответил Игнат с ощущением, что именно так и должно быть.

Неделю спустя Игнат, проходя в начале рабочего дня по длинному остекленному коридору к себе в цех, увидел Большого Пешо, стоявшего у одной из Досок почета. Его грязный рабочий комбинезон неприятно контрастировал с натянутой на щит красной тканью, к которой были прикреплены фотографии передовиков производства, и это возмутило Игната.

Став бригадиром, Игнат продолжал по-прежнему проявлять дружеское внимание к Большому Пешо, держался с ним как обычно. Но это выводило из себя Пешо, он раздражался, был груб. «Ну поженились мы в его отсутствие — так что из этого? Я просто не знал адреса его сестры, чтобы написать ему в Софию»,— недоумевал Игнат по поводу поведения Пешо.

— Почему ты тут? — подойдя к Пешо, спросил озабоченно Игнат.

— Да вот... курю,— с рассеянным видом ответил тот, разглядывая фотографии передовиков и небрежно постукивая ногой.

— Ах, вот оно что!

Игнат спокойно направился в цех. «Да ведь я и не обязан был знать адрес его сестры!» — подумал он.

Когда кончилась смена, Игнат спустился в раздевалку, где обычно собиралась вся бригада. В разбитое окно сильно дуло, и полуголые мужчины были похожи на нахохлившихся кур. Некоторые из них успели только надеть брюки, другие были в носках и свитерах. Все с недоумением уставились на него.

— Я решил сделать вам разнос и сделаю. Пора навести в цеху порядок. Сегодня в рабочее время Пешо курил,— тихо начал Игнат, став так, чтобы видеть всех.

Он не заметил на их лицах ни страха, ни злобы, а видел только нараставшее недоумение, словно бы он был первым учеником в классе, а сейчас, выйдя к доске, нес околесицу. Он заговорил о Пешо потому, что не отделял его от остальных, и это было естественно, но тем самым он отделял его от себя — и остальные должны были это почувствовать.

— Поэтому для общего сведения я выношу ему порицание...— Он задумался на мгновение — вправе ли он так поступать? — и продолжал: — Делаю ему строгое предупреждение. Ясно?

— Ясно, бригадир...— коротко и почтительно ответил Большой Пешо и принялся причесывать свой всклокоченный чуб.

Весенним мартовским утром Магдалена начала работать переводчицей на швейной фабрике «Вида» — переводила с немецкого языка корреспонденцию и сопровождала иностранцев. Но это не привело к заметным переменам в ее жизни. Самое большое напряжение и нагрузку она по-прежнему испытывала дома, словно ей именно здесь приходилось работать по восемь часов в день и непрестанно переводить на понятный им троим язык молчание отца и Игната.

Ей вдруг стало ясно, что она совершенно не подготовлена быть

матерью, и это привело ее в растерянность. С какой-то безличной неприязнью смотрела она на свой отяжелевший живот, но постепенно в ней укреплялось чувство, схожее, как ей казалось, с чувством Игната, проявлявшимся в его неистовой нежности, в том глубоком участии, которое она видела в его взгляде, в его утомительных ночных ласках и его способности ни в чем не отделять себя от нее — словно оба они превратились в одно нераздельное целое вместе с ожидаемым ребенком...

«Он должен дать мне спокойно носить его. Смешно же считать, что мы рожаем оба, когда только меня тошнит и только мне больно!»

Приходя с работы домой, Игнат теперь до семи проводил время на кухне, пытаясь что-то готовить,— кромсал мясо невыносимо крупными кусками, жарил до угольной черноты капусту, больше бил, чем мыл, тарелки, а свои большущие руки вытирал только о нейлоновый передничек жены.

В половине восьмого, когда нервы Магдалены больше не выдерживали хозяйственной прыти Игната, он варил себе и тестю кофе потурецки, наливал в него коричневатые от размоченного в них турецкого гороха сливки и усаживался с Пейо перед телевизором. Было что-то загадочное в их напряженных профилях, словно они заключили перед последним сражением фиктивный сепаратный мир, который не означал ни их доверия, ни их презрения друг к другу.

Постепенно дом погружался в полумрак. Успокоившейся Магдалене вдруг до смерти хотелось танцевать, но Игнат разговаривал с врачами и знал, что это в ее положении опасно. После ужина мужчины говорили ей несколько ласковых, приятных фраз, которые ее, однако, не утешали, а только к чему-нибудь обязывали, потом Игнат брал ее под руку, и они полтора часа кружили по ближайшим улицам — об этом он тоже говорил с врачами и знал, что прогулки ей полезны. Он поддерживал ее так, словно она была хрустальной вазой. Ходили они всегда по одним и тем же улицам, слабо освещенным желтоватыми фонарями; и каждый раз, дойдя до угла, Игнат целовал ее обветренными губами. И Магдалена однажды подумала, что человек способен пресытиться чьей-то привязанностью и она может, пожалуй, даже довести его до отчаяния куда большего, чем одиночество.

Обычно они с Игнатом минут на пятнадцать заходили в буфет, где продавали бузу; на стойке тут всегда стояли замызганные пузатые стаканы, а за таким же замызганным стеклом витрины — вчерашние закуски. Игнат первым делом проверял стул, на который садилась Магдалена, а затем говорил с нежностью в голосе:

— Я знаю, ты должна сейчас есть все, что тебе захочется,— и покупал шоколадные пирожные, которые любил сам.

Поздно вечером Игнат заботливо укладывал ее в постель, тщательно укрывал красным стеганым одеялом и полчаса читал ей газету или какой-нибудь детектив.

Лишь однажды Магдалена попыталась поговорить с ним — она ведь понимала, что ей не на что жаловаться. Изнемогая от любви и страха, она прижалась головой к его сильному плечу и прошептала с мукой:

— Хочешь, сделаем что-нибудь? Ведь так больше нельзя!.. Давай что-нибудь сделаем...

Она и сама не имела представления, что бы они смогли сделать в половине одиннадцатого вечера, но знала одно: так жить невозможно — нужна какая-то перемена.

Игнат внимательно поглядел на нее, поправил перекосившийся коврик над постелью, погладил ее ласково.

— Ну, что такое мы можем сделать — ведь нас скоро станет трое,— торжественно произнес он,— надо быть разумными.

И наморщив лоб, он принялся высчитывать, сколько они смогут откладывать в месяц для своего будущего сына.

Магдалена не пыталась больше что-то изменить в их жизни и лишь иногда, переводя письма иностранных фирм, рассеянно думала: «Боже мой, я, Магдалена, стану самой заурядной женщиной».

На заводе Игнат работал как никогда много и увлеченно, ощущая все более крепнущую уверенность в себе. Ему приятно было иметь дело с машинами; даже дома, просыпаясь ночью, чтобы выпить воды, он чувствовал слабый запах сажи и сырого каучука. Он не пропускал ни одного собрания или летучки, знакомился там со множеством проблем, которые давали пищу его воображению. Начальство было довольно им. Игнат даже получил однажды премию — пятьдесят левов — и прокутил ее вместе со своей бригадой в «Ровно». Все это наполняло его законной гордостью. Магдалена теперь уже терпеливо ждала ребенка, и он был бы совсем счастлив, если бы не сложные отношения с тестем.

Оба как будто уже привыкли друг к другу, даже нуждались в общении. И все же Игнат чувствовал, что Пейо продолжает к нему присматриваться, следить за ним, словно за потенциальным преступником, и это мешало им обоим чувствовать себя свободно.

Вначале Игнат полагал, что найдет разгадку поведения тестя в его комнате — мрачной каморке с маленькими окнами, задернутыми всегда чистыми голубыми занавесками, с нелепыми, ссохшимися, похожими на старческие лица плодами айвы на гардеробе и фотографией покойной жены Пейо. Зайдя туда в его отсутствие, он обнаружил однажды в ящике стола пожелтевшую папку. На ней неровным, почти детским почерком было выведено: «Дневник». Целых полдня потратил Игнат на чтение густо исписанных листов в клетку. У Игната осталось впечатление, что отец Магдалены писал это не для себя и не потому, что ему самому это необходимо, а для кого-то, для того, чтобы это было прочитано другими. Отдельные слова он по нескольку раз зачеркивал и вписывал новые; фразы были какие-то округлые, цветистые, словно детские воздушные шары; встречались немецкие цитаты, перевод которых давался в сносках. Игнат так и не разобрался до конца, какой же, собственно, была жизнь Пейо, но каждая глава дневника завершалась обобщающей мыслью. Одну из них он запомнил:

«Самое ценное качество человека — способность любить. Этим он и выделяется среди всей остальной природы!»

Однажды, когда они пили кофе, Игнат почувствовал на себе пристальный взгляд тестя.

— Вы с Магдаленой всегда одни, часто сидите дома...— начал издалека Пейо.

— Но ведь...

— А как на заводе — любят тебя или не любят?— вдруг перебил его Пейо и шумно отхлебнул густое питье.

— Не знаю,— спокойно ответил Игнат, а сам подумал: «Какое это имеет значение. Люди ведь разные — должны ли меня все любить?»

— Хорошо, когда человек это знает, и знает наверняка!

Пейо впервые попытался поддеть Игната, потом легонько хлопнул его по плечу, и оба стали смотреть телевизор.

Взаимоотношения с тестем раздражали Игната; нервы у него

были всегда напряжены, как у солдата, который бесконечно долго ждет команды идти в атаку. Игнат привык жить, преодолевая противодействие, готов был участвовать вместе с другими в борьбе, сам бороться, но не знал пока, с чем именно!

Как-то мартовским воскресным днем, когда на деревьях набухли почки, он перекопал весь сад; работал с остервенением и под конец едва не валился с ног от усталости. Но когда встретил холодный взгляд тестя, понял, что тот не этого ждал от него. Всю ночь Игнат не спал, прислушивался к ровному дыханию Магдалены и мучительно пытался понять: что же отделяет его и Пейо друг от друга? И в Магдалене, и в дневнике он обнаруживал черты характера Пейо, его сложной натуры и, главное, его интеллигентности — влечение к усложненности, к абстрактному. Невольно сопоставляя все, что знал о Пейо из его дневника, с тем, что уже знал о Магдалене, Игнат пришел к заключению, что интеллигентность Пейо была чем-то неизбежным, закономерным. Видимо, в молодости Пейо был того же склада, что и Магдалена, а постарев, стал таким, каким изобразил себя в своем дневнике. Значит, именно интеллигентность Пейо и была тем, что постоянно отдаляло его, Игната, от Пейо.

Открытие это было столь ошеломляющим, что он вышел во двор, выкурил несколько сигарет, но так и не успокоился.

Игнат готовился к этому целую неделю, исподволь набирался сил. С двадцатого марта он каждый вечер после десяти часов уходил на кухню и закрывался там. Пейо и Магдалена слышали, как он шумно умывается, потом наступала таинственная тишина — доносился только плач соседского ребенка да мартовские вопли кошек. Игнат стал походить на алхимика — такой же изможденный вид и такие же загадочные ночные бдения. Он похудел, под глазами у него появились синие тени, взгляд стал задумчивым и тревожным, но он упорно продолжал допоздна сидеть на кухне, никак не объясняя, чем это вызвано.

«Что же он делает? — думал Пейо.— Он просто изводит всех нас. Ведь без истинной человеческой любви счастье тоже становится страданием».

Игнат чувствовал, что атмосфера в доме накаляется, но не сдавался. Пейо уходил рано утром и возвращался к закату солнца. Магдалена занялась приготовлением детского приданого.

Так прошли один за другим три месяца. Однажды Магдалена все же решилась проникнуть к нему в кухню. Напирая всем своим грузным телом на дверь, она пыталась открыть ее. Но Игнат не позволил жене делать такие усилия — погасил свет, повернул в замке ключ и вышел к ней. Ее резко выступавший вперед живот уткнулся в него, налившиеся груди, покрытые набухшими жилками, ритмично покачивались, испуганные глаза стали темными и непрозрачными, как детские мячики.

— Дай мне войти.

— У меня работа...

— Так, может, я не нужна тебе больше? — вырвалось у нее.— И ребенок не нужен?!

— Может быть,— кротко ответил он и обнял ее с такой нежностью, что она заплакала.

Игнат вытер ей слезы полой своей пижамы, поцеловал и снова пошел на кухню. Никто больше не спрашивал его о ночных занятиях.

Первого июля он купил себе новые брюки, взял на десять дней отпуск и уехал в Софию.

Магдалена вдруг стала проявлять повышенный интерес ко всему, что происходит вне дома. Совершенно зря сшила себе четыре модных платья — все они сидели на ней одинаково плохо, да и ноги казались чересчур тонкими при таком огромном животе. Магдалена не испытывала никакого трепета перед будущим материнством, она просто хотела во что бы то ни стало быть красивой. Но это было почти невозможно и даже немного неприлично. Полдня она проводила у зеркала, пропитала весь дом запахами дешевых одеколонов; минут десять плакала, а остальное время на лице ее сияла улыбка — легкая, или загадочная, или задумчивая...

Магдалена не прочувствовала сразу всего огромного значения этого дня. Все произошло неожиданно, в короткий миг, пока открывались одна за другой входные двери, когда от образовавшегося сквозняка так красиво заколыхалась серебристая скатерка в гостиной.

День был жаркий, на раскаленных улицах плавился асфальт. Солнце, позолотившее листья лозы, забралось внутрь дома и высветило почти незаметную в углах паутину. Влажное от пота платье плотно облегало грузное, утратившее свою форму тело Магдалены, и она тосковала по дунайскому пляжу, мечтала о мороженом и о вечной любви. Отец читал сказки Андерсена на немецком языке. По радио передавали народную музыку. Магдалене казалось, что эти ускользающие живые звуки сливаются с двойным биением ее сердца. Она полулежала на диване, обескураженная растущей в ней готовностью примириться со своей участью и, может быть, гораздо более счастливая, чем это ей представлялось.

И вот как раз в этот момент кто-то вошел в дом; сквозняк перевернул страницу книги, которую читал отец, и слегка расшевелил застоявшийся воздух. Появление Игната в гостиной в первые мгновенья лишь усилило запах тушеной картошки и старой обуви, ворвавшийся из коридора, затем оно прочно закрепило загадочную улыбку на лице Магдалены — ей вдруг показалось, что она может родить в любую минуту.

Игнат сперва подошел к ее отцу и протянул ему желтоватый листок — и в этом, казалось бы, таком обыкновенном и маловыразительном движении было то неподдельно мужское, что бывает во взгляде мальчишки, впервые целующего девочку. Магдалена приподнялась на локти и вдруг почувствовала сильный толчок в животе, но она удержалась и увидела, как бледнеет отец и лихорадочно, нетерпеливо приглаживает свои седые волосы.

Потом Игнат подал с сияющим видом этот листок ей. На нем с чиновничьей аккуратностью и лаконизмом было написано, что Игнат принят на заочное отделение факультета органической химии Химико-технологического института.

От изумления и радости Магдалена хотела было кинуться ему на шею, но, вспомнив, что ей запрещены резкие движения, тихо опустилась на диван с самой загадочной из всех своих возможных улыбок. Как ни радостно было это проявление любви и исключительного внимания к ней со стороны мужа, она все же не имела права рисковать — врачи говорили об этом и ей и ему.

— Да...— с серьезным видом произнес отец.

— Вот так...— в тон ему откликнулся Игнат.— И вам тоже было нелегко.

Магдалена попросила открыть все окна — она просто задыхалась от восторга и гордости. Но ведь она вот-вот родит, а это было даже важнее того радостного удивления, с которым ее отец смотрел на Игната. «Ни отец мой, ни муж и понятия не имеют, что со мной происхо-

дит,— подумала она.— Они не могут чувствовать того, что чувствую я». Сейчас они оба представлялись ей просто позерами.

Магдалену охватил бурный восторг: муж ее станет специалистом с высшим образованием! Но как же это получилось, что он — человек далеко не богатырского сложения — столько месяцев тайком от них усваивал премудрости науки и родил эту желтую, так много говорящую бумажку?!

«Молодец! — подумала она и скорчилась на диване от боли.— Так вот что он делал по ночам на кухне!»

Проявляя открыто свою радость, тогда как отец по-старомодному лишь не скрывал своего удивления, Магдалена вдруг почувствовала усталость и захотела вздремнуть. Но именно в эту минуту и случилось то, что имело для нее такое важное значение: Магдалена, наконец, поняла, что не может сделать выбор между отцом и мужем, потому что они оба правы.

Пейо пришел, наконец, в себя, приготовил два традиционных кофе и со старомодной учтивостью поднес чашку Игнату. Он поглядел ему в глаза, а Магдалена представила себе, как трудно было ему это сделать, потому что глаза у Игната очень узкие, и глубоко вздохнула. Пейо смотрел на Игната так, словно это был его собственный сын. Он даже закурил сигарету — чего не позволял себе уже лет десять. Потом встал и закрыл окно, чтобы не дуло.

— Знаешь,— деловито заговорил он, обращаясь к Игнату,— я замечаю в тебе, в твоем отношении к жизни — ну, как бы это назвать?— повторяемость, что ли... Да ты и сам как-то высказал эту мысль — мол, всегда происходит одно и то же, в жизни все повторяется, так же как повторяются наши усилия, наше упорство. Это, может быть, отчасти и верно, но только отчасти.

Магдалена увидела, как сразу же сузились глаза Игната, он остался по-своему далекий и несчастливый, гордый и сломленный...

— Всякая повторяемость утомительна, неужели ты этого не понимаешь?

— Пейте ваш кофе,— задумчиво произнес Игнат.

Рубашка его взмокла, и Магдалена подумала, что завтра ее придется постирать, а в магазинах нет «Фая» — стирального порошка, который она предпочитала всем остальным... «Ой, до чего же все сложно!» Погружаясь в дремоту, Магдалена вдруг подумала, что ей теперь суждено быть вместе с ним и не быть с ним вместе, но кого она имела в виду — своего будущего ребенка или Игната,— уже не могла определить.

Игнат несколько раз бывал у Килкина в кабинете, но никогда еще главный механик не угощал его кофе.

С полчаса они говорили о нормах, перелистывая замызганную тетрадку Игната, вглядывались в колонки цифр и нормативов. Потом вдруг пришли рабочие, которые должны были навесить пластмассовые шторы на окно. Килкин нажал кнопку звонка, поглядел задумчиво на Игната и сказал вошедшей секретарше:

— Два кофе, пожалуйста!— после чего принялся похлопывать подтяжками по новой полосатой рубашке.

Жара стояла невыносимая, даже непрерывно работавший на столе вентилятор не приносил облегчения. Килкин мял во рту жевательную резинку — он вот уже месяц, как бросил курить. Взгляд его близоруких глаз был слишком сосредоточенным и выдавал нервозность, которую он хотел скрыть.

Игнату было как-то не по себе из-за этого долгого молчания. Рабочие продолжали стучать за его спиной, поднимая вдвое больше шума, чем это было необходимо.

— Значит, тебя приняли на заочное отделение, это хорошо,— начал Килкин, и голос его был такой же усталый и неуверенный, как у Пейо.

Килкин залпом выпил горячий кофе, не боясь обжечься, и вытер рукавом рубашки лоб.

— Я иногда вспоминаю, как шесть лет назад мы все это начинали,— продолжал он глуховатым шепотом.— Было тут болото с дохлыми карпами... и в грязь, и в холод топал я здесь, три пары сапог износил. Вот так-то...

Игнат почувствовал, что Килкин чем-то встревожен, чего-то боится, и его неуверенность передалась ему. Игнату казалось, что главный механик то ли его упрекает, то ли хочет сделать его соучастником какой-то своей беспочвенной затеи.

— А вот теперь, видишь, у меня кабинет, секретарша,— продолжал Килкин, обводя комнату отсутствующим взглядом,— и надо снова напрягаться, привыкать ко всему этому и к новым делам. А если подумать, то неизвестно, что труднее...

Игнат допил кофе и аккуратно поставил чашку на письменный стол. Сквозь только что опущенные шторы тонкими полосками пробивалось летнее солнце, и здание Экспериментальной базы полиамидных волокон, видимое из окна, казалось неподвижной зеброй.

Игнат мог поклясться, что никогда еще в жизни он не был так счастлив, как теперь, когда стал бригадиром, но он мог поклясться и в том, что никогда еще ему не было так трудно.

«Может, это и есть сознание своей ответственности,— подумал он.— Но Килкин ведь всегда был ответственным. Вероятно, в этом повторении одних и тех же дел и обязанностей мы и становимся все более счастливыми, хотя и более обремененными ответственностью. Килкин сильно истрепал свое здоровье — невозможно вечно строить, не разрушая самого себя».

— Это вечное напряжение вызывается повторяемостью...— хотел было высказать вслух свои мысли Игнат и запнулся: он заметил, что при этих словах в глазах главного механика появилось какое-то благостное выражение.

— Повторяемостью?.. Не знаю. Ты это так назвал?..— подхватил, можно сказать, на лету Килкин, но не успел пояснить свою мысль, потому что пронзительно зазвонил телефон, и он взял трубку.

Закончив телефонный разговор, он встал, сердечно потрепал Игната по плечу и проводил его до дверей, лукаво подмигнув на прощанье, словно они только что рассказывали друг другу бог весть какие интимные истории...

Игнат вошел в общежитие и сразу же почувствовал тот особый, «мужской» запах, который уже позабыл. Он увидел в зеркале свое лицо — у него был сейчас вид больного человека. Проходя по длинному сумрачному коридору, он повторял, стискивая до боли зубы: «Я узнаю, должен узнать, потому что иначе не могу!»

Вначале Большой Пешо притворился сонно-рассеянным, потом приподнялся на локтях и холодно уставился на скорбную физиономию Игната. Игнат видел, как добреет взгляд Пешо, и думал: «Если я в самом деле бездушная повторяемость, то тогда, может быть, Пешо и есть та сердечная однократность, без которой мне не жить, а поэтому мы всегда будем вместе, хотя и придется разлучаться».

Игнату необходимо было с кем-то поговорить, кому-то излить душу. Магдалена была теперь занята исключительно собой. А Пейо и так уже сделал для него очень много — он принял его в свой дом как сына, пусть даже и нелюбимого...

Игнат вспомнил, что писал о любви в своем дневнике Пейо. «Так неужели же Килкин не любит людей или я не люблю их?»

Большой Пешо отбросил смятое одеяло и остался лежать в трусах; Кольо Барчето, сидя на соседней кровати, надраивал ботинки и с любопытством поглядывал на них; его патефон наполнял комнату звуками итальянской мелодии.

— Пойдем в умывальную,— тихо попросил Игнат.

— Как хочешь...

Они прошли через все огромное помещение, казалось, они всю свою жизнь так и шли вместе; их лица отражались в мутных, с трещинами зеркалах умывальной комнаты, где из кранов с тихим журчанием текла вода.

«Я должен понять, и тогда все будет легко. Я должен уметь понимать — пока я этого не умею,— вот в этом и состоит различие между мной и Килкиным»,— думал Игнат. Он вынул пачку сигарет, и они с Пешо закурили.

— Я хочу тебя кое о чем спросить...

— Спрашивай,— сказал Большой Пешо и выпустил несколько колечек синеватого дыма.— Мы тут с тобой одни.

Но Игнат молчал. Это молчание длилось томительно долго. Они прислушивались к доносившимся с улицы звукам — слышали, как пришвартовался паром, как устало пыхтел паровоз.

Никогда еще Большой Пешо не видел Игната таким беспомощным, обмякшим. «Вот теперь-то я тебя раскушу до конца, каким бы разным ты ни был»,— не без злорадства подумал он, но тут же его доброта и благородство взяли верх и он одернул себя. Пешо вдруг понял, что никогда еще ему не удавалось по-настоящему вовремя помочь Игнату, потому что тот нуждался не просто в помощи, а еще и в чем-то другом. Он вглядывался в узкие щелки его глаз, которые постепенно, казалось, твердели, как будто между веками у Игната были не живые зрачки, а кусочки блестящего металла. «Вот теперь бы я мог... мы могли бы...»

— До свидания,— вдруг громко сказал Игнат.

Большой Пешо увидел, как его спина заполнила, а затем освободила дверной проем. Он бросил окурок на пол, долго и сосредоточенно растирал его ногой на мокрых плитах, потом принялся закрывать один за другим журчащие краны.

«Почему он ушел? — недоумевал Пешо, а потом успокоил себя:— Ничего, вернется...»

В тот же вечер, решив все же что-то предпринять, Большой Пешо отправился с Кольо Барчето за советом к Графу Теренти, бригадиру смежного цеха, человеку с большим жизненным опытом и, главное, умеющему молчать, когда это необходимо.

Полные мужского понимания и сочувствия, они сидели втроем в его неуютной комнате и пили вино, окутанные клубами табачного дыма.

Граф Теренти и Кольо Барчето говорили мало, а Большой Пешо и вовсе молчал, погруженный в раздумье. Он вспомнил ту роковую встречу, когда Игнат получил свою первую зарплату и хотел угостить своих соседей по комнате. «Но откуда я мог знать?!» — думал он рас-

сеянно, потому что вдруг понял, что и влюбился в Магдалену только потому, что его подбивало к этому постоянное присутствие Игната.

— Ну и дуб же этот ваш Игнат,— ласково заметил Граф Теренти и хрустнул пальцами.— Как ты рассказываешь, Кольо, так он точь-в-точь как мой дружок Манолчо.

— Я его однажды здорово отколошматил! — и глазом не моргнув, гордо заявил Кольо Барчето.— Заплакал даже, чертяка...

Большой Пешо пил большими глотками вино, закусывая баницей. В голове у него вертелась раздражавшая его и вызывавшая тоску мысль: «А ведь, в сущности, не он таскался за мной, а я таскался за ним, хотя все выглядело наоборот. Нет у меня ни его гордой физии, ни его характера!»

— Мы только о нем и говорим,— громко сказал Граф Теренти и задумчиво потер подбородок.— Не хватит ли?

Большой Пешо почти не слышал их разговора. Он вспомнил тот день, когда вернулся в Видин, и корил себя за то, что не занял тогда у кого-нибудь денег, не купил в подарок вместо маленького, не очень-то шикарного, транзистора телевизор «София» или, по крайней мере, стиральную машину.

«Что же мне теперь делать?» — в полной растерянности думал он. Одиночество губило его силу. Ведь он лишился сразу и своей любви к Магдалене — в чем был повинен Игнат,— и постоянного общения с Игнатом, что тоже зависело от Игната. «Конечно, это я таскался за ним...»

Перевалило уже за полночь, и Кольо Барчето громогласно позевывал, ощущая легкое головокружение от выпитого вина. Граф Теренти был задумчив и молчалив и лишь время от времени ласково похлопывал по плечу Большого Пешо.

— Что же это за гусь такой — я про него ничего и не слышал прежде,— заметил Граф Теренти.

— Я его однажды здорово поколотил,— с торжествующим видом вторично соврал Кольо Барчето и залпом допил вино.

Килкин

— Два кофе, пожалуйста,— сказал я секретарше и расстегнул верхние пуговки своей полосатой рубашки.

Жара была невыносимая, и даже непрерывно работавший на столе вентилятор не приносил облегчения. Я медленно мял во рту жевательную резинку — вот уже месяц, как я бросил курить — и разглядывал его физиономию. Неожиданно пришли рабочие, чтобы навесить на окно пластмассовые шторы. Они очень суетились, слишком громко стучали, и невозможно было сосредоточиться.

Я уже несколько раз видел этого Игната. Он мне нравился; своими узкими монгольскими глазами и короткой плотной шеей он напоминал праболгарина. Сидел он с каким-то настораживающе смиренным видом, за которым все же чувствовалась уверенность в себе. У меня было такое впечатление, словно это я пришел к нему в кабинет и он — главный механик завода — небрежно постукивает пальцами по столу.

— Значит, тебя приняли на заочное отделение института? Похвально! — сказал я.

Он не ответил, да и не было смысла отвечать, только щелки его глаз стали еще уже. Мне почему-то захотелось встать и двинуть ему по зубам, хотя он ровно ничего мне не сделал,— он просто вертел на пальце обручальное кольцо.

Не могу определить, когда это началось — моя романтическая любовь к прошлому и презрение к настоящему. Я искал причину в самом себе, разговаривал со своим отражением в зеркале, выпивал по пять чашек кофе — пил его до тех пор, пока не ощущал, как затвердевает сердце. Теперь у меня дел, конечно, было невпроворот, но завод казался мне прекрасно отлаженным бесчувственным механизмом, которому неведомы несправедливость, отчаянье и алчная радость успеха. Ежедневно я получал сводки о выпуске тонн синтетического волокна, о тысячах автомобильных шин, но это было естественно, как сама жизнь,— спишь, ешь, получаешь сводки... Я стал чрезмерно сентиментальным, непрерывно думал о Момчиле. Проходя по наполненным гулом и пропитанным запахом свежей крошки или каучука залам цехов, я все время безответственно улыбался. Так откровенно улыбался, что людям становилось неловко.

«Я знаю, чего хочу, но осуществить это невозможно, потому что начало всего приобретает смысл только в его конце». Я был не разочарован, а раздвоен, вернее, «располовинен», во мне словно бы жили два существа, которым трудно было сосуществовать.

— Хорошо, когда человек учится,— вяло сказал я Игнату,— нам нужны специалисты.

— Да, хорошо...

Манера Игната держаться вызывала у меня презрение к самому себе; меня раздражала его уверенность в чем-то, уже пережитом мною самим. Испытав разочарование в успехе, я тем самым приобретал право судить других.

«Этот Игнат появился здесь, когда было что брать... Пришел на готовое и воображает, что он — семи пядей во лбу, хотя, в сущности, порядочный обалдуй»,— думал я. У меня пересохло в горле, а секретарша все еще не приносила кофе.

— Я иногда вспоминаю,— голос мой звучал неуверенно и глухо,— как шесть лет назад мы все это начинали. Было тут гнилое болото с дохлыми карпами... и в грязь, и в холод топал я здесь, три пары сапог износил. Вот так-то...

— Да...— бесстрастно произнес Игнат и минуты две прислушивался к гулким ударам молотков по оконной раме.

У меня было такое ощущение, что я чего-то боюсь, но чего именно — не знал, потому что дни мои проходили в строго размеренном, по-чиновничьи безупречном порядке, вызывая порой даже скуку. Игнат становился все более и более несимпатичным мне. Быть может, я ему завидовал. С десятого этажа я видел весь завод. Он лежал передо мною как на ладони — врезающаяся в знойное марево труба ТЭЦ, стройные голубоватые корпуса с заасфальтированными крышами, высокие подъемные краны, очерчивающие в небе контуры новой пристани... И все это было для меня и прошлым, и будущим, но не было той средней опорной точки, с помощью которой можно было бы объединить мои представления с моими чувствами. Я, наверное, завидовал Игнату, и каждый из нас был по-своему беспомощен.

— А теперь вот видишь, какой у меня кабинет, секретарша,— слышал я свой голос.— И надо снова напрягаться, привыкать ко всему этому и к новым делам. А ведь неизвестно еще, что труднее...

Игнату было явно не по нутру то, что я говорил, и он, не скрывая своей неприязни, весь как-то ощетинился, даже кожаное кресло заскрипело под его крепко сбитым телом. Но мне было ясно, что ему просто меня не понять. Я машинально встал, и мы оба направились к двери. Впервые я увидел сквозь расширившуюся щель его глаз узкую белую полоску — видно, он чему-то изумился...

— Эта напряженность ваша вызвана повторяемостью...— заговорил было Игнат и вдруг запнулся.

Ему просто больше нечего сказать. Но ведь и я в его годы тоже не знал, что к чему. Должно было пройти несколько лет, чтобы я додумался до такой истины: только зародыш может быть совершенством, потому что только он похож и на самого себя, и на все остальное. Беспомощный, он несет в себе мудрое познание молчания, мучений и — самое важное — будущего.

Вдруг пронзительно зазвонил телефон; я похлопал Игната по плечу, изумляясь тому, как это он, так неожиданно для всех, выдержал экзамен в институт.

— Повторяемость?.. Не знаю... Ты это назвал повторяемостью?..

Игнат вышел так, как будто бы это я, главный механик, выходил из его кабинета.

Закрыв за ним дверь, я увидел свое отражение в зеркале. Я загадочно улыбался, с той иронией, которая рождается на грани страдания и надежды...

Люди, которые были мне ближе всего, с которыми меня связывало столько нетерпения, оранжевых закатов и дождливых рассветов, постепенно разбрелись кто куда. Уполномоченный Сиренков вернулся в министерство, инженер-химик Борко Тасев уехал во Врацу, бай Дончо, пожарный,— вышел на пенсию, бригадиры рассеялись по стройкам Козлодуя и Родоп; мне постоянно встречались все новые и новые лица и снова приходилось их запоминать и привыкать к ним, чтобы сохранить уважение к самому себе. Остался, правда, Эмо — он женился, остепенился, закончил техникум, и я, встретив его невзначай, отводил, что называется, с ним душу.

Новый директор говорил мне «вы», а чтобы попасть на завод, я должен был предъявлять пропуск. Иногда я останавливался возле проходной и наблюдал, как из битком набитых автобусов, словно волной, выбрасывало сотни людей; рабочие торопились наговориться на целый день, девушки щеголяли своими нарядами... Но их становилось так много... Я поднимался к себе в кабинет, пил кофе. Мне казалось, что я уже вступаю в пору той мудрой зрелости, которая предшествует старости.

Целый день звонили телефоны, я отдавал распоряжения, которые освобождали сотни людей от ответственности, злился на них, иногда соглашался быть у них крестным или посаженым отцом. Ровно в шесть часов звонки в административном корпусе рассекали время, по коридорам проносился шквал шагов. Секретарша входила ко мне, открывала окно и с полудетской улыбкой говорила:

— Товарищ Килкин, шесть часов...

Я никогда не задерживался. В половине седьмого я открывал своим ключом входную дверь и медлительной, солидной походкой пересекал прихожую. Мама и Мария почти не разговаривали со мной, они не скрывали своего разочарования, сравнивая меня с какими-то своими представлениями обо мне. Но обе любили меня, ревностно гладили мои рубашки, подавали мне еду, хотя и делали вид, что не замечают меня. Мария снова начала читать свои идиотские лекции об Александре Македонском и культуре Древнего Рима; она казалась мне неприлично красивой, а мама в своем извечном черном платочке была похожа на новоявленную горожанку.

Как это ни странно, но самым близким мне существом был Момчил. Он единственный встречал меня и, радостно оживленный, медленно приближался ко мне. Мне нравилось это слово — «медленно»,— оно было наполнено для меня большой искренностью.

Мы играли с ним в шахматы, боролись в кресле или просто сидели рядом перед голубоватым экраном телевизора. По воскресеньям мы ходили на футбольные матчи, я нес его на руках вдоль скамей, не боясь его смущенного взгляда. Потом мы садились в нашу «шкоду» и отправлялись вдоль берега Дуная, чтобы созерцать эту необыкновенную реку и быть вместе. Вода несла свою сущность, увлекая за собой щепки и отражения прибрежных корявых верб, и одно только небо оставалось в ней вечным и неподвижным. Я рассказывал Момчилу о себе, говорил с ним серьезно, как с другом. Признавался ему, что иногда чувствую себя одиноким, иногда огорченным или счастливым и что так всегда бывает со всеми людьми. Момчил слушал меня внимательно, и я был уверен, что он меня понимает. После того как он утратил в какой-то степени возможность двигаться, слова стали для него всем. Он верил словам, как слепой верит своему слуху...

«Старик,— писал мне Сиренков из Софии,— пришли мне с какой-нибудь попутной машиной два моих кресла, в придачу можешь прислать и бутыль домашнего вина. Достал для тебя новейшие проспекты одной швейцарской клиники и ленинградской больницы...»

— Мы с тобой еще попутешествуем, увидим другие страны, разных людей... и вообще так много интересного,— говорил я Момчилу.

— А потом?

Лицо Момчила было немного печальным, как лицо пожилого, умудренного жизнью человека. Если бы он был мой сын, я бы, вероятно, сказал ему: «Ты выздоровеешь», но я просто курил сигарету.

— Потом вернемся домой...— все же ответил ему я.

Мы говорили долго, целиком поглощенные собой, нашей близостью. Солнце разливалось по реке огненной дорожкой. Мы бросали в воду камешки или же провожали взглядом проходившие суда, пока они не исчезали из виду. Я чувствовал в Момчиле младшего брата и не боялся ни за него, ни за себя. «Важно почувствовать это с самого начала,— думал я,— а после все будет казаться настолько случайным, что мы достигнем истинной гармонии в нашей любви».

Я сидел на балконе и вдыхал душистую прохладу летнего вечера; слышал голоса людей, мелодичный отзвук их шагов, но не видел их, потому что темные кроны деревьев сгущали темноту. Я курил, выпускал струйки дыма и старался разглядеть далекое неоновое сиянье завода — Момчил называл его «папин завод».

Мария стояла рядом, опершись на железные перила, и, казалось, растворялась в вечернем сумраке. Ее присутствие было мне приятно, а волосы ее пахли так соблазнительно.

— Если хочешь, можешь меня о чем-нибудь спросить,— спокойно сказал я.

— Знаешь, я все обдумала,— певуче заговорила она.— Ведь я и сама смогу управиться с ребенком. Если хотите, поезжайте вы с мамой куда-нибудь...

Я не ответил ей, и мы оба погрузились в ленивое молчание наступающей ночи. Мария была красивой, как никогда,— так выглядит влюбленная женщина...

Я попытался вспомнить день нашего нетерпения, но в памяти моей всплывал только образ нашего постоянства и те самые обычные часы, в которые мы были действительно счастливы. У меня оставалось еще немного времени в этот прохладный вечер, чтобы, надев шлепанцы, посмотреть телевизор. Оставались у меня еще и пятнадцать минут, чтобы поговорить с Момчилом о человеческом достоинстве...

■

Классические японские танки

Перевод и вступление ВЕРЫ МАРКОВОЙ

Поэзия, как природа, работает в разных масштабах. Короткое стихотворение — всего в несколько строк — способно стать мощным конденсатором мысли и чувства. Греческая эпиграмма нередко кажется монументальной.

Русская частушка — иногда маленькая трагедия. Здесь ничего нельзя ни прибавить, ни убавить: в этом и заключается поэтическое чудо.

Поэзия каждого народа, устная и литературная, создает свои особые модели кратких песен и стихотворений.

Классическая лирика Японии лишь потому кажется необычной, что пятистишие — танка — заняло в ней на века господствующее положение, оттеснив в сторону «длинные песни». Эпический сказ остался достоянием народного творчества. Жизнестойкость и долголетие японского пятистишия феноменальны: родившись в древности как народная песня, оно в сложном ходе исторических перемен дошло до наших дней, не теряя своей способности к обновлению. Танка — поистине национальная форма японской поэзии.

Метрическая схема японской танки несложна: пять стихов, и в каждом пять или семь слогов, танка любит нечет. Японский язык многосложен, иногда одно слово — это уже целый стих. Конечная рифма в литературной поэзии — редкое явление, но танка вся прошита звуковыми повторами, в ней живет стихия музыки и песни. Метр не кажется однообразным, настолько богаты ритмические модуляции.

Танка ловит и закрепляет все оттенки непосредственной речи: любовную жалобу, разговор с самим собой или краткий диалог. Слышны голоса природы: шум потока, шелест трав, пение птиц...

Чтобы в немногих словах рассказать о многом, поэт прибегал к привычной, устойчивой символике образов. Возникла она еще в недрах японской народной поэзии, многое пришло из древнекитайской лирики или навеяно буддизмом.

Рукава, влажные от слез, пролитых при разлуке; запах померанца, пробуждающий воспоминания о былой любви; облетающий цвет вишен, символ недолговечности,— такие традиционные образы не требовали пояснений. Каждому было понятно, какие чувства они должны вызвать.

Сочинительство стихов вошло в быт средневековой аристократии и породило множество клишированных танок. Это была по существу псевдопоэзия.

Но подлинный поэт умел возвратить традиционному образу его первозданную значительность и емкость. Парадоксальным образом прямые цитаты из знаменитых стихотворений прошлого помогали утвердить свою индивидуальность, вдруг обретая новый, неожиданный смысл.

Все сказанное особенно относится к поэтам, жившим на рубеже двух эпох. В XII веке кончилась знаменитая в истории японского классического искусства хэйанская эпоха. Рушилось господство старой аристократии. Страну сотрясали кровавые

междоусобицы, власть захватили военные феодалы, отправлявшие в изгнание даже императоров. Самурайские мечи рубили, не зная пощады.

И в это самое время была создана третья из великих поэтических антологий Японии — «Синкокинсю» (1205). Она была как бы завершением хэйанской поэзии, своего рода мемориалом. В ней звучит ностальгия по прошлому. Обострено ощущение действительности, от которой хотелось бы убежать, только некуда. Не ушел от действительности, по собственному признанию, даже великий поэт-скиталец Сайгё (XII в.). Никакие горы не могли укрыть его.

Небольшая, но замечательная плеяда поэтов эпохи «Синкокинсю» не довольствовалась, однако, повторением прошлого, но искала новые пути. Один из составителей этой антологии, поэт Тосинари из рода Фудзивара (1114—1204), разработал новый принцип японской средневековой поэтики — «югэн» (буквально — «темная, скрытая красота»). Принцип «югэнизма» оказал огромное влияние на все японское искусство: живопись, театр, архитектуру. Гармоническая, словно затаенная красота постигалась путем неторопливого созерцания.

Лучшими выразителями принципа «югэн» в лирике XII века были поэт Сайгё и замечательная поэтесса Сйкиси-найсинно (1151?—1201), ученица Тосинари.

В стихах ее, очень непосредственных, очень «личных», слышатся трагические ноты обреченности и отчаяния. Оставался выход лишь в поэзию и природу.

Жизнь поэтессы сложилась печально. Дочь одного из императоров, с детства она много лет подряд была жрицей-весталкой в храме Камо, но покинула свое служение в храме по болезни и жила одиноко. Ей суждено было стать свидетельницей гибели самых близких людей во время междоусобиц, и сама она чуть не попала в ссылку за участие в политическом заговоре. Сикиси-найсинно постригается в монахини. Последние ее годы омрачены тяжелой болезнью, но она продолжала творить стихи, потому что поэзия была ее подлинной жизнью.

Танки ее собраны в собственном, именном сборнике и в богатом выборе представлены в «Синкокинсю» и других классических антологиях.

Садаиэ или иначе Тэйка (1162—1241) происходил из династии потомственных поэтов, он был сыном Тосинари, признанного вождя поэзии того времени. Как хэйанский придворный аристократ, Садаиэ жил в мире старых традиций, несмотря на исторические бури, бушевавшие вокруг.

Он довел классическую танку до высокой степени совершенства.

Лирика Садаиэ изысканно проста, прозрачна, проникнута элегической меланхолией. Окружающий мир предстает в ней прекрасным, но печальным, словно залит лунным светом. В цикле любовных стихов сильнее всего звучат темы несбывшейся встречи, разлуки, воспоминаний.

Каждая танка — небольшая поэма. Но в поэтических сборниках принято было стихи группировать в тематические разделы: Весна, Лето, Осень, Зима, Любовь, Разлука, Странствия и т. д.

Так возникали большие циклы времен года в смене контрастов, подчиненные ритму перемен. Как будто стихи о природе, а на самом деле о человеческой жизни. Даже в поэзии Садаиэ, столь изощренной, прощупывается исконная народная основа. Народ-творец, народ-изобретатель создал образы немеркнущей красоты. Этим в конечном счете и объясняется столь долгая жизнь японской танки.

СИКИСИ-НАЙСИННО

О быстротечность!
На изголовье случайном
В дреме забывшись,
Смутной тенью блуждаю
По тропе сновидений.

■ ■ ■

Напрасно гляжу вокруг.
Куда устремиться душою?
Нет такой стороны.
Весну провожая, темнеет
Вечернее небо.

■ ■ ■

Дверь хижины в горах
Осенена ветвями сосен,
Не знающих весны.
Прерывистою цепью капель
Сочится талый снег.

■ ■ ■

Любуюсь тобою,
И пусть этот день весны
В прошлое канет,
Слива у самой кровли,
Не забывай меня!

■ ■ ■

Мое мимолетное
Минувшее озирая взглядом,
Считаю в памяти:
Сколько весен я провела,
Печалясь о вишневых цветах!

■ ■ ■

Осыпались вишни.
Напрасно бродит мой взгляд.
Кругом все поблекло.
Весенний дождь без конца
В опустевшем небе.

■ ■ ■

Возле окна моего,
Играя в листьях бамбука,
Ветер зашелестел.
Становится все короче
Дремота летних ночей.

■ ■ ■

Обратно не придет
Минувшее, но в сновиденье
Вдруг ожило опять.
У изголовья моего
Благоухает померанец.

■ ■ ■

Павлонии палый лист
Так затруднил дорогу,
Не протоптать тропы.
Пропал остаток надежды,
Что друг мой придет ко мне.

■ ■ ■

Пустынный сад.
Давно заглушил тростник
Следы людей.
На дне осенней росы
Звенят цикад голоса.

■ ■ ■

Холодом веет ветер.
Редеет деревьев листва,
И от ночи к ночи
Ширится, заливая сад,
Сияние осенней луны.

■ ■ ■

Печалится взор.
О, если б найти приют,
Где осени нет!
Везде, на лугах, на горах,
Луна поселилась.

■ ■ ■

Пока я глядела,
Вдруг наступила зима.
Берег залива,
Где дикие утки гнездятся,
Подернулся тонким ледком.

■ ■ ■

Снег падает день за днем.
Печи угольщиков курятся
Все сильней и сильней.
Даже дым, до чего он печален
В деревне «Большое поле»!

Потаенная любовь

Жемчужная нить —
Жизнь моя, ты исчезнешь,
Так исчезни скорей!
Боюсь, если ты продлишься,
Молчать недостанет сил.

Аромат расцветающей сливы
Льют влажные от слез рукава,
И, сквозь кровлю сочась.
Лунный свет так горит на них,
Словно спорит с благоуханьем.

■ ■ ■

Небо снежило.
Изнемогли в дороге
Дикие гуси.
И вот улетают... На крылья
Сыплется дождик весенний.

■ ■ ■

Я видел, они расцвели,
Ветки вишневых деревьев,
Но в сумраке еле сквозят —
Благоуханная дымка
На вечереющем небе.

■ ■ ■

Где он, ветер
Цвета вишневых лепестков?
Скрылся бесследно.
А скажут: «Земля как в снегу.
Есть еще чем любоваться!»

■ ■ ■

Тайные мысли мои
Кому я оставлю в наследство,
Чьим открою глазам?
Сердце мое переполнил
Этот весенний рассвет.

■ ■ ■

В сумерках вечера
Кого, улетевшего облаком,
Ветер привеял?
Что разбудил он в памяти
Ароматом цветов померанца?

■ ■ ■

Вновь засияло
В разрывах туч грозовых
Вечернее солнце.
На эту сторону гор
Белые цапли летят.

■ ■ ■

В горном селении
Цикад неумолчный хор
Звучит по-осеннему.
Облетают среди тумана
Листья с самых нижних ветвей.

■ ■ ■

Циновка так холодна!
В одинокую ночь ожиданья
Ветер осени леденит.
Луной прикрылась, как рукавом,
Девушка с берега Удзи.

■ ■ ■

Мне так хотелось забыть,
Что осень уже наступила...
Но этот лунный свет!
Но где-то на речном берегу
Стучат и стучат вальки!

■ ■ ■

Остановить коня,
Рукава отряхнуть бы...
Приюта нигде не найдешь.
На всей равнине Сано
Снежный ветреный вечер.

■ ■ ■

Сказала: «Уже рассвет!»
Покинув меня, исчезла.
Не отыщешь следа.
Считанные мгновенья
Гостит на заре белый снег.

■ ■ ■

Еще усилил тоску
Этот уныло-тягучий
Вихря вечернего шум.
Зачем обычай придуман
В сумерках встречи ждать?

■ ■ ■

Какой осенний вид
У твоей поблекшей любви!
Печаль меня убьет.
Так в роще сметает вихрь
Каплю белой росы.

■ ■ ■

Идет от другого домой,
И, чтобы скрасить дорогу,
Наверно, глядит на тебя.
Луна ожиданья ночного,
Как ты на рассвете бледна!

■ ■ ■

Помнишь ли ты меня?
Может, привычный ко мне рукав
Заледенел от слез?
Я всю ночь заснуть не могу.
Иней припорошил циновку...

■ ■ ■

Как я когда-то ласкал
Черные волосы любимой!
Каждую, каждую прядь
На одиноком ложе моем
В памяти перебираю.

■ ■ ■

Эти стихи сложены мной, когда после долгого отсутствия я по приглашению некоего придворного посетил празднество высочайшего любования вишнями в саду ведомства императорской гвардии.

Сколько весен под сенью ветвей
Я тоже на вас любовался,
Вишни в дворцовом саду!
Верно, вам грустно глядеть,
Как я постарел в разлуке.

■ ■ ■

Отблеск на рукавах,
Морской водой напоенных...
Поневоле всю ночь
Не могут с луной разлучиться
Солевары залива Сумá.

■ ■ ■

В кои веки, бывало,
Друзья посетят меня...
Дальнее воспоминанье!
В саду моем с давних пор
Людские следы исчезли.

■

ГЕРМАН ГЕССЕ

Степной Волк

■

Перевод с немецкого и послесловие С. АПТА

Проснувшись, я сразу забыл свой сон, лишь позже он припел мне на память. Проспал я, видно, около часа, среди музыки и толчеи, за ресторанным столиком — никак не думал, что я на это способен. Моя милая девушка стояла передо мной, держа руку на моем плече.

— Дай мне две-три марки,— сказала она,— я там кое-что съела.

Я отдал ей свой кошелек, она ушла с ним и скоро вернулась.

— Ну вот, теперь я немного посижу с тобой, а потом мне надо будет уйти, у меня свидание.

Я испугался.

— С кем же? — спросил я быстро.

— С одним господином, маленький Гарри. Он пригласил меня в бар «Одеон».

— О, а я-то думал, что ты не оставишь меня одного.

— Вот и пригласил бы меня. Но тебя опередили. Что ж, зато сэкономишь деньги. Знаешь «Одеон»? После полуночи только шампанское. Мягкие кресла, негритянская капелла, очень изысканно.

Всего этого я не учел.

— Ах,— сказал я просительно,— так позволь пригласить тебя мне! Я считал, что это само собой разумеется, ведь мы же стали друзьями. Позволь пригласить куда тебе угодно. Прошу тебя.

— Очень мило с твоей стороны. Но знаешь, слово есть слово, я согласилась, и я пойду. Не хлопочи больше! Выпей-ка лучше еще глоток, у нас ведь еще осталось вино в бутылке. Выпьешь и пойдешь чин чином домой и ляжешь спать. Обещай мне.

— Нет, слушай, домой я не могу идти.

— Ах, эти твои истории! Ты все еще не разделался с этим Гёте (тут я и вспомнил свой сон). Но если ты действительно не можешь идти домой, оставайся здесь, у них есть номера. Заказать тебе?

Я обрадовался и спросил, где можно будет увидеть ее снова. Где она живет? Этого она не сказала мне. Надо, мол, только немного поискать, и я уж найду ее.

— А нельзя тебя пригласить?

— Куда?

— Куда тебе хочется и когда захочется.

Окончание. Начало см. в № 4.

— Хорошо. Во вторник поужинаем в «Старом францисканце», на втором этаже. До свиданья!

Она подала мне руку, и только теперь я обратил внимание на эту руку, которая так подходила к ее голосу,— красивую и полную, умную и добрую. Она насмешливо улыбнулась, когда я поцеловал ей руку.

В последний миг она еще раз обернулась ко мне и сказала:

— Я хочу еще кое-что сказать тебе — по поводу Гёте. Понимаешь, то же самое, что у тебя вышло с Гёте, когда тебя взорвало из-за его портрета, бывает у меня иногда со святыми.

— Со святыми? Ты такая набожная?

— Нет, я не набожная, к сожалению, но когда-то была набожная и когда-нибудь еще буду опять. Времени нет для набожности.

— Времени нет? Разве для этого нужно время?

— Еще бы. Для набожности нужно время, больше того, нужна даже независимость от времени! Нельзя быть всерьез набожной и одновременно жить в действительности, да еще и принимать ее тоже всерьез — время, деньги, бар «Одеон» и все такое.

— Понимаю. Но что же это у тебя со святыми?

— Да, есть святые, которых я особенно люблю — Стефан, святой Франциск и другие. И вот иногда мне попадаются их изображения, а также спасителя и богоматери, такие лживые, фальшивые, дурацкие изображения, что мне и смотреть-то на них тошно, точно так же, как тебе на тот портрет Гёте. Когда я вижу этакого слащавого, глупого спасителя и вижу, как другие находят такие картинки прекрасными и возвышающими душу, то для меня это оскорбление настоящего спасителя, и я думаю: ах, зачем он жил и так ужасно страдал, если людям достаточно и такого глупого его изображения! Но тем не менее я знаю, что и мой образ спасителя или Франциска — это всего лишь образ какого-то человека и до прообраза не дотягивается, что самому спасителю мой внутренний образ его показался бы таким же в точности глупым и убогим, как мне эти слащавые образки. Я говорю тебе это не для того, чтобы оправдать твою досаду и злость на тот портретик, нет, тут ты неправ, говорю я это, только чтобы показать тебе, что способна тебя понять. Ведь у вас, ученых и художников, полно в голове всяких необыкновенных вещей, но вы такие же люди, как прочие, и у нас, у прочих, тоже есть в голове свои мечты и свои игры. Я же заметила, ученый господин, что ты немножко смутился, думая, как рассказать мне свою историю с Гёте — тебе надо было постараться сделать свои высокие материи понятными простой девушке. Ну, вот, я и хочу показать, что незачем было особенно стараться. Я тебя и так понимаю. А теперь довольно! Тебе надо лечь спать.

Она ушла, а меня проводил на третий этаж старик лакей, вернее, сперва он осведомился о моем багаже и, услыхав, что багажа нет, взял с меня вперед то, что на его языке именовалось «ночлежными». Затем он поднялся со мной по старой темной лестнице, привел меня в какую-то комнатку и оставил одного. Там стояла хлипкая деревянная кровать, очень короткая и жесткая, а на стене висели сабля, цветной портрет Гарибальди и увядший венок, оставшийся от празднества какого-то клуба. Я многое отдал бы за ночную рубашку. В моем распоряжении были, по крайней мере, вода и маленькое полотенце, так что я умылся, а затем лег на кровать в одежде, не погасив света. Теперь можно было спокойно подумать. Итак, с Гёте дело уладилось. Чудесно, что он явился ко мне во сне! И эта замечательная девушка — знать бы ее имя! Вдруг человек, живой человек, который разбил мутный стеклянный колпак моей омертвелости

и подал мне руку, добрую, прекрасную, теплую руку! Вдруг снова что-то, что меня как-то касалось, о чем я мог думать с радостью, с волненьем, с интересом! Вдруг открытая дверь, через которую ко мне вошла жизнь! Может быть, я снова сумею жить, может быть, опять стану человеком. Моя душа, уснувшая на холоде и почти замерзшая, вздохнула снова, сонно повела слабыми крылышками. Гёте побывал у меня. Девушка велела мне есть, пить, спать, приняла во мне дружеское участие, высмеяла меня, назвала меня глупым мальчиком. И еще она, замечательная моя подруга, рассказала мне о святых, показала мне, что даже в самых странных своих заскоках я вовсе не одинок и не представляю собой непонятного, болезненного исключения, что у меня есть братья и сестры, что меня понимают. Увижу ли я ее вновь? Да, конечно, на нее можно положиться. «Слово есть слово».

И вот я опять уснул, я проспал около четырех или пяти часов. Было уже больше десяти, когда я проснулся — в измятой одежде, разбитый, усталый, с воспоминанием о чем-то ужасном, случившемся накануне, но живой, полный надежд, полный славных мыслей. При возвращенье в свою квартиру я не чувствовал ни малейшего подобия тех страхов, какие внушало мне это возвращенье вчера.

На лестнице, выше араукарии, я встретился с «тетушкой», моей хозяйкой, которую мне редко случалось видеть, но приветливость которой мне очень нравилась. Встреча эта была мне неприятна, вид у меня, непричесанного и небритого, был как-никак довольно несвежий. Вообще-то она всегда считалась с моим желанием, чтобы меня не беспокоили и не замечали, но сегодня, кажется, и впрямь прорвалась завеса, рухнула перегородка между мной и окружающим миром: «тетушка» засмеялась и остановилась.

— Ну, и гульнули же вы, господин Галлер, даже не ночевали дома. Представляю себе, как вы устали!

— Да,— сказал я и тоже засмеялся,— ночь сегодня была довольно-таки бурная, и чтобы не нарушать стиля вашего дома, я поспал в гостинице. Я очень чту покой и добропорядочность вашего дома, иногда я кажусь себе в нем каким-то инородным телом.

— Не смейтесь, господин Галлер.

— О, я смеюсь только над самим собой.

— Вот это-то и нехорошо. Вы не должны чувствовать себя «инородным телом» в моем доме. Живите себе, как вам нравится, и делайте, что вам хочется. У меня было много очень-очень порядочных жильцов, донельзя порядочных, но никто не был спокойнее и не мешал нам меньше, чем вы. А сейчас — хотите чаю?

Я не устоял. Чай был мне подан в ее гостиной с красивыми дедовскими портретами и дедовской мебелью, и мы немного поболтали. Не задавая прямых вопросов, эта любезная женщина узнала кое-что о моей жизни и моих мыслях, она слушала меня с той смесью внимания и материнской невзыскательности, с какой относятся умные женщины к чудачествам мужчин. Зашла речь и об ее племяннике, и в соседней комнате она показала мне его последнюю любительскую поделку — радиоприемник. Вот какую машину смастерил в свои свободные вечера этот прилежный молодой человек, увлеченный идеей беспроволочности и благоговеющий перед богом техники, которому понадобились тысячи лет, чтобы открыть и весьма несовершенно представить то, что всегда знал и чем куда умнее пользовался каждый мыслитель. Мы поговорили об этом, ибо тетушка немного склонна к набожности и не прочь побеседовать на религиозные темы. Я сказал ей, что вездесущность всех сил и действий была отлично известна древним индийцам, а техника довела до всеобщего созна-

ния лишь малую часть этого феномена, сконструировав для него, то есть для звуковых волн, пока еще чудовищно несовершенные приемник и передатчик. Самая же суть этого старого знания — нереальность времени — до сих пор еще не замечена техникой, но, конечно, в конце концов она тоже будет «открыта» и попадет в руки деятельным инженерам. Откроют, и, может быть, очень скоро, что нас постоянно окружают не только теперешние, существующие сию минуту картины и события — подобно тому как музыка из Парижа и Берлина слышна теперь во Франкфурте или в Цюрихе,— но что все когда-либо случившееся точно так же регистрируется и наличествует и что в один прекрасный день мы, наверно, услышим, с помощью или без помощи проволоки, со звуковыми помехами или без оных, как говорят царь Соломон и Вальтер фон дер Фогельвейде. И все это, как сегодня зачатки радио, будет служить людям лишь для того, чтобы убегать от себя и от своей цели, опутываясь все более густой сетью развлечений и бесполезной занятости. Но все эти хорошо известные мне вещи я говорил не тем привычным своим тоном, который полон язвительного презрения к времени и к технике, а шутливо и легко, и тетушка улыбалась, и мы просидели вместе добрый час, попивали себе чай и были довольны.

На вечер вторника пригласил я эту красивую, замечательную девушку из «Черного орла», и убить остававшееся время стоило мне немалых усилий. А когда вторник наконец наступил, важность моих отношений с незнакомкой стала мне до страшного ясна. Я думал только о ней, я ждал от нее всего, я готов был все принести ей в жертву, бросить к ее ногам, хотя отнюдь не был в нее влюблен. Стоило лишь мне представить себе, что она нарушит или забудет наш уговор, и я уже ясно видел, каково мне будет тогда: мир снова станет пустым, потекут серые, никчемные дни, опять вернется весь этот ужас тишины и омертвенья вокруг меня, и единственный выход из этого безмолвного ада — бритва. А бритва нисколько не стала милей мне за эти несколько дней, она пугала меня ничуть не меньше, чем прежде. Вот это-то и было мерзко: я испытывал глубокий, щемящий страх, я боялся перерезать себе горло, боялся умирания, противился ему с такой дикой, упрямой, строптивой силой, словно я здоровый человек, а моя жизнь — рай. Я понимал свое состояние с полной, беспощадной ясностью, понимал, что не что иное, как невыносимый раздор между неспособностью жить и неспособностью умереть делает столь важной для меня эту маленькую красивую плясунью из «Черного орла». Она была окошечком, крошечным светлым отверстием в темной пещере моего страха. Она была спасением, путем на волю. Она должна была научить меня жить или научить умереть, она должна была коснуться своей твердой и красивой рукой моего окоченевшего сердца, чтобы оно либо расцвело, либо рассыпалось в прах от прикосновения жизни. Откуда взялись у нее эти силы, откуда пришла к ней эта магия, по каким таинственным причинам возымела она столь глубокое значение для меня, об этом я не думал, да и было это безразлично; мне совершенно неважно было это знать. Никакое знание, никакое понимание для меня уже ничего не значили: ведь именно этим я был перекормлен, и в том-то и была для меня самая острая, самая унизительная и позорная мука, что я так отчетливо видел, так ясно сознавал свое состоянье. Я видел этого малого, эту скотину Степного Волка мухой в паутине, видел, как решается его судьба, как запутался он и как беззащитен, как приготовился впиться в него паук, но как близка, кажется, и рука помощи. Я мог бы сказать самые умные и тонкие вещи о связях и причинах моего страданья, моей душевной болезни, моего помешательства,

моего невроза — эта механика была мне ясна. Но нужны были не знанье, не пониманье — не их я так отчаянно жаждал,— а впечатленья, решенье, толчок и прыжок.

Хотя в те дни ожиданья я нисколько не сомневался, что моя приятельница сдержит слово, в последний день я был все же очень взволнован и неуверен; никогда в жизни я не ждал вечера с таким нетерпеньем. И как ни невыносимы становились напряженье и нетерпенье, они в то же время оказывали на меня удивительно благотворное действие: невообразимо отрадно и ново было мне, разочарованному, давно уже ничего не ждавшему, ничему не радовавшемуся, чудесно это было — метаться весь день в тревоге, страхе и лихорадочном ожиданье, наперед представлять себе результаты вечера, бриться ради него и одеваться (с особой тщательностью: новая рубашка, новый галстук, новые шнурки для ботинок). Кем бы ни была эта умная и таинственная девушка, каким бы образом ни вступила она в контакт со мной, для меня это не имело значенья; она существовала, чудо случилось, я еще раз нашел человека и нашел в себе новый интерес к жизни! Важно было только, чтобы это продолжалось, чтобы я предался этому влечению, последовал за этой звездой.

Незабываем тот миг, когда я ее снова увидел! Я сидел за маленьким столиком старого, уютного ресторана, предварительно, хотя в том не было нужды, заказанным мною по телефону, и изучал меню, а в стакане с водой стояли две прекрасные орхидеи, которые я купил для своей подруги. Ждать мне пришлось довольно долго, но я был уверен, что она придет, и уже не волновался. И вот она пришла, остановилась у гардероба и поздоровалась со мной только внимательным, чуть испытующим взглядом своих светло-серых глаз. Я настороженно проследил, как держится с нею официант. Нет, слава богу, никакой фамильярности, ни малейшего несоблюдения дистанции, он был безупречно вежлив. И все же они были знакомы, она называла его Эмиль.

Когда я преподнес ей орхидеи, она обрадовалась и засмеялась.

— Это мило с твоей стороны, Гарри. Ты хотел сделать мне подарок — так ведь? — и не знал, что выбрать, не очень-то знал, насколько ты, собственно, вправе дарить мне что-либо, не обижусь ли я, вот ты и купил орхидеи, это всего лишь цветы, а стоят все-таки дорого. Спасибо. Кстати, скажу тебе сразу: я не хочу, чтобы ты делал мне подарки. Я живу на деньги мужчин, но на твои деньги я не хочу жить. Но как ты изменился! Тебя не узнать. В тот раз у тебя был такой вид, словно тебя только что вынули из петли, а сейчас ты уже почти человек. Кстати, ты выполнил мой приказ?

— Какой приказ?

— Забыл? Я хочу спросить, умеешь ли ты теперь танцевать фокстрот. Ты говорил, что ничего так не желаешь, как получать от меня приказы, что слушаться меня тебе милее всего. Вспоминаешь?

— О да, и это остается в силе! Я говорил всерьез.

— А танцевать все-таки еще не научился?

— Разве можно так быстро, всего за несколько дней?

— Конечно. Танцевать фокс можно выучиться за час, бостон — за два часа. Танго сложнее, но оно тебе и не нужно.

— А теперь мне пора наконец узнать твое имя.

Она поглядела на меня молча.

— Может быть, ты его угадаешь. Мне было бы очень приятно, если бы ты его угадал. Ну-ка, посмотри на меня хорошенько! Ты еще не заметил, что у меня иногда бывает мальчишеское лицо? Например, сейчас?

Да, присмотревшись теперь к ее лицу, я согласился с ней, это было мальчишеское лицо. И когда я минуту помедлил, это лицо заговорило со мной и напомнило мне мое собственное отрочество и моего тогдашнего друга — того звали Герман. На какое-то мгновение она совсем превратилась в этого Германа.

— Если бы ты была мальчиком,— сказал я удивленно,— тебе следовало бы зваться Германом.

— Кто знает, может быть, я и есть мальчик, только переодетый,— сказала она игриво.

— Тебя зовут Гермина?

Она, просияв, утвердительно кивнула головой, довольная, что я угадал. Как раз подали суп, мы начали есть, и она развеселилась, как ребенок. Красивей и необычнее всего, что мне в ней нравилось и меня очаровывало, была эта ее способность переходить совершенно внезапно от глубочайшей серьезности к забавнейшей веселости и наоборот, причем нисколько не меняясь и не кривляясь, этим она походила на одаренного ребенка. Теперь она веселилась, дразнила меня фокстротом, даже раз-другой толкнула меня ногой, горячо хвалила еду, заметила, что я постарался получше одеться, но нашла еще множество недостатков в моей внешности.

В ходе нашей болтовни я спросил ее:

— Как это у тебя получилось, что ты вдруг стала похожа на мальчика и я угадал твое имя?

— О, это все получилось у тебя самого. Как же ты, ученый господин, не понимаешь, что я потому тебе нравлюсь и важна для тебя, что я — как бы зеркало, что во мне есть что-то такое, что отвечает тебе и тебя понимает? Вообще-то всем людям надо бы быть друг для друга такими зеркалами, надо бы так отвечать, так соответствовать друг другу, но такие чудаки, как ты,— редкость и легко сбиваются на другое: они, как околдованные, ничего не могут увидеть и прочесть в чужих глазах, им ни до чего нет дела. И когда такой чудак вдруг все-таки находит лицо, которое на него действительно глядит и в котором он чует что-то похожее на ответ и родство, ну, тогда он, конечно, радуется.

— Ты все знаешь, Гермина! — воскликнул я удивленно.— Все в точности так, как ты говоришь! И все же ты совсем-совсем иная, чем я! Ты моя противоположность, у тебя есть все, чего у меня нет.

— Так тебе кажется,— сказала она лаконично,— и это хорошо.

И тут на ее лицо, которое и в самом деле было для меня каким-то волшебным зеркалом, набежала тяжелая туча серьезности, вдруг все это лицо задышало только серьезностью, только трагизмом, бездонным, как в пустых глазах маски. Медленно, словно бы через силу произнося слово за словом, она сказала:

— Слушай, не забывай, что ты сказал мне! Ты сказал, что я должна тебе приказывать и что для тебя это будет радость — подчиняться всем моим приказам. Не забывай этого! Знай, маленький Гарри: так же, как я действую на тебя, как мое лицо дает тебе ответ и что-то во мне идет тебе навстречу и внушает тебе доверие,— точно так же и ты действуешь на меня. Когда я в тот раз увидела, как ты появился в «Черном орле», такой усталый, с таким отсутствующим видом, словно ты уже почти на том свете, я сразу почувствовала: этот будет меня слушаться, он жаждет, чтобы я ему приказывала, и я буду ему приказывать! Поэтому я и заговорила с тобой, и поэтому мы стали друзьями.

Она говорила с такой тяжелой серьезностью, с таким душевным напряжением, что я не вполне понимал ее и попытался успокоить

ее и отвлечь. Она только отмахнулась от этих моих попыток движеньем бровей и продолжала ледяным голосом:

— Ты должен сдержать свое слово, малыш, так и знай, а то пожалеешь. Ты будешь получать от меня много приказов и будешь им подчиняться, славных приказов, приятных приказов, тебе будет сплошное удовольствие их слушаться. А под конец ты исполнишь и мой последний приказ, Гарри.

— Исполню,— сказал я почти безвольно.— Что ты прикажешь мне напоследок?

Но я уже догадывался — что́, бог знает почему.

Она поежилась, словно ее зазнобило, и, кажется, медленно вышла из своей отрешенности. Ее глаза не отпускали меня. Она стала вдруг еще мрачнее.

— Было бы умно с моей стороны не говорить тебе этого. Но я не хочу быть умной, Гарри, на этот раз — нет. Я хочу чего-то совсем другого. Будь внимателен, слушай! Ты услышишь это, снова забудешь, посмеешься над этим, поплачешь об этом. Будь внимателен, малыш! Я хочу поиграть с тобой, братец, не на жизнь, а на смерть и, прежде чем мы начнем играть, хочу раскрыть тебе свои карты.

Какое прекрасное, какое неземное было у нее лицо, когда она это говорила! В ее глазах, холодных и светлых, витала умудренная грусть, эти глаза, казалось, выстрадали все мыслимые страданья и сказали им «да». Губы ее говорили с трудом, словно им что-то мешало,— так говорят на большом морозе, когда коченеет лицо; но между губами, в уголках рта, в игре изредка показывавшегося кончика языка струилась, противореча ее взгляду и голосу, какая-то милая, игривая чувственность, какая-то проникновенная сладострастность. На ее тихий, ровный лоб свисал короткий локон, и оттуда, от той стороны лба, где он свисал, изливалась время от времени, как живое дыхание, эта волна мальчишества, двуполой магии. Я слушал ее испуганно и все же как под наркозом, словно бы наполовину отсутствуя.

— Ты расположен ко мне,— продолжала она,— по причине, которую я уже открыла тебе: я прорвала твое одиночество, я перехватила тебя у самых ворот ада и оживила вновь. Но я хочу от тебя большего, куда большего. Я хочу заставить тебя влюбиться в меня. Нет, не возражай, дай мне сказать! Ты очень расположен ко мне, я это чувствую, и благодарен мне, но ты не влюблен в меня. Я хочу сделать так, чтобы ты влюбился в меня, это входит в мою профессию: ведь я живу на то, что заставляю мужчин влюбляться в себя. Но имей в виду, я хочу сделать это не потому, что нахожу тебя таким уж очаровательным. Я не влюблена в тебя, Гарри, как и ты не влюблен в меня. Но ты нужен мне так же, как тебе нужна я. Я нужна тебе сейчас, сию минуту, потому что ты в отчаянье и нуждаешься в толчке, который метнет тебя в воду и сделает снова живым. Я нужна тебе, чтобы ты научился танцевать, научился смеяться, научился жить. А ты понадобишься мне не сегодня, позднее — тоже для одного очень важного и прекрасного дела. Когда ты будешь влюблен в меня, я отдам тебе свой последний приказ, и ты повинуешься, и это будет на пользу тебе и мне.

Она приподняла в стакане одну из коричнево-фиолетовых, с зелеными прожилками орхидей, склонила к ней на мгновенье лицо и стала глядеть на цветок.

— Тебе будет нелегко, но ты это сделаешь. Ты выполнишь мой приказ и убьешь меня. Вот в чем дело. Больше не спрашивай.

Все еще глядя на орхидею, она умолкла, с ее лица сошло напряженье, оно расправилось, как распускающийся цветок, и вдруг на

губах ее появилась восхитительная улыбка, хотя глаза еще мгновенье оцепенело глядели в одну точку. А потом она тряхнула головой с маленьким мальчишеским локоном, выпила глоток вина, вспомнила вдруг, что мы сидим за ужином, и с веселым аппетитом набросилась на еду.

Я слышал ясно каждое слово ее жутковатой речи, угадал даже ее «последний приказ», прежде чем она открыла его, и уже не был испуган словами «ты убьешь меня». Все, что она сказала, прозвучало для меня непререкаемо, как неотвратимая предопределенность, я принял это без всякого сопротивления, и тем не менее, несмотря на ужасающую серьезность, с какой она говорила, все это казалось мне не вполне реальным и серьезным. Одна часть моей души впивала ее слова и верила им, другая часть моей души успокаивающе кивала и принимала к сведенью, что и у такой умной, здоровой и уверенной Гермины тоже, оказывается, есть свои причуды и помрачения. Едва было выговорено последнее из ее слов, как вся эта сцена подернулась флёром нереальности и призрачности.

И все же я не мог с такой же эквилибристической легкостью, как Гермина, совершить обратный прыжок в правдоподобность и реальность.

— Значит, когда-нибудь я тебя убью? — спросил я еще в полузабытьи, хотя она опять уже смеялась, воодушевленно разрезая птичье мясо.

— Конечно,— кивнула она небрежно,— хватит об этом, сейчас время ужинать. Гарри, будь добр, закажи мне еще немножко зеленого салату! У тебя нет аппетита? Кажется, тебе надо учиться всему, что у других само собой получается, даже находить радость в еде. Смотри же, малыш, вот утиная ножка, и когда отделяешь прекрасное светлое мясо от косточки, то это праздник, и тут человек должен ощущать аппетит, должен испытывать волнение и благодарность, как влюбленный, когда он впервые снимает кофточку со своей девушки. Понял? Нет? Ты овечка. Погоди, я дам тебе кусочек от этой славной ножки, ты увидишь. Вот так, открой-ка рот!.. О, какое же ты чудовище! Боже, теперь он косится на других людей, не видят ли они, что я кормлю его с вилки! Не беспокойся, блудный сын, я не опозорю тебя. Но если тебе непременно нужно чье-то разрешение на удовольствие, тогда ты действительно бедняга.

Все нереальнее становилась недавняя сцена, все невероятнее казалось, что лишь несколько минут назад эти глаза глядели так тяжело и так леденяще. О, в этом Гермина была как сама жизнь — всегда лишь мгновенье, которого нельзя учесть наперед. Теперь она ела, и утиная ножка, салат, торт и ликер принимались всерьез, становились предметом радости и суждения, разговора и фантазии. Как только убирали тарелку, начиналась новая глава. Эта женщина, видевшая меня насквозь, знавшая о жизни, казалось, больше, чем все мудрецы вместе взятые, ребячилась, жила и играла мгновеньем с таким искусством, что сразу превратила меня в своего ученика. Была ли то высшая мудрость или простейшая наивность, но кто умел до такой степени жить мгновеньем, кто до такой степени жил настоящим, так приветливо-бережно ценил малейший цветок у дороги, малейшую возможность игры, заложенную в мгновенье, тому нечего было бояться жизни. И этот-то резвый ребенок со своим хорошим аппетитом, со своим игривым гурманством был одновременно мечтательницей и истеричкой, которая желает себе смерти, или расчетливой обольстительницей, которая сознательно и с холодным сердцем хочет добиться, чтобы я влюбился в нее и стал ее рабом? Это было невероятно. Нет, просто она до того целиком отдавалась мгновенью,

что с такой же готовностью, как любую веселую мысль, впускала в себя и переживала любой темный страх, мелькнувший в далеких глубинах ее души.

Эта Гермина, которую сегодня я видел второй раз, знала обо мне все, мне казалось невозможным что-либо от нее утаить. Может быть, она не вполне понимала мою духовную жизнь; в мои отношения с музыкой, с Гёте, с Новалисом или Бодлером она, может быть, и не могла вникнуть, но и это было под большим вопросом, вероятно, и это удалось бы ей без труда. А если бы и не удалось — что уж там осталось от моей «духовной жизни»? Разве все это не рухнуло и не потеряло свой смысл? Но другие мои, самые личные мои проблемы и заботы — их она все поняла бы, в этом я не сомневался. Скоро я поговорю с ней о Степном Волке, о трактате, обо всем, что пока существует для меня одного, о чем я никому еще не проронил ни слова. Я не удержался от искушенья начать сейчас же.

— Гермина,— сказал я,— недавно со мной произошел странный случай. Какой-то незнакомец дал мне печатную книжечку, что-то вроде ярмарочной брошюрки, и там точно описаны вся моя история и все, что меня касается. Скажи, разве это не любопытно?

— Как же называется твоя книжечка? — спросила она невзначай.

— «Трактат о Степном Волке».

— О, степной волк — это великолепно! И степной волк — это ты? Это, по-твоему, ты?

— Да, это я. Я наполовину человек и наполовину волк, так, во всяком случае, мне представляется.

Она не ответила. Она испытующе и внимательно посмотрела мне в глаза, посмотрела на мои руки, и на миг в ее взгляде и лице опять появились, как прежде, глубокая серьезность и мрачная страстность. Если я угадал ее мысли, то думала она о том, в достаточной ли мере я волк, чтобы выполнить ее «последний приказ».

— Это, конечно, твоя фантазия,— сказала она, снова повеселев,— или, если хочешь, поэтическая выдумка. Но что-то в этом есть. Сегодня ты не волк, но в тот раз, когда ты вошел в зал, словно с луны свалился, в тебе и правда было что-то от зверя, это-то мне и понравилось.

Она вдруг спохватилась, запнулась и словно бы смущенно сказала:

— До чего глупо звучат такие слова — «зверь», «хищное животное»! Не надо так говорить о животных. Конечно, они часто бывают страшные, но все-таки они куда более настоящие, чем люди.

— Что значит «более настоящие»? Как ты это понимаешь?

— Ну, взгляни на какое-нибудь животное, на кошку или на собаку, на птицу или даже на каких-нибудь больших красивых животных в зоологическом саду — на пуму или на жирафу! И ты увидишь, что все они настоящие, что нет животного, которое бы смущалось, не знало бы, что делать и как вести себя. Они не хотят тебе льстить, не хотят производить на тебя какое-то впечатление. Ничего показного. Какие они есть, такие и есть, как камни и цветы или как звезды на небе. Понимаешь?

Я понял.

— Животные большей частью бывают грустные,— продолжала она.— И когда человек очень грустен, грустен не потому, что у него болят зубы или он потерял деньги, а потому что он вдруг чувствует, каково все, какова вся жизнь, и грусть его настоящая, тогда он непременно немножко похож на животное, тогда он выглядит грустно, но в нем больше настоящего и красивого, чем обычно. Так уж ве-

дется, и когда я впервые увидела тебя, Степной Волк, ты выглядел так.

— Ну, а что, Гермина, ты думаешь о той книжке, где я описан?

— Ах, знаешь, я не люблю все время думать. Поговорим об этом в другой раз. Можешь мне дать ее как-нибудь почитать.

Она попросила кофе и казалась некоторое время невнимательной и рассеянной, а потом вдруг просияла и, видимо, достигла какой-то цели в своих раздумьях.

— Ах,— воскликнула она радостно,— наконец дошло!

— Что дошло?

— Насчет фокстрота, у меня это ни на минуту не выходило из головы. Скажи, у тебя есть комната, где мы могли бы иногда часок потанцевать вдвоем? Пусть маленькая, это неважно, лишь бы не было под тобой жильца, который поднимется и устроит скандал, если у него чуть-чуть подрожит потолок. Что ж, хорошо, очень хорошо! Тогда ты можешь дома учиться танцевать.

— Да,— сказал я робко,— тем лучше. Но я думал, что для этого нужна и музыка.

— Конечно, нужна. Ну, так музыку ты себе купишь, это стоит самое большее столько же, сколько курс у учительницы танцев. На учительнице ты сэкономишь, ею буду я сама, и музыка будет всегда к нашим услугам, и вдобавок у нас еще останется граммофон.

— Граммофон?

— Разумеется. Ты купишь небольшую такую машинку и несколько танцевальных пластинок в придачу...

— Чудесно,— воскликнул я,— и если тебе действительно удастся научить меня танцевать, граммофон ты получишь в виде гонорара. Согласна?

Я сказал это очень бойко, но сказал не от чистого сердца. Я не мог представить себе такую совершенно несимпатичную мне машину в своем кабинетике, да и танцевать-то мне совсем не хотелось. При случае, думал я, можно попробовать — хоть и был убежден, что я слишком стар, и неповоротлив, и танцевать уж не научусь. Но так с места в карьер — это было для меня слишком стремительно, и я чувствовал, как во мне восстает вся моя предубежденность старого, избалованного знатока музыки против граммофона, джаза и современных танцевальных мелодий. И чтобы теперь в моей комнате, рядом с Новалисом и Жан Полем, в келье, где я предавался своим мыслям, в моем убежище звучали американские шлягеры, а я танцевал под них — этого люди никак не вправе были от меня требовать. Но требовали этого не какие-то отвлеченные «люди», требовала Гермина, а ей полагалось приказывать. Я подчинился. Конечно, я подчинился.

На следующий день, во второй его половине, мы встретились в кафе. Гермина уже сидела там, когда я пришел, и пила чай. Она, улыбаясь, показала мне газету, где обнаружила мое имя. Это был один из тех вызывающе реакционных листков моей родины, в которых всегда время от времени проходили по кругу злопыхательские статейки против меня. Во время войны я был ее противником, после войны призывал к спокойствию, терпению, человечности и самокритике, сопротивляясь все более с каждым днем грубой, глупой и дикой националистической травле. Это был опять выпад такого рода, плохо написанный, наполовину сочиненный самим редактором, наполовину состряпанный из множества подобных выступлений близкой ему прессы. Никто, как известно, не пишет хуже, чем защитники стареющей идеологии, никто не проявляет меньше опрятности и добросовестности в своем ремесле, чем они. Гермина прочла эту статью

и узнала из нее, что Гарри Галлер — вредитель и безродный проходимец и что, конечно, дела отечества не могут не обстоять скверно, пока терпят таких людей и такие мысли и воспитывают молодежь в духе сентиментальной идеи единого человечества, вместо того чтобы воспитывать ее в боевом духе мести заклятому врагу.

— Это ты? — спросила Гермина, указывая на мое имя.— Ну и нажил же ты себе врагов, Гарри. Тебя это злит?

Я прочел несколько строк — все было как обычно, каждое из этих стереотипных ругательств было мне уже много лет знакомо до отвращения.

— Нет,— сказал я,— меня это не злит, я давно к этому привык. Я не раз высказывал мнение, что вместо того чтобы убаюкивать себя политиканским вопросом «Кто виноват?», каждый народ и даже каждый отдельный человек должен покопаться в себе самом, понять, насколько он сам, из-за своих собственных ошибок, упущений, дурных привычек, виновен в войне и прочих бедах мира, что это единственный путь избежать, может быть, следующей войны. Этого они мне не прощают, еще бы, ведь сами они нисколько не виноваты — кайзер, генералы, крупные промышленники, политики, газеты,— никому не в чем себя упрекнуть, ни на ком нет ни малейшей вины! Можно подумать, что в мире все обстоит великолепно, только вот десяток миллионов убитых лежит в земле. И понимаешь, Гермина, хотя такие пасквили уже не могут меня разозлить, мне иногда становится от них грустно. Две трети моих соотечественников читают газеты этого рода, читают каждое утро и каждый вечер эти слова, людей каждый день обрабатывают, поучают, подстрекают, делают недовольными и злыми, а цель и конец всего — снова война, следующая, надвигающаяся война, которая, наверно, будет еще ужасней, чем эта. Все это ясно и просто, любой человек мог бы это понять, мог бы, подумав часок, прийти к тому же выводу. Но никто этого не хочет, никто не хочет избежать следующей войны, никто не хочет избавить себя и своих детей от следующей массовой резни, если это не стоит дешевле, чем подумать часок. На какое-то время погрузиться в себя и задаться вопросом, в какой мере ты сам участвуешь и виновен в беспорядке и зле, царящих в мире,— этого, понимаешь, никто не хочет! И значит, так будет продолжаться, и тысячи людей будут изо дня в день усердно готовить новую войну. С тех пор как я это знаю, это убивает меня и приводит в отчаянье, для меня уже не существует ни «отечества», ни идеалов — это ведь все только декорация для господ, готовящих следующую бойню. Нет никакого смысла по-человечески думать, говорить, писать, нет никакого смысла носиться с хорошими мыслями: на двух-трех человек, которые это делают, приходятся каждодневно тысячи газет, журналов, речей, открытых и тайных заседаний, которые стремятся к обратному и его достигают.

Гермина слушала с участием.

— Да,— сказала она теперь,— тут ты прав. Конечно, война опять будет, не нужно читать газет, чтобы это знать. Можно, конечно, грустить по этому поводу, но не стоит. Это все равно что грустить о том, что, как ни вертись, как ни старайся, а от смерти не отвертеться. Бороться со смертью, милый Гарри,— это всегда прекрасное, благородное, чудесное и достойное дело, а значит, бороться с войной — тоже. Но и это всегда — безнадежное донкихотство.

— Так оно, может быть, и есть,— воскликнул я резко,— но от таких истин, как та, что мы все скоро умрем и значит, мол, на все наплевать, вся жизнь делается пошлой и глупой. По-твоему, значит, нам надо все бросить, отказаться от всякой духовности, от всяких

стремлений, от всякой человечности, смириться с произволом честолюбия и денег и дожидаться за кружкой пива следующей мобилизации?

Удивителен был взгляд, который теперь метнула на меня Гермина, взгляд насмешливо-издевательский, плутоватый, отзывчиво-товарищеский и одновременно тяжелый, полный знания и глубочайшей серьезности!

— Да нет же,— сказала она совсем по-матерински.— Твоя жизнь не станет пошлой и глупой, даже если ты и знаешь, что твоя борьба успеха не принесет. Гораздо пошлее, Гарри, бороться за какое-то доброе дело, за какой-то идеал и думать, что ты обязан достигнуть его. Разве идеалы существуют для того, чтобы их достигали? Разве мы, люди, живем для того, чтобы отменить смерть? Нет, мы живем, чтобы бояться ее, а потом снова любить, и как раз благодаря ей жизнь так чудесно пылает в иные часы. Ты ребенок, Гарри. Слушайся теперь и ступай со мной, у нас сегодня много дел. Сегодня я больше не буду думать о войне и газетах. А ты?

О нет, я тоже готов был не думать о них.

Мы пошли вместе — это была наша первая совместная прогулка по городу — в магазин музыкальных принадлежностей и стали рассматривать там граммофоны, мы их открывали, закрывали, заводили, и когда один из них показался нам вполне подходящим, очень славным и недорогим, я собрался купить его, но Гермина не хотела спешить. Она удержала меня, и мне пришлось отправиться с ней сначала в другую лавку, чтобы и там осмотреть и прослушать граммофоны всех типов и всех размеров, и лишь после этого она согласилась вернуться в первую и купить присмотренный там экземпляр.

— Вот видишь,— сказал я,— мы могли сделать это проще.

— Ты думаешь? А завтра, может быть, мы увидели бы в другой витрине такую же точно машину, только на двадцать франков дешевле. И кроме того, делать покупки — это удовольствие, а что доставляет удовольствие, тем надо насладиться сполна. Тебе еще многому нужно учиться.

С помощью посыльного мы доставили наше приобретение ко мне на квартиру.

Гермина внимательно осмотрела мою гостиную, похвалила печку и диван, посидела на стульях, потрогала книги, надолго задержалась перед фотографией моей возлюбленной. Граммофон мы поставили на комод среди нагроможденных кучами книг. И тут началось мое обучение. Она поставила фокстрот, показала мне первые па, взяла мою руку и стала меня водить. Я послушно топтался с ней, задевал стулья, подчинялся ее приказам, не понимал ее, наступал ей на ноги и был столь же неуклюж, сколь и усерден. После второго танца она бросилась на диван и засмеялась, как ребенок.

— Боже, до чего ты неповоротлив! Ходи просто, как будто гуляешь! Напрягаться совсем не нужно. Тебе, кажется, даже жарко стало? Ладно, передохнем пять минут! Пойми, танцевать, если умеешь, так же просто, как думать, а научиться танцевать гораздо легче. Теперь ты будешь терпимее относиться к тому, что люди не приучаются думать, что они предпочитают называть господина Галлера изменником родины и спокойно дожидаться следующей войны.

Через час она ушла, заверив меня, что в следующий раз дело пойдет уже лучше. Я держался на этот счет другого мнения и был очень разочарован своей глупостью и неуклюжестью; за этот час я, казалось, вообще ничему не научился, и мне не верилось, что в следующий раз дело пойдет лучше. Нет, чтобы танцевать, нужны

качества, которых у меня совершенно не было: веселость, невинность, легкомыслие, задор. Что ж, я ведь давно так и думал.

Но, странная вещь, в следующий раз дело и впрямь пошло лучше, и мне стало даже интересно, и в конце урока Гермина заявила, что фокстрот я уже усвоил. Но когда она вывела из этого заключение, что завтра я должен пойти танцевать с ней в какой-нибудь ресторан, я перепугался и заартачился. Она холодно напомнила мне о моем обете послушания и велела явиться завтра на чай в отель «Баланс».

В тот вечер я сидел дома, хотел почитать, но не смог. Я боялся завтрашнего дня; ужасно было подумать, что я, старый, неловкий, застенчивый нелюдим, не только появлюсь в одном из этих пошлых современных заведений, где пьют чай и танцуют, но и выступлю среди чужих людей в роли танцора, ничего еще не умея. И признаюсь, я смеялся над самим собой и стыдился самого себя, когда один, в тихом своем кабинете, завел граммофон и тихонько, на цыпочках, прорепетировал свои фокстротные па.

На следующий день в отеле «Баланс» играл небольшой оркестр, подавали чай и виски. Я попытался подкупить Гермину, предложил ей пирожные, попытался угостить ее хорошим вином, но она осталась непреклонна.

— Ты явился сюда не ради удовольствия. Это урок танцев.

Мне пришлось протанцевать с ней раза два-три, и пока мы отдыхали, она познакомила меня с саксофонистом, смуглым, молодым красавцем испанского или южноамериканского происхождения, который, как она сказала, умел играть на всех инструментах и говорить на всех языках мира. Этот сеньор, казалось, очень хорошо знал Гермину и находился с ней в самых дружеских отношениях, перед ним стояли два разной величины саксофона, в которые он попеременно трубил, внимательно и весело изучая своими черными блестящими глазами танцующих. К собственному удивленью, я почувствовал что-то вроде ревности к этому простодушному, красивому музыканту, не любовной ревности — ведь о любви у нас с Германой и речи не было,— а ревности более духовной, дружеской, ибо он казался мне не столь уж достойным того интереса, того поразительного внимания, даже почтительности, которые она к нему проявляла. Забавные приходится мне заводить здесь знакомства, подумал я недовольно.

Потом Гермину несколько раз приглашали танцевать, я оставался один за столиком и слушал музыку, музыку, какой я до сих пор не выносил. Боже, думал я, теперь, значит, мне надо освоиться здесь и прижиться в этом всегда так старательно избегаемом, так глубоко презираемом мною мире гуляк и искателей удовольствий, в этом заурядном, стандартном мире мраморных столиков, джазовой музыки, кокоток, коммивояжеров! Я уныло прихлебывал чай, рассматривая полупочтенную публику. Мой взгляд останавливался на двух красивых девушках, обе хорошо танцевали, с восхищением и завистью смотрел я, как гибко, красиво, весело и уверенно они двигались.

Тут появилась Гермина, она была недовольна мной. Я здесь не для того, негодовала она, чтобы строить такую физиономию и сиднем сидеть за чаем, я обязан сейчас же взбодриться и пойти танцевать. Что, я ни с кем не знаком? Это вовсе не нужно. Неужели здесь нет девушек, которые мне нравились бы?

Я указал ей на одну из тех двух, более красивую, которая как раз стояла неподалеку от нас. Ее прелестная бархатная юбочка, коротко остриженные густые волосы, полные, как у зрелой женщины, руки были очаровательны. Гермина настаивала на том, чтобы я

тотчас же подошел к ней и пригласил ее танцевать. Я отчаянно сопротивлялся.

— Да не могу же я! — сказал я, чувствуя себя несчастным.— Будь я красивым молодым парнем, куда ни шло!.. А этакий старый, неповоротливый дурак, который и танцевать-то не умеет,— да она же меня высмеет!

Гермина посмотрела на меня презрительно.

— А если я тебя высмею, тебе, конечно, безразлично. Какой же ты трус! Каждый, кто приближается к девушке, рискует быть высмеянным; тут уж ничего не поделаешь. Так что рискни, Гарри, и в худшем случае тебя высмеют — а не то я перестану верить в твое послушание.

Она не уступала. Я удрученно встал и подошел к этой красивой девушке, как только опять заиграла музыка.

— Вообще-то я не свободна,— сказала она и с любопытством взглянула на меня своими большими, живыми глазами,— но мой партнер, кажется, застрял в баре. Ну, что ж, давайте!

Я обнял ее и сделал первые шаги, еще удивляясь тому, что она не прогнала меня, но она уже поняла, как обстоит со мной дело, и стала вести меня. Танцевала она превосходно, я вошел во вкус и на время забыл все преподанные мне правила танцев, я просто плыл вместе с ней, чувствовал тугие бедра, чувствовал быстрые, податливые колени моей партнерши, глядел в ее молодое, сияющее лицо и признался ей, что танцую сегодня впервые в жизни. Она улыбнулась и ободрила меня, отвечая на мои восторженные взгляды и лестные слова на диво податливо — не словами, а тихими, обворожительными движениями, сближавшими нас теснее и завлекательней. Крепко держа правую руку на ее талии, я блаженно и исступленно слушался движений ее ног, ее рук, ее плеч, я ни разу, к своему удивлению, не наступил ей на ноги, а когда музыка кончилась, мы оба остановились и хлопали в ладоши, пока опять не заиграли, а потом я еще раз, рьяно, влюбленно и благоговейно, исполнил этот обряд.

Когда танец кончился — а кончился он слишком рано,— моя бархатная красавица удалилась, и вдруг рядом со мной оказалась Гермина, которая все время наблюдала за нами.

— Теперь ты кое-что заметил? — засмеялась она одобрительно.— Ты обнаружил, что женские ножки — это не ножки стола? Ну, молодец! Фокс ты, слава богу, усвоил, завтра мы приступим к бостону, а через три недели — бал-маскарад в залах «Глобуса».

Был перерыв в танцах, мы сидели, и тут подошел этот красивый молодой саксофонист, господин Пабло, кивнул нам и сел рядом с Герминой. Он был с ней, казалось, в большой дружбе. Мне же, признаться, в ту первую встречу этот господин совсем не понравился. Ничего не скажешь, он был красив — хорош и лицом, и сложеньем, но никаких других достоинств я в нем не нашел. Да и владеть множеством языков было ему легко, поскольку он вообще ничего не говорил, кроме таких слов, как «пожалуйста», «спасибо», «совершенно верно», «конечно», «алло» и тому подобных, а эти слова он и правда знал на многих языках. Да, он ничего не говорил, сеньор Пабло, и, кажется, он не так уж много и думал, этот красивый кабальеро. Его дело было наяривать в джазе на саксофоне, и этому занятию он, кажется, предавался с любовью и страстью; иногда во время игры он вдруг хлопал в ладоши или позволял себе другие бурные проявления энтузиазма, например, громко и нараспев выкрикивал междометия вроде «о-о-о», «ха-ха», «алло!». Вообще же он жил на свете явно лишь для того, чтобы быть красивым, нравиться женщинам, носить воротнички и галстуки самой последней моды, а также во множест-

ве кольца на пальцах. Его вклад в беседу состоял в том, что он сидел с нами, улыбался нам, поглядывал на свои ручные часы и скручивал себе папироски, в чем был очень искусен. Его темные, красивые креольские глаза, его черные кудри не таили никакой романтики, никаких проблем, никаких мыслей — с близкого расстояния этот экзотический красавец-полубог был веселым, несколько избалованным мальчиком, только и всего. Я стал говорить с ним о его инструменте и о тембре в джазовой музыке, он должен был понять, что имеет дело со старым меломаном и знатоком по музыкальной части. Но он не подхватил этой темы, а когда я, из вежливости к нему или, скорее, к Гермине, попытался найти какое-то музыкально-теоретическое оправдание джазу, он отделался от меня и моих усилий мирной улыбкой, и, видимо, ему было совершенно неведомо, что до и кроме джаза существовала еще какая-то другая музыка. Милый он был человек, милый и славный, и красиво улыбались его большие пустые глаза; но между ним и мной не было, казалось, ничего общего: все, что было для него важно и свято, не могло меня волновать, мы пришли из разных миров, в наших языках не было ни одного общего слова. (Но позднее Гермина сообщила мне любопытную вещь. Она сообщила, что после того разговора Пабло сказал ей насчет меня, чтобы она побережней обходилась с этим человеком: он ведь, мол, так несчастен. И когда она спросила, из чего он это заключил, тот сказал: «Бедняга, бедняга. Посмотри на его глаза! Не способен смеяться».)

Когда черноглазый откланялся и опять грянула музыка, Гермина встала.

— Теперь ты мог бы потанцевать со мной, Гарри. Или тебе больше не хочется?

С ней тоже я танцевал теперь легче, свободней и веселее, хотя не так беззаботно и самозабвенно, как с той, другой. Предоставив мне вести, Гермина поддавалась легко и нежно, как лепесток, и у нее тоже я теперь нашел и почувствовал все эти то льнущие, то готовые упорхнуть прелести, от нее тоже пахло женщиной и любовью, ее танец тоже проникновенно и нежно пел завлекательную песнь пола — и, однако, на все это я не мог отвечать свободно и весело, не мог забыться и отдаться всему этому полностью, целиком. Гермина была мне слишком близка, она была моим товарищем, моей сестрой, была такой же, как я, походила на меня самого и на друга моей юности Германа, мечтателя, поэта, пламенного участника моих духовных упражнений и разгулов.

— Знаю,— сказала она потом, когда я заговорил об этом,— прекрасно знаю. Я тебя еще заставлю влюбиться в меня, но это не к спеху. Пока мы товарищи, мы — люди, которые надеются стать друзьями, потому что мы узнали друг друга. Теперь мы будем оба друг у друга учиться и друг с другом играть. Я покажу тебе свой маленький театр, научу тебя танцевать и быть немножко веселей и глупей, а ты покажешь мне свои мысли и кое-что из своих знаний.

— Ах, Гермина, тут нечего и показывать, ты ведь знаешь больше, чем я. Ты, девочка, удивительный человек! Во всем ты меня понимаешь и во всем впереди меня. Неужели я для тебя что-то значу? Неужели я не наскучил тебе?

Она потупила помрачневший взгляд.

— Мне не нравится, когда ты так говоришь. Вспомни тот вечер, когда ты, раздавленный отчаяньем, метнулся ко мне из мучительного своего одиночества и стал моим товарищем! Как ты думаешь, почему я тогда смогла узнать тебя и понять?

— Почему, Гермина? Скажи мне!

— Потому что я такая же, как ты. Потому что я так же одинока, как ты, и точно так же, как ты, не способна любить и принимать всерьез жизнь, людей и себя самое. Ведь всегда находятся такие люди, которые требуют от жизни самого высшего и не могут примириться с ее глупостью и грубостью.

— Ишь ты! — воскликнул я изумленно.— Я понимаю тебя, мой товарищ, никто не поймет тебя так, как я. И все же ты для меня загадка. Ты же так играючи справляешься с жизнью, у тебя же есть это чудесное уважение к ее мелочам и радостям, ты так искусна в жизни. Как ты можешь страдать от нее? Как ты можешь отчаиваться?

— Я не отчаиваюсь, Гарри. Но страдать от жизни — о да, в этом у меня есть опыт. Ты удивляешься, что я несчастлива: ведь я же умею танцевать и так хорошо ориентируюсь на поверхности жизни. А я, друг мой, удивляюсь, что ты так разочарован в жизни: ведь ты-то разбираешься в самых прекрасных и глубоких вещах, ведь ты же как дома в царстве духа, искусства, мысли! Поэтому мы привлекли друг друга, поэтому мы брат и сестра. Я научу тебя танцевать, играть, улыбаться и все же не быть довольным. А от тебя научусь думать и знать и все же не быть довольной. Знаешь ли ты, что мы оба дети дьявола?

— Да, мы его дети. Дьявол — это дух, и мы его несчастные дети. Мы выпали из природы и висим в пустоте. Но вот что я вспомнил: в том трактате о Степном Волке, о котором я тебе говорил, сказано что-то насчет того, что это лишь иллюзия Гарри, если он думает, что у него одна или две души, что он состоит из одной или двух личностей. Каждый человек состоит из десятка, из сотни, из тысячи душ.

— Это мне очень нравится,— воскликнула Гермина.— У тебя, например, очень развито духовное начало, но зато ты очень отстал во всяких маленьких умениях жить. Мыслителю Гарри сто лет, а танцору Гарри не минуло еще и дня. Теперь мы просветим его дальше и всех его маленьких братцев, таких же маленьких, глупых и невзрослых, как он.— Она, улыбаясь, взглянула на меня. И спросила тихо, изменившимся голосом: — А как тебе понравилась Мария?

— Мария? Кто это?

— Это та, с которой ты танцевал. Красивая девушка, очень красивая девушка. Ты был немножко влюблен в нее, насколько я могу судить.

— Разве ты с ней знакома?

— О, да, мы с ней очень близко знакомы. Она тебя очень интересует?

— Она мне понравилась, и я был рад, что она была так снисходительна к тому, как я танцую.

— И только-то! Ты должен поухаживать за ней, Гарри. Она очень красива и танцует прекрасно, да ведь и ты уже влюблен в нее. Я думаю, ты добьешься успеха.

— Ах, на это я не претендую.

— Привираешь. Я ведь знаю, у тебя где-то осталась возлюбленная, и ты навещаешь ее раз в полгода, чтобы опять поссориться с ней. Конечно, это очень мило с твоей стороны, если ты хочешь хранить верность своей странной приятельнице, но позволь мне не принимать этого так уж всерьез! Я вообще подозреваю, что ты принимаешь любовь очень уж всерьез. Ну и люби себе на свой идеальный лад сколько угодно, это твое дело, об этом мне не надо заботиться. А заботиться мне надо о том, чтобы ты немножко понаторел в маленьких, легких, житейских искусствах и играх, в этой области я твоя учительница и буду тебе лучшей учительницей, чем твоя иде-

альная возлюбленная, можешь не сомневаться! Тебе не мешало бы поспать с какой-нибудь красивой девушкой, Степной Волк.

— Гермина,— воскликнул я изумленно,— посмотри на меня, я же старый человек!

— Маленький мальчик — вот кто ты. И точно так же, как ты ленился учиться танцевать, пока чуть не упустил время, ты ленился учиться любить. О, любить идеально, трагически — это ты, друг мой, умеешь, конечно, как нельзя лучше, не сомневаюсь, что да, то да! Теперь ты научишься любить еще и обыкновенно, по-человечески. Почин-то уж сделан, скоро тебя можно будет пустить на бал. Только вот бостон надо будет тебе еще выучить, этим и займемся завтра. Я приду в три часа. Кстати, как тебе понравилась здешняя музыка?

— Очень понравилась.

— Вот видишь, это тоже прогресс, ты кое-чему научился. До сих пор ты терпеть не мог всей этой танцевальной и джазовой музыки, она была для тебя недостаточно серьезна и глубока, а теперь ты увидел, что ее вовсе не нужно принимать всерьез, но что она может быть очень милой и завлекательной. Между прочим, без Пабло всему этому оркестру грош цена. Он их ведет, он им поддает жару.

Если граммофон губил атмосферу аскетичной духовности в моем кабинете, если американские танцы врывались в мой цивилизованный музыкальный мир как некая помеха, как что-то чужое и разрушительное, то и в мою так четко очерченную, так строго замкнутую доселе жизнь отовсюду врывалось что-то новое, страшное и сумбурное. Трактат о Степном Волке и Гермина были правы в своем учении о тысяче душ, наряду со всеми прежними во мне ежедневно обнаруживались какие-то новые души, они ставили требования, поднимали шум, и я четко, как на картине, увидел, в каком самообмане пребывал до сих пор. Придавая значение лишь тем считанным своим способностям и навыкам, в которых случайно оказался силен, я нарисовал портрет Гарри и жил жизнью Гарри, который был всего-навсего очень тонким специалистом по части поэзии, музыки и философии, а все остальное в своей личности, весь прочий хаос своих способностей, инстинктов, стремлений воспринимал как обузу и окрестил Степным Волком.

Между тем это освобожденье от самообмана, этот распад моей личности отнюдь не были всего лишь приятным и занятным приключением, а были, напротив, порой остро болезненны, порой почти нестерпимы. Поистине адски звучал порой граммофон в этом окруженье, где все было настроено на совсем другие тона. И подчас, отплясывая уан-степы в каком-нибудь модном ресторане, среди всех этих элегантных бонвиванов и авантюристов, я казался себе изменником, предавшим все, что было у меня в жизни святого и дорогого. Оставь меня Гермина хоть на неделю в одиночестве, я незамедлительно пустился бы наутек от этих смешных потуг на бонвиванство. Но Гермина всегда была рядом; хотя я видел ее не каждый день, она зато неизменно видела меня, направляла, охраняла, разглядывала — и все мои яростные мысли о бунте и бегстве с усмешкой угадывала по моему лицу.

По мере разрушения того, что я прежде называл своей личностью, я начал понимать, почему я, несмотря на все свое отчаяние, так ужасно боялся смерти, и стал замечать, что и этот позорный и гнусный страх смерти был частью моего старого, мещанского, лживого естества. Этот прежний господин Галлер, способный сочинитель, знаток Моцарта и Гёте, автор занимательных рассуждений о метафизике искусства, о гении и трагизме, о человечности, печальный затворник своей

переполненной книгами кельи, был подвергнут последовательной самокритике и ее не выдержал. Этот способный и интересный господин Галлер ратовал, правда, за разум и человечность и протестовал против жестокости войны, однако во время войны он не дал поставить себя к стенке и расстрелять, что было бы логическим выводом из его мыслей, а нашел какой-то способ существования, весьма, разумеется, пристойный и благородный, но какой-то все-таки компромисс. Он был, далее, противником власти и эксплуатации, однако в банке у него лежало множество акций промышленных предприятий, и проценты с этих акций он без зазрения совести проедал. И так было во всем. Ловко строя из себя презирающего мир идеалиста, грустного отшельника и негодующего пророка, Гарри Галлер был, в сущности, буржуа, находил жизнь, которую вела Гермина, предосудительной, сокрушался о ночах, растраченных в ресторанах, о просаженных там талерах, испытывал угрызения совести и отнюдь не рвался к своему освобождению и совершенству, а, наоборот, всячески рвался назад в те удобные времена, когда духовное баловство еще доставляло ему удовольствие и приносило славу. Точно так же вздыхали об идеальных довоенных временах презираемые и высмеиваемые им читатели газет, потому что это было удобнее, чем извлечь какой-то урок из выстраданного. Тьфу, пропасть, он вызывал тошноту, этот Гарри Галлер! И все-таки я цеплялся за него или за его уже спадавшую маску, за его кокетство с духовностью, за его мещанский страх перед всем беспорядочным и случайным (к чему принадлежала и смерть) и язвительно-завистливо сравнивал возникающего нового Гарри, этого несколько робкого и смешного дилетанта танцзалов, с тем прежним, лживо-идеальным образом Гарри, в котором он, новый Гарри, уже успел обнаружить все неприятные черты, так возмутившие его тогда, у профессора, в портрете Гёте. Он сам, прежний Гарри, был точно таким же по-мещански идеализированным Гёте, этаким героем с чересчур благородным взором, светилом, которое сверкает величием, умом и человечностью, как бриллиантином, и чуть ли не растрогано благородством своей души! Сильно, однако, пообветшал, черт возьми, этот прелестный образ, в очень уж развенчанном виде представал ныне идеальный господин Галлер! Он походил на сановника, ограбленного разбойниками, который остался в драных штанах и поступил бы умней, если бы теперь вошел в роль оборванца, но вместо этого носит свои лохмотья с такой миной, словно на них все еще висят ордена, и плаксиво притязает на утраченную сановность.

Я то и дело встречался с музыкантом Пабло, и мое мнение о нем следовало пересмотреть хотя бы уж потому, что Гермина очень любила его и всячески искала его общества. Пабло запомнился мне смазливым ничтожеством, немного тщеславным красавчиком, веселым и бездумным ребенком, который с радостью дудит в свою дудку и которого легко подкупить похвалой или шоколадкой. Но Пабло не спрашивал моего мнения, оно было ему так же безразлично, как мои музыкальные теории. Он слушал меня вежливо и любезно, с неизменной улыбкой, однако настоящего ответа никогда не давал. Тем не менее казалось, что я все-таки вызвал у него интерес, он явно старался понравиться мне и показать мне свою симпатию. Когда я как-то во время одного из этих бесплодных разговоров стал от раздраженья чуть ли не груб, он смущенно и грустно посмотрел мне в лицо, взял мою левую руку, погладил ее и подал мне золоченую табакерку с каким-то нюхательным порошком: это, мол, поможет. Я вопрошающе взглянул на Гермину, она утвердительно кивнула головой, и я угостился понюшкой. Вскоре я в самом деле стал свежей и бодрей, в порошке, вероятно, была примесь кокаина. Гермина сказала мне, что у Пабло много

таких снадобий, он достает их какими-то тайными путями, иногда снабжает ими друзей и хорошо знает смеси и дозировки всех этих средств — обезболивающих, снотворных, вызывающих прекрасные сновиденья, веселящих, любовных.

Однажды я встретил его в городе, на набережной, и он сразу присоединился ко мне. На сей раз мне наконец удалось вызвать его на разговор.

— Господин Пабло,— сказал я ему, когда он стал играть тонкой черно-серебристой тросточкой,— вы друг Гермины, вот причина, по какой я вами интересуюсь. Но вы, скажу вам, не очень-то облегчаете мне беседу. Я много раз пытался поговорить с вами о музыке — мне было бы интересно услышать ваше мнение, ваши возражения, ваши суждения. Но вы не удостаивали меня даже самого скупого ответа.

Он самым приветливым образом засмеялся и на сей раз не оставил меня без ответа, а невозмутимо сказал:

— Видите ли, по-моему, вовсе не стоит говорить о музыке. Я никогда не говорю о музыке. Да и что мог бы я вам ответить на ваши очень умные и верные слова? Ведь вы же были совершенно правы во всем, что вы говорили. Но видите ли, я музыкант, а не ученый, и я не думаю, что в музыке правота чего-то стоит. Ведь в музыке важно не то, что ты прав, что у тебя есть вкус и образование и все такое прочее.

— Ну, да. Но что же важно?

— Важно играть, господин Галлер, играть как можно лучше, как можно больше и как можно ярче! Вот в чем штука, мосье. Если я держу в голове все произведения Баха и Гайдна и могу сказать о них самые умные вещи, то от этого нет еще никому никакой пользы. А если я возьму свою трубу и сыграю модное шимми, то это шимми, хорошее ли, плохое ли, все равно доставит людям радость, ударит им в ноги и в кровь. Только это и важно. Взгляните как-нибудь на балу на лица в тот момент, когда после долгого перерыва опять раздается музыка,— как тут сверкают глаза, вздрагивают ноги, начинают смеяться лица! Вот для чего и играешь.

— Отлично, господин Пабло. Но кроме чувственной есть еще и духовная музыка. Кроме той музыки, которую играют в данный момент, есть и бессмертная музыка, которая продолжает жить, даже если ее и не играют в данный момент. Можно лежать в одиночестве у себя в постели и мысленно повторять какую-нибудь мелодию из «Волшебной флейты» или из «Страстей по Матфею», и тогда музыка состоится без всякого прикосновения к флейте или скрипке.

— Конечно, господин Галлер. И «Томление», и «Валенсию» тоже каждую ночь молча воспроизводит множество одиноких мечтателей. Самая бедная машинисточка вспоминает у себя в конторе последний уан-степ и отстукивает на своих клавишах его такт. Вы правы, пускай у всех этих одиноких людей будет своя немая музыка, «Томление» ли, «Волшебная флейта» или «Валенсия»! Но откуда же берут эти люди свою одинокую, немую музыку? Они получают ее у нас, у музыкантов, сначала ее нужно сыграть и услышать, сначала она должна войти в кровь, а потом уже можно думать и мечтать о ней дома, в своей каморке.

— Согласен,— сказал я холодно.— И все-таки нельзя ставить на одну ступень Моцарта и новейший фокстрот. И не одно и то же — играть людям божественную и вечную музыку или дешевые однодневки.

Заметив волнение в моем голосе, Пабло тотчас же состроил самую милую физиономию, ласково погладил меня по плечу и придал своему голосу невероятную мягкость.

— Ах, дорогой мой, насчет ступеней вы, наверно, целиком правы.

Я решительно ничего не имею против того, чтобы вы ставили и Моцарта, и Гайдна, и «Валенсию» на какие вам угодно ступени! Мне это совершенно безразлично, определять ступени — не мое дело, меня об этом не спрашивают. Моцарта, возможно, будут играть и через сто лет, а «Валенсию» не будут — это, я думаю, мы можем спокойно предоставить господу богу, он справедлив и ведает сроками, которые суждено прожить нам всем, а также каждому вальсу и каждому фокстроту, он наверняка поступит правильно. Мы же, музыканты, должны делать свое дело, выполнять свои обязанности и задачи: мы должны играть то, чего как раз в данный момент хочется людям, и играть мы это должны как можно лучше, красивей и энергичней.

Я, вздохнув, сдался. Этого человека нельзя было пронять.

В иные мгновенья старое и новое, боль и веселье, страх и радость поразительно смешивались. Я был то на небесах, то в аду, чаще и тут и там одновременно. Старый Гарри и новый жили то в жестоком разладе, то в мире друг с другом. Иногда казалось, что старый Гарри совсем уже мертв, что он умер и похоронен, и вдруг он опять оказывался тут как тут, повелевал, тиранил, брал безапелляционный тон, а новый, маленький, молодой Гарри конфузился, молчал и позволял припирать себя к стенке. В другие часы молодой Гарри хватал старого за горло лихой хваткой, и тогда стон стоял, шла борьба не на жизнь, а на смерть, неотвязно возвращались мысли о бритве.

Часто, однако, боль и счастье захлестывали меня единой волной. Так было в тот миг, когда я через несколько дней после моего танцевального дебюта вошел вечером к себе в спальню и, к несказанному своему удивленью, изумленью, ужасу и восторгу, застал у себя в постели красавицу Марию.

Из всех сюрпризов, какие мне до сих пор преподносила Гермина, это был самый разительный. Ведь в том, что прислала мне эту райскую птицу она, я ни секунды не сомневался. Тот вечер я в виде исключенья провел не с Герминой, я слушал в кафедральном соборе хорошее исполнение старинной церковной музыки — это была славная и грустная экскурсия в мою прежнюю жизнь, на нивы моей молодости, в пределы идеального Гарри. В высоком готическом зале церкви, прекрасные сетчатые своды которой, призрачно ожив, колыхались в игре немногочисленных огней, я слушал пьесы Букстехуде, Пахельбеля, Баха, Гайдна, я бродил по своим любимым старым дорогам, я вновь слышал великолепный голос одной вокалистки, певшей Баха, с которой когда-то дружил и пережил множество необыкновенных концертов. Голоса старинной музыки, ее бесконечная достойность и святость вызвали в моей памяти все взлеты, экстазы и восторги молодости, грустно и задумчиво сидел я на высоком клиросе, гостя в этом благородном блаженном мире, который когда-то был моей родиной. При звуках одного гайдновского дуэта у меня вдруг полились слезы, я не стал дожидаться окончания концерта, отказался от встречи с певицей (о, сколько лучезарных вечеров проводил я когда-то с артистами после таких концертов!), тихонько выскользнул из собора и устало зашагал по ночным улочкам, где повсюду за окнами ресторанов джаз-оркестры играли мелодию моей теперешней жизни. О, какая получилась из моей жизни мрачная путаница!

Долго думал я, бродя в ту ночь, и о моем особенном отношении к музыке и снова усмотрел в этом столь же трогательном, сколь и злосчастном отношении к ней судьбу всей немецкой интеллигентности. В немецкой душе царит материнское право, связь с природой в форме гегемонии музыки, не ведомая ни одному другому народу. Вместо того чтобы по-мужски восстать против этого, прислушаться к интеллек-

ту, к логосу, к слову, мы, люди интеллигентные, все сплошь мечтаем о языке без слов, способном выразить невыразимое, высказать то, чего нельзя высказать. Вместо того чтобы как можно верней и честней играть на своем инструменте, интеллигентный немец всегда фрондировал против слова и разума, всегда кокетничал с музыкой. И изойдя в музыке, в дивных и блаженных звуковых образах, в дивных и сладостных чувствах и настроеньях, которые никогда не претворялись в действительность, немецкий ум прозевал большинство своих подлинных задач. Мы, люди интеллигентные, все сплошь не знали действительности, были чужды ей и враждебны, а потому и в нашей немецкой действительности, в нашей истории, в нашей политике, в нашем общественном мнении роль интеллекта была такой жалкой. Да, конечно, я часто продумывал эту мысль, томясь иной раз острым желаньем создать себе наконец действительность, стать наконец серьезным и деятельным человеком, вместо того чтобы вечно заниматься эстетикой и прикладным художеством в области духа. Но это всегда кончалось признанием своего бессилия, капитуляцией перед судьбой. Правы были господа генералы и промышленники: от нас, «интеллигентов», не было толку, мы были ненужной, оторванной от действительности, безответственной компанией остроумных болтунов. Тьфу, пропасть! Бритву!

Полный таких мыслей, неся в себе отголоски музыки, с сердцем, тяжелым от грусти, от отчаянной тоски по жизни, по действительности, по смыслу, по невозвратно потерянному, я наконец вернулся домой, одолел свои лестницы, зажег в гостиной свет, безуспешно попытался немного почитать, вспомнил об уговоре, вынуждавшем меня явиться завтра вечером на виски и танцы в бар «Сесиль», и почувствовал злость и досаду не только на самого себя, но и на Гермину. Какие бы добрые и чистые побужденья ею ни руководили, каким бы замечательным существом она ни была — лучше бы она тогда дала мне погибнуть, чем толкать, чем сталкивать меня в этот сумбурный, чужой, суматошный мир игры, где я все равно всегда буду чужим и где все лучшее во мне зачахнет и сгинет.

И я грустно погасил свет, грустно вошел в свою спальню, грустно стал раздеваться, но тут меня смутил какой-то непривычный аромат, пахнуло духами, и, оглянувшись, я увидел, что в моей постели лежит красавица Мария, улыбаясь, но робко, большими голубыми глазами.

— Мария! — сказал я. И первой моей мыслью было, что хозяйка откажет мне от квартиры, если об этом узнает.

— Я пришла,— сказала она тихо.— Вы на меня сердитесь?

— Нет, нет. Я знаю, Гермина дала вам ключ. Ну, да.

— О, вы сердитесь за это. Я уйду.

— Нет, прекрасная Мария, оставайтесь! Только как раз сегодня вечером мне очень грустно, сегодня я не могу быть веселым, но, может быть, смогу завтра.

Я слегка склонился к ней, она охватила мою голову обеими своими большими, крепкими ладонями, привлекла ее к себе и поцеловала меня взазос. Затем я сел к ней на кровать, взял ее руку, попросил ее говорить тихо, чтобы нас не услышали, и стал глядеть на ее красивое, полное лицо, которое дивно и незнакомо, как какой-то большой цветок, лежало передо мной на моей подушке. Она медленно потянула мою руку к своему рту, потянула ее под одеяло и положила на свою теплую, тихо дышавшую грудь.

— Можешь не быть веселым,— сказала она.— Гермина мне уже сказала, что у тебя горе. Это ведь всякий поймет. А я тебе еще нравлюсь, а? В тот раз, когда мы танцевали, ты был очень влюблен.

Я стал целовать ее глаза, рот, шею и груди. Только что я думал о

Гермине горько и с упреком. А сейчас я держал в руках ее подарок и был благодарен. Ласки Марии не причиняли боли чудесной музыке, которую я слышал сегодня, они были достойны ее и были ее воплощением. Я медленно стягивал одеяло с красавицы, пока не добрался, целуя, до кончиков ее ног. Когда я лег к ней, ее похожее на цветок лицо улыбалось мне всеведуще и благосклонно.

В эту ночь, рядом с Марией, я спал недолго, но крепко и хорошо, как дитя. А в промежутках между сном я пил ее прекрасную веселую юность и узнавал в тихой болтовне множество интересных вещей о жизни ее и Гермины. О житье-бытье этого рода я знал очень мало, лишь в театральном мире попадались мне иногда раньше подобные существа — и женщины, и мужчины, полухудожники-полубеспутники. Только теперь я немного заглянул в эти любопытные, эти диковинно невинные, эти диковинно развращенные души. Все эти девушки, обычно из бедноты, слишком умные и слишком красивые, чтобы отдавать всю свою жизнь только какой-нибудь плохо оплачиваемой и безрадостной службе ради куска хлеба, жили то на случайные заработки, то на капитал своей привлекательности и приятности. Порой они сидели месяцами за пишущей машинкой, порой бывали любовницами состоятельных жуиров, получали карманные деньги и подарки, временами ходили в мехах, разъезжали на автомобилях и жили в гранд-отелях, а временами ютились на чердаках и хотя иногда, при очень уж выгодном предложении, соглашались вступить в брак, в общем-то к нему отнюдь не стремились. Иные из них не были в любви чувственны и уступали домогательствам лишь с отвращением, выторговав самую высокую цену. Другие, и к ним принадлежала Мария, отличались необыкновенной способностью к любви и потребностью в ней, большинство знало толк и в любви к обоим полам; они жили единственно ради любви и всегда, помимо официальных и платящих друзей, имели другие любовные связи. Истово и деловито, тревожно и легкомысленно, умно и все-таки наобум жили эти мотыльки своей столь же ребяческой, сколь и утонченной жизнью, жили независимо, продаваясь не каждому, ожидая своей доли счастья и хорошей погоды, влюбленные в жизнь и все же привязанные к ней гораздо меньше, чем мещане, жили в постоянной готовности пойти за сказочным принцем в его замок, с постоянной, хотя и полуосознанной уверенностью в тяжелом и печальном конце.

Мария научила меня — в ту поразительную первую ночь и в последующие дни — многому, не только прелестным новым играм и усладам чувств, но и новому пониманию, новому восприятию иных вещей, новой любви. Мир танцевальных и увеселительных заведений, кинематографов, баров и чайных залов при отелях, который для меня, затворника и эстета, все еще оставался каким-то неполноценным, каким-то запретным и унизительным, был для Марии, для Гермины и их подруг миром вообще, он не был ни добрым, ни злым, ни ненавистным, в этом мире цвела их короткая, полная страстного ожидания жизнь, в нем они чувствовали себя как рыба в воде. Они любили бокал шампанского или какое-нибудь фирменное жаркое, как мы любим какого-нибудь композитора или поэта, и какой-нибудь модной танцевальной мелодии или сентиментально-слащавой песенке отдавали такую же дань восторга, волненья и растроганности, какую мы — Ницше или Гамсуну. Рассказывая мне о моем знакомом красавце, саксофонисте Пабло, Мария заговорила об одном американском сонге, который тот им иногда пел, и говорила она об этом с таким увлеченьем, с таким восхищеньем, с такой любовью, что они тронули и взволновали меня куда сильней, чем экстазы какого-нибудь эрудита по поводу изысканно-благородного искусства. Я готов был восторгаться вместе с ней, каков бы

этот сонг ни был; дышавшие любовью слова Марии, ее страстно загоревшийся взгляд пробили в моей эстетике широкие бреши. Оставалось, конечно, прекрасное, то немногое непревзойденно прекрасное, что не подлежало, по-моему, никаким сомненьям и спорам, прежде всего Моцарт, но где была граница? Разве все мы, знатоки и критики, не обожали в юности произведения искусства и художников, которые сегодня кажутся нам сомнительными и неприятными? Разве не так обстояло у нас дело с Листом, с Вагнером, а у многих даже с Бетховеном? Разве ребячески-пылкая растроганность Марии американским сонгом не была такой же чистой, прекрасной, не подлежащей никаким сомнениям эстетической радостью, как взволнованность какого-нибудь доцента «Тристаном» или восторг дирижера при исполнении Девятой симфонии? И разве не было в этом примечательного соответствия со взглядами господина Пабло и подтверждения его правоты?

Этого красавца Пабло Мария тоже, кажется, очень любила!

— Он красивый человек,— сказал я,— мне тоже он очень нравится. Но скажи мне, Мария, как можешь ты любить наряду с ним и меня, скучного старикана, который не блещет красотой, начал уже седеть и не умеет ни играть на саксофоне, ни петь английские любовные песенки?

— Не говори так гадко! — возмутилась она.— Это же очень естественно. Ты тоже мне нравишься, в тебе тоже есть что-то красивое, милое и особенное, тебе нельзя быть иным, чем ты есть. Не надо говорить об этих вещах и требовать отчета. Понимаешь, когда ты целуешь мне шею и ухо, я чувствую, что ты меня любишь, что я тебе нравлюсь Ты умеешь как-то так целовать, чуть робко, что ли, и это говорит мне: он тебя любит, он благодарен тебе за то, что ты красива. Это мне очень, очень нравится. А в каком-нибудь другом мужчине мне нравится как раз противоположное — что он меня как бы ни во что не ставит и целует меня так, словно оказывает мне милость.

Мы снова уснули. Я снова проснулся, не переставая обнимать ее, мой прекрасный, прекрасный цветок.

И поразительно — этот прекрасный цветок так и оставался все же подарком Гермины! Она так и стояла за ним, он был маской, за которой она скрывалась! И вдруг, среди прочего, я подумал об Эрике, о моей далекой злой возлюбленной, о моей бедной подруге. Красотой она, наверно, не уступала Марии, хотя и не была такой цветущей, такой раскованной, такой изобретательно-умелой в любви, и ее образ, ее любимый, глубоко вплетенный в мою судьбу образ отчетливо и мучительно стоял передо мной несколько секунд, а потом снова исчез, канул в сон, в забвенье, в грустную даль.

И картины моей жизни во множестве вставали передо мной в эту прекрасную, нежную ночь, а ведь я так долго жил пусто и бедно и без картин. Теперь, по мановению Эроса, картины забили ключом, и сердце замирало у меня от восторга и от печали по поводу того, как богата была картинная галерея моей жизни, как полна была вечных звезд и созвездий душа бедного Степного Волка. Нежно и просветленно, как далекие, сливающиеся с бесконечной синевой горы, глядели на меня детство и мать, металлически звучал хор моих дружб, начинавшийся со сказочного Германа, связанного с Герминой душевным братством; благоухающие и неземные, как влажные озерные цветки из водных глубин, всплывали образы многочисленных женщин, которых я любил, которых я желал, которых воспевал,— мало кем из них я владел и лишь немногих пытался получить в полную собственность. Появилась и моя жена, с которой я прожил много лет, которая научила меня товариществу, несогласию, покорности, жена, к которой, несмотря на все передряги, у меня сохранялось глубокое

доверие до того дня, когда она, обезумев и заболев, вдруг взбунтовалась и не то что ушла от меня, а сбежала — и я понял, как сильно любил я ее и как глубоко доверял ей, если, обманув мое доверие, она нанесла мне такой тяжелый удар, и притом на всю жизнь.

Эти картины — их были сотни, с названьями и без названий — все до одной вернулись опять, вынырнув во всей своей свежести и новизне из кладезя этой ночи любви, и я опять вспомнил то, что давно забыл за бедой,— что они-то и составляют достоянье и ценность моей жизни, что они нерушимы, эти ставшие звездами истории, которые я мог забыть, но не мог уничтожить, череда которых была сказкой моей жизни, а звездный их блеск — нерушимой ценностью моего существованья на свете. Жизнь моя была трудной, сбивчивой и несчастливой, она привела к отреченью и отрицанью, она была горькой от соли, примешанной ко всем человеческим судьбам, но она была богатой, богатой и гордой, она была и в беде царской жизнью. Как ни убого растрачивается остаток пути до окончательной гибели, ядро этой жизни было благородно, в ней были недюжинность и накал, в ней дело шло не о жалких грошах, а о звездах.

Это было сравнительно давно, и с тех пор случилось много всяких событий и перемен, я плохо помню теперь все подробности той ночи, помню лишь какие-то отдельные наши слова, какие-то отдельные, полные глубокой любовной нежности прикосновенья, помню светлые, как звезды, минуты, когда мы пробуждались от тяжелого сна любовной усталости. Но именно в ту ночь, впервые с начала моей погибели, собственная моя жизнь взглянула на меня неумолимо сияющими глазами, именно в ту ночь я снова почувствовал, что случай — это судьба, а развалины моего бытия — божественные обломки. Моя душа снова вздохнула, мои глаза опять стали видеть, и минутами меня бросало в жар от догадки, что стоит лишь мне собрать разбросанные образы, стоит лишь поднять до образа всю свою гарригаллеровскую волчью жизнь целиком, как я сам войду в сонм образов и стану бессмертным. Разве не к этой цели стремилась жизнь каждого человека, разве не была она разбегом к ней, попыткой достигнуть ее?

Наутро я должен был, разделив с Марией свой завтрак, тайком вывести ее из дому, и это удалось. В тот же день я снял ей и себе в соседнем квартале комнатку только для наших свиданий.

Моя учительница танцев Гермина являлась, как положено, и мне все же пришлось разучивать бостон. Она была строга и неумолима и не освободила меня ни от одного урока, ибо было решено, что на следующий бал-маскарад я пойду с ней. Она попросила у меня денег на костюм, о котором, однако, отказалась сказать хоть что-нибудь. Навещать ее или хотя бы знать, где она живет, мне все еще не было дозволено.

Это время перед маскарадом, около трех недель, прошло необыкновенно хорошо. Мария казалась мне первой в моей жизни настоящей возлюбленной. От женщин, которых я прежде любил, я всегда требовал и образованности, не вполне отдавая себе отчет в том, что даже очень умная и относительно очень образованная женщина никогда не отвечала запросам моего разума, а всегда противостояла им; я приходил к женщинам со своими проблемами и мыслями, и мне казалось совершенно невозможным любить дольше часа девушку, которая не прочитала почти ни одной книжки, почти не знает, что такое чтение, и не смогла бы отличить Чайковского от Бетховена. У Марии не было никакого образования, она не нуждалась в этих окольных дорогах и мирах-заменителях, все ее проблемы вырастали непосредственно из чувств. Добиться как можно большего чувствен-

ного и любовного счастья отпущенными ей чувствами, своей особенной фигурой, своими красками, своими волосами, своим голосом, своей кожей, своим темпераментом, найти, выколдовать у любящего отзыв, понимание, несущую счастье ответную игру для каждой своей прелести, для каждого изгиба своих линий, для каждой извилинки своего тела — вот в чем состояли ее искусство, ее задача. Уже во время того первого робкого танца с ней я ощутил это, уже тогда почуял я этот аромат гениальной, восхитительно изощренной чувственности и был околдован им. И неслучайно, конечно, всеведущая Гермина подвела ко мне эту Марию. В ее аромате, во всем ее облике было что-то от лета, что-то от роз.

Я не имел счастья быть единственным возлюбленным Марии или пользоваться ее предпочтеньем, я был одним из многих. Часто у нее не оказывалось времени для меня, иногда она уделяла мне какой-нибудь час во второй половине дня, изредка — ночь. Брать деньги она у меня не хотела, за этим, наверно, крылась Гермина. Но подарки она принимала с удовольствием, и если я дарил ей, например, новый кошелек из красной лакированной кожи, туда разрешалось предварительно положить несколько золотых монет. Кстати, из-за этого красного кошелечка она подняла меня на смех! Кошелек был великолепен, но он был устарелого, уже не модного образца. В этих вопросах — а дотоле я смыслил в них меньше, чем в каком-нибудь эскимосском языке,— я многое узнал от Марии. Прежде всего я узнал, что все эти безделушки, все эти модные предметы роскоши — вовсе не чепуха, вовсе не выдумка корыстных фабрикантов и торговцев, а полноправный, прекрасный, разнообразный маленький или, вернее, большой мир вещей, имеющих одну-единственную цель — служить любви, обострять чувства, оживлять мертвую окружающую среду, волшебно наделяя ее новыми органами любви — от пудры и духов до бальной туфельки, от перстня до портсигара, от пряжки для пояса до сумки. Эта сумка не была сумкой, этот кошелек не был кошельком, цветы не были цветами, веер не был веером, все было пластическим материалом любви, магии, очарования, было гонцом, контрабандистом, оружием, боевым кличем.

Я часто думал: кого, собственно, любила Мария. Больше всего, по-моему, любила она юного саксофониста Пабло, обладателя отрешенных черных глаз и длинных, бледных, благородных и грустных кистей рук. Я считал этого Пабло несколько сонным, избалованным и пассивным в любви, но Мария заверила меня, что он хоть и медленно разгорается, но зато потом бывает напряженнее, тверже, мужественней и требовательней, чем какой-нибудь боксер или наездник. И вот так я узнал тайные вещи о разных людях, о джазисте, об актере, о многих женщинах, о девушках и мужчинах нашего круга, узнал всякого рода тайны, заглянул за поверхность связей и неприязней, стал постепенно (это я-то, совершенно чужой в этом мире, никак не соприкасавшийся с ним) посвященным и причастным лицом. Многое узнал я и о Гермине. Особенно же часто встречался я теперь с господином Пабло, которого Мария очень любила. Иногда она прибегала и к его тайным средствам, да и мне порой доставляла эти радости, и Пабло всегда особенно рвался удружить мне. Однажды он сказал мне об этом без околичностей:

— Вы так несчастны, это нехорошо, так не надо. Мне жаль. Выкурите трубочку опиума.

Мое мнение об этом веселом, умном, ребячливом и притом непостижимом человеке то и дело менялось, мы стали друзьями, нередко я угощался его снадобьями. Моя влюбленность в Марию его немного забавляла. Однажды он устроил «праздник» в своей комнате,

мансарде какой-то пригородной гостиницы. Там был только один стул, Марии и мне пришлось сидеть на кровати. Он дал нам выпить — слитого из трех бутылочек таинственного, чудесного ликеру. А потом, когда я пришел в очень хорошее настроение, он с горящими глазами предложил нам учинить втроем любовную оргию. Я ответил резким отказом, такое было для меня немыслимо, но покосился все-таки на Марию, чтобы узнать, как она к этому относится, и хотя она сразу же присоединилась к моему ответу, я увидел, как загорелись ее глаза, и почувствовал ее сожаленье о том, что это не состоится. Пабло был разочарован моим отказом, но не обижен.

— Жалко,— сказал он.— У Гарри слишком много нравственных опасений. Ничего не поделаешь. А было бы славно, очень славно! Но у меня есть замена.

Мы сделали по нескольку затяжек и, неподвижно сидя с открытыми глазами, пережили втроем предложенную им сцену, причем Мария дрожала от исступления. Когда я ощутил после этого легкое недомоганье, Пабло уложил меня на кровать, дал мне несколько капель какого-то лекарства, и, закрыв на минуту-другую глаза, я почувствовал беглое, легкое, как воздух, прикосновение чьих-то губ сперва к одному, потом к другому моему веку. Я принял это так, словно полагал, что меня поцеловала Мария. Но я-то знал, что поцеловал меня он.

А однажды вечером он поразил меня еще больше. Он появился в моей квартире, сказал, что ему нужно двадцать франков, что он просит у меня эту сумму и предлагает мне взамен, чтобы сегодня ночью Марией располагал не он, а я.

— Пабло,— сказал я испуганно,— вы сами не знаете, что вы говорите. Уступать за деньги свою возлюбленную другому — это считается у нас верхом позора. Я не слышал вашего предложения, Пабло.

Он посмотрел на меня с сочувствием.

— Вы не хотите, господин Гарри. Ладно. Вы всегда сами устраиваете себе затруднения. Что ж, не спите сегодня ночью с Марией, если вам это приятнее, и дайте мне деньги просто так, вы получите их обратно. Мне они крайне нужны.

— Зачем?

— Для Агостино — знаете, маленький такой, вторая скрипка. Он уже неделю болен, и никто за ним не ухаживает, денег у него нет ни гроша, а тут и у меня все вышли.

Из любопытства, да и в наказанье себе, я отправился с ним к Агостино, которому он принес в его каморку, жалкую чердачную каморку, молоко и лекарство, взбил постель, проветрил комнату, наложил на пылавшую жаром голову красивый, приготовленный по всем правилам искусства компресс — все это быстро, нежно, умело, как хорошая сестра милосердия. В тот же вечер, я видел, он играл на саксофоне в баре «Сити», играл до самого утра.

С Германой я часто долго и обстоятельно говорил о Марии, об ее руках, плечах, бедрах, о ее манере смеяться, целоваться, танцевать.

— А это она тебе уже показала? — спросила однажды Германа и описала мне некую особую игру языка при поцелуе. Я попросил ее, чтобы она сама показала мне это, но она с самым серьезным видом осадила меня.— Еще не время,— сказала она,— я еще не твоя возлюбленная.

Я спросил, откуда известны ей это искусство Марии и многие тайные подробности ее жизни, о которых пристало знать лишь любящему мужчине.

— О,— воскликнула она,— мы ведь подруги. Неужели ты дума-

ешь, что у нас могут быть секреты друг от друга? Я довольно часто спала и играла с ней. Да, ты поймал славную девушку, она умеет больше, чем другие.

— Думаю все же, Гермина, что и у вас есть секреты друг от друга. Или ты и обо мне рассказывала ей все, что знаешь?

— Нет, это другие вещи, которых ей не понять. Мария чудесная, тебе повезло, но между тобою и мной есть вещи, о которых она понятия не имеет. Я многое рассказала ей о тебе, еще бы, гораздо больше, чем то пришлось бы тебе по вкусу тогда,— я же должна была соблазнить ее для тебя! Но понять, друг мой, как я тебя понимаю, ни Мария, ни еще какая-нибудь другая никогда не поймет. От нее я узнала о тебе и еще кое-что, я знаю о тебе все, что о тебе знает Мария. Я знаю тебя почти так же хорошо, как если бы мы уже часто спали друг с другом.

Когда я снова встретился с Марией, мне было странно и диковинно знать, что Гермину она прижимала к сердцу так же, как меня, что ее волосы и кожу она так же осязала, целовала, пробовала и испытывала, как мои. Новые, непрямые, сложные отношенья и связи всплыли передо мной, новые возможности любить и жить, и я думал о тысяче душ трактата о Степном Волке.

В ту недолгую пору, между моим знакомством с Марией и большим балом-маскарадом, я был прямо-таки счастлив, и все же у меня ни разу не было чувства, что это и есть избавленье, достигнутое блаженство, нет, я очень отчетливо ощущал, что все это — только пролог и подготовка, что все неистово стремится вперед, что самое главное еще впереди.

Танцевать я научился настолько, что мне казалось теперь возможным участвовать в бале, о котором с каждым днем толковали все больше. У Гермины был секрет, она так и не открывала мне, в каком маскарадном наряде она появится. Уж как-нибудь я узнаю ее, говорила она, а не сумею узнать — она поможет, но заранее мне ничего не должно быть известно. С другой стороны, и мои планы насчет костюма не вызывали у нее ни малейшего любопытства, и я решил вообще не переодеваться никем. Мария, когда я стал приглашать ее на бал, заявила мне, что на этот праздник она уже обзавелась кавалером, у нее и в самом деле был уже входной билет, и я несколько огорчился, поняв, что на праздник мне придется явиться в одиночестве. Костюмированный бал, ежегодно устраиваемый в залах «Глобуса» людьми искусства, был самым аристократическим в городе.

В эти дни я мало видел Гермину, но накануне бала она побывала у меня, зайдя за билетом, который я ей купил. Она мирно сидела со мной в моей комнате, и тут произошел один примечательный разговор, произведший на меня глубокое впечатление.

— Теперь тебе живется в общем-то хорошо,— сказала она,— танцы идут тебе на пользу. Кто месяц тебя не видел, не узнал бы тебя.

— Да,— признал я,— мне уже много лет не жилось так хорошо. Это все благодаря тебе, Гермина.

— О, а не благодаря ли твоей прекрасной Марии?

— Нет. Ведь и ее подарила мне ты. Она чудесная.

— Она — та возлюбленная, которая была нужна тебе, Степной Волк. Красивая, молодая, всегда в хорошем настроении, очень умная в любви и доступная не каждый день. Если бы тебе не приходилось делить ее с другими, если бы она не была у тебя всегда лишь мимолетной гостьей, так хорошо не получилось бы.

Да, я должен был признать и это.

— Значит, теперь у тебя есть, собственно, все, что тебе нужно?

— Нет, Гермина, это не так. У меня есть что-то прекрасное и прелестное, большая радость, великое утешение. Я прямо-таки счастлив...

— Ну, вот! Чего же ты хочешь?

— Я хочу большего. Я не доволен тем, что я счастлив, я для этого не создан, это не мое призванье. Мое призванье в противоположном.

— Значит, в том, чтобы быть несчастным? Ну, этого-то у тебя хватало и прежде — помнишь, когда ты из-за бритвы не мог вернуться домой.

— Нет, Гермина, не в том дело. Верно, тогда я был очень несчастен. Но это было глупое несчастье, неплодотворное.

— Почему же?

— Потому что иначе у меня не было бы этого страха перед смертью, которой я ведь желал! Несчастье, которое мне нужно и о котором я тоскую, другого рода. Оно таково, что позволит мне страдать с жадностью и умереть с наслажденьем. Вот какого несчастья или счастья я жду.

— Я понимаю тебя. В этом мы брат и сестра. Но почему ты против того счастья, которое нашел теперь, с Марией? Почему ты не доволен?

— Я ничего не имею против этого счастья, о, нет, я люблю его, я благодарен ему. Оно прекрасно, как солнечный день среди дождливого лета. Но я чувствую, что оно недолговечно. Это счастье тоже неплодотворно. Оно приносит довольство, но быть довольным — это не по мне. Оно усыпляет Степного Волка, делает его сытым. Но это не то счастье, чтобы от него умереть.

— А умереть, значит, нужно, Степной Волк?

— По-моему, да! Я очень доволен своим счастьем, я способен еще долго его выносить. Но когда мое счастье оставляет мне час-другой, чтобы очнуться и затосковать, вся моя тоска направлена не на то, чтобы навсегда удержать это счастье, а на то, чтобы снова страдать, только прекраснее и менее жалко, чем прежде. Я тоскую о страданьях, которые дали бы мне готовность умереть.

Гермина нежно посмотрела мне в глаза — тем темным взглядом, что иногда появлялся у нее так внезапно. Великолепные, страшные глаза! Медленно, подбирая каждое слово, она сказала, сказала так тихо, что я должен был напрячься, чтобы расслышать:

— Сегодня я хочу сказать тебе кое-что, нечто такое, что давно знаю, да и ты это уже знаешь, но еще, может быть, себе не сказал. Я скажу тебе сейчас, что я знаю о себе и о тебе и про нашу судьбу. Ты, Гарри, был художником и мыслителем, человеком, исполненным радости и веры, ты всегда стремился к великому и вечному, никогда не довольствовался красивым и малым. Но чем больше будила тебя жизнь, чем больше возвращала она тебя к тебе самому, тем больше становилась твоя беда, тем глубже, по самое горло, погружался ты в страдание, страх и отчаянье, и все то прекрасное и святое, что ты когда-то знал, любил, чтил, вся твоя прежняя вера в людей и в наше высокое назначение — все это нисколько не помогло тебе, потеряло цену, разбилось вдребезги. Твоей вере стало нечем дышать. А удушье — жестокая разновидность смерти. Ведь так, Гарри? Это действительно твоя судьба?

Я кивал, кивал, кивал головой.

— У тебя было какое-то представление о жизни, была какая-то вера, какая-то задача, ты был готов к подвигам, страданьям и жертвам — а потом ты постепенно увидел, что мир не требует от тебя никаких подвигов, жертв и всякого такого, что жизнь — это не величественная поэма с героическими ролями и всяким таким, а мещанская

комната, где вполне довольствуются едой и питьем, кофе и вязаньем чулка, игрой в тарок и радиомузыкой. А кому нужно и кто носит в себе другое, нечто героическое и прекрасное, почтенье к великим поэтам или почтенье к святым, тот дурак и донкихот. Вот так. И со мной было то же самое, друг мой! Я была девочкой с хорошими задатками, созданной для того, чтобы жить по высокому образцу, предъявлять к себе высокие требования, выполнять достойные задачи. Я могла взять на себя большую миссию, быть женой короля, возлюбленной революционера, сестрой гения, матерью мученика. А жизнь только и позволила мне стать куртизанкой более или менее хорошего вкуса — да и это далось мне с великим трудом! Вот как случилось со мной. Одно время я была безутешна и долго искала вину в самой себе. Ведь жизнь, думала я, в общем-то всегда права, и если жизнь посмеялась над моими мечтаниями, значит, думала я, мои мечты были глупы, неправы. Но это не помогало. А поскольку у меня были хорошие глаза и уши, да и некоторое любопытство тоже, я стала присматриваться к так называемой жизни, к своим знакомым и соседям, к более чем пяти десяткам людей и судеб, и тут я увидела, Гарри: мои мечты были правы, тысячу раз правы, так же как и твои. А жизнь, а действительность была неправа. Если такой женщине, как я, оставалось либо убого и бессмысленно стареть за пишущей машинкой на службе у какого-нибудь добытчика денег, или ради его денег выйти за него замуж, либо стать чем-то вроде проститутки, то это было так же неправильно, как и то, что такой человек, как ты, должен в одиночестве, в страхе, в отчаянье хвататься за бритву. Моя беда была, может быть, более материальной и моральной, твоя — более духовной, но путь был один и тот же. Думаешь, мне непонятны твой страх перед фокстротом, твое отвращенье к барам и танцзалам, твоя брезгливая неприязнь к джазовой музыке и ко всей этой ерунде? Нет, они мне слишком понятны, и точно так же понятны твое отвращенье к политике, твоя печаль по поводу болтовни и безответственной возни партий, прессы, твое отчаянье по поводу войны — и той, что была, и той, что будет, по поводу нынешней манеры думать, читать, строить, делать музыку, праздновать праздники, получать образование! Ты прав, Степной Волк, тысячу раз прав, и все же тебе не миновать гибели. Ты слишком требователен и голоден для этого простого, ленивого непритязательного сегодняшнего мира, он отбросит тебя, у тебя на одно измерение больше, чем ему нужно. Кто хочет сегодня жить и радоваться жизни, тому нельзя быть таким человеком, как ты и я. Кто требует вместо пиликанья — музыки, вместо удовольствия — радости, вместо баловства — настоящей страсти, для того этот славный наш мир — не родина...

Она потупила взгляд и задумалась.

— Гермина,— воскликнул я с нежностью,— сестра, какие хорошие у тебя глаза! И все-таки ты обучила меня фокстроту! Но как это понимать, что такие люди, как мы, с одним лишним измерением, не могут здесь жить? В чем тут дело? Это лишь в наше время так? Или так всегда было?

— Не знаю. К чести мира готова предположить, что все дело лишь в нашем времени, что это только болезнь, только нынешняя беда. Вожди рьяно и успешно работают на новую войну, а мы тем временем танцуем фокстрот, зарабатываем деньги и едим шоколадки — ведь в такое время мир должен выглядеть скромно. Будем надеяться, что другие времена были лучше и опять будут лучше, богаче, шире, глубже. Но нам это не поможет. А, может быть, так всегда было...

— Всегда так, как сегодня? Всегда мир только для политиков, спекулянтов, лакеев и кутил, а людям нечем дышать?

— Ну, да, я этого не знаю, никто этого не знает. Да и не все ли равно? Но я, друг мой, думаю сейчас о твоем любимце, о котором ты мне иногда рассказывал и читал письма, о Моцарте. А как было с ним? Кто в его времена правил миром, снимал пенки, задавал тон и имел какой-то вес — Моцарт или дельцы, Моцарт или плоские людишки? А как он умер и как похоронен? И наверно, думается мне, так было и будет всегда, и то, что они там в школах называют «всемирной историей», которую полагается для образования учить наизусть, все эти герои, гении, великие подвиги и чувства — все это просто ложь, придуманная школьными учителями для образовательных целей и для того, чтобы чем-то занять детей в определенные годы. Всегда так было и всегда так будет, что время и мир, деньги и власть принадлежат мелким и плоским, а другим, действительно людям, ничего не принадлежит. Ничего, кроме смерти.

— И ничего больше?

— Нет, еще вечность.

— Ты имеешь в виду имя, славу в потомстве?

— Нет, волчонок, не славу — разве она чего-нибудь стоит? И неужели ты думаешь, что все действительно настоящие люди, люди в полном смысле слова, прославились и известны потомству?

— Нет, конечно.

— Ну, вот, значит, не славу! Слава существует лишь так, для образования, это забота школьных учителей. Не славу, о нет! А то, что я называю вечностью. Верующие называют это царством божьим. Мне думается, мы, люди, мы все, более требовательные, знающие тоску, наделенные одним лишним измерением, мы и вовсе не могли бы жить, если бы, кроме воздуха этого мира, не было для дыханья еще и другого воздуха, если бы кроме времени не существовало еще и вечности, а она-то и есть царство истинного. В нее входят музыка Моцарта и стихи твоих великих поэтов, в нее входят святые, творящие чудеса, претерпевшие мученическую смерть и давшие людям великий пример. Но точно так же входит в вечность образ каждого настоящего подвига, сила каждого настоящего чувства, даже если никто не знает о них, не видит их, не запишет и не сохранит для потомства. В вечности нет потомства, а есть только современники.

— Ты права,— сказал я.

— Верующие,— продолжала она задумчиво,— знали об этом все-таки больше других. Поэтому они учредили святых и то, что они называют «ликом святых». Святые — это настоящие люди, младшие братья Спасителя. На пути к ним мы находимся всю свою жизнь, нас ведет к ним каждое доброе дело, каждая смелая мысль, каждая любовь. Лик святых — в прежние времена художники изображали его на золотом небосводе, лучезарном, прекрасном, исполненном мира — он и есть то, что я раньше называла «вечностью». Это царство по ту сторону времени и видимости. Там наше место, там наша родина, туда, Степной Волк, устремляется наше сердце, и потому мы тоскуем о смерти. Там ты снова найдешь своего Гёте, и своего Новалиса, и Моцарта, а я своих святых, Христофора, Филиппа Нери — всех. Есть много святых, которые сначала были закоренелыми грешниками, грех тоже может быть путем к святости, грех и порок. Ты будешь смеяться, но я часто думаю, что, может быть, и мой друг Пабло — скрытый святой. Ах, Гарри, нам надо продраться через столько грязи и вздора, чтобы прийти домой! И у нас нет никого, кто бы повел нас, единственный наш вожатый — это тоска по дому.

Последние свои слова она произнесла опять еле слышно, и в ком-

нате наступила мирная тишина, солнце садилось, и золотые литеры на многих корешках моих книг мерцали в его лучах. Я взял в ладони голову Гермины, поцеловал ее в лоб и прижался щекой к ее щеке — по-братски. Несколько мгновений мы оставались в такой позе. Я предпочел бы остаться в такой позе и уже никуда сегодня не выходить. Но на эту ночь, последнюю перед большим балом, Мария обещала себя мне.

По дороге к ней думал я, однако, не о Марии, а о том, что услыхал от Гермины. Все это, так мне казалось, были, вероятно, не ее собственные мысли, а мои, которые эта ясновидящая, прочтя и вдохнув их в себя, воспроизвела мне так, что они обрели форму и предстали передо мной в новом виде. За то, что она высказала мысль о вечности, я был ей особенно благодарен в тот час. Мне нужна была эта мысль, без нее я не мог жить и не мог умереть. Святая потусторонняя жизнь, не связанная ни с каким временем, мир вечных ценностей, божественной сущности — вот что было сегодня заново подарено мне моей подругой и учительницей танцев. Я невольно вспомнил свой гётевский сон, вспомнил облик старого мудреца, который смеялся таким нечеловеческим смехом и шутил со мной на свой бессмертный манер. Теперь только понял я его смех, смех бессмертных. Он был беспредметен, этот смех, он был только светом, только прозрачностью, он был тем, что остается в итоге, когда подлинный человек, пройдя через людские страданья, пороки, ошибки, страсти и недоразумения, прорывается в вечность, в мировое пространство. А «вечность» была не чем иным, как избавлением времени, неким возвратом его к невинности, неким обратным превращеньем его в пространство.

Я поискал Марию там, где мы обычно ужинали в наши вечера, но она еще не пришла.

Я сидел в ожиданье за накрытым столом в тихом трактирчике на окраине города, продолжая думать о нашем разговоре. Все эти мысли, объявившиеся сейчас между Германой и мной, казались мне такими знакомыми, такими родными, они словно бы выплыли из сокровеннейших глубин моей мифологии, моего мира образов! Бессмертные, отрешенно живущие во вневременном пространстве, ставшие образами, прозрачная, как хрусталь, вечность, обтекающая их, как эфир, и холодная, звездная, лучезарная ясность этого внеземного мира — откуда же все это так мне знакомо? Я задумался, и на ум мне пришли отдельные пьесы из «Кассаций» Моцарта, из «Хорошо темперированного клавира» Баха, и везде в этой музыке светилась, казалось мне, эта холодная, звездная прозрачность, парила эта эфирная ясность. Да, именно так, эта музыка была чем-то вроде застывшего, превратившегося в пространство времени, и над ней бесконечно парили сверхчеловеческая ясность, вечный, божественный смех. О, да ведь и старик Гёте из моего сновиденья был здесь вполне уместен! И вдруг я услышал вокруг себя этот непостижимый смех, услышал, как смеются бессмертные. Я завороженно сидел, завороженно вытащил карандаш из кармана жилетки, поискал глазами бумагу, увидел перед собой прейскурант вин и стал писать на его обороте, писать стихи, которые лишь на следующий день нашел у себя в кармане. Вот они:

БЕССМЕРТНЫЕ

К нам на небо из земной юдоли
Жаркий дух вздымается всегда —
Спесь и сытость, голод и нужда,
Реки крови, океаны боли,
Судороги страсти, похоть, битвы,
Лихоимцы, палачи, молитвы.

Жадностью гонимый и тоской,
Душной гнилью сброд разит людской,
Дышит вожделеньем, злобой, страхом,
Жрет себя и сам блюет потом,
Пестует искусства и с размахом
Украшает свой горящий дом.
Мир безумный мечется, томится,
Жаждет войн, распутничает, врет,
Заново для каждого родится,
Заново для каждого умрет.

Ну, а мы в эфире обитаем,
Мы во льду астральной вышины
Юности и старости не знаем,
Возраста и пола лишены...
Мы на ваши страхи, дрязги, толки,
На земное ваше копошенье
Как на звезд глядим коловращенье,
Дни у нас неизмеримо долги.
Только тихо головой качая
Да светил дороги озирая,
Стужею космической зимы
В поднебесье дышим бесконечно.
Холодом сплошным объяты мы,
Холоден и звонок смех наш вечный.

Затем пришла Мария, и после веселого ужина я пошел с ней в нашу комнатку. В этот вечер она была красивее, теплее и сердечнее, чем когда-либо, и в ее нежностях, в ее играх я почувствовал предельную готовность отдаться.

— Мария,— сказал я,— ты сегодня расточительна, как богиня. Не замучь нас обоих до смерти, ведь завтра бал-маскарад. Что за кавалер будет у тебя завтра? Боюсь, дорогой мой цветок, что это сказочный принц, и что он похитит тебя, и ты уже не вернешься ко мне. Ты любишь меня сегодня почти так, как это обычно бывает у любящих на прощанье, напоследок.

Она прижалась губами к самому моему уху и прошептала:

— Лучше не говори, Гарри! Каждый раз может быть последним. Когда Гермина возьмет тебя, ты уже не придешь ко мне. Может быть, она возьмет тебя завтра.

Никогда не ощущал я сильнее особого чувства тех дней, их удивительно двойственного, сладостно-горького настроения, чем в ту ночь перед балом. Это было счастье — красота Марии и ее готовность отдаться, часы, когда можно было натешиться, надышаться, проникнуться сотнями тонких чувственных прелестей, о которых я с таким опозданьем, на старости лет, узнал, плескаясь в мягких, убаюкивающих волнах наслажденья. И все же это была лишь оболочка: внутри все было полно значенья, напряженья, дыханья судьбы, и, предаваясь милым и трогательным мелочам любви с любовной нежностью, словно бы купаясь в теплой воде счастья, я чувствовал, как моя судьба опрометью мчится вперед, брыкается, словно испуганный конь, несется в тоске и страхе к обрыву, к пропасти, готовая к смерти. И если еще недавно я с опаской и робостью противился приятному легкомыслию любви только чувственной, если еще недавно страшился смеющейся, уступчивой красоты Марии, то теперь я испытывал страх перед смертью — но страх, который уже знал, что скоро он превратится в покорность и избавленье.

В то время, как мы молча предавались хлопотливым играм нашей любви и принадлежали друг другу полней, чем когда-либо, душа моя прощалась с Марией, прощалась со всем, что она для меня означала. Благодаря ее науке я перед концом еще раз по-детски доверился игре

поверхностного, искал мимолетных радостей, стал ребенком и животным в невинности пола,— а в прежней моей жизни это состояние было знакомо мне лишь как редкое исключение, ибо ко всему, связанному с чувственностью и с полом, почти всегда примешивался для меня горький привкус вины, сладкий, но жутковатый вкус запретного плода, которого человек духовный должен остерегаться. Теперь Гермина и Мария показали мне этот эдем в его невинности, я благодарно погостил в нем — но мне приспевала пора идти дальше, слишком красиво и тепло было в этом эдеме. Опять домогаться венца жизни, опять искупать бесконечную вину жизни — таков был мой жребий. Легкая жизнь, легкая любовь, легкая смерть — это не для меня.

Из намеков девушки я заключил, что на завтрашнем балу или после него нас ждут какие-то особые удовольствия, какой-то особый разгул. Может быть, это и есть конец, может быть, Марию предчувствие не обманывает и сегодня мы лежим рядом в последний раз, а завтра судьба, может быть, повернется иначе? Я был полон жгучей тоски, полон щемящего страха, и, отчаянно цепляясь за Марию, я еще раз судорожно и жадно обежал все тропинки и чащи ее эдема, еще раз впился зубами в сладкий плод райского древа.

После этой ночи я отсыпался днем. Утром я поехал сначала в баню, потом, смертельно усталый, домой, затемнил свою спальню, нашел, раздеваясь, в кармане свои стихи, снова забыл о них, сразу же лег, забыл о Марии, Гермине и маскараде и проспал весь день. Поднявшись вечером, я лишь во время бритья вспомнил, что через час начнется бал и мне нужно приготовить рубашку с пластроном. Я собрался в хорошем настроенье и вышел из дому, чтобы сначала поесть.

Это был первый костюмированный бал, в котором я участвовал. В прежние времена, впрочем, я посещал иногда подобные праздники и порой находил их красивыми, но я не танцевал, я был лишь зрителем, и энтузиазм, с каким о них рассказывали, с каким их ждали другие, всегда казался мне смешным. А сегодня и для меня бал был событием, которого я ждал со смесью радости, любопытства и страха. Поскольку дамы у меня не было, я решил явиться туда попозже, да и Гермина советовала мне так поступить.

В «Стальной шлем», прежнее мое прибежище, где, прихлебывая вино и строя из себя холостяков, коротали вечера разочарованные мужчины, я последнее время редко захаживал: он уже не отвечал стилю теперешней моей жизни. Но сегодня вечером меня как-то само собой потянуло туда; при том тоскливо-радостном ощущении дыханья судьбы и разлуки, в котором я сейчас пребывал, все вехи и памятные места моей жизни озарились еще раз мучительно прекрасным отблеском прошлого, в том числе и этот прокуренный кабачок, где я еще недавно был завсегдатаем, где мне еще недавно достаточно было такого нехитрого наркотического средства, как бутылка местного вина, чтобы еще на одну ночь лечь в свою одинокую постель, чтобы еще на один день смириться с жизнью. Другие, более сильные возбудительные средства довелось мне с тех пор узнать, довелось наглотаться с тех пор ядов послаще. Улыбаясь, переступил я порог старого кабака, и хозяйка встретила меня приветственными словами, а завсегдатаи молчаливым кивком. Мне предложили и принесли жареного цыпленка, светлой струей лилось молодое эльзасское вино в толстый мужицкий стакан, ласково глядели на меня чистые белые деревянные столы, старые желтые панели. И в то время как я ел и пил, во мне все крепло это чувство увяданья и расставанья, это мучительно глу-

бокое чувство никогда так не распадавшейся, но теперь созревающей для распада слитности со всеми местами и вещами прежней моей жизни. «Современный» человек называет это сентиментальностью; он перестает любить вещи, вещи, даже самые священные для него некогда, даже свой автомобиль, который надеется при первой возможности поменять на новый, лучшей марки. Этот современный человек энергичен, деловит, здоров, холоден и молодцеват — тип хоть куда, он еще покажет себя в следующей войне. Мне это было безразлично, я не был ни современным человеком, ни старомодным, я выпал из времени и несся куда-то, близкий к смерти, готовый к смерти. Я ничего не имел против сентиментальностей, я был благодарно рад, что в моем сгоревшем сердце теплилось хоть какое-то подобие чувств. И я отдался воспоминаньям, навеянным этим старым кабаком, своей привязанности к этим старым грубым стульям, отдался запаху дыма и вина, тому дуновенью привычки, тепла, сходства с родиной, которое я во всем этом ощущал. Прощанье — прекрасная вещь, оно размягчает. Мне были милы мое жесткое сиденье, мой мужицкий стакан, мил прохладный фруктовый вкус эльзасского, мила моя близость со всем и со всеми в этом зале, милы лица замечтавшихся пьяниц, этих разочарованных, чьим братом я давно был. Мещанскими сантиментами упивался я здесь, слегка приправленными ароматом старомодной трактирной романтики той отроческой поры, когда трактир, вино и сигара были еще запретными, неведомыми, великолепными вещами. Но Степной Волк не встрепенулся, чтобы оскалить зубы и разорвать в клочья мои сантименты. Я мирно сидел, озаренный прошлым, озаренный слабым светом успевшей уже погибнуть звезды.

Вошел уличный торговец с жареными каштанами, и я купил у него горсть. Вошла старуха с цветами, я купил у нее несколько гвоздик и преподнес их хозяйке. Лишь собираясь расплатиться и не найдя привычного пиджачного кармана, я заметил, что я во фраке. Бал-маскарад! Гермина!

Но было еще очень рано, я не мог решиться пойти в «Глобус» уже сейчас. К тому же, как то случалось со мной во время всех этих увеселений последней поры, я чувствовал какую-то внутреннюю помеху, какую-то скованность, какое-то нежеланье входить в большие, переполненные, шумные залы, какую-то ученическую робость перед чуждой атмосферой, перед миром прожигателей жизни, перед танцами.

Слоняясь по улицам и проходя мимо какого-то кино, я взглянул на блеснувшие пучки света и огромные цветные афиши, пошел было дальше, но вернулся и вошел внутрь. До одиннадцати примерно я мог здесь преспокойно посидеть в темноте. С помощью служителя, указывавшего мне путь фонариком, я пробрался через занавески в темный зал, нашел свободное место и оказался вдруг в Ветхом завете. Шел один из тех фильмов, которые будто бы не для заработка, а в благородных и святых целях ставятся с большой помпой и выдумкой и на которые даже учителя закона божия водят своих учеников. Давалась история Моисея и израильтян в Египте — со щедрым набором людей, лошадей, верблюдов, дворцов, фараоновских богатств и еврейских мук в горячих песках пустыни. Я видел, как Моисей, причесанный немножко под Уолта Уитмена, роскошный театральный Моисей вотановской походкой, с длинным посохом, истово и мрачно шествует по пустыне впереди евреев. Я видел, как он молится богу у Чермного моря, видел, как расступается Чермное море, давая дорогу, образуя ложбину между громоздящимися горами воды (о том, каким образом устроили это киношники, могли долго спорить конфирманды, приведенные на этот религиозный фильм пастором), видел,

как шагают сквозь море пророк и боязливый народ, видел, как позади них появляются колесницы фараона, видел, как египтяне сперва изумляются и робеют на морском берегу, а потом смело бросаются вперед, видел, как над великолепным, златопанцирным фараоном и надо всеми его колесницами и воинами смыкаются толщи воды, и вспомнил чудесный генделевский дуэт для двух басов, где это событие великолепно воспето. Я видел затем, как Моисей, мрачный герой среди мрачной скалистой пустыни, поднимается на Синай, смотрел, как Иегова, через посредство бури, грозы и световых сигналов, сообщает ему там десять заповедей, а его недостойный народ воздвигает у подножья горы Золотого тельца и предается довольно-таки неумеренным увеселеньям. Мне было невероятно странно видеть все это воочию, глядеть, как священные истории, с их героями и чудесами, осенившие некогда наше детство первым смутным представленьем о другом мире, о чем-то сверхчеловеческом, разыгрываются здесь за плату перед благодарной публикой, которая тихонько жует принесенные с собой булочки,— в этой маленькой картинке видна была вся бросовость, вся обесцененность культуры в нашу эпоху. Господи, пускай бы уж, чтобы только предотвратить это свинство, погибли тогда, кроме египтян, и евреи, и все другие люди на свете, погибли насильственной и пристойной смертью, а не этой ужасной, мнимой и половинчатой, которой умираем сегодня мы. Право, пускай бы!

Мою тайную скованность, мою безотчетную робость перед баломмаскарадом кино и вызванные им чувства не уменьшили, а неприятно усилили, и я должен был, подумав о Гермине, сделать над собой усилие, чтобы наконец поехать в «Глобус» и войти в залы. Время было уже позднее, бал был давно в полном разгаре, трезвый и робкий, я сразу же, не успев раздеться, попал в бурную толпу масок, меня фамильярно толкали в бока, девушки требовали, чтобы я угостил их шампанским, клоуны хлопали меня по плечу и обращались ко мне на «ты». Не поддаваясь ничьим уговорам, я с трудом протиснулся к гардеробу через битком набитые залы и, получив номерок, тщательно спрятал его в карман с мыслью, что, наверно, скоро воспользуюсь им, устав от этой сутолоки.

Во всех помещеньях большого здания бушевал праздник, во всех залах танцевали, в подвальном этаже тоже, все коридоры и лестницы были заполнены масками, танцами, музыкой, смехом и беготней. Я удрученно пробирался сквозь эту толчею — от негритянского оркестра к крестьянской музыке, из большого сияющего главного зала в проходы, на лестницы, в бары, к буфетам, в комнаты, где пили шампанское. Стены были по большей части увешаны дикарскими веселыми картинами самых модных художников. Все были здесь — художники, журналисты, ученые, дельцы и, конечно, вся жуирующая публика города. В одном из оркестров сидел мистер Пабло и вдохновенно дудел в свою изогнутую трубу; узнав меня, он громко пропел мне свое приветствие. Теснимый толпой, я оказывался то в одном, то в другом зале, поднимался по лестницам, спускался по лестницам; один из коридоров подвального этажа изображал ад, и там неистовствовал музыкальный ансамбль чертей. Постепенно я начал поглядывать, где же Гермина, где же Мария, я пустился на поиски, сделал несколько попыток проникнуть в главный зал, но каждый раз сбивался с пути или отступал перед встречным потоком толпы. К полуночи я еще никого не нашел; хоть я еще не танцевал, мне было жарко и голова у меня кружилась, я плюхнулся на ближайший стул, среди сплошь незнакомых людей, спросил вина и пришел к выводу, что на такие шумные праздники старикам вроде меня соваться нечего. Я уныло пил вино, глядел на голые руки и спины женщин, смотрел, как мимо проносят-

ся ряженые в причудливых костюмах, сносил легкие толчки в бок и молча отогнал от себя нескольких девушек, желавших посидеть у меня на коленях или потанцевать со мной. «Старый брюзга»,— воскликнула одна из них и была права. Я решил выпить для храбрости и поднятия духа, но в вине тоже не нашел вкуса, я с трудом одолел второй стакан. И постепенно я почувствовал, как стоит за моей спиной, высунув язык, Степной Волк. Ничего не получалось, я был здесь не на месте. Ведь пришел-то я сюда с самыми лучшими намереньями, но развеселиться я здесь не мог, и эта громкая, бурная радость, этот смех, все это буйство казались мне глупыми и вымученными.

Поэтому около часу ночи, злой и разочарованный, я стал пробираться к гардеробу, чтобы надеть пальто и уйти. Это было поражением, возвратом к Степному Волку, и Гермина вряд ли простила бы мне это. Но иначе поступить я не мог. С трудом протискиваясь сквозь толпу к гардеробу, я снова внимательно смотрел по сторонам в надежде увидеть хоть одну из подруг. Тщетно. И вот я уже стоял у гардероба, вежливый человек за его стойкой уже протянул руку за моим номерком, я полез в жилетный карман — номерка там не было! Черт возьми, этого еще не хватало. Когда я печально бродил по залам, когда сидел за безвкусным вином, я, борясь со своим решеньем ретироваться, неоднократно совал руку в карман, и каждый раз этот плоский кружок оказывался на месте. А теперь он пропал. Все было против меня.

— Потерял номерок? — спросил какой-то случившийся рядом красно-желтый чертенок пронзительным голосом.— На́ тебе мой, приятель.— И он уже протянул мне свой номерок. Когда я машинально взял его и стал вертеть в пальцах, юркий коротышка уже исчез.

Поднеся, однако, эту круглую картонную бирку к глазам, чтобы разглядеть номер, я увидел вместо него какие-то мелкие каракули. Я попросил гардеробщика подождать, подошел к ближайшему светильнику и прочел их. Мелкими, спотыкающимися, неразборчивыми буквами было нацарапано:

Сегодня ночью с четырех часов магический театр
— только для сумасшедших —
плата за вход — разум.
Не для всех. Гермина в аду.

Как марионетка, веревочки которой выскользнули на секунду из рук кукольника, вновь оживает после короткой, мертвой, тупой неподвижности, снова включается в игру, танцует и шевелится, так и я, стоило меня дернуть за магическую веревочку, пружинисто, с молодой прытью побежал назад в ту самую толчею, от которой только что удирал усталым, тоскующим стариком. Ни один грешник не стремился в ад с такой поспешностью. Только что мне жали лакированные ботинки, мне был противен густой, надушенный воздух, меня расслабляла жара; а теперь я легко и ловко, в ритме уан-степа, бежал через все залы к аду, воздух был полон теперь волшебства, меня окрыляли и несли вперед это тепло, вся эта гремящая музыка, мелькание красок, аромат женских плеч, шум толпы, смех, ритмы танцев, блеск воспаленных глаз. Какая-то испанская танцовщица бросилась ко мне в объятья: «Потанцуй со мной!» — «Нельзя,— сказал я,— мне нужно в ад. Но твой поцелуй я рад взять с собой». Алый рот под маской приблизился к моему рту, и, лишь целуя, узнал я Марию. Я крепко ее обнял, ее полные губы цвели, как зрелая летняя роза. И вот мы уже танцевали, не прервав поцелуя, и прошли в танце мимо Пабло, а тот влюбленно припадал к своей нежно стонавшей трубе, и полуот-

решенно обвел нас его сияющий, его прекрасный звериный взгляд. Но не успели мы сделать и двадцати па, как музыка прекратилась, я с сожаленьем выпустил Марию из рук.

— С удовольствием потанцевал бы с тобой еще,— сказал я, опьяненный ее теплом,— проводи меня немножко, Мария, я влюблен в твое прекрасное плечо, дай мне его еще на минутку! Но понимаешь, меня зовет Гермина. Она в аду.

— Так я и думала. Прощай, Гарри, я буду вспоминать о тебе с любовью.

Она попрощалась. Это было прощание, это была осень, это была судьба, которой так зрело и пряно пахла моя летняя роза.

Я побежал дальше, по длинным коридорам, где повсюду шла нежная возня, вниз по лестницам, в ад. Там на черных как смоль стенах горели яркие лампы и лихорадочно играл оркестр чертей. На высоком табурете, у бара, сидел какой-то красивый юноша без маски, во фраке, он окинул меня быстрым, насмешливым взглядом. Я был оттеснен танцующими к стене, в этом очень тесном зале танцевало десятка два пар. Жадно и боязливо разглядывал я всех женщин, большинство было еще в масках, некоторые улыбались мне, но ни одна из них не была Герминой. С высокого табурета бросал насмешливые взгляды красивый юноша. В следующую паузу между танцами, думал я, она появится и меня пригласит. Танец кончился, но никто не подошел ко мне.

Я прошел к бару, втиснутому в угол низкого зальца. Став у табурета юноши, я спросил виски. Я пил и видел профиль этого молодого человека, показавшийся мне теперь знакомым и прелестным, как какая-нибудь картина из очень далеких времен, дорогая тихим налетом пыли минувшего. О, тут я вздрогнул: это же был Герман, друг моей юности!

— Герман! — сказал я нерешительно.

Он улыбнулся.

— Гарри? Ты нашел меня?

Это была Гермина, только немного иначе причесанная и слегка подкрашенная, необычным и бледным казалось ее умное лицо над модным стоячим воротником, удивительно маленькими, по контрасту с широкими черными рукавами фрака и белыми манжетами, руки, удивительно изящными, по контрасту с длинными брюками, ее ножки в шелковых черно-белых мужских носках.

— Это и есть тот костюм, Гермина, в котором ты хочешь заставить меня влюбиться в тебя?

— Пока что,— кивнула она,— я заставила влюбиться в себя лишь нескольких дам. Но теперь на очереди ты. Давай сперва выпьем по бокалу шампанского.

Мы пили, сидя на высоких табуретах, а рядом продолжались танцы и кипела жаркая, ожесточенная струнная музыка. И без каких-либо видимых усилий со стороны Германы я очень скоро влюбился в нее. Поскольку она была в мужской одежде, я не мог танцевать с ней, не мог позволить себе никаких нежностей, никаких посягательств, и хотя в этом мужском наряде она казалась далекой и безучастной, ее взгляды, слова, жесты дышали всей прелестью женственности. Без единого прикосновения к ней я поддался ее волшебству, и само это волшебство входило в ее роль, было двуснастным. Ведь беседовала она со мной о Германе и о детстве, моем и своем, о тех годах, предшествующих половой зрелости, когда отроческая сила любви направлена не только на оба пола, но на все вообще, на чувственное и духовное, когда она придает всему то очарование, ту ска-

зочную способность к метаморфозам, которые лишь для избранных и поэтов оживают иногда и в более позднем возрасте. Играла она безусловно юношу, курила сигареты, болтала легко и умно, порой чуть глумливо, но все светилось эротикой, все превращалось на пути к моим чувствам в прелестный соблазн.

Как хорошо и глубоко знал я, по моему представленью, Германну и как совершенно по-новому открылась она мне в эту ночь! Как мягко и незаметно обволакивала она меня вожделенной сетью, как игриво и по-русалочьи поила сладкой отравой!

Мы сидели, болтали и пили шампанское. Мы бродили, наблюдая, по залам, пускались в авантюры открытий, выбирая пары и подслушивая любовную их игру. Она показывала мне женщин, с которыми я должен был танцевать, и давала советы относительно способов обольщения той или другой. Мы выступали в роли соперников, увивались за одной и той же женщиной, попеременно танцевали с ней оба, старались оба ее покорить. Но все это было лишь маскарадной игрой, игрой между нами двумя, все это лишь теснее сплетало нас и распаляло обоих. Все было сказкой, все было на одно измеренье богаче, на одно значение глубже, было игрой и символом. Мы увидели какую-то очень красивую молодую женщину, у которой был несколько болезненный и недовольный вид, Герман потанцевал с ней, заставил ее расцвести, исчез с ней в одной из питейных беседок, а потом рассказал мне, что победил эту женщину лесбийским волшебством. Для меня же весь этот громогласный дом, полный гремевших танцами залов, этот хмельной хоровод масок стал постепенно каким-то безумным, фантастическим раем, один за другим соблазняли меня лепестки своим ароматом, один за другим обласкивал я наудачу плоды испытующими перстами, змеи обольстительно глядели на меня из зеленой тени листвы, цветок лотоса парил над черной трясиной, манили жар-птицы на ветках, но все лишь вело меня к вожделенной цели, все заново заряжало меня томленьем по одной-единственной. Мне довелось танцевать с какой-то незнакомой девушкой; пылая, завлекая, она утопала в хмельном восторге, и когда мы витали в неземном мире, она вдруг рассмеялась и сказала: «Тебя не узнать. Сегодня вечером ты был такой глупый и нудный». И я узнал ту, которая несколько часов назад сказала мне «старый брюзга». Теперь она полагала, что заполучила меня, но во время следующего танца я пылал уже в объятьях другой. Я танцевал подряд два часа или больше, все танцы, в том числе и те, которым никогда не учился. То и дело поблизости возникал Герман, улыбающийся юноша, кивал мне, исчезал в толпе.

Одно ощущенье, неведомое мне дотоле, за все мои пятьдесят лет, хотя оно знакомо любой девчонке, любому студенту, выпало на мою долю в эту бальную ночь — ощущение праздника, упоенности общим весельем, проникновения в тайну гибели личности в массе, unio mystica [1] радости. Я часто слышал рассказы об этом — это знала любая служанка,— часто видел, как загорались глаза у тех, кто рассказывал, а сам только полунадменно-полузавистливо посмеивался. Это сиянье в пьяных глазах отрешенного, освобожденного от самого себя существа, эту улыбку, эту полубезумную, самозабвенную растворенность в общем опьяненье я наблюдал сотни раз на высоких и низких примерах — у пьяных рекрутов и матросов, равно как и у больших артистов, охваченных энтузиазмом праздничных представлений, а также у молодых солдат, уходивших на войну, да ведь и совсем недавно я, восхищаясь, любя, насмехаясь и завидуя, видел это сиянье,

[1] Мистического союза *(лат.)*.

эту счастливую улыбку отрешенности на лице моего друга Пабло, когда он, опьяненный игрой в оркестре, блаженно припадал к своему саксофону или, изнемогая от восторга, глядел на дирижера, на барабанщика, на музыканта с банджо. Такая улыбка, такое детское сиянье, думал я иногда, даны лишь очень молодым людям или народам, не позволяющим себе четко индивидуализировать и различать отдельных своих представителей. Но сегодня, в эту благословенную ночь, я, Степной Волк Гарри, сам сиял этой улыбкой, сам купался в этом глубоком, ребяческом, сказочном счастье, сам дышал этим сладким дурманом сообщничества, музыки, ритма, вина и похоти, тем самым дурманом, похвалы которому из уст какого-нибудь побывавшего на балу студента я когда-то часто слушал с насмешкой и с бедной надменностью. Я не был больше самим собой, моя личность растворилась в праздничном хмелю, как соль в воде. Я танцевал с той или иной женщиной, но не только она была той, кого я обнимал, чьи волосы касались меня, чей аромат я вбирал в себя, нет, все-все другие женщины тоже, что плыли в этом же танце, в этом же зале, под эту же музыку, все, чьи сияющие лица мелькали передо мной как большие фантастические цветки,— все принадлежали мне, всем принадлежал я, все мы были причастны друг к другу. И мужчины тоже входили сюда, я был и в них, они тоже не были мне чужими, их улыбки были моими улыбками, их домогательства исходили от меня, а мои — от них.

В ту зиму мир был завоеван одним новым танцем, фокстротом под названием «Томление». Это «Томление» игралось не раз и не переставало пользоваться спросом, мы все проникались и опьянялись им, все напевали его мелодию, вторя оркестру. Я танцевал непрерывно, танцевал с каждой женщиной, которая оказывалась на моем пути, с совсем юными девушками, с цветущими молодыми женщинами, с по-летнему зрелыми, с печально отцветшими — восхищаясь всеми, смеясь, ликуя, сияя. И когда Пабло увидел, что я так сияю, я, которого он всегда считал беднягой, его глаза засветились счастьем, он ретиво поднялся со своего места в оркестре, затрубил энергичнее, влез на стул и, стоя на нем, блаженно и бешено качаясь вместе со своей трубой в такт «Томлению», продолжал дудеть во все щеки, а я и моя партнерша посылали ему воздушные поцелуи и громко подпевали. Ах, думал я, будь что будет, хоть раз да был счастлив, хоть раз да сиял и я, хоть раз да освободился от самого себя, был братом Пабло, ребенком.

Утратив чувство времени, я не знал, сколько часов или мгновений длилось это хмельное счастье. Не заметил я также, что праздник, по мере того как накал его нарастал, сосредоточивался на все более тесном пространстве. Большинство гостей уже ушло, в коридорах стало тихо, много огней уже погасло, лестничная клетка вымерла, в верхних залах умолкали и расходились один оркестр за другим; лишь в главном зале и внизу, в аду, еще бушевало, все более разгораясь, хмельное веселье. Поскольку с Германой, как с юношей, танцевать я не мог, встречались мы с ней и приветствовали друг друга лишь мельком, в перерывах между танцами, и в конце концов она совсем пропала для меня, исчезла не только с моих глаз, но даже из моих мыслей. Мыслей больше не было. Я растворился в пьяной толчее танцев, меня касались запахи, звуки, вздохи, слова, меня приветствовали и воспламеняли чужие глаза, окружали чужие лица, губы, шеки, плечи, груди, колени, меня, как волну, ритмично бросала музыка.

Вдруг, полуочнувшись на миг, я увидел среди последних, оставшихся еще гостей, переполнивших один из маленьких залов, дальний, где еще звучала музыка,— вдруг я увидел какую-то черную

коломбину с набеленным лицом, красивую, свежую девушку, единственную, чье лицо скрывала маска, прелестную фигурку, которая за всю эту ночь еще ни разу не попадалась мне на глаза. По виду всех других, по их красным, разгоряченным лицам, измятым костюмам, увядшим воротничкам и жабо было заметно, что час уже поздний, а эта черная коломбина с белым лицом под маской, в костюме без единой морщинки, с нетронуто девственным жабо, белоснежными кружевными манжетами и свежей прической, стояла как новенькая. Меня потянуло к ней, я взял ее за талию, повел в танце, ее душистое жабо щекотало мне подбородок, прядь ее душистых волос касалась моей щеки, нежней и проникновенней, чем любая другая партнерша этой ночи, шло навстречу моим движеньям, уходило от них, принуждало их и манило, играя, ко все новым касаньям ее молодое, тугое тело. И вдруг, когда я среди танца стал, наклонившись, искать губами ее губ, эти губы улыбнулись высокомерной, давно знакомой улыбкой, я узнал ее крепкий подбородок, узнал, счастливый, ее плечи, ее локти, ее руки. Это была Гермина, уже не Герман, переодевшаяся, свежая, слегка надушенная и напудренная. Наши губы, пылая, встретились, на миг все ее тело, до самых колен, жадно и преданно прижалось ко мне, затем она отвела от меня свой рот и танцевала сдержанно и отчужденно. Когда музыка прекратилась, мы остановились обнявшись, все распаленные пáры вокруг нас хлопали в ладоши, топали ногами, кричали, подбивая изнуренный оркестр повторить «Томление». И вдруг мы все почувствовали утро, увидели бледный свет за занавесками, ощутили близкий конец веселья, почуяли надвигающуюся усталость и слепо, со смехом и отчаянием еще раз бросились в танец, в поток света, буйно зашагали в такт, еще раз блаженно почувствовали, как захлестывает нас эта огромная волна. Во время этого танца Гермина отбросила свое высокомерие, свою насмешливость, свою холодность — она знала, что ей уже ничего не нужно делать, чтобы заставить меня влюбиться. Я принадлежал ей. И она отдавалась — танцем, взглядом, поцелуем, улыбкой. Все женщины этой лихорадочной ночи, все, с которыми я танцевал, все, которых я разжигал, все, которые разжигали меня, все, за которыми я ухаживал, все, к которым с жадностью прижимался, все, которым смотрел вслед с любовной тоской, слились и стали той единственной, которая цвела в моих объятьях.

Долго длился этот свадебный танец. Дважды, трижды замирала музыка, трубачи опускали свои инструменты, пианист вставал из-за рояля, первый скрипач изнеможенно мотал головой, и каждый раз они снова, раззадоренные молящим восторгом последних танцоров, играли, играли быстрее, играли бешенее. Потом — мы стояли еще обнявшись и не успев отдышаться после последнего жадного танца — крышка рояля громко захлопнулась, наши руки упали так же устало, как руки трубачей и скрипачей, флейтист, подмигнув, уложил свою флейту в футляр, распахнулись двери, ворвался холодный воздух, появились служители с верхней одеждой, и бармен выключил свет. Что-то призрачно-жутковатое было в этом всеобщем уходе, в том, как танцоры, только что пылавшие пламенем, зябко кутались в пальто и поднимали воротники. Гермина стояла бледная, но улыбалась. Она медленно подняла руки и пригладила волосы, ее подмышечная впадина блеснула на свету, тонкая, бесконечно нежная тень пробежала оттуда к закрытой груди, и мне показалось, что это порхнувшая полосочка тени вобрала в себя, словно улыбка, всю ее прелесть, все игры и все возможности ее прекрасного тела.

Мы стояли и глядели друг на друга, последние в зале, последние в доме. Я слышал, как где-то внизу хлопнула дверь, разбился стакан,

заглохло хихиканье, смешавшись со злым, торопливым шумом заводимых автомобилей. Я слышал, как где-то, в какой-то не поддающейся определению вышине и дали, звучал смех, необыкновенно звонкий и радостный, однако жуткий и чужой смех, смех как бы хрустальный и ледяной, звонкий и лучезарный, но холодный и неумолимый. Откуда же этот удивительный смех был мне знаком? Я этого не мог понять.

Мы стояли вдвоем и глядели друг на друга. На миг я очнулся и отрезвел, я почувствовал, как наваливается на меня сзади невероятная усталость, почувствовал, как противно липнет ко мне влажная и холодная от пота одежда, увидел, как торчат из мятых и пропотевших манжет мои красные, жилистые руки. Но все это тут же прошло, взгляд Гермины все это погасил. От ее взгляда, которым глядела на меня, казалось, моя собственная душа, рушилась всякая реальность, в том числе и реальность моего чувственного влечения к ней.

— Ты готов? — спросила Гермина, и ее улыбка исчезла, как исчезла тень на ее груди. Далеко и высоко замер тот странный смех в неведомых покоях.

Я кивнул головой. О да, я был готов.

Тут появился в дверях этот музыкант Пабло и осветил нас своими веселыми глазами, которые были, в сущности, глазами животного, но у животных глаза всегда серьезные, а его глаза всегда смеялись, и смех-то и делал их человеческими. Он подзывал нас со всем своим радушием. На нем была пестрая шелковая домашняя куртка с красными лацканами, на фоне которых промокший воротничок его рубашки и его предельно усталое бледное лицо казались уж очень несвежими, но лучезарные черные глаза это сглаживали. Они тоже сглаживали реальность, они тоже колдовали.

Мы последовали его призыву, и у двери он тихо сказал мне:

— Брат Гарри, я приглашаю вас на небольшой аттракцион. Допускаются только сумасшедшие, плата за вход — разум. Вы готовы?

Я снова кивнул головой.

Славный малый! Нежно и заботливо взял он нас под руки, Гермину справа, меня слева, повел по лестнице и привел в какую-то небольшую круглую комнату, синевато освещенную сверху и почти совсем пустую, в ней ничего не было, кроме небольшого круглого стола и трех кресел, в которые мы и сели.

Где мы находились? Спал ли я? Был ли я дома? Сидел ли в автомобиле и ехал? Нет, я находился в освещенной синеватым светом круглой комнате, в разреженном воздухе, в пласте какой-то разжижившейся реальности. Почему была так бледна Гермина? Почему так много говорил Пабло? Может быть, это я заставлял его говорить, это я говорил его устами? Не глядела ли на меня и его черными глазами лишь моя собственная душа, эта заблудшая, объятая страхом птица, точно так же, как серыми глазами Гермины?

Друг Пабло глядел на нас со своей доброй, чуть церемонной приветливостью и говорил, говорил много и долго. Тот, от кого я ни разу не слышал связной речи, тот, кого не интересовали никакие диспуты, никакие формулировки, тот, за кем я никак не предполагал способности думать, говорил своим добрым, теплым голосом плавно и без ошибок:

— Друзья, я пригласил вас на аттракцион, которого Гарри уже давно ждет и о котором он долго мечтал. Сейчас довольно поздно, и, наверно, все мы немного устали. Давайте поэтому сперва передохнем здесь и подкрепимся.

Он достал из ниши в стене три рюмки и какую-то забавную бутылочку, достал какую-то экзотическую шкатулочку из цветных до-

щечек, налил дополна все три рюмки, достал из шкатулочки три тонкие, длинные, желтые сигареты, вынул из шелковой куртки зажигалку и дал нам закурить. Развалясь в креслах, мы медленно курили эти сигареты, дым от которых был густ, как от ладана, и маленькими, медленными глотками пили терпко-сладкую жидкость совершенно незнакомого, ни на что не похожего вкуса, оказывавшую и правда необычайно живительное и отрадное действие — тебя словно бы наполняли газом и ты терял свою тяжесть. Так мы сидели, курили короткими затяжками, пили маленькими глотками, чувствовали в себе все большую веселость и легкость. А Пабло приглушенно говорил теплым своим голосом:

— Я рад, дорогой Гарри, что могу немного угостить вас сегодня. Вам часто очень надоедала ваша жизнь. Вы стремились уйти отсюда, не так ли? Вы мечтаете о том, чтобы покинуть это время, этот мир, эту действительность и войти в другую, более соответствующую вам действительность и мир без времени. Сделайте это, дорогой друг, я приглашаю вас это сделать. Вы ведь знаете, где таится этот другой мир и что мир, который вы ищете, есть мир вашей собственной души. Лишь в собственном вашем сердце живет та другая действительность, по которой вы тоскуете. Я могу вам дать только то, что вы уже носите в себе сами, я не могу открыть вам другого картинного зала, кроме картинного зала вашей души. Я не могу вам дать ничего, разве лишь удобный случай, толчок, ключ. Я помогу вам сделать зримым ваш собственный мир, только и всего.

Он снова полез в карман своей пестрой куртки и вынул оттуда круглое карманное зеркальце.

— Глядите: вот каким видели вы себя до сих пор!

Он поднес зеркальце к моим глазам (мне вспомнился детский стишок: «Ах ты, зеркальце в руке»), и я несколько расплывчато и смутно увидел жуткую, внутренне подвижную, внутренне кипящую и мятущуюся картину — себя самого, Гарри Галлера, а внутри этого Гарри — степного волка, дикого, прекрасного, но растерянно и испуганно глядящего волка, в глазах которого вспыхивали то злость, то печаль, и этот контур волка не переставал литься сквозь Гарри — так мутит и морщит реку приток с другой окраской воды, когда обе струи, мучительно борясь, пожирают одна другую в неизбывной тоске по окончательной форме. Печально, печально глядел на меня текущий, наполовину сформировавшийся волк своими прекрасными дикими глазами.

— Вот каким видели вы себя, — повторил Пабло мягко и сунул зеркало обратно в карман. Я благодарно закрыл глаза и отпил глоток эликсира.

— Теперь мы отдохнули,— сказал Пабло,— мы подкрепились и немного поболтали. Если вы уже не чувствуете усталости, я поведу вас сейчас в свою панораму и покажу вам свой маленький театр. Согласны?

Мы поднялись, Пабло, улыбаясь, пошел впереди, отворил какую-то дверь, отдернул какую-то портьеру, и мы очутились в круглом, подковообразном коридоре театра, как раз посредине, и в обе стороны шел изогнутый проход мимо множества, невероятного множества узких дверей, за которыми находились ложи.

— Это наш театр,— объяснил Пабло,— веселый театр, надеюсь, вам удастся здесь посмеяться.

При этом он громко засмеялся, он издал всего каких-нибудь два-три звука, но они пробрали меня насквозь, это был снова тот звонкий, странный смех, который я уже раньше слышал сверху.

— В моем театрике столько лож, сколько вы пожелаете, десять, сто, тысяча, и за каждой дверью вас ждет то, чего вы как раз ищете. Это славная картинная галерея, дорогой друг, но вам не было бы никакой пользы осматривать ее таким, как вы есть. Вы были бы скованы и ослеплены тем, что вы привыкли называть своей личностью. Вы несомненно давно догадались, что преодоление времени, освобождение от действительности, и как бы там еще ни именовали вы вашу тоску, означает не что иное, как желание избавиться от своей так называемой личности. Она — тюрьма, в которой вы сидите. И войди вы в театр таким, как вы есть, вы увидели бы все глазами Гарри, сквозь старые очки Степного Волка. Поэтому вас приглашают избавиться от этих очков и соблаговолить сдать эту глубокоуважаемую личность в здешний гардероб, где она будет к вашим услугам в любое время. Прелестный бал, в котором вы участвовали, трактат о Степном Волке, наконец, слегка возбуждающее средство, которое мы только что приняли, пожалуй, достаточно вас подготовили. Сдав свою уважаемую личность, Гарри, вы получите в свое распоряжение левую сторону театра, а Гермина — правую, встретиться вы можете внутри в любое время. Гермина, будь добра, зайди пока за портьеру, я хотел бы сначала провести Гарри.

Гермина удалилась направо, пройдя мимо огромного зеркала, покрывавшего заднюю стену от пола до свода.

— Ну, вот, Гарри, теперь ступайте и будьте в хорошем настроенье. Привести вас в хорошее настроенье, научить вас смеяться и есть цель всей этой затеи — надеюсь, вы не доставите мне хлопот. Вы ведь хорошо себя чувствуете? Да? Не боитесь? Вот и прекрасно, вот и отлично. Теперь, без страха и с полным удовольствием, вы вступите в наш фиктивный мир, войдя в него, как то принято, путем маленького фиктивного самоубийства.

Он снова достал карманное зеркальце и поднес его к моему лицу. Опять на меня глядел смятенный, туманный, размываемый степным волком Гарри — хорошо знакомая и действительно неприятная картина, уничтожение которой не могло тревожить меня.

— Эту ненужную уже картинку вы сейчас погасите, дорогой друг, она теперь ни к чему. Вам достаточно, когда это позволит ваше настроение, взглянуть на нее с искренним смехом. Вы находитесь сейчас в школе юмора, вы должны научиться смеяться. Ну, а всякий высокий юмор начинается с того, что перестаешь принимать всерьез собственную персону.

Я пристально поглядел в зеркальце, в ах-ты-зеркальце-в-руке, в котором совершал свои подергиванья Гарри-волк. На миг что-то во мне дрогнуло, глубоко внутри, тихо, но мучительно, как воспоминанье, как тоска по дому, как раскаянье. Затем легкая подавленность сменилась новым чувством, похожим на то, которое испытываешь, когда у тебя из челюсти, замороженной кокаином, выдернут больной зуб,— чувством глубокого облегченья и одновременно удивленья, что было совсем не больно. И к этому чувству примешивалась какая-то бодрая веселость и смешливость, которой я не мог противостоять, отчего и разразился спасительным смехом.

Мутная картинка в зеркальце дрогнула и погасла, его маленькая круглая плоскость стала вдруг словно бы выжженной — серой, шероховатой и непрозрачной. Пабло со смехом швырнул эту стекляшку, она покатилась и затерялась где-то на полу бесконечного коридора.

— Смеялся ты хорошо, Гарри,— воскликнул Пабло,— ты еще

научишься смеяться как бессмертные. Ну вот, наконец ты убил Степного Волка. Бритвами тут ничего не сделаешь, смотри, чтобы он оставался мертвым! Сейчас ты сможешь покинуть глупую действительность. По ближайшему поводу мы выпьем на брудершафт. Никогда, дорогой, ты не нравился мне так, как сегодня. И если потом для тебя это еще будет иметь значенье, мы сможем с тобой потом и философствовать, и дискутировать, и говорить о музыке, и о Моцарте, и о Глюке, и о Платоне, и о Гёте сколько ты пожелаешь. Теперь ты поймешь, почему это раньше не получалось... Надо надеяться, тебе повезет, и от Степного Волка ты на сегодня избавишься. Ведь твое самоубийство, конечно, не окончательное. Мы находимся сейчас в магическом театре, здесь только картины, а не действительность. Выбери себе какие-нибудь славные и веселые картины и докажи, что ты в самом деле уже не влюблен в свою сомнительную личность! Но если ты все-таки хочешь вернуть ее, тебе достаточно снова взглянуть в зеркало, которое я теперь тебе покажу. Ты ведь знаешь старую мудрую пословицу: лучше одно зеркальце в руке, чем два на стенке, ха-ха! (Опять он рассмеялся так прекрасно и страшно...) Ну вот, а теперь осталось проделать одну совсем маленькую, веселую церемонию. Теперь ты отбросил очки твоей личности, так взгляни же разок в настоящее зеркало! Это доставит тебе удовольствие.

Со смехом и ласковым похлопыванием по плечам он повернул меня так, что я оказался напротив огромного стенного зеркала. В нем я увидел себя.

Какое-то короткое мгновенье я видел знакомого мне Гарри, только с необыкновенно веселым, светлым, смеющимся лицом. Но не успел я его узнать, как он распался, от него отделилась вторая фигура, третья, десятая, двадцатая, и все огромное зеркало заполнилось сплошными Гарри или кусками Гарри, бесчисленными Гарри, каждого из которых я видел и узнавал лишь в течение какой-то молниеносной доли секунды. Иные из этого множества Гарри были моего возраста, иные старше, иные были древними, иные совсем молодыми, юношами, мальчиками, школьниками, подростками, детьми. Пятидесятилетние и двадцатилетние Гарри бегали и прыгали вперемешку, тридцатилетние и пятилетние, серьезные и веселые, степенные и смешные, хорошо одетые и оборванные, и совсем голые, безволосые и длиннокудрые, и все были мной, и каждого я видел один миг и вмиг узнавал, и каждый затем исчезал, они разбегались во все стороны, налево, направо, убегали в глубину зеркала, выбегали из зеркала. Один из них, молодой элегантный парень, бросился, смеясь, Пабло на грудь, обнял его и с ним убежал. А другой, который особенно мне понравился, красивый, очаровательный мальчик шестнадцати или семнадцати лет, как молния, выбежал в коридор, стал жадно читать надписи на всех этих дверях, я побежал за ним, перед одной дверью он остановился, я прочел надпись на ней:

Все девушки — твои!
Опусти в щель одну марку

Этот милый мальчик подпрыгнул, взвился головой вперед, ринулся в щель и исчез за дверью.

Пабло тоже исчез, да и зеркало как будто исчезло, а с ним и все эти бесчисленные образы Гарри. Я почувствовал, что предоставлен

теперь себе самому и театру и стал с любопытством ходить от двери к двери, читая на каждой надпись, соблазн, обещанье.

Надпись

Приглашаем на веселую охоту!
Крупная дичь — автомобили

приманила меня, я отворил узкую дверь и вошел.

Меня сразу рвануло в какой-то шумный и взволнованный мир. По улицам носились автомобили, частью бронированные, и охотились на пешеходов, давили колесами вдрызг, расплющивали о стены домов. Я сразу понял: это была борьба между людьми и машинами, давно готовившаяся, давно ожидавшаяся, давно внушавшая страх и теперь наконец разразившаяся. Повсюду валялись трупы и куски разодранных тел, повсюду же разбитые, искореженные, полусгоревшие автомобили, над этим безумным хаосом кружили самолеты, и по ним тоже палили с крыш и из окон из ружей и пулеметов. Дикие, великолепно-зажигательные плакаты на всех стенах огромными, пылавшими, как факелы, буквами призывали нацию выступить наконец на стороне людей против машин, перебить наконец жирных, хорошо одетых, благоухающих богачей, которые с помощью машин выжимают соки из других, а заодно и их большие, кашляющие, злобно рычащие, дьявольски гудящие автомобили, поджечь наконец фабрики и немножко очистить, немножко опустошить поруганную землю, чтобы снова росла трава, чтобы запыленный цементный мир снова превратился в леса, луга, поля, ручьи и болота. Зато другие плакаты, чудесно выполненные, великолепно стилизованные, выдержанные в более нежной, не столь ребяческой цветовой гамме, сочиненные необычайно умно и талантливо, взволнованно предостерегали, наоборот, всех имущих и благонамеренных от грозящего хаоса анархии, живописуя поистине трогательно счастье порядка, труда, собственности, культуры, права и славя машины как высочайшее и последнее открытие людей, благодаря которому они могут превратиться в богов. Задумчиво и восхищенно читал я эти плакаты, красные и зеленые, поразительное воздействие оказывали на меня их пламенное красноречие, их железная логика, они были правы, и, глубоко убежденный прочитанным, стоял я то перед одним, то перед другим, хотя довольно-таки густая пальба вокруг мне все-таки ощутимо мешала. Что ж, главное было ясно: это была война, жаркая, шикарная и в высшей степени симпатичная война, где речь шла не об императоре, республике, границах, не о знаменах, партиях и тому подобных преимущественно декоративных и театральных вещах, пустяках по сути, а где каждый, кому не хватало воздуха и приелась жизнь, выражал свое недовольство разительным образом и добивался полного разрушенья металлического цивилизованного мира. Я видел, как звонко и как откровенно смеется в глазах у всех сладострастье убийства и разоренья, и во мне самом пышно зацвели эти красные дикие цветы и засмеялись не тише. Я радостно вмешался в борьбу.

Но прекрасней всего было то, что рядом со мной вдруг оказался мой школьный товарищ Густав, о котором я уже десятки лет ничего не слышал, самый когда-то необузданный, сильный и жизнелюбивый из друзей моего раннего детства. У меня возликовала душа, когда я увидел, как мне вновь подмигнули его голубые глаза. Он сделал мне знак, и я тут же последовал за ним с радостью.

— Боже мой, Густав,— радостно воскликнул я,— вот так встреча! Кем же ты стал?

Он рассмеялся сердито, совсем как в мальчишеские времена.

— Дурень, неужели нужно сразу лезть с вопросами и болтовней? Профессором богословия — вот кем я стал, ну вот, ты это узнал, но сейчас, старик, уже не до богословия, к счастью, сейчас война. Пошли!

С маленькой машины, которая, фыркая, двигалась нам навстречу, он выстрелом сбил водителя, ловко, как обезьяна, вскочил в машину, остановил ее и посадил меня, потом, с сумасшедшей скоростью, сквозь пули и опрокинутые машины, мы помчались прочь, удаляясь от центра города.

— Ты на стороне фабрикантов? — спросил я своего друга.

— Неважно, это дело вкуса, выедем за город — разберемся. Впрочем, нет, погоди, я скорее за то, чтобы мы выбрали другую партию, хотя по сути это, конечно, совершенно безразлично. Я богослов, и мой предок Лютер помогал в свое время князьям и богачам в борьбе с крестьянами, а мы теперь это немножко исправим. Дрянь машина, надо надеяться, ее хватит еще на несколько километров!

Как ветерок, неба сынок, вырвались мы, тарахтя, из города в зеленые спокойные места, проехали много миль по широкой равнине, а затем медленно поднялись и углубились в могучие горы. Здесь мы остановились на гладкой, скользкой дороге, которая, смело извиваясь между отвесной скалой и низким парапетом, уходила вверх, высоко над синевшим вдалеке озером.

— Славная местность,— сказал я.

— Очень красивая. Мы можем назвать ее Осевой дорогой, здесь сломается не одна ось, Гарринька, вот увидишь!

У дороги стояла большая пиния, а на пинии, вверху, мы увидели что-то вроде сколоченной из досок будки, этакую наблюдательную вышку. Густав звонко засмеялся, хитро подмигнул мне своими голубыми глазами, мы поспешно вышли из машины, вскарабкались по стволу и, тяжело дыша, спрятались в будке, которая нам очень понравилась. Мы нашли там ружья, пистолеты, ящики с патронами. И не успели мы немного остыть и обосноваться в засаде, как с ближайшего поворота уже донесся хриплый и властный гудок большой роскошной машины, она, рыча, ехала по гладкой горной дороге с высокой скоростью. Ружья мы уже приготовили. Это было удивительно интересно.

— Цельсь в шофера! — быстро приказал Густав, тяжелая машина мчалась как раз мимо нас. И вот я уже прицелился и выстрелил — в синий картуз шофера. Он повалился, машина пронеслась дальше, ударилась о скалу, отскочила назад, тяжело и злобно, как большой, толстый шмель, ударилась о низкую стенку, опрокинулась и с тихим, коротким треском перемахнула через нее, рухнула в пропасть.

— Готово! — засмеялся Густав.— Следующего я беру на себя.

Вот уже снова летела сюда машина, на сиденьях видны были три или четыре фигурки пассажиров, за одной женской головкой неподвижно и горизонтально плыл конец шарфа, голубого шарфа, его мне, собственно, было жаль, кто знает, не смеялось ли под ним прекрасное женское лицо. Господи, если уж мы играем в разбойников, то было бы, наверно, правильней и красивей следовать великим примерам и не распространять нашей славной кровожадности на прекрасных дам. Шофер дернулся, повалился, машина подпрыгнула у отвесной скалы, отскочила и плюхнулась колесами вверх на дорогу. Мы подождали, ничто не шевелилось, люди бесшумно лежали под машиной, как в ловушке. Машина еще урчала, хрипела и забавно вращала

колесами в воздухе, но вдруг она издала страшный треск и вспыхнула светлым пламенем.

— «Форд»,— сказал Густав.— Надо будет сойти вниз и очистить дорогу.

Мы спустились и осмотрели горящую груду. Она догорела очень скоро, мы тем временем сделали рычаги из молодых деревцев, затем приподняли ее, оттолкнули и сбросили через парапет с обрыва, после чего в кустах еще долго что-то трещало. Когда мы переворачивали машину, два трупа выпали, теперь они лежали на дороге, одежда обгорела. На одном довольно хорошо сохранился пиджак, я обследовал его карманы в надежде узнать, кто это был. Обнаружил бумажник, в нем визитные карточки. Я взял одну из них и прочел на ней слова: «Тат твам аси»[1].

— Очень остроумно,— сказал Густав.— Но и в самом деле не важно, как зовут людей, которых мы сейчас убиваем. Они такие же бедняги, как мы, имена не имеют значенья. Этот мир должен погибнуть, и мы с ним вместе.

Мы бросили трупы вослед машине. Уже подъезжал, сигналя, новый автомобиль. Его мы расстреляли прямо с дороги. Он, пьяно кружась, пролетел еще немного вперед, затем упал и так и улегся, хрипя, один пассажир тихо сидел на своем месте, но целой и невредимой, хотя она была бледна и вся дрожала, вышла из машины красивая девушка. Мы дружески приветствовали ее и предложили ей свои услуги. Она была очень испугана, не могла говорить и несколько мгновений глядела на нас как безумная.

— Что ж, посмотрим сперва, как обстоит дело с этим пожилым господином,— сказал Густав и обернулся к пассажиру, который все еще держался на сиденье позади мертвого шофера. Это был человек с короткими седыми волосами, он не закрыл своих умных светло-серых глаз, хотя, кажется, сильно пострадал, во всяком случае, изо рта у него шла кровь, а шею он держал как-то зловеще косо и неподвижно.

— Разрешите представиться, почтеннейший, меня зовут Густав. Мы позволили себе застрелить вашего шофера. Смеем ли спросить, с кем имеем честь?

Серые глаза старика глядели холодно и грустно.

— Я старший прокурор Лёринг,— сказал он медленно.— Вы убили не только моего бедного шофера, но и меня, я чувствую, это конец. Почему вы стреляли в нас?

— Вы слишком быстро ехали.

— Мы ехали с нормальной скоростью.

— Что было нормально вчера, сегодня уже ненормально, господин старший прокурор. Сегодня мы считаем, что любая скорость, с которой может ехать автомобиль, слишком велика. Теперь мы сломаем автомобили, все до одного, и другие машины тоже.

— И ваши ружья?

— Дойдет очередь и до них, если у нас останется время на это. Вероятно, завтра или послезавтра мы все погибнем. Вы же знаете, наша часть света была отвратительно перенаселена. Ну, а теперь дышать будет легче.

— Вы стреляете во всех, без разбора?

— Конечно. Некоторых, несомненно, жаль. Например, эту красивую молодую даму мне было бы жалко — она, видимо, ваша дочь?

— Нет, моя стенографистка.

---

[1] Это ты *(санскр.)*.

— Тем лучше. А теперь, пожалуйста, вылезайте или позвольте нам вытащить вас из машины: машина подлежит уничтожению.

— Предпочитаю быть уничтоженным вместе с ней.

— Как вам угодно. Разрешите еще один вопрос! Вы прокурор. Мне всегда было непонятно, как человек может быть прокурором. Вы живете тем, что обвиняете и приговариваете к наказаньям других людей, по большей части несчастных бедняков. Не так ли?

— Да, это так. Я выполнял свой долг. Это была моя обязанность. Точно так же, как обязанность палача — убивать осужденных мною. Вы ведь сами взяли на себя такую же обязанность. Вы ведь тоже убиваете.

— Верно. Только мы убиваем не по долгу, а для удовольствия, точнее — от неудовольствия, от того, что мы отчаялись в мире. Поэтому убийство доставляет нам известное удовольствие. Вам никогда не доставляло удовольствия убийство?

— Вы мне надоели. Сделайте милость, доведите свою работу до конца. Если у вас нет понятия о долге...

Он умолк и перекосил губы, словно хотел сплюнуть. Но вышло лишь немного крови, которая прилипла к его подбородку.

— Погодите!— вежливо сказал Густав.— Понятия о долге у меня, правда, нет, уже нет. Прежде мне по обязанности приходилось много заниматься этим понятием, я был профессором богословия. Кроме того, я был солдатом и участвовал в войне. В том, что мне казалось долгом и что мне приказывало начальство, ничего хорошего не было, я всегда предпочитал бы делать прямо противоположное. Но если у меня и нет понятия о долге, то зато у меня есть понятие о вине — а это, может быть, одно и то же. Поскольку я рожден матерью, я виновен, я осужден жить, обязан быть подданным какого-то государства, быть солдатом, убивать, платить налоги для гонки вооружений. И сейчас вот, сию минуту, вина жизни снова, как когда-то во время войны, привела меня к необходимости убивать. Но на этот раз я убиваю без отвращенья, я смирился со своей виной, я ничего не имею против того, чтобы этот глупый, закупоренный мир рухнул, я рад помочь этому и с радостью погибну сам.

Прокурор сделал большое усилие, чтобы слегка улыбнуться слипшимися от крови губами. Удалось это ему не блестяще, но его доброе намеренье было заметно.

— Отлично,— сказал он.— Мы, значит, коллеги. А теперь выполните, пожалуйста, свой долг, коллега.

Красивая девушка успела тем временем упасть в обморок у края дороги.

В этот момент снова загудела машина, приближавшаяся на полном ходу. Мы оттащили девушку в сторону, прижались к скалам и предоставили мчавшейся машине врезаться в обломки другой. Она резко затормозила и стала дыбом, не получив никаких повреждений. Мы быстро схватили ружья и взяли на прицел новеньких.

— Вылезайте! — скомандовал Густав.— Руки вверх!

Трое мужчин вылезли из машины и послушно подняли руки.

— Есть ли среди вас врач? — спросил Густав.

Они ответили отрицательно.

— Тогда будьте добры, осторожно снимите с сиденья этого застрявшего господина, он тяжело ранен. А потом довезите его на своей машине до следующего города. Вперед, взяли!

Вскоре старика уложили в другую машину, Густав скомандовал, и все уехали.

Наша стенографистка успела тем временем прийти в себя и наблюдала за происходившим. Мне было приятно, что нам досталась эта красивая добыча.

— Барышня,— сказал Густав,— вы лишились работодателя. Надо надеяться, больше ни в чем этот пожилой господин не был вам близок. Я вас принимаю на службу, будьте нам хорошим товарищем! Так, а теперь надо поторапливаться. Скоро здесь будет неуютно. Вы умеете карабкаться, барышня? Да? Ну, так давайте же, полезайте между нами, мы вам поможем.

Стараясь не терять ни секунды, мы втроем вскарабкались по дереву в нашу будку. Наверху барышне стало дурно, но ей дали хлебнуть коньяку, и вскоре она настолько оправилась, что оценила великолепный вид на горы и озеро и сообщила нам, что ее зовут Дора.

И тут же внизу снова появилась машина, которая, не останавливаясь, осторожно объехала лежавший автомобиль, а потом резко увеличила скорость.

— Отлыниваете! — засмеялся Густав и свалил пулей водителя. Машина, поплясав, сделала скачок к парапету, продавила его и косо повисла над пропастью.

— Дора,— сказал я,— вы умеете обращаться с ружьями?

Она не умела, но научилась у нас заряжать карабин. Сперва у нее не было сноровки, она ссадила до крови палец, заревела и потребовала английский пластырь. Но Густав объяснил ей, что идет война и она, Дора, должна показать, что она смелая, храбрая девушка. И дело пошло на лад.

— Но что будет с нами? — спросила она потом.

— Не знаю,— сказал Густав.— Мой друг Гарри любит красивых женщин, он будет вашим близким другом.

— Но они явятся с полицией и солдатами и убьют нас.

— Полиции и тому подобного больше не существует. У нас есть выбор, Дора. Либо спокойно ждать здесь наверху и расстреливать все проезжающие машины. Либо сесть самим в какую-нибудь машину, уехать отсюда и предоставить другим стрелять в нас. Безразлично, на чью сторону мы станем. Я за то, чтобы остаться здесь.

Внизу опять появилась машина, до нас донесся ее полнозвучный сигнал. С ней мы быстро покончили, и она осталась лежать вверх колесами.

— Смешно,— сказал я,— что стрельба может доставлять такое удовольствие! А ведь раньше я был противником войн!

Густав улыбнулся.

— То-то и оно, слишком много людей на свете. Раньше это не было так заметно. А теперь, когда каждый хочет не только дышать воздухом, но и иметь автомобиль, теперь это заметно. Конечно, то, что мы сейчас делаем, неразумно, это ребячество, да и война была огромным ребячеством. Со временем человечество волей-неволей научится ограничивать свой количественный рост разумными средствами. Пока мы реагируем на невыносимое положенье довольно-таки неразумно, но делаем по существу то, что нужно — уменьшаем в количестве.

— Да,— сказал я,— то, что мы делаем, наверно, безумно и все же, наверно, это хорошо и необходимо. Нехорошо, когда человечество перенапрягает разум и пытается с помощью разума привести в порядок вещи, которые разуму еще совсем недоступны. Тогда возникают идеалы. Но идеалы очень уж наивно упрощают жизнь. Образ человека, некогда высокий идеал, грозит превратиться в стереотип. Мы, сумасшедшие, может быть, снова облагородим его.

Густав, засмеявшись, сказал:

— Старик, ты говоришь замечательно умно, слушать этот кладезь премудрости отрадно и полезно. И, может быть, ты даже немножко прав. Но будь добр, заряди свое ружье, ты, по-моему, замечтался. В любой миг может прибежать еще косулька-другая, а их философией не уложишь, нужны как-никак пули в стволе.

Подъехал автомобиль и сразу погиб, дорога была теперь заграждена. Тучный рыжеголовый человек, оставшийся в живых, дико жестикулировал возле обломков, глазел вниз и вверх, обнаружил наше укрытие, побежал, рыча, в нашу сторону и выстрелил в нас снизу из револьвера несколько раз.

— Убирайтесь, а то буду стрелять,— крикнул Густав вниз. Рыжий взял его на прицел и выстрелил снова. Тогда мы сразили его двумя выстрелами.

Мы уложили еще две подошедших машины. Затем на дороге стало тихо и пусто, распространилось, должно быть, известие о том, что она опасна. У нас было время полюбоваться красивым видом. По ту сторону озера лежал в лощине небольшой город, там поднимался дым, и вскоре мы увидели, как огонь перебегает с крыши на крышу. Слышна была и стрельба. Дора захныкала, я стал гладить ее мокрые щеки.

— Неужели мы все должны умереть? — спросила она. Никто не ответил. Тем временем внизу показался пешеход, увидел лежащие разбитые автомобили, обнюхал их со всех сторон, сунулся, наклонившись, в один из них, вытащил оттуда пестрый зонтик от солнца, кожаную дамскую сумку, бутылку вина, мирно сел на парапет, отпил из бутылки, съел что-то из сумки, завернутое в фольгу, допил бутылку до дна, весело пошел дальше с зонтиком под мышкой. Он мирно шагал вперед, и я сказал Густаву:

— Ты бы смог теперь выстрелить в этого славного парня и продырявить ему голову? Видит бог, я не смог бы.

— Этого никто и не требует,— буркнул мой друг. Но и ему стало не по себе. Стоило лишь нам увидеть человека, который еще вел себя бесхитростно, мирно, по-детски, который жил еще в состоянии невинности, как все наши такие вроде бы похвальные и такие необходимые действия показались нам вдруг дурацкими и отвратительными. Тьфу, пропасть, сколько крови! Нам стало стыдно. Но говорят, что даже генералы испытывали порой на войне подобное чувство.

— Уйдем отсюда,— заныла Дора,— сойдем вниз, в машинах наверняка найдется что-нибудь съестное. Неужели вы не проголодались?

Внизу, в горящем городе, зазвонили колокола — взволнованно и испуганно. Мы приготовились к спуску. Помогая Доре перелезть через загородку, я поцеловал ей коленки. Она рассмеялась. Но тут доски не выдержали, и мы с ней рухнули в пустоту...

Я снова находился в круглом коридоре, еще не остыв от этого приключения. И отовсюду, со всех бесчисленных дверей манили надписи:

Mutabor[1]

Превращение в любых животных и любые растения

[1] Я превращусь *(лат.)*.

Камасутрам
Обучение индийскому искусству любви

Курс для начинающих: 42 разных способа любви

Наслаждение от самоубийства!
Ты доконаешь себя смехом

Хотите превратиться в дух?
Мудрость Востока

О, если б у меня была тысяча языков!
Только для мужчин

Закат Европы
Цены снижены. Все еще вне конкуренции

Воплощение искусства
Время превращается в пространство
с помощью музыки

Смеющаяся слеза
Кабинет юмора

Игры отшельника
Полноценная замена любого общения

Ряд надписей тянулся бесконечно. Одна гласила:

Урок построения личности
Успех гарантируется

Это показалось мне достойным вниманья, и я вошел.

Я оказался в сумрачной, тихой комнате, где без стула, на восточный манер, сидел на полу человек, а перед ним лежало что-то вроде большой шахматной доски. В первый момент мне показалось, что это

мой друг Пабло, во всяком случае, он носил такую же пеструю шелковую куртку, и у него были такие же темные сияющие глаза.

— Вы Пабло? — спросил я.

— Я никто, — объяснил он приветливо.— У нас здесь нет имен, мы здесь не личности. Я шахматист. Желаете взять урок построения личности?

— Да, пожалуйста.

— Тогда будьте добры, дайте мне десяток-другой ваших фигур.

— Моих фигур?..

— Фигур, на которые, как вы видели, распадалась ваша так называемая личность. Ведь без фигур я не могу играть.

Он поднес к моим глазам зеркало, я снова увидел, как единство моей личности распадается в нем на множество «я», число которых, кажется, еще выросло. Но фигуры были теперь очень маленькие, размером с обычные шахматы. Тихими, уверенными движениями пальцев игрок отобрал несколько десятков и поставил их на пол рядом с доской. При этом он монотонно, как повторяют хорошо заученную речь или лекцию, твердил:

— Вам известно ошибочное и злосчастное представленье, будто человек есть некое постоянное единство. Вам известно также, что человек состоит из множества душ, из великого множества «я». Расщепление кажущегося единства личности на это множество фигур считается сумасшествием, наука придумала для этого название — шизофрения. Наука права тут постольку, поскольку ни с каким множеством нельзя совладать без руководства, без известного упорядочения, известной группировки. Неправа же она в том, что полагает, будто возможен лишь один, раз навсегда данный, непреложный, пожизненный порядок множества подвидов «я». Это заблуждение науки имеет массу неприятных последствий, ценно оно только тем, что упрощает работу состоящим на государственной службе учителям и воспитателям и избавляет их от необходимости думать и экспериментировать. Вследствие этого заблужденья «нормальными», даже социально высокосортными считаются часто люди неизлечимо сумасшедшие, а как на сумасшедших смотрят, наоборот, на иных гениев. Поэтому несовершенную научную психологию мы дополняем понятием, которое называем искусством построения. Тому, кто изведал распад своего «я», мы показываем, что куски его он всегда может в любом порядке составить заново и добиться тем самым бесконечного разнообразия в игре жизни. Как писатель создает драму из горсти фигур, так и мы строим из фигур нашего расщепленного «я» все новые группы с новыми играми и напряженностями, с вечно новыми ситуациями. Смотрите!

Тихими, умными пальцами он взял мои фигуры, всех этих стариков, юношей, детей, женщин, все эти веселые и грустные, сильные и нежные, ловкие и неуклюжие фигуры, и быстро расставил из них на своей доске партию, где они тотчас построились в группы и семьи для игр и борьбы, для дружбы и вражды, образуя мир в миниатюре. Перед моими восхищенными глазами он заставил этот живой, но упорядоченный маленький мир двигаться, играть и бороться, заключать союзы и вести сраженья, осаждать любовью, вступать в браки и размножаться; это была и правда многоперсонажная, бурная и увлекательная драма.

Затем он весело провел рукой по доске, осторожно опрокинул фигуры, сгреб их в кучу и задумчиво, как разборчивый художник, построил из тех же фигур совершенно новую партию, с совершенно другими группами, связями и сплетеньями. Вторая партия была родственна первой — это был тот же мир, и построена она была из того

же материала, но переменилась тональность, изменился темп, переместились акценты в мотивах, ситуации приобрели иной вид.

И вот так этот умный строитель строил из фигур, каждая из которых была частью меня самого, одну партию за другой, все они отдаленно походили друг на друга, все явно принадлежали к одному и тому же миру, имели одно и то же происхожденье, но каждая была целиком новой.

— Это и есть искусство жить,— говорил он поучающе.— Вы сами вольны впредь на все лады развивать и оживлять, усложнять и обогащать игру своей жизни, это в ваших руках. Так же, как сумасшествие, в высшем смысле, есть начало всяческой мудрости, так и шизофрения есть начало всякого искусства, всякой фантазии. Даже ученые это уже наполовину признали, о чем можно прочесть, например, в «Волшебном роге принца», очаровательной книжке, где кропотливый и прилежный труд ученого облагораживается гениальным сотрудничеством нескольких сумасшедших художников, засаженных в психиатрические лечебницы. Возьмите с собой ваши фигурки, эта игра еще не раз доставит вам радость. Фигуру, которая сегодня выросла в несносное пугало и портит вам партию, вы завтра понизите в чине, и она станет безобидной второстепенной фигурой. А из милой, бедной фигурки, обреченной, казалось уже, на сплошные неудачи и невезенье, вы сделаете в следующей партии принцессу. Желаю вам хорошо повеселиться, сударь.

Я низко и благодарно поклонился этому талантливому актеру, сунул фигурки в карман и вышел через узкую дверь.

Вообще-то я думал, что сразу же сяду в коридоре на пол и буду часами, целую вечность, играть со своими фигурами, но едва я вернулся в этот светлый и круглый коридор, как меня понесли новые теченья, которые были сильнее меня. Перед моими глазами ярко вспыхнул плакат:

Чудо дрессировки степных волков

Множество чувств пробудила во мне эта надпись; всякого рода страхи и тяготы, пришедшие из былой моей жизни, из покинутой действительности, мучительно сжали мне сердце. Дрожащей рукой отворив дверь, я вошел в какой-то ярмарочный балаган, где увидел железную решетку, которая отделяла меня от убогих подмостков. А на подмостках стоял укротитель, чванливый, смахивавший на шарлатана господин, который, несмотря на большие усы, могучие бицепсы и крикливый циркаческий костюм, каким-то коварным, довольнотаки противным образом походил на меня самого. Этот сильный человек держал на поводке, как собаку,— жалкое зрелище! — большого, красивого, но страшно отощавшего волка, во взгляде которого видна была рабская робость. И столь же противно, сколь интересно, столь же омерзительно, сколь и втайне сладостно, было наблюдать, как этот жестокий укротитель демонстрировал такого благородного и все же такого позорно послушного хищного зверя в серии трюков и сногсшибательных сцен.

Своего волка этот мой проклятый карикатурный близнец выдрессировал, ничего не скажешь, чудесно. Волк точно исполнял каждое приказанье, реагировал, как собака, на каждый окрик, на каждое щелканье бича, падал на колени, притворялся мертвым, служил, послушнейше носил в зубах то яйцо, то кусок мяса, то корзиночку,

больше того, поднимал бич, уроненный укротителем, и носил его за ним в пасти, донельзя раболепно виляя при этом хвостом. К волку приблизили кролика, а затем белого ягненка, и зверь, хоть он и оскалил зубы, хотя у него и потекла слюна от трепетной жадности, не тронул ни того, ни другого, а изящно перепрыгнул по приказанью через обоих животных, которые, дрожа, прижимались к полу, более того, улегся между кроликом и ягненком и обнял их передними лапами, образуя с ними трогательную семейную группу. Затем он съел плитку шоколада, взяв ее из руки человека. Мука мученическая была глядеть, до какой фантастической степени научился этот волк отрекаться от своей природы, у меня волосы дыбом вставали.

Однако за эту муку и взволнованный зритель, и сам волк были во второй части представленья вознаграждены. По окончании этой изощренной дрессировочной программы, после того как укротитель торжествующе, со сладкой улыбкой склонился над волчье-ягнячьей группой, роли переменились. Укротитель, похожий на Гарри, вдруг с низким поклоном положил свой бич к ногам волка и стал так же дрожать и ежиться, принял такой же несчастный вид, как раньше зверь. А волк только облизывался, всякая неестественность слетела с него, его взгляд светился, все его тело подтянулось во вновь обретенной дикости.

Теперь приказывал волк, а человек подчинялся. По приказанью человек опускался на колени, играл волка, высовывал язык, рвал на себе пломбированными зубами одежду. Ходил, в зависимости от воли укротителя людей, на своих двоих или на четвереньках, служил, притворялся мертвым, катал волка верхом на себе, носил за ним бич, изобретательно и с собачьей готовностью подвергал себя извращеннейшим униженьям. На сцену вышла красивая девушка, подошла к дрессированному мужчине, погладила ему подбородок, потерлась щекой об его щеку, но он по-прежнему стоял на четвереньках, оставался зверем, мотал головой и начал показывать красавице зубы, под конец настолько грозно, настолько по-волчьи, что та убежала. Ему предлагали шоколад, но он презрительно обнюхивал его и отталкивал. А в заключенье опять принесли ягненка и жирного кролика, и переимчивый человек исполнил последний свой номер, сыграл волка так, что любо было глядеть. Схватив визжащих животных пальцами и зубами, он вырывал у них клочья шерсти и мяса, жевал, ухмыляясь, живое их мясо и, самозабвенно, пьяно, сладострастно зажмурившись, пил их теплую кровь.

Я в ужасе выбежал за дверь. Этот магический театр не был, как я увидел, раем, за его внешней красотой таились все муки ада. О господи, неужели и здесь не было избавления?

В страхе бегал я взад и вперед, ощущая во рту вкус крови и вкус шоколада, одинаково отвратительный, и страстно стремясь ускользнуть от этой мутной волны, силился исторгнуть из самого себя более терпимые, более приветливые картины. «О други, не надо этак!» — пело во мне, и я с ужасом вспомнил те мерзкие фотографии с фронта, что иногда попадались на глаза во время войны — беспорядочные груды трупов, чьи лица противогазы преображали в какие-то дьявольские рожи. Как еще глуп и наивен был я в ту пору, когда меня, человеколюбивого противника войны, ужасали эти картинки! Сегодня я знал, что ни один укротитель, ни один министр, ни один генерал, ни один безумец не способен додуматься ни до каких мыслей и картин, которые не жили бы во мне самом, такие же гнусные, дикие и злые.

Со вздохом облегченья вспомнил я надпись, вызвавшую, как я

видел в начале спектакля, такой энтузиазм у того красивого юноши, надпись:

Все девушки твои

и мне показалось, что в общем-то ничего другого не стоит и желать. Радуясь, что снова убегу от проклятого - волчьего мира, я вошел внутрь.

О чудо — это было так поразительно и одновременно так знакомо,— на меня здесь пахнуло моей юностью, атмосферой моего детства и отрочества, и в моем сердце потекла кровь тех времен. Все, что я еще только что делал и думал, все, чем я еще только что был, свалилось с меня, и я снова стал молодым. Еще час, еще минуту тому назад я считал, что довольно хорошо знаю, что такое любовь, желанье, влеченье, но это были любовь и влеченье старого человека. Сейчас я снова был молод, и то, что я в себе чувствовал, этот жаркий, текучий огонь, эта неодолимо влекущая тяга, эта расковывающая, как влажный мартовский ветер, страстность, было молодым, новым и настоящим. О, как загорелись забытые огни, как мощно и глухо зазвучала музыка былого, как заиграло в крови, как закричало и запело в душе! Я был мальчиком пятнадцати или шестнадцати лет, моя голова была набита латынью, греческим и стихами прекрасных поэтов, мои мысли полны честолюбивых устремлений, мои фантазии наполнены мечтой о художничестве, но намного глубже, сильней и страшней, чем все эти полыхающие огни, горели и вспыхивали во мне огонь любви, голод пола, изнурительное предчувствие наслажденья.

Я стоял на каменистом холме над моим родным городком, пахло влажным ветром и первыми фиалками, внизу, в городке, сверкала река, сверкали окна моего отчего дома, и во всем этом зрелище, во всех этих звуках и запахах была та бурная полнота, новизна и первозданность, та сияющая красочность, все это дышало на весеннем ветру той неземной просветленностью, что виделись мне в мире когда-то, в самые богатые, поэтические часы моей первой молодости. Я стоял на холме, ветер шевелил мои длинные волосы; погруженный в мечтательную любовную тоску, я рассеянно сорвал с какого-то едва зазеленевшего куста молодую, полураскрывшуюся почку, поднес ее к глазам, понюхал (и уже от этого запаха меня обожгли воспоминания обо всем, что было тогда), взял губами, которые еще не целовали ни одной девушки, этот зеленый комочек и стал жевать его. И стоило лишь мне ощутить его терпкий, душисто-горький вкус, как я вдруг отчетливо понял, что со мной происходит. Я заново переживал один час из моего позднего отрочества, один воскресный день ранней весны, тот день, когда я, гуляя в одиночестве, встретил Розу Крейслер и так робко поздоровался с нею, так одурело влюбился в нее.

Тогда я с боязливым ожиданьем глядел на эту красивую девушку, которая, еще не замечая меня, одиноко и мечтательно поднималась в мою сторону, видел ее волосы, заплетенные в толстые косы и все же растрепанные у щек, где играли и плыли на ветру вольные пряди. Я увидел в первый раз в жизни, как прекрасна эта девушка, как прекрасна и восхитительна эта игра ветра в нежных ее волосах, как томительно-прекрасно облегает ее гонкое синее платье юное тело, и точно так же, как от горько-пряного вкуса разжеванной почки меня проняла вся сладостно-жуткая, вся зловещая радость весны, так при виде этой девушки меня охватило во всей его полноте смертель-

ное предчувствие любви, представленье о женщине, потрясающее предощущенье огромных возможностей и обещаний, несказанных блаженств, немыслимых смятений, страхов, страданий, величайшего освобожденья и глубочайшей вины. О, как горел этот горький весенний вкус на моем языке! О, как струился, играя, ветер сквозь волосы, распустившиеся у ее румяных щек! Потом она приблизилась ко мне, подняла глаза и узнала меня, на мгновенье чуть покраснела и отвела взгляд; потом я поздоровался с ней, сняв свою конфирмандскую шляпу, и Роза сразу овладела собой, улыбнувшись и немножко по-дамски задрав голову, ответила на мое приветствие и медленно, твердо и надменно пошла дальше, овеянная тысячами любовных желаний, требований, восторгов, которые я посылал ей вослед.

Так было когда-то, в одно воскресенье тридцать пять лет тому назад, и все тогдашнее вернулось в эту минуту — и холмы, и город, и мартовский ветер, и запах почки, и Роза, и ее каштановые волосы, и эта нарастающая тяга, и этот сладостный, щемящий страх. Все было как тогда, и мне казалось, что я больше никогда в жизни так не любил, как любил тогда Розу. Но на сей раз мне было дано встретить ее иначе, чем в тот раз. Я видел, как она покраснела, узнав меня, видел, как старалась скрыть, что покраснела, и сразу понял, что нравлюсь ей, что для нее эта встреча имеет такое же значенье, как для меня. И вместо того чтобы снова снять шляпу и чинно постоять со шляпой в руке, пока она не пройдет мимо, я на сей раз, несмотря на страх и стесненье, сделал то, что велела мне сделать кровь, и воскликнул: «Роза! Слава богу, что ты пришла, прекрасная, прекрасная девочка. Я тебя так люблю». Это было, наверно, не самое остроумное, что можно было в ту минуту сказать, но тут вовсе не требовалось ума, этого было вполне достаточно. Роза не приосанилась по-дамски и не прошла мимо, Роза остановилась, посмотрела на меня, покраснела еще больше и сказала: «Здравствуй, Гарри, я тебе действительно нравлюсь?» Ее карие глаза, ее крепкое лицо сияли, и я почувствовал: вся моя прошлая жизнь и любовь были неправильными, несуразными и глупо несчастными, с тех пор как я в то воскресенье дал Розе уйти. Но теперь ошибка была исправлена и все изменилось, все стало хорошо.

Мы взялись за руки и, рука в руке, медленно пошли дальше, несказанно счастливые, очень смущенные; мы не знали, что говорить и что делать, от смущенья мы пустились бегом и бежали, пока не запыхались, а потом остановились, не разнимая, однако, рук. Мы оба были еще в детстве и не знали, что делать друг с другом, мы не дошли в то воскресенье даже до первого поцелуя, но были невероятно счастливы. Мы стояли и дышали, потом сели на траву, и я гладил ей руку, а она другой рукой робко касалась моих волос, а потом мы опять встали и попытались померяться ростом, и на самом деле я был чуточку выше, но я этого не признал, а заявил, что мы совершенно одинакового роста, и что господь предназначил нас друг для друга, и что мы позднее поженимся. Тут Роза сказала, что пахнет фиалками, и, ползая на коленях по низкой весенней траве, мы нашли несколько фиалок с короткими стеблями, и каждый подарил другому свои, а когда стало прохладнее и свет начал уже косо падать на скалы, Роза сказала, что ей пора домой, и нам обоим сделалось очень грустно, потому что провожать я ее не смел, но теперь у нас была общая тайна, и это было самое дивное, чем мы обладали. Я остался наверху, среди скал, понюхал подаренные Розой фиалки, лег у обрыва на землю, лицом к пропасти, и стал смотреть вниз на город, и глядел до тех пор, пока далеко внизу не появилась ее милая фигурка и не пробежала мимо колодца и через мост. И теперь я знал, что она

добралась до дома своего отца и ходит по комнатам, и я лежал здесь, наверху, вдалеке от нее, но от меня к ней тянулась нить, шли токи, летела тайна.

Мы встречались то здесь, то там, на скалах, у садовых оград, всю весну, и когда зацвела сирень, впервые боязливо поцеловались. Мы, дети, мало что могли дать друг другу, и в поцелуе нашем не было еще ни жара, ни полноты, и распущенные завитки волос у ее ушей я осмелился лишь осторожно погладить. но вся любовь и радость, на какую мы были способны, была нашей, и с каждым застенчивым прикосновеньем, с каждым незрелым словом любви мы учились новому счастью, поднимались еще на одну ступеньку по лестнице любви.

Так, начиная с Розы и фиалок, я прожил еще раз всю свою любовную жизнь, но под более счастливыми звездами. Роза потерялась, и появилась Ирмгард, и солнце стало жарче, звезды — пьянее, но ни Роза, ни Ирмгард не стали моими, мне пришлось подниматься со ступеньки на ступеньку, многое испытать, многому научиться, пришлось потерять и Ирмгард, и Анну тоже. Каждую девушку, которую я в юности когда-то любил, я любил снова, но способен был каждой внушить любовь, каждой что-то дать, быть одаренным каждой. Желанья, мечты и возможности, жившие некогда только в моем воображении, были теперь действительностью. О все вы, прекрасные цветки, Ида и Лора,— все, кого я когда-то любил хоть одно лето, хоть один месяц, хоть один день!

Я понял, что я был теперь тем славным, пылким юнцом, который так рьяно устремился тогда к вратам любви, понял, что теперь я проявлял и взращивал эту часть себя, эту лишь на десятую, на тысячную долю сбывшуюся часть своего естества, что теперь меня не отягощали все прочие ипостаси моего «я», не перебивал мыслитель, не мучил Степной Волк, не урезал поэт, фантаст, моралист. Нет, теперь я не был никем, кроме как любящим, не дышал никаким счастьем и никаким страданьем, кроме счастья и страданья любви. Уже Ирмгард научила меня танцевать, Ида — целоваться, а самая красивая, Эмма, была первой, которая осенним вечером, под колышущейся листвой вяза, дала поцеловать мне свои смуглые груди и испить чашу радости.

Многое пережил я в театрике Пабло, и словами не передать даже тысячной доли. Все девушки, которых я когда-либо любил, были теперь моими, каждая давала мне то, что могла дать только она, каждой давал я то, что только она была способна взять у меня. Много любви, много счастья, много наслаждений, но и немало замешательств, немало страданий довелось мне изведать, вся упущенная любовь моей жизни волшебно цвела в моем саду в этот сказочный час — невинные, нежные цветки, цветки полыхающие, яркие, цветы темные, быстро вянущие, жгучая печаль, испуганное умиранье, сияющее возрожденье. Я встречал женщин, завоевать которых можно было лишь поспешно и приступом, и таких, за которыми долго и тщательно ухаживать было счастьем; вновь возникал каждый туманный уголок моей жизни, где когда-либо, хоть минуту, звал меня голос пола, зажигал женский взгляд, манил блеск белой девичьей кожи, и все упущенное наверстывалось. Каждая становилась моей, каждая на свой лад. Появилась та женщина с необыкновенными темно-карими глазами под льняными локонами, рядом с которой я когда-то простоял четверть часа у окна в коридоре скорого поезда,— она не сказала ни слова, но научила меня небывалым, пугающим, смертельным искусствам любви. И гладкая, тихая, стеклянно улыбающаяся китаянка из марсельского порта с гладкими, черными как смоль волосами

и плавающими глазами — она тоже знала неслыханные вещи. У каждой была своя тайна, аромат своего земного царства, каждая целовала, смеялась по-своему, была на свой, особенный лад стыдлива, на свой, особенный лад бесстыдна. Они приходили и уходили, поток приносил их ко мне, нес меня, как щепку, к ним и от них, это было озорное, ребяческое плаванье в потоке плотской любви, полное прелести, опасностей, неожиданностей. И я удивлялся тому, как богата была моя жизнь, моя на вид такая бедная и безлюбовная волчья жизнь, влюбленностями, благоприятными случаями, соблазнами. Я их почти все упускал, почти ото всех бежал, об иные споткнувшись, я забывал их как можно скорее — а тут они все сохранились, без единого пробела, сотнями. И теперь я видел их, отдавался им, был им открыт, погружался в розовые сумерки их преисподней. Вернулся и тот соблазн, что некогда предложил мне Пабло, и другие, более ранние, которые я в то время даже не вполне понимал, фантастические игры втроем и вчетвером — все они с улыбкой принимали меня в свой хоровод. Такие тут творились дела, такие игрались игры, что и слов нет.

Из бесконечного потока соблазнов, пороков, коллизий я вынырнул другим человеком — тихим, молчаливым, подготовленным, насыщенным знаньем, мудрым, искушенным, созревшим для Гермины. Последним персонажем в моей тысячеликой мифологии, последним именем в бесконечном ряду возникла она, Гермина, и тут же ко мне вернулось сознанье и положило конец сказке любви, ибо с Герминой мне не хотелось встречаться здесь, в сумраке волшебного зеркала, ей принадлежала не только одна та фигура моих шахмат, ей принадлежал Гарри весь. О, теперь следовало перестроить свои фигуры так, чтобы все завертелось вокруг нее и свершилось.

Поток выплеснул меня на берег, я снова стоял в безмолвном коридоре театра. Что теперь? Я потянулся было к лежавшим у меня в кармане фигуркам, но этот порыв сразу прошел. Неисчерпаем был окружавший меня мир дверей, надписей, магических зеркал. Я невольно прочел ближайшую надпись и содрогнулся:

Как убивают любовью

гласила она. В моей памяти мгновенно вспыхнула картина: Гермина за столиком ресторана, забывшая вдруг про вино и еду и ушедшая в тот многозначительный разговор, когда она, со страшной серьезностью во взгляде, сказала мне, что заставит меня влюбиться в нее лишь для того, чтобы принять смерть от моей руки. Тяжелая волна страха и мрака захлестнула мне сердце, все снова вдруг встало передо мной, я снова почувствовал вдруг в глубинах души беду и судьбу. В отчаянии я полез в карман, чтобы достать оттуда фигуры, чтобы немного поколдовать и изменить весь ход моей партии. Фигур там уже не было. Вместо фигур я вынул из кармана нож. Испугавшись до смерти, я побежал по коридору, мимо дверей, потом вдруг остановился у огромного зеркала и взглянул в него. В зеркале стоял, с меня высотой, огромный прекрасный волк, стоял тихо, боязливо сверкая беспокойными глазами. Он нет-нет да подмигивал мне и посмеивался, отчего пасть его на миг размыкалась, обнажая красный язык.

Где был Пабло? Где была Гермина? Где был тот умный малый, что так красиво болтал о построении личности?

Я еще раз взглянул в зеркало. Я тогда, видно, спятил. Никакого

волка, вертевшего языком, за высоким стеклом не было. В зеркале стоял я, стоял Гарри, с серым лицом, покинутый всеми играми, уставший от всех пороков, чудовищно бледный, но все-таки человек, все-таки кто-то, с кем можно было говорить.

— Гарри,— сказал я,— что ты здесь делаешь?

— Ничего,— сказал тот в зеркале,— я просто жду. Жду смерти.

— А где смерть? — спросил я.

— Придет,— сказал тот. И я услыхал музыку, донесшуюся из пустых помещений внутри театра, прекрасную и страшную музыку, ту музыку из «Дон Жуана», что сопровождает появление каменного гостя. Зловещим гулом наполнили этот таинственный дом ледяные звуки, пришедшие из потустороннего мира, от бессмертных.

«Моцарт!» — подумал я и вызвал этим словом, как заклинаньем, самые любимые и самые высокие образы моей внутренней жизни.

Тут позади меня раздался смех, звонкий и холодный, как лед, смех, рожденный неведомым человеку потусторонним миром выстраданного, потусторонним миром божественного юмора. Я обернулся, оледененный и осчастливленный этим смехом, и тут показался Моцарт, прошел, смеясь, мимо меня, спокойно направился к одной из дверей, что вели в ложи, отворил ее и вошел внутрь, и я устремился за ним, богом моей юности, пожизненным пределом моей любви и моего поклоненья. Музыка зазвучала опять. Моцарт стоял у барьера ложи, театра не было видно, пространство наполнял мрак.

— Видите, — сказал Моцарт, — можно обойтись и без саксофона. Хотя я, конечно, не хочу обижать этот инструмент.

— Где мы? — спросил я.

— Мы в последнем акте «Дон Жуана», Лепорелло уже на коленях. Превосходная сцена, да и музыка ничего, право. Хоть в ней еще и много очень человеческого, но все-таки уже чувствуется потустороннее, чувствуется этот смех — разве нет?

— Это последняя великая музыка, которая была написана,— сказал я торжественно, как какой-нибудь школьный учитель.— Конечно, потом был еще Шуберт, был еще Гуго Вольф, и бедного прекрасного Шопена тоже забывать я не должен. Вы морщите лоб, маэстро,— с да, ведь есть еще и Бетховен, он тоже чудесен. Но во всем этом, как оно ни прекрасно, есть уже какая-то отрывочность, какое-то разложение, произведений такой совершенной цельности человек со времен «Дон Жуана» уже не создавал.

— Не напрягайтесь,— засмеялся Моцарт, засмеялся со страшным сарказмом.— Вы ведь, наверно, сами музыкант? Ну так вот, я бросил это занятие, я ушел на покой. Лишь забавы ради я иногда еще поглядываю на эту возню.

Он поднял руки, словно бы дирижируя, и где-то взошла не то луна, не то какое-то другое бледное светило, я смотрел поверх барьера в безмерные глубины пространства, там плыли туманы и облака, неясно вырисовывались горы и взморья, под нами простиралась бескрайняя, похожая на пустыню равнина. На этой равнине мы увидели какого-то старого длиннобородого господина почтенного вида, который с печальным лицом возглавлял шествие: за ним следовало несколько десятков тысяч мужчин, одетых в черное. Вид у него был огорченный, безнадежный, и Моцарт сказал:

— Видите, это Брамс. Он стремится к освобожденью, но время еще терпит.

Я узнал, что черные тысячи — это всё исполнители тех голосов и нот, которые, с божественной точки зрения, были лишними в его партитурах.

— Слишком густая оркестровка, растрачено слишком много материала,— покачал головой Моцарт.

И сразу затем мы увидели Рихарда Вагнера, который шагал во главе столь же несметных полчищ, и почувствовали, какая изматывающая обуза для него — эти тяжелые тысячи. Он тоже, мы видели, брел усталой походкой страдальца.

— Во времена моей юности,— заметил я грустно,— оба эти музыканта считались предельно противоположными друг другу.

Моцарт засмеялся:

— Да, это всегда так. Если взглянуть с некоторого расстояния, то такие противоположности обычно все ближе сходятся. Густая оркестровка не была, кстати, личной ошибкой Вагнера и Брамса, она была заблуждением их времени.

— Что? И за это они должны так тяжко платить?— воскликнул я обвиняюще.

— Разумеется. Дело идет по инстанциям. Лишь после того, как они погасят долг своего времени, выяснится, осталось ли еще столько личных долгов, чтобы стоило взыскивать их.

— Но они же оба в этом не виноваты!

— Конечно, нет. Не виноваты они и в том, что Адам съел яблоко, а платить за это должны они.

— Но это ужасно.

— Конечно. Жизнь всегда ужасна. Мы не виноваты, и все-таки мы в ответе. Родился — и уже виноват. Странно же вас учили закону божьему, если вы этого не знали.

Я почувствовал себя довольно несчастным. Я увидел, как сам я, смертельно усталый странник, бреду по пустыне того света, нагруженный множеством ненужных книг, которые я написал, всеми этими статьями, всеми этими литературными заметками, а за мной следуют полчища наборщиков, которые должны были над ними трудиться, полчища читателей, которые должны были все это проглотить. Боже мой! А ведь, кроме того, были еще Адам и яблоко и весь остальной первородный грех. Все это, значит, надо искупить, пройти через бесконечное чистилище, и лишь потом встанет вопрос, есть ли за всем этим еще что-то личное, что-то собственное, или же все мои усилия и их последствия были лишь пустой пеной на море, лишь бессмысленной игрой в потоке событий.

Моцарт стал громко смеяться, увидев мое вытянувшееся лицо. От смеха он кувыркался в воздухе и дробно стучал ногами. При этом он покрикивал на меня:

— Что, мальчонка, свербит печенка, зудит селезенка? Вспомнил своих читателей, пройдох и стяжателей, несчастных пенкоснимателей, и своих наборщиков, подстрекателей-наговорщиков, еретиков-заговорщиков, паршивых притворщиков? Ну, насмешил, змей-крокодил, так ублажил, так уморил, что я чуть в штаны не наложил! Тебе, легковерному человечку, печатному твоему словечку, печальному твоему сердечку поставлю для смеха поминальную свечку! Наврал, набрехал, языком натрепал, хвостом повилял, наплел, навонял. В ад пойдешь на муки вящие, на страданья надлежащие за писанья негодящие. Все, что ты кропал, ненастоящее, все-то ведь чужое, завалящее.

Это уж показалось мне наглостью, от злости у меня не осталось времени предаваться грусти. Я схватил Моцарта за косу, он взлетел, коса все растягивалась и растягивалась, как хвост кометы, и я, повиснув как бы на его конце, несся через вселенную. Черт возьми, до чего же холодно было в этом мире! Эти бессмертные любили ужасно разреженный ледяной воздух. Но он веселил, этот ледяной

воздух, это я еще почувствовал в тот короткий миг, после которого потерял сознанье. Меня проняло острейшей, сверкающей, как сталь, ледяной радостью, желаньем залиться таким же звонким, неистовым, неземным смехом, каким заливался Моцарт. Но тут я задохнулся и лишился чувств.

Я очнулся растерянным и разбитым, белый свет коридора отражался на блестящем полу. Я не был у бессмертных, еще нет. Я был все еще в посюстороннем мире загадок, страданий, Степных Волков, мучительных сложностей. Скверное место, пребывать в нем невыносимо. С этим надо было покончить.

В большом стенном зеркале напротив меня стоял Гарри. Выглядел он плохо, так же примерно, как выглядел в ту ночь после визита к профессору и бала в «Черном орле». Но это было давно, много лет, много столетий тому назад; Гарри стал старше, он научился танцевать, побывал в магических театрах, слышал, как смеется Моцарт, не боялся уже ни танцев, ни женщин, ни ножей. Даже человек умеренно одаренный созревает, пробежав через несколько столетий. Долго глядел я на Гарри в зеркале: он был еще хорошо мне знаком, он все еще чуточку походил на пятнадцатилетнего Гарри, который в одно мартовское воскресенье встретил среди скал Розу и снял перед ней свою конфирмандскую шляпу. И все же он стал теперь на сотню-другую годиков старше, он уже занимался музыкой и философией и донельзя насытился ими, уже пивал эльзасское в «Стальном шлеме» и дискутировал с добропорядочными учеными о Кришне, уже любил Эрику и Марию, уже стал приятелем Гермины, стрелял по автомобилям, спал с гладкой китаянкой, встречался с Гёте и Моцартом и прорывал в разных местах сеть времени и мнимой действительности, еще опутывавшую его. Если он и потерял свои красивые шахматные фигуры, то зато у него в кармане был славный нож. Вперед, старый Гарри, старый, усталый воробей!

Тьфу, пропасть, как горька была на вкус жизнь! Я плюнул на Гарри в зеркале, я пнул его ногой и разбил вдребезги. Медленно шел я по гулкому коридору, внимательно оглядывая двери, которые раньше обещали столько хорошего,—ни на одной не было теперь надписи. Я медленно обошел сотни дверей магического театра. Разве не был я сегодня на костюмированном балу? С тех пор миновало сто лет. Скоро никаких лет больше не будет. Оставалось еще что-то сделать. Гермина еще ждала. Странная это будет свадьба. Меня несла какая-то мутная волна, я мрачно куда-то плыл, раб, Степной Волк. Тьфу, пропасть!

У последней двери я остановился. Мутная волна тянула меня туда. О Роза, о далекая юность, о Гёте и Моцарт!

Я отворил дверь. За ней мне открылась простая и прекрасная картина. На коврах, покрывавших пол, лежали два голых человека, прекрасная Гермина и прекрасный Пабло, рядышком, в глубоком сне, глубоко изнуренные любовной игрой, которая кажется такой ненасытной и, однако, так быстро насыщает. Прекрасные, прекрасные человеческие экземпляры, прелестные картины, великолепные тела. Под левой грудью Гермины было свежее круглое пятно с темным кровоподтеком, любовный укус, след прекрасных, сверкающих зубов Пабло. Туда, в этот след, всадил я свой нож на всю длину лезвия. Кровь потекла по белой, нежной коже Гермины. Я стер бы эту кровь поцелуями, если бы все было немного иначе, сложилось немного иначе. А теперь я этого не сделал; я только смотрел, как текла кровь, и увидел, что ее глаза на секунду открылись, полные боли и

глубокого удивления. «Почему она удивлена?» — подумал я. Затем я подумал о том, что мне надо закрыть ей глаза. Но они сами закрылись опять. Дело было сделано. Она только повернулась чуть на бок, я увидел, как от подмышки к груди порхнула легкая, нежная тень, которая мне что-то напоминала. Забыл! Потом Гермина не шевелилась.

Я долго смотрел на нее. Наконец как бы очнулся от сна и собрался уйти. Тут я увидел, как потянулся Пабло, увидел, как он раскрыл глаза и расправил члены, увидел, как он склонился над мертвой красавицей и улыбнулся. Никогда этот малый не станет серьезней, подумал я, все вызывает у него улыбку. Пабло осторожно отогнул угол ковра и прикрыл Гермину по грудь, так что раны не стало видно, а затем неслышно вышел из ложи. Куда он пошел? Неужели все покинут меня? Я остался наедине с полузакрытой покойницей, которую любил и которой завидовал. На бледный ее лоб свисал мальчишеский завиток, рот ее алел на побледневшем лице и был приоткрыт, сквозь ее нежно-душистые волосы просвечивало маленькое, затейливо вылепленное ухо.

Вот и исполнилось ее желанье. Еще до того как она стала совсем моей, я убил свою возлюбленную. Я совершил немыслимое, и вот я стоял на коленях, не зная, что означает этот поступок, не зная даже, хорош ли он, правилен или нехорош и неправилен. Что сказал бы о нем тот умный шахматист, что сказал бы о нем Пабло? Я ничего не знал, я не мог думать. Все жарче на гаснущем лице алел накрашенный рот. Такой была вся моя жизнь, такой была моя малая толика любви и счастья, как этот застывший рот: немного алой краски на мертвом лице.

И от этого мертвого лица, от мертвых белых плеч, от мертвых белых рук медленно подкрадывался ужас, от них веяло зимней пустотой и заброшенностью, медленно нарастающим холодом, на котором у меня стали коченеть пальцы и губы. Неужели я погасил солнце? Неужели убил сердце всяческой жизни? Неужели это врывался мертвящий холод космоса?

Содрогаясь, глядел я на окаменевший лоб, на застывший завиток волос, на бледно-холодное мерцание ушной раковины. Холод, истекавший от них, был смертелен и все же прекрасен: он звенел, он чудесно вибрировал, он был музыкой!

Не чувствовал ли я уже однажды и в прошлом этого ужаса, который в то же время был чем-то вроде счастья? Не слыхал ли уже когда-то этой музыки? Да, у Моцарта, у бессмертных.

Мне вспомнились стихи, которые я однажды где-то нашел:

Ну, а мы в эфире обитаем,
Мы во льду астральной выщины
Юности и старости не знаем,
Возраста и пола лишены...
Холодом сплошным объяты мы,
Холоден и звонок смех наш вечный...

Тут дверь ложи открылась, и вошел — я узнал его лишь со второго взгляда — Моцарт, без косицы, не в штанах до колен, не в башмаках с пряжками, а современно одетый. Он сел совсем рядом со мной, я чуть не дотронулся до него и не задержал его, чтобы он не замарался кровью, вытекшей на пол из груди Гермины. Он сел и сосредоточенно занялся какими-то стоявшими вокруг небольшими аппаратами и приборами, он очень озабоченно орудовал какими-то винтами и рычагами, и я с восхищеньем смотрел на его ловкие, быстрые пальцы, которые был бы не прочь увидеть разок над фортепьянными клавишами. Задумчиво глядел я на него, вернее, не

задумчиво, а мечтательно, целиком уйдя в созерцанье его прекрасных, умных рук, отогретый и немного испуганный чувством его близости. Что, собственно, он тут делал, что подкручивал и налаживал,— на это я совсем не обращал внимания.

А устанавливал он и настраивал радиоприемник, и теперь он включил громкоговоритель и сказал:

— Это Мюнхен, передают фа-мажорный «Кончерто гроссо» Генделя.

И правда, к моему неописуемому изумленью и ужасу, дьявольская жестяная воронка выплюнула ту смесь бронхиальной мокроты и жеваной резины, которую называют музыкой владельцы граммофонов и абоненты радио,— а за слизью и хрипами, как за корой грязи старую, великолепную картину, можно было и правда различить благородный строй этой божественной музыки, ее царственный лад, ее холодное глубокое дыханье, ее широкое струнное полнозвучье.

— Боже,— воскликнул я в ужасе,— что вы делаете, Моцарт? Неужели вы не в шутку обрушиваете на себя и на меня эту гадость, не в шутку напускаете на нас этот мерзкий прибор, триумф нашей эпохи, ее последнее победоносное оружие в истребительной войне против искусства? Неужели без этого нельзя обойтись, Моцарт?

О, как рассмеялся тут этот жуткий собеседник, каким холодным и призрачным, беззвучным и в то же время всеразрушающим смехом! С искренним удовольствием наблюдал он за моими муками, вертел проклятые винтики, передвигал жестяную воронку. Смеясь, продолжал он цедить обезображенную, обездушенную и отравленную музыку, смеясь, отвечал мне:

— Не надо пафоса, соседушка! Кстати, вы обратили вниманье на это ритардандо? Находка, а? Ну, так вот, впустите-ка в себя, нетерпеливый вы человек, идею этого ритардандо — слышите басы? Они шествуют, как боги,— и пусть эта находка старика Генделя проймет и успокоит ваше беспокойное сердце! Вслушайтесь, человечишка, вслушайтесь без патетики и без насмешки, как за покровом этого смешного прибора, покровом и правда безнадежно дурацким, маячит далекий образ этой музыки богов! Прислушайтесь, тут можно кое-чему поучиться. Заметьте, как этот сумасшедший рупор делает, казалось бы, глупейшую, бесполезнейшую и запретнейшую на свете вещь, как он глупо, грубо и наобум швыряет исполняемую где-то музыку, к тому же уродуя ее, в самые чуждые ей, в самые неподходящие для нее места — и как он все-таки не может убить изначальный дух этой музыки, как демонстрирует на ней лишь беспомощность собственной техники, лишь собственное бездуховное деляческо! Прислушайтесь, человечишка, хорошенько, вам это необходимо! Навострите-ка ушки! Вот так. А ведь теперь вы слышите не только изнасилованного радиоприемником Генделя, который и в этом мерзейшем виде еще божествен,— вы слышите и видите, уважаемый, заодно и превосходный символ жизни вообще. Слушая радио, вы слышите и видите извечную борьбу между идеей и ее проявленьем, между вечностью и временем, между божественным и человеческим. Точно так же, мой дорогой, как радио в течение десяти минут бросает наобум великолепнейшую на свете музыку в самые немыслимые места, в мещанские гостиные и в чердачные каморки, меча ее своим болтающим, жрущим, зевающим, спящим абонентам, как оно крадет у музыки ее чувственную красоту, как оно портит ее, коверкает, слюнит и все же не в силах окончательно убить ее дух — точно так же и жизнь, так называемая действительность, разбрасывает, играя, великолепную вереницу картин мира, швыряет вслед за Генделем доклад о технике подчистки баланса на средних промыш-

ленных предприятиях, превращает волшебные звуки оркестра в неаппетитную слизь, неукоснительно впихивает свою технику, свое делячество, сумятицу своих нужд, свою суетность между идеей и реальностью, между оркестром и ухом. Такова, мой маленький, вся жизнь, и мы тут ничего не можем поделать, и если мы не ослы, то мы смотрим на это с усмешкой. Таким людям, как вы, совсем не к лицу критиковать радио или жизнь. Лучше научитесь сначала слушать! Научитесь серьезно относиться к тому, что заслуживает серьезного отношения, и смеяться над прочим! А разве вы сами-то поступали лучше, благородней, умней, с бóльшим вкусом? О нет, мосье Гарри, никак нет. Вы сделали из своей жизни какую-то отвратительную историю болезни, из своего дарованья какое-то несчастье. И такой красивой, такой очаровательной девушке вы, как я вижу, не нашли другого применения, чем пырнуть ее ножом и убить! Неужели вы считаете это правильным?

— Правильным? О нет! — воскликнул я в отчаянье.— Боже мой, все это ведь так неправильно, так дьявольски глупо и скверно! Я скотина, Моцарт, глупая, злая скотина, больная и испорченная, тут вы тысячу раз правы... Но что касается девушки, то она сама этого хотела, я только исполнил ее собственное желанье.

Моцарт беззвучно рассмеялся, но все же соблаговолил выключить радио.

Мое оправданье, хотя я еще только что чистосердечно верил в него, внезапно показалось мне довольно глупым. Когда Гермина однажды — вспомнил я вдруг — говорила о времени и вечности, я сразу готов был считать ее мысли отраженьем моих собственных мыслей. А что мысль о том, чтобы я убил ее, возникла у Гермины самой, без какого бы то ни было влияния с моей стороны,— это я принял как нечто само собой разумеющееся. Но почему же я тогда не просто принял эту страшную, эту поразительную мысль, не просто поверил в нее, а даже угадал ее наперед? Не потому ли все-таки, что она была моей собственной? И почему я убил Гермину как раз в тот миг, когда застал ее голой в объятьях другого? Всеведенья и издевки был полон беззвучный смех Моцарта.

— Гарри,— сказал он,— вы шутник. Неужели и в самом деле эта красивая девушка не хотела от вас ничего, кроме удара ножом? Рассказывайте это кому-нибудь другому! Ну, хоть пырнули-то вы хорошенько, бедная малышка мертвехонька. Пора вам, пожалуй, уяснить себе последствия вашей галантности по отношению к этой даме. Или вы хотите увильнуть от последствий?

— Нет,— крикнул я.— Неужели вы ничего не понимаете? Увильнуть от последствий! Да ведь если я чего и хочу, то лишь искупить, искупить свою вину, положить голову на плаху, принять наказанье, быть уничтоженным!

Моцарт поглядел на меня с нестерпимой издевкой.

— До чего же вы патетичны! Но вы еще научитесь юмору, Гарри. Юмор — всегда юмор висельника, и в случае надобности вы научитесь юмору именно на виселице. Вы готовы к этому? Да? Отлично, тогда ступайте к прокурору и терпеливо сносите всю лишенную юмора судейскую канитель, пока вам холодно не отрубят голову ранним утром в тюрьме. Вы, значит, готовы к этому?

Передо мной вдруг сверкнула надпись:

Казнь Гарри

и я кивнул головой в знак согласия. Голый двор среди четырех стен с маленькими зарешеченными окошками, опрятно прибранная гильотина, десяток господ в мантиях и сюртуках, а среди них стоял я, продрогший на сыром воздухе раннего утра, жалкий, с давящим страхом в сердце, но готовый и согласный. По приказу я сделал несколько шагов вперед, по приказу стал на колени. Прокурор снял свою шапочку и откашлялся, и все остальные господа тоже откашлялись. Он развернул какую-то грамоту и, держа ее перед собой, стал читать:

— Господа, перед вами стоит Гарри Галлер, обвиненный и признанный виновным в преднамеренном злоупотреблении нашим магическим театром. Галлер не только оскорбил высокое искусство, спутав нашу прекрасную картинную галерею с так называемой действительностью и заколов зеркальное изображение девушки зеркальным изображением ножа, он, кроме того, не юмористическим образом обнаружил намерение воспользоваться нашим театром как механизмом для самоубийства. Вследствие этого мы приговариваем Галлера к наказанию вечной жизнью и к лишению на двенадцать часов права входить в наш театр. Обвиняемый не может быть освобожден также и от наказания однократным высмеиванием. Господа, приступайте: раз-два-три!

И по счету «три» все присутствующие самым добросовестным образом залились смехом, смехом небесного хора, ужасным, нестерпимым для человеческого слуха смехом потустороннего мира.

Когда я пришел в себя, Моцарт, сидевший рядом со мной как прежде, похлопал меня по плечу и сказал:

— Вы слышали вынесенный вам приговор. Придется, стало быть, вам привыкнуть слушать и впредь радиомузыку жизни. Это пойдет вам на пользу. Способности у вас, милый дуралей, на редкость маленькие, но теперь вы, наверно, постепенно все-таки поняли, чего от вас требуют! Вы готовы закалывать девушек, готовы торжественно идти на казнь, и вы были бы, вероятно, готовы также сто лет бичевать себя и умерщвлять свою плоть? Или нет?

— О да, готов всей душой,— воскликнул я горестно.

— Конечно! Вас можно подбить на любую лишенную юмора глупость, великодушный вы господин, на любое патетическое занудство! Ну, а меня на это подбить нельзя, за все ваше романтическое покаянье я не дам и ломаного гроша. Вы хотите, чтобы вас казнили. Вы хотите, чтобы вам отрубили голову, неистовый вы человек! Ради этого дурацкого идеала вы согласны совершить еще десять убийств. Вы хотите умереть, трус вы эдакий, а не жить. А должны-то вы, черт вас возьми, именно жить! Поделом бы приговорить вас к самому тяжкому наказанью.

— О, что же это за наказанье?

— Мы могли бы, например, оживить эту девушку и женить вас.

— Нет, к этому я не готов. Вышла бы беда.

— А то вы уже не натворили бед! Но с патетикой и убийствами надо теперь покончить. Образумьтесь наконец! Вы должны жить и должны научиться смеяться. Вы должны научиться слушать проклятую радиомузыку жизни, должны чтить скрытый за нею дух, должны научиться смеяться над ее суматошностью. Вот и все.

Я тихо, сквозь сжатые зубы, спросил:

— А если я откажусь? А если я, господин Моцарт, не признаю за вами права распоряжаться Степным Волком и вмешиваться в его судьбу?

— Тогда,— миролюбиво сказал Моцарт,— я предложил бы тебе выкурить еще одну мою папироску.

И пока он говорил это и протягивал мне папироску, каким-то вол-

шебством извлеченную им из кармана жилетки, он вдруг перестал быть Моцартом,— он тепло смотрел на меня темными, чужеземными глазами и был моим другом Пабло и одновременно походил, как близнец, на того, кто научил меня игре с фигурками.

— Пабло! — воскликнул я, вздрогнув.— Пабло, где мы?

Пабло дал мне папиросу и поднес к ней огонь.

— Мы,— улыбнулся он,— в моем магическом театре. и если тебе угодно выучить танго, или стать генералом, или побеседовать с Александром Великим, то все это в следующий раз к твоим услугам. Но должен сказать тебе, Гарри, что ты меня немного разочаровал. Ты совсем потерял голову, ты прорвал юмор моего маленького театра и учинил безобразие, ты пускал в ход ножи и осквернял наш славный мир образов пятнами действительности. Это некрасиво с твоей стороны. Надеюсь, ты сделал это по крайней мере из ревности, когда увидел, как мы лежали с Германой. С этой фигурой ты, к сожалению, оплошал — я думал, что ты усвоил игру лучше. Ничего, дело поправимое.

Он взял Гермину, которая в его пальцах сразу же уменьшилась до размеров шахматной фигурки, и сунул ее в тот же карман, откуда раньше извлек папиросу.

Приятен был аромат сладкого тяжелого дыма, я чувствовал себя опустошенным и готовым проспать хоть целый год.

О, я понял все, понял Пабло, понял Моцарта, я слышал где-то сзади его ужасный смех, я знал, что все сотни тысяч фигур игры жизни лежат у меня в кармане, я изумленно угадывал смысл игры, я был согласен начать ее еще раз, еще раз испытать ее муки, еще раз содрогнуться перед ее нелепостью, еще раз и еще множество раз пройти через ад своего нутра.

Когда-нибудь я сыграю в эту игру получше. Когда-нибудь я научусь смеяться. Пабло ждал меня. Моцарт ждал меня.

От переводчика

Германа Гессе (1877—1962) часто сопоставляют с Томасом Манном. Дело тут не только в дружбе, которая связывала этих двух художников-антифашистов. Как и Манн, Гессе — одно из самых ярких явлений западноевропейской культуры двадцатого века. Как и Манн, этот писатель, тоже родившийся в Германии и закончивший свой жизненный путь в Швейцарии,— классик немецкоязычных литератур. И в ГДР, и в ФРГ имя его пользуется глубоким уважением у читателей.

На 1977 год, кроме столетия со дня рождения Германа Гессе, кроме большого, так сказать, его юбилея, приходится еще юбилей малый — пятидесятилетие «Степного Волка», одной из самых значительных книг Гессе и самой, пожалуй, популярной, судя по числу переводов на иностранные языки.

Современному русскому читателю Гессе знаком пока по ранней повести «Под колесом» (1906) и по итоговому его произведению — утопическому роману «Игра в бисер» (1943), выходившим у нас соответственно в 1961 и 1969 годах Как и в тех книгах, заголовок «Степного Волка» содержит иносказание и обобщение. речь здесь идет не о зоологическом, а о социально-психологическом, культурно-духовном феномене.

Книга была начата и закончена зимой 1926—1927 годов. Приближавшийся к своему пятидесятилетию писатель переживал тяжелый личный кризис: распадался его второй брак (а первый тоже оказался несчастным), надвигалась старость, жизнь вступала в тот этап, когда «дух,— по выражению Гессе,— устает от самого себя, сам себя развенчивает и уступает место природе, хаосу, животному началу», когда «аскетизм одухотворенности» сменяется «наивной чувственностью, детскостью, чем-то глупым, даже сумасшедшим и опасным». Мысль о самоубийстве, с которой носится в начале книги ее герой Гарри Галлер (чьи инициалы, заметьте, совпадают с инициалами Германа Гессе), не раз уже занимала и ее автора. И квартиры, которые Галлер снимает, и уроки танцев, которые он берет, и вечерние развлечения, которым он неумело предается, и их участники — все это тоже пришло в книгу из личного опыта автора и отчасти списано им с натуры.

Семейно-возрастной кризис оказался, по-видимому, для писателя, и прежде остро чувствовавшего неблагополучие эпохи, разительным внешним проявлением его, Гессе, давнего уже разлада с обществом, тем острым субъективным переживанием, тем шоком, благодаря которым только и становятся порой фактом искусства объективные факты.

Еще в ноябре 1914 года Гессе обратился к деятелям культуры со статьей «О други, не надо этак!» (слова из речитатива заключительной части Девятой симфонии Бетховена), где выступил против демагогической лжи, против разгула националистической ненависти в речах апологетов войны. Такую же ругань по своему адресу, как герою «Степного Волка», Гессе довелось читать в германской шовинистической прессе уже в 1915 году. В двадцатые годы, когда Гитлер делал свои первые шаги на политической арене, писатель, давно переехавший в Швейцарию, получал от реваншистски настроенных немецких студентов письма, объявлявшие его «неврастеником», «трупом», «безродным отщепенцем».

Были у Гессе и антимещанские по своим корням несогласия с поветриями послевоенного времени, со всякими новшествами двадцатых годов, например, сохранившаяся у него до конца дней неприязнь к экранизации литературных произведений как к таковой, недоверие ко входившему в моду радио, ко всяким средствам популяризации, к упрощенной информации вообще, будь то публичные лекции или массовые брошюрки. Во всем этом Гессе раздражал пошлый дух меркантильности, которым они и правда часто бывали порождены и пропитаны.

Все это, как читатель видит, нашло отзвук в «Степном Волке».

Но перед нами не просто автобиографический роман, герою которого автор «отдал» свою семейную драму, свои прогулки по танцзалам и барам, свои счеты с реакционной печатью и с «массовой культурой» конкретного исторического отрезка. Вещь потому и пережила уже на полвека родившие ее двадцатые годы, что Гарри Галлер — не чуть подгримированный Герман Гессе, а Степной Волк, что он обобщение, тип, тип человека, связанного происхождением, воспоминаниями детства, нравственными и эстетическими нормами с определенной средой, но с болью отрывающегося от этой среды, видящего трясины, в которых она погрязает сегодня, и пропасти, в которые она рискует рухнуть завтра. Среда эта — бюргерство, говоря по-русски: мещанство, без акцента на осуждающем оттенке слова, но с учетом такого оттенка. Гессе занимает здесь то же, что Томаса Манна в «Волшебной горе» (1924): пути европейского и немецкого бюргерства после первой мировой войны, и если позволительно продолжить ссылку на «Волшебную гору» без дополнительных пояснений, то можно сказать, что в «тысячу душ» Гарри Галлера входят и душа Ганса Касторпа, и душа Сеттембрини, и душа Нафты, и душа Пеперкорна. Роман Гессе потому еще выходит далеко за рамки двадцатых годов, что конфликт Степного Волка со средой перерастает здесь в нечто еще большее, в его конфликт с самой жизнью, в вечный вопрос «быть или не быть».

«Содержание и цель «Степного Волка»,— писал Гессе в 1932 году, имея в виду возмущение многих прежних своих поклонников этой вещью, показавшейся им больной, неблагопристойной, дикой,— не злободневные обличения и не личная нервозность, а Моцарт и бессмертные». Насчет целей, которые он себе ставит, автор всегда знает больше своих читателей, да и на наш взгляд цель «Степного Волка» определена в этих словах точно. Что же касается содержания, то «злободневные обличения» и «личная нервозность» как-никак важная его часть, они не вынесены за скобки, они — фактура, материал вещи. Этот животрепещущий, не книжный, не головной материал самозабвенно и смело сплавлен с мыслями, навеянными литературой и музыкой, с фактами культуры, с Гёте и Моцартом, слит с фантастическими картинами «магического театра». Иные из этих фантазий — например, сцена превращения человека в животное, в зверя или сцена охоты на автомобили — кажутся нам, помнящим о гитлеровских концлагерях, знающим, сколько ни в чем не повинных людей гибнет сегодня на Западе от рук тех, кто облекает свой протест против буржуазного общества в форму террора, не столь уж далекими от реальности. Интуиция писателя, пятьдесят лет назад прочно связавшего единой художественной структурой националистически настроенного профессора-филистера, подстрекающие к войне газетные статьи и поверхностно пошлые фильмы со своими прямо-таки апокалипсическими видениями, оказалась более провидческой, чем его тогдашняя оценка «злободневного» компонента своей же книги.

И все-таки не этим родимым пятнам двадцатых годов обязан «Степной Волк» нынешней своей известностью (об уродливом характере, который она иногда принимает, скажу ниже), не в них все-таки главный нерв вещи, секрет ее обаяния. Дело тут, повторяю, в обобщении, в перерастании частных ее проблем — проблемы мещанина и аутсайдера, человека без среды, проблемы высокого искусства и «ширпотреба» в искусстве, проблемы любви легкомысленной и любви серьезной, технического прогресса и регресса «природы» и т. п.— в извечный конфликт между добром и злом, светом и тьмой, жизнью и смертью. А это перерастание достигается здесь смелостью формы, отважной игрой воображения, игрой и с лично выстраданным, и с вычитанным в книгах, и с выслушанным в концертных залах. В самой этой игре, в самой возможности ее для Гессе как для художника содержится заряд света, добра, жизни, в

ней самой, даже при отсутствии рациональных решений проблем, дан некий оптимистический к ним подход, и такое умонастроение автора невольно передается читателю, окрыляет, очищает и его. «Степной Волк»,— писал Гессе одному из своих корреспондентов,— построен так же строго, как канон или фуга, он стал формой до такой степени, на какую я только способен. Он играет и даже танцует. Но веселость, заставляющая его это делать, черпает свою силу в такой степени холода и отчаяния, какая Вам и неведома. Нет формы без веры, и нет веры без предшествующего отчаяния, без предшествующего (и последующего) знания о «хаосе».

Даже самые несходные внешне, даже разъединенные десятилетиями произведения одного и того же писателя бывают связаны друг с другом множеством нитей, повторяющимися идеями, темами и мотивами, любимыми художественными приемами автора. Гессе, и вообще часто намекавший в последующих своих книгах на предшествующие, ясно указал в «Игре в бисер» на связь этой книги со «Степным Волком». В «опыте общедоступного введения» в «историю игры» говорится, что некогда, в прежние времена «игра» обозначалась выражением «магический театр». «Магический театр» — это, как видел читатель, самая смелая из фантазий «Степного Волка».

А смелостью, дерзостью эксперимента дышит вообще вся книга, и если бы от Гессе потребовали, чтобы он привел какой-нибудь наглядный пример, поясняющий, что же это такое — содержательная и блестящая партия в бисер, то, мне кажется, он был бы вправе сослаться на «Степного Волка» как на образец такой партии.

Гессе не раз заявлял, что он человек созерцания, мысли, а не поступка, действия. Он искал выхода из тупика буржуазной цивилизации Запада в обращении к разуму и совести отдельно взятого человека Сопротивление духа он считал важнейшей антифашистской силой. «В последние десятилетия,— писал он в 1946 году,— мы ведь уже видели, что презрение к размышлению в угоду молодцеватому действию ведет к преклонению перед пустой динамикой... короче, к Адольфу и Бенито (то есть к Гитлеру и Муссолини.— С. А.)». Выдуманная Гессе «игра в бисер» — это игра созерцания, игра мысли, компонующая самые далекие друг от друга материи и конкретно выражающая взаимосвязанность и взаимообусловленность всего на свете. И когда один гарцский кантор прислал ему свое сочинение — пассакалью с фугой на тему H—E—Es—Es—E (Hesse), а дрезденские студенты-филологи свой каллиграфически переписанный перевод на готский язык двадцати шести его стихотворений, писатель придал этим напоминающим «игру в бисер» проблескам бескорыстной духовности во мраке послевоенной материальной разрухи очень многообещающее, очень важное для будущего значение.

Но, называя себя «человеком созерцания, а не действия», Гессе не возводил этой позиции в идеал, он сознавал ее половинчатость. Он не ставил себя в поучительный пример, а лишь констатировал факт, устанавливал границы приемлемого для себя лично. «Действие — это как бы вдох, а созерцание — как бы выдох, и человек, не владеющий тем и другим, не вполне человек»,— сказано дальше в процитированном выше письме. Гибель главного героя «Игры в бисер», магистра игры, уготованная ему автором,— это конечное следствие непомерного разрыва между созерцанием и действием, между жизнью духовной и жизнью практической.

В словах о «хаосе», не только предшествующем «форме», но и за ней следующем, в этом «contra spem spero» [1], так же как в признании созерцателем Гессе однобокости, ущербности чистого созерцания, отразилась проблема, которую он десятилетиями нес от одной своей книги к другой,— проблема разрыва между созерцанием и действием, между жизнью духа и жизнью среди людей. «Погрузиться в хаос реальности и все же сохранить в себе веру в порядок и смысл»,— так формулировал задачу, стоящую перед ним, магистр игры в бисер Иозеф Кнехт, последний и как бы итоговый герой Гессе. Разве не к этому же стремится и Гарри Галлер, для того чтобы превратиться из «волка» в человека? Как на мост между сферой духа и сферой действия, практики, как на путь к «очеловечению» и трактат, и Гёте, и Пабло указывают Степному Волку на юмор, то есть на более мягкое, более терпимое, более снисходительное отношение к земной действительности,— Гарри Галлеру, который способен убивать без содрогания (в азарте борьбы) или с содроганием (из ревности), до этого моста еще далеко. Мост между «эфиром», «бессмертными», «вечностью», Гёте, Моцартом и «земной юдолью», пошлостью, корыстолюбием, жестокостью, жизнеутверждающее преодоление разрыва между обеими этими сферами, надежду на гармонию временно находит сам Гессе. Находит на то время, что длится игра формой, объединяющей обе сферы, а эта игра, как любая игра, невозможна без юмора, без искренней увлеченности, которая, видимо, и заражает читателя, и, наверно, ее заразительность имел в виду Томас Манн, когда сказал, что «Степной Волк» после долгого перерыва снова научил его, что значит читать.

Итак, Гессе сравнивал построение этой своей вещи с музыкальной пьесой, да и литературоведы любят говорить о «Степном Волке» как о «сонате в прозе» и делят книгу на три части: экспозиция, собственно действие и «магический театр»,— а эти три части, в свою очередь, на меньшие части; например, экспозицию на три таких подраздела: предисловие издателя, начало записок Гарри, трактат. Но как ни изобретательны

[1] Надеюсь вопреки надежде *(лат.)*.

порой подобные расчленения текста, они, мне кажется, скользят по поверхности, если не задевают той особенности формы «Степного Волка», которая неотделима от его оригинального содержания. Невнимание к этой формальной особенности повинно, кстати сказать, и в извращенных толкованиях смысла вещи.

Пусть читатель обратит внимание на то, как исподволь вводит автор элементы, выпадающие из временно́го и бытового плана, определенного на первых страницах, как постепенно подготавливается вольный полет воображения в «магическом театре». Первое упоминание об этом «театре» — световую надпись — нам легко принять за галлюцинацию отчаявшегося в жизни Гарри Галлера, Гёте является Гарри во сне; загадочного человека с анонсом вечернего аттракциона и с брошюркой трактата Галлер встречает тогда, когда ум его помутнен алкоголем, а кульминационные сцены беседы с Моцартом и убийством Гермины, как и прочие сцены «магического театра», происходят после того, как Гарри «подкрепляется» наркотическими снадобьями Пабло. Иначе говоря, отдельным «выпадениям» из реального плана дается по мере возможности какая-то реалистическая мотивировка — наркотики, в частности, появились на страницах «Степного Волка» ради нее, да и как черточка эпохи, а вовсе не как равноценный заменитель «бессмертия», «музыки сфер», и надпись «Только для сумасшедших», предваряющая записки Галлера, как бы предупреждает обо всех этих «выпадениях» в целом.

Таким образом, главная формальная задача, которую ставит здесь перед собой Гессе, состоит, на мой взгляд, в том, чтобы смело и легко связывать реальный и умозрительно-фантастический планы, не выставляя напоказ швов, скрепляющих с натурой, с эпохой мысли и картины, нарисованные воображением. Столь же смело соединяет Гессе на небольшом пространстве «Степного Волка» разные литературные пласты. Так сразу же за длинным трактатом, который, кажется, вот-вот выведет вещь из области художественной литературы в область психологии или социологии, следуют стихи, текст, несомненно, поэтический. Публицистику сразу сменяет лирика. «Мои фантазии,— словно бы говорит Гессе, предлагая читателям такой сплав реальности и вымысла, публицистики и лирики,— имеют непосредственное отношение к нашей с вами действительности и навеяны ею». Характерен в этом смысле возглас «О други, не надо этак!», вырывающийся у Гарри Галлера при виде сцены унижения человека. Писатель заставляет героя повторить слова, сказанные им самим, Гессе, не по воображаемому, а по реальному поводу в 1914 году, и здесь эти воображаемые слова воображаемого Галлера получают опять смысл публицистического предостережения — предостережения, как показало будущее, обоснованного.

Незадолго до прозаического «Степного Волка» Гессе издал цикл стихов под таким же заглавием, который в 1928 году расширил и назвал «Кризис». Таким образом, слово «кризис» впервые соотнес с книгой о Гарри Галлере сам автор. Он имел в виду, вероятно, кризис личный и кризис общественный. Но «Степной Волк» можно назвать книгой кризисной и в другом отношении. У этой книги нет определяющего жанр подзаголовка, такого, как «роман», или «повесть», или «фантастическая история», или еще какого-нибудь. По всему тексту «Степного Волка» разбросаны ссылки на чужие произведения искусства, на имена художников и мыслителей. Прямо упомянуты, не говоря уж о Гёте и Моцарте, и Новалис, и Ницше, и Гендель, и Фридеман Бах, и Достоевский, и Вагнер, и Регер, и Гайдн, и Шуберт, и Шопен, и Гуго Вольф, и Жан Поль Рихтер, и Джотто, и давно забытые ныне шлягеры двадцатых годов. Иногда подобные ссылки видны не сразу, иногда «Степной Волк» прибегает к «скрытым цитатам», иногда Гессе как бы украдкой вставляет в свою оригинально разыгрываемую партию мотивы заимствованные. Так, например, слова Гермины об отсутствии смущения у животных, об их естественной грации довольно точно воспроизводят соответствующее рассуждение в статье Клейста «О театре марионеток»; отдельные «технические» детали «магического театра» поразительно напоминают волшебный реквизит сказок Гофмана; есть определенное сходство между убийством Гермины и убийством Настасьи Филипповны и т. д и т. п. Эти, сделанные как бы попутно, по ходу изложения, ссылки на факты культуры настолько все же упорны и многочисленны, что образуют в книге особый, самодовлеющий пласт, где она — произведение искусства — обращается за материалом к опыту искусства же, а не непосредственно к опыту жизни. В двадцатые годы такой пласт — явление для немецкой художественной прозы еще все-таки непривычно отпугивающее, он, по-видимому, и мешал определить жанр вещи, делал ее, по тогдашним представлениям, слишком уж головной, книжной, чтобы называться повестью или романом, ощущался как признак кризиса формы, кризиса искусства. Признаком его он, конечно, и был Но из кризиса как раз и родится новое, и, оглядываясь на «Степного Волка» с расстояния в пятьдесят лет, видишь в этой книге приметы смелого новаторства, закрепляющего за ней почетное место где-то в начале той яркой линии немецкоязычной литературы XX века, которая проходит потом через самые высокие ее образцы — «Доктора Фаустуса» Томаса Манна, «Смерть Вергилия» Германа Броха, оживает в прозе Гюнтера Грасса и Макса Фриша. Мы имеем в виду так называемый интеллектуальный роман, широко пользующийся коллажем факта с причудливейшей выдумкой, то и дело сменяющий картины, апеллирующие к эстетическому чувству читателя, критико-публицистическими рассуждениями, так же непринужденно перехо-

дящий от одной темы, от одной сферы жизни, от одной исторической или географической области к другой, как «магический театр» или «игра в бисер».

Популярность, которую за последнее десятилетие приобрели на Западе, да и в Японии, творчество Гессе вообще и «Степной Волк», в частности, вызвана, разумеется, не тем, что после долгих лет непонимания наконец-то, мол, поняли и оценили роль этой книги в истории литературы. Читательский бум, последовавший в США в шестидесятые годы после выхода карманного издания сочинений Гессе, как и всякий бум, имеет причины и более глубокие, и более простые, корыстные. Он свидетельствует, конечно, о предпринимательских усилиях, коммерческих хлопотах вокруг имени Гессе. Но все-таки и о большом, искреннем интересе к его творчеству, на пустом месте, то есть без такого интереса, без внутреннего ощущения у широкого читателя, что книги Гессе касаются современных, волнующих его, читателя, проблем,— на пустом месте бизнеса сделать нельзя.

Что касается «Степного Волка», то здесь фантазия писателя заранее точно указала кое-какие отдушины, которые и много лет спустя находило недовольство известной части буржуазного общества, миром, где царит голый практицизм. Террористические акты с их порой случайными жертвами, экстатическое забытье, доставляемое ритмами джаза, наркомания, сексуальная вольность — обо всем этом несомненно идет речь в книге, все это в ней на виду и для самого поверхностного читателя, так что какой-нибудь зеленый юнец на Западе может, пожалуй, не вникнув в ее суть, отождествить свой бездумно-ребяческий бунт против родителей и учителей с драмой Гарри Галлера, драмой, как всегда у Гессе, духовной, извратить, превратно истолковать гуманистический смысл книги.

Разве алкоголь, дурманящие эликсиры Пабло, легкая, не затрагивающая душевных глубин любовь Марии, разве атмосфера войны «всех против всех», такая же азартная, опьяняющая, как джазовая музыка, разве самая эта музыка, все эти «Валенсии» и «Томления» — итог, к которому приходит Галлер, разрешение его проблемы, разве все это и есть «очеловечение» Степного Волка? Конечно нет. Это только начало, только попытка жизни после едва не случившегося самоубийства. До «человека» Галлеру, говорит Гессе, далеко. Гессе вообще не решает проблем, он только их ставит. Только показывает некоторые пути решения, чтобы одни отвергнуть, в других усомниться. Так, он определенно отвергает любой путь, связанный с насилием. Санскритская надпись на визитной карточке убитого автомобилиста как бы говорит, что, убивая другого, человек убивает и себя. Охота на автомобили быстро приедается ее участникам, да и единственное, чем она может для них кончиться,— это их собственной гибелью: им остается либо убивать, либо быть убитыми, они в порочном кругу. По этой «батальной» сцене, по сцене дрессировки волка и человека можно самому составить себе представление и о таких лишь названных, но не изображенных аттракционах «магического театра», как «закат Европы» или «наслаждение от самоубийства». В этой галерее портретов Гарри, проходящих перед ним во время его «очной ставки с самим собой», есть, может быть, только один светлый, не омраченный ничем — портрет мальчика, не стесняющегося своей первой любви, открывающего ее той, на кого она направлена. Путь любви, раскованности в добрых и жизнеутверждающих чувствах как предпочтительная альтернатива пути насилия робко проглядывает и в конце сцены «охоты». Гарри целует коленки Доры. Но, как явствует из финала с Герминой, и любовью можно убить. Гессе хорошо известна диалектика, в силу которой добро может превратиться во зло, он и предпочтение выражает с большой оговоркой.

Однако «Степной Волк» дышит не скепсисом, не нигилизмом, а верой в высокое назначение человека, в то, что он достоин бессмертия. Для Гессе как для художника воплощением величайших человеческих возможностей выступают, естественно, художники: Гёте, Моцарт, но тема «бессмертных» — это здесь не узкая тема искусства, а широкая тема стойкости перед жизнью, это оптимистический лейтмотив книги. Несчастный, больной, одинокий, затравленный Гарри Галлер верит, что «Моцарт ждет его». Как это понимать? Как утверждение, что в борьбе волка и человека должен победить человек. «Достоинство человека,— говорил Гессе еще в двадцатые годы,— держится на том, что он может ставить себе цели в недостижимом, а трагизм его заключен в том, что ход вещей и реальные обстоятельства направлены против него».

◆

Критика

В. ИОРДАНСКИЙ

ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

Опыт Тропической Африки

Творческое обсуждение проблем взаимодействия культур стран Востока и Запада в статьях Т. Григорьевой, А. Гуревича, Л. Делюсина [1] углубляет наши представления о некоторых общих закономерностях развития мировой культуры в ходе взаимообогащения разных национальных культур. Особый интерес вызывает, на мой взгляд, одна сторона этого сложнейшего исторического процесса — закрепляемая сдвигами в общественном сознании, в народной психологии внутренняя трансформация самих этих культур под влиянием внешних контактов.

В этом отношении опыт развития в странах Тропической Африки особенно богат. Правда, может возникнуть вопрос: оправдан ли разговор о культуре этого региона как о чем-то едином в своей основе. Думается, что при всем многообразии местных традиций налицо большая типологическая близость существующих к югу от Сахары форм народной культуры. Внутренне она однородна. В ее складывании играло и все еще продолжает играть огромную роль непосредственное творчество народных масс, в ней практически отсутствует противопоставляющая себя народу «культура верхов».

Сходен к тому же характер социальных отношений в этих странах. В деревне, где сильны пережитки кровнородственных, племенных отношений, сохраняется так называемое «традиционное общество». А рядом, в городах, уже формируется рабочий класс, буржуазия, интеллигенция, все большую напряженность приобретает классовая борьба. Правда, далеко не всегда она вырывается на поверхность общественной жизни, а чаще протекает подспудно, в недрах общества.

Объединяет страны Тропической Африки и их культуры известная общность исторических судеб. Они испытали на себе всю тяжесть колониального порабощения. Наконец, сходные проблемы возникли перед народами этих стран после завоевания политической независимости.

Вот почему в современной культурной жизни Тропической Африки и прослеживаются некоторые общие закономерности.

Развитие контактов между народами разных культур и миропредставлений — не отвлеченная проблема. В особенности когда речь идет об освободившихся лишь недавно африканских странах. С падением колониальных империй исчезли многие барьеры — полицейские, таможенные, цензурные,—отъединявшие культуру народов Тропической Африки от мировой цивилизации. Создались огромные возможности для бурного расширения контактов между народами этого и других регионов мира. В то же время стремительное развитие средств массовой информации качественно изменило состояние таких связей. Сегодня самые широкие слои

[1] См. «Иностранную литературу» № 7, 1975, № 1, 1976, № 1, 1977.

африканского общества непосредственно соприкасаются с различными сторонами современной европейской культуры. Факт, немыслимый еще два десятилетия назад: советские кинофильмы ныне нередко демонстрируются в глубинных районах многих африканских стран.

Процесс взаимодействия с внешней, европейской, цивилизацией уже давно стал элементом внутреннего развития национальной культуры в африканских странах. Сейчас резко расширяются масштабы этого взаимодействия и его формы.

Освоение местным общественным сознанием новых культурных категорий сопровождается здесь распадом традиционной культуры и формированием качественно новой. На зыбкой, еще не устоявшейся почве народ творит новое изобразительное искусство, новый фольклор, новые верования. Подобное движение вперед внутренне противоречиво и отмечено не только достижениями, но и многочисленными утратами.

Рассматривая некоторые особенности этого опыта, я хотел бы обратиться за помощью к двум крупным нигерийским писателям — Чинуа Ачебе и Воле Шойинке, творчество которых само находится как бы в точке взаимодействия культур европейских стран и культур стран африканских, а мировоззрение несет явственный отпечаток как родных культурных традиций, так и европейской образованности. И Ачебе и Шойинка — что весьма важно — уделяют самое пристальное внимание тому, что можно назвать жизнью общественной мысли.

Произведения двух нигерийцев хорошо знакомы советскому читателю. У нас выходили романы Чинуа Ачебе «И пришло разрушение» (1964), «Покоя больше нет» (1965), «Человек из народа» [1]. В 1975 году был опубликован сборник его рассказов «Девушки на войне».

Воле Шойинка известен своим романом «Интерпретаторы» [2] и пьесой «Лев и жемчужина». Большая подборка стихотворений Воле Шойинки включена в сборник «Голоса африканских поэтов» (1968), его стихи вошли в том «Поэзия Африки» Библиотеки всемирной литературы.

■

В последние годы резко возрос интерес нигерийской интеллигенции к своей традиционной культуре. Европеизированная, долгое время относившаяся к духовным богатствам своего родного народа так же, как новообращенный христианин смотрит на богов, от которых только что отрекся, она ощутила свои корни.

Это увлечение оказалось знамением начавшегося перелома. Отныне чувство гордости за прошлое страны из года в год возрастало. Бурная политическая жизнь, захватывавшая все новые и новые пласты общества, благоприятствовала распространению этих настроений. Особенно сильны были они в экономически более развитых приморских районах Нигерии, где их выразительницей стала интеллигенция двух крупнейших местных народностей — йоруба и ибо.

То было время своеобразного творческого взрыва: почти одновременно заявили о себе крупные художники, скульпторы, писатели, талантливые ученые, превосходные журналисты. Трудно сказать, каковы глубинные причины столь яркой вспышки народного гения. Вероятно, свою роль сыграли социальное раскрепощение (все растущее число людей освобождалось от ига знати, от обветшалых традиций), а также культурный подъем, выразившийся, в частности, в распространении современного образования, и, наконец, особый накал общественной атмосферы, который способствует более широкому раскрытию человеческой личности.

Что уходит в прошлое? Что остается? Что рождается? — спрашивали себя, размышляя о народной культуре, представители этого поколения интеллигенции. И находили ответ в противоречивой, быстро изменяющейся действительности — ответ отнюдь не однозначный.

Прочная, казалось бы, социальная ткань рвалась. Вчерашний аристократ нищал, сын раба завоевывал богатство и власть. Миллионы крестьян покидали землю, уходили — иной раз на время, но чаще навсегда — в города. Древние общинные порядки в крестьянском мире рушились под напором социальных конфликтов. Застойная еще несколько десятилетий назад нигерийская деревня бурлила, участились случаи вооруженных крестьянских бунтов.

Под впечатлением этих потрясений Чинуа Ачебе писал: «Мы жили на перекрестке культур. Мы все еще находимся там и сегодня. Но когда я был мальчуганом, своеобразная атмосфера и само качество этого положения ощущались явственнее. Я не говорю обо всем том вздоре, который мы слышим, о духовной опустошенности или умственных перегрузках, якобы испытываемых африканцами, о злых силах и иррациональных страстях, будто бы бушующих в темных глубинах Африки...

У этих перекрестков есть некое опасное могущество, опасное потому, что человек может там погибнуть, борясь с многоголовыми призраками. Но он также может быть удачлив и вернуться к своему народу наделенным пророческим даром прозрения».

В эпоху распада древних форм общежития, медленного, зачастую мучительного становления новых, классовых отношений люди вроде Ачебе или Шойинки устремляются к народной культуре как к источнику живой воды, способной излечить язвы и пороки рождающегося социального порядка. Они обращались к ней и в поисках того дара, о

[1] См. «Иностранную литературу» № 3, 4, 1967.

[2] Опубликован в «Иностранной литературе» №, 10, 1970.

В. ИОРДАНСКИЙ

ВНУТРЕННЯЯ ДИНАМИКА НАРОДНОЙ КУЛЬТУРЫ

котором говорил Ачебе,— пророческой прозорливости.

Однако традиционная культура еще во времена колониального порабощения вступила в период глубокого кризиса. И он не ослабел после того, как страна обрела политическую независимость. Парадоксальным образом сильная сторона народной культуры — ее крайне тесная, прямая и непосредственная связь с жизнью общества, со всей деятельностью социального механизма,— видимо, и явилась непосредственной причиной понесенных ею утрат. Прямое воздействие капитализма — в его наиболее варварском, колониальном обличии — задело этические, религиозно-философские основы духовной жизни местного общества, его искусство.

В чем же заключалась суть изменений в культуре, уходящей корнями в далекое прошлое?

Строго говоря, начало ее кризиса следует искать в долгом периоде застоя, предшествовавшем изменениям. Но тогда общество еще не ощущало всей болезненности положения, ибо издавна определившиеся функции этики, искусства, верований, обрядности не были нарушены. Соблюдение в повседневности ритуала, который сопровождал важнейшие трудовые операции и значительные события в жизни общины, обеспечивало ей покровительство предков и предупреждало разлад отношений с природой. Выраженные в пословицах, сказках, мифах этические нормы закрепляли внутренний порядок общественной жизни. Искусство — во всем многообразии форм — открывало перед нигерийцем еще один источник силы, защищая от воздействия злых начал и укрепляя связи с предками, с традиционными покровителями клана.

В ту пору культура не только не противостояла рядовому человеку, как в классовом обществе, а, напротив, наполняла его существование, во многом определяя его поведение. Правда, деятельность каст профессиональных сказителей или хранителей исторических преданий, как бы «монополизировавших» знания о прошлом народа, и рост влияния жреческой прослойки, превратившей в таинство религиозные обряды, были симптомом постепенного «отрыва» культуры от народа. Однако возникающая брешь поначалу оставалась почти незаметной.

Ощущение кризиса культуры распространилось в нигерийском обществе, когда она перестала отвечать его духовным и социальным потребностям. Действительно, этика клановой солидарности уже не находила прежнего отклика там, где быстро вызревали классовые противоречия. Обращение же в христианство либо ислам уничтожало почву, на которой возникла, скажем, скульптура, обычно игравшая огромную роль в народной обрядности. Пересмотр духовного наследия воспринимался как кризис. Понятно почему. Ведь потери казались очевидными, а ценность нового еще не выявилась.

Было, однако, в культурном наследии йоруба и ибо нечто непреходящее, заслуживавшее — среди обломков древнего уклада — спасения. Чинуа Ачебе пристально изучал фольклор родного народа, его мировоззрение, его этические взгляды Воле Шойинка был увлечен философией йоруба и писал о «полном погружении в мир традиционных представлений и ценностей социальной сплоченности» родного народа.

В «Стреле господней» Ачебе воссоздал жизнь ибо в эпоху первых контактов с европейскими завоевателями. Пожалуй, это наиболее значительная в нигерийской литературе попытка понять сознание и раскрыть черты характера одного из крупнейших народов страны. С любовью говорит писатель о народной культуре, она встает со страниц книги во всей своей неповторимой оригинальности...

Представление о времени у ибо еще не стало абстракцией, освобожденной от конкретного воплощения — смены дня и ночи, сезонов сельскохозяйственных работ, рыночных дней и дней празднеств. В случае богатого урожая ямса (его мучнистые корни — главный продукт питания ибо) старейшины в деревнях могли отсрочить наступление нового года. Когда же еды не хватало, они приближали его начало, чувствуя себя как бы хозяевами времени.

И не случайно одна из центральных тем романа связана с этими представлениями соплеменников писателя. Его герой жрец Эзеулу решает, по местному выражению, «растянуть год» и откладывает проведение праздника ямса, знаменующего наступление нового года. Это вызывает острый конфликт. До праздника обычаем запрещено выкапывать корни ямса нового урожая, деревня страдает от вынужденного голода. Когда от разрыва сердца умирает один из сыновей Эзеулу, жрец видит в этом проявление божьего гнева и, потрясенный горем, сходит с ума.

При каких условиях могла оказаться возможной такая жизненная позиция, вера в способность остановить время?

Евангелие от Иоанна гласит:

«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог.

Оно было в начале у Бога.

Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть.

В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков».

Эта мысль об изначальности слова пронизывает многие архаичные философские системы.

«Небо было просторным, белым и очень прозрачным. Оно было пусто; не было ни звезд, ни луны. Только дерево стояло в воздухе и дул ветер. Это дерево питалось воздухом, и на нем жили муравьи. Ветер, дерево, муравьи и воздух подчинялись могуществу слова, но слово не было чем-то таким, что можно бы было увидеть. Это была сила, позволяющая одной вещи создавать другую». Так представляли себе первозданное состояние мира вапангва, живущие на востоке Африки, в Танзании

Подобная же убежденность в могуществе слова и, добавим, жеста, то есть в конечном счете человеческой воли, составляла одну из

главных особенностей народной культуры в странах Тропической Африки. Верно найденным словом, жестом-обрядом можно было вызвать дождь, превратить ближнего в зверя, остановить полет летящей стрелы, приблизить или отдалить смерть.

Верили ли в это соплеменники Ачебе? Верить в данном случае—слово неточное. Они *знали*, что такова правда жизни. Решив отодвинуть наступление нового года, Эзеулу был убежден, что следует предначертаниям бога Улу, которому служил.

В книге есть любопытный эпизод. Один из детей жреца в ужасе вбегает в дом. Отец расспрашивает, что случилось, и узнает, что его сын видел духа. Где это было? Как была одета фигура, которую встретил мальчик?— задает вопросы отец. Ему уже все ясно, и он успокаивает сына:

«Нет причины для страха, сынок. Ты видел Эру Великолепного, того, кто наделяет богатством своих любимцев. Наверное, он возвращался домой после визита к Идемили или другим божествам. Эру наказывает только тех, кто лжесвидетельствует перед его алтарем».

Прочтя этот разговор отца с сыном, можно подумать, что они слишком доверяют игре собственного воображения. Это, конечно, так. Но почему им относиться скептически к воображению, если они твердо знают, что могут встретить бога за первым поворотом дороги?

Значение, которое народная культура придавала слову и жесту, объясняет и роль символа в ее развитии. Символ может быть фигурой орнамента на деревянной двери, деталью женского украшения, случайным, казалось бы, движением руки при встрече, но он всегда содержит определенное послание. Символ — это и форма осмысления действительности, и средство воздействия на окружающий мир, активно используемое в архаичном обществе.

Чтобы быть доступным и понятным, чтобы не утрачивать своей способности воздействовать на окружающее, символ должен быть неподвижен, незыблем. Поэтому африканское общество столь нетерпимо к изменению стиля в искусстве, обрядности в религии: ведь нарушение системы символов чревато разрывом связей между обществом и миром — как реальным, так и воображаемым.

В нескольких эпизодах книги Чинуа Ачебе раскрыта глубина внутренних отношений между личностью и системой общественных символов. В одной из первых глав книги рассказывается, как Акукалия переломил надвое жезл «икенга» некоего Эбо. Этот жезл воплощал связь семьи с прародителями клана, и поступок Акукалии выглядел столь святотатственным, что у Эбо не было выбора: он застрелил обидчика. Символ неприкосновенен. Каждый, кто поднимает на него руку, приводит в движение множество сил. Если не боги, то люди покарают нарушителя.

Первоначальный смысл символа может изгладиться: сохраняется лишь оболочка символического «знака» либо символической «фразы». Это орнаментальная фигура, значение которой уже непонятно и которая повторяется как бы по инерции обычая, это танец, утративший былую ритуальную роль, скульптура давно забытого бога. История африканской цивилизации перенасыщена выхолощенными временем останками когда-то цельных символических систем.

Таковы некоторые признаки культуры оригинальной, богатой, но по своему типу архаичной, о чем свидетельствует, в частности, отсутствие письменности. Если бы не память народа, донесшая до сегодняшних дней древние предания, вряд ли было бы известно о прошлом континента, о давних верованиях и философии его народов. Беспись менность тормозила накопление знаний, накопление мудрости, затрудняла закрепление народных представлений. скажем, в летописях, в книгах, которые могли увенчать века подспудной деятельности общественного сознания. Это же обстоятельство воспрепятствовало расщеплению единого культурного потока на фольклорный и книжный.

Непосвященному трудно понять внутренние законы общественного сознания, вырастающего на подобной культурной почве, однако Чинуа Ачебе и Воле Шойинка хорошо знают народные традиции, внимательны к движению мысли народа. Оба не раз высказывали свои взгляды на особенности мировоззрения йоруба и ибо.

Ачебе отмечал своеобразную диалектику, присущую народному мышлению. Он писал, что «центральное место в сознании ибо занимает понятие двойственности. Там, где нечто стоит, нечто находится рядом. Нет ничего абсолютного...»

В романе «Стрела господня» писатель отмечает широкую открытость ибо новым идеям, новым веяниям, отсутствие в их среде нетерпимости и фанатизма. Верховный жрец Эзеулу сам посылает сына в миссионерскую школу. «Я хочу, чтобы один из моих сыновей присоединился к этим людям и стал среди них моим оком,— говорит он.— Если там ничего нет — вернешься домой. Но если там что-то есть — ты принесешь мне мою долю. Мир подобен танцующей маске. Если хочешь ее хорошо разглядеть, не стой на одном месте».

Свойство это позволяет общественному сознанию нигерийцев быстро приспосабливаться к меняющимся историческим условиям, включать в свой обиход новые идеи и представления.

Как же влияет на творчество двух нигерийских писателей обращение к древнему наследию?

Ачебе неоднократно подчеркивал, что видит свою задачу в том, чтобы «помочь народу... отбросить прочь комплексы лет отрицания и самоуничтожения». С ним перекликался Шойинка, в статьях и устных выступлениях часто анализировавший непреходя-

---

щие ценности цивилизации йоруба. Оба мастера не раз заявляли, что их творческая работа мотивирована стремлением участвовать в возрождении народных культур Нигерии. Другой нигерийский писатель, Джон Мунонье, замечает: «Я считаю, что африканские писатели должны бы помогать своему народу обрести веру в себя, в собственные мысли, чувства, обычаи, традиции». И это чувство долга перед народом во многом было обусловлено именно воздействием на художника народной культуры, которой в высшей степени присущ принцип коллективности. Созидание соборно, и творцу нельзя отрываться от народа. Ачебе рассказывал о церемонии «мбари», которой, как он говорил, «утверждалась глубокая народная вера в нераздельность искусства и общества».

Обряд «мбари» совершается в честь богини земли — Алы. Единожды в несколько лет жрец богини обходит селение, оповещая отдельные семьи, что на них пал выбор Алы. Призванные богиней мужчины и женщины отправляются в лесное уединение, где под руководством мастеров сооружают посвященный ей «дом образов» — «мбари». Их работа может продолжаться год-два, и все это время они остерегаются ненужных встреч, которые отвлекли бы их от дела. Постепенно дом заполняется вылепленными из земли раскрашенными фигурами, которые производят удивительное впечатление праздничности.

Писатель видит свое место среди призванных в этот храм богини земли. Правда, его «мбари» — вся народная культура, одним из сотворцов которой он себя ощущает.

Думается, что воздействие культурных традиций не ограничивалось сферой отношений писателя к своему общественному призванию. Оно во многом определяло и мир образов писателя, и некоторые особенности его творческой манеры. В произведениях Шойинки ощутима верность народной традиции символического истолкования действительности. В его романах хорошо видны два плана — реалистический и более глубокий, символический, связанный с народной мифологией и философией, с народными верованиями. Художественная мысль писателя углубленно разрабатывает оба эти направления, что опять-таки типично для народного сознания, символические фигуры которого — не мертвые призрачные абстракции, а поднятая до перевоплощения в божественное начало страсть и сила людская.

Ганский писатель Кофи Авунор говорил, что для понимания творчества Шойинки необходимо знание мифологии йоруба. О романе нигерийца «Интерпретаторы» Авунор замечал: «Видеть в «Интерпретаторах» только историю группы молодых людей, болтающихся по Лагосу и выпивающих в барах, не задаваясь мыслью, что́ все эти характеры представляют собой на более широком полотне космогонии йоруба, было бы ошибкой... Секони, умирающий в книге очень рано, это эпитом бога Шанго, и его смерть жертвенна. Он открывает глаза остальным протагонистам романа на окружающие их страдания».

■

В общественной жизни конфликт культур выражается в социальных противоречиях, в жизни человека — в мучительной личной драме.

Южноафриканский писатель Питер Абрахамс в одной из статей 1957 года привел пример того, как африканец вообще отбрасывает современную европейскую культуру: «В Кении националисты заняли позицию полного отказа от западных привычек и установлений. Африканцы, крещенные и воспитанные как христиане, меняли свои имена на африканские. Они отвергали европейские формы веры и основывали собственные церкви. Я присутствовал в Найроби на митинге, где один из лидеров в страстной речи призывал народ отказаться от всех европейских обычаев и учреждений. Его соотечественники должны были, утверждал он, вернуться к собственным установлениям и обычаям. Это был прямой призыв к отречению от европейской культуры. И то обстоятельство, что он прозвучал на превосходном английском языке... делало его в моих глазах тем трагичнее, тем мучительнее».

Пройдет несколько лет, и увиденное Абрахамсом на случайном митинге будет возведено в ранг государственной политики в целом ряде африканских стран. Южноафриканский писатель сам вырос в мире, где столкновения культур принимали исключительно болезненные формы. Поэтому он был особенно внимателен к этому кругу проблем и неоднократно подчеркивал их важность для независимой Африки.

Что придавало и придает драматизм многообразным и многоликим культурным конфликтам в Тропической Африке? Думается, одна из важнейших причин — быстрота социальной эволюции. В двадцатые годы отряды французской колониальной армии еще только завершали вооруженный захват континента, а уже в конце сороковых годов вся Африка переживает бурный подъем национально-освободительного движения. В сущности, если исключить отдельные крепости и торговые фактории на побережье, в Тропической Африке мало областей, где колониальное господство продолжалось бы более ста лет.

А сдвиги, которые произошли в местном обществе за эти годы, огромны, причем затронуты ими были, хотя и в разной степени, все районы континента. Возникновение рабочего класса, появление под полой западных монополий национальной буржуазии, рост интеллигенции сопровождались крутой ломкой старых социальных структур, массовыми перемещениями населения из деревень в города, бурной и хаотичной урбанизацией.

Конечно, крах архаичных структур не мог быть и не был полным. Деревня сохранила многие традиции и обычаи прошлого. Старое потеснилось, отошло в сторону, но не исчезло полностью, не отмерло. Уцелела среда, питавшая архаичную культуру, сохранились в обществе группы, ее защищав-

шие,— жречество, касты хранителей родовых преданий и певцов, клановая знать.

Время перемен как бы спрессовалось в Тропической Африке, и века в истории других континентов здесь были равнозначны десятилетиям. В результате — исключительная неравномерность проникновения европейской культуры в глуби африканского общества. Лишь незначительная его часть в лице интеллигенции была полностью европеизирована.

Почему в одних районах континента новые культурные веяния проникали в самую толщу местного общества и почему в других словно наталкивались на невидимую броню? Основное значение на первых порах, вероятно, имело то, что можно назвать общественным климатом. Страх потрясений иной раз заставлял этническую группу замыкаться в себе, отгораживаться от внешних воздействий, а в тех случаях, когда этот консерватизм опирался на пользующуюся особым авторитетом идеологическую систему вроде ислама, он становился надолго непреодолимым. Напротив, если внутренние структуры этнической группы были поколеблены, если ее разъедали острые противоречия, новые культурные веяния сразу же подхватывались. Сжатость исторических сроков препятствовала смягчению этих крайностей: времени на вызревание в народных массах новой, самобытной культуры практически не было.

И все же в современной Африке удивляют не столько масштабы культурных опустошений, произведенных колониальным порабощением и болезненно проходившей социальной эволюцией, сколько обилие ростков новой культуры. Примеров этому немало.

На плато, пересекаемом границей между Танзанией и Мозамбиком, живет небольшая народность — маконде. В этих и сегодня еще глухих местах неожиданно родилась совершенно оригинальная народная скульптура. Ее творцы ниспровергли каноны традиционного искусства, и на место фигур, выразительных, но словно застывших в рамках жесткой симметрии и установленных обычаем пропорций, пришли странные, словно сошедшие со страниц современного фантастического романа, существа. Громадные головы кажутся висящими в воздухе над кружевным переплетением тел, ног, рук. Другие статуэтки, напротив, построены как сочетание массивных, тяжелых объемов. Некоторые скульптуры представляют собой сложнейшую многофигурную композицию.

Еще один пример. В Западной Африке на огромном рынке восточнонигерийской Онитши пользовались популярностью тоненькие книжечки, напечатанные на скверной бумаге в крошечных типографиях города,— коротенькие рассказы, небольшие повести, назидательные истории, записи народных преданий. Их авторами были учителя деревенских школ, мелкие чиновники, священники. Они-то и создали эту пеструю «самодеятельную» литературу, которая заполнила разрыв между «большой»—англоязычной и потому народу недоступной — национальной литературой и устным фольклором, который уже не мог полностью удовлетворить запросы общества, переживающего внутреннюю перестройку.

Одним из проявлений громадной творческой работы народа было рождение многочисленных афрохристианских сект и верований. Зачастую именно в них, особенно на первых порах, находило свое выражение крепнущее национальное самосознание. На этой же почве складывались свежие формы устного творчества, появлялись оригинальные системы художественных и поэтических образов. Благодаря этому старые традиции народного искусства, этико-философские ценности не умирали, а, преобразуясь, облегчали становление новой культуры.

И все же распад архаичных социальных структур сопровождался разрушением сопутствующих им норм морали, человеческого общежития. Место древних канонов в искусстве занимали коммерческие трафареты. Постепенно рвалась связь времен, забывались события и предания, на которые раньше люди равняли свое поведение в течение целой жизни. Место основателей новых религиозных сект занимали ловкие и циничные шарлатаны.

Внимательный к гротескным сторонам нового быта глаз Воле Шойинки подметил немало человеческих типов, сложившихся в новых условиях и ставших носителями своего рода «антикультуры» — болезненного порождения распада старых традиций. Обличаемые писателем страсть к наживе, попрание прав и достоинства людей, поклонение насилию, презрение к образованию, к знаниям сделались устойчивыми признаками поведения, более того, чуть ли не чертами характера некоторых социальных групп в Тропической Африке. Именно эти черты часто объединяют под общим знаменателем «антикультуры», поскольку такая мораль и этика противоположны традиционным духовным ценностям народа.

В двух остросатирических пьесах — «Испытания брата Джеро» и «Перевоплощение Джеро» Шойинка не случайно вывел в качестве центральной фигуры «пророка» новой полухристианской, полуязыческой секты, каких много в современной Нигерии. Сила ума и характера сочетаются в этом человеке с полной, абсолютной безнравственностью.

В первой сатире, «Испытания брата Джеро», Воле Шойинка описывает лишь один день жизни своего «антигероя»; во второй, «Перевоплощение Джеро», он рассказывает о небольшом эпизоде из деяний «пророка». Превращение мелкого проходимца во влиятельного и процветающего религиозного лидера перерастает в символ глубокой моральной ущербности складывающегося в нигерийском городе буржуазного общества. В этом обществе неудержимой жажде богатства и власти подчиняются и религиозные взгляды, и людские привязанности. В чем

сам смысл новой веры, пророком которой выступает брат Джеро? В грубоматериальном культе денег, успеха, богатства.

Идущие за Джеро «верующие» молятся: «Дай нам денег для семейного счастья. И дай нам денег на повседневные нужды. Не забудь же тех из нас, кто погряз в этой борьбе. Того, кто сегодня работает писарем, завтра преврати в старшего писаря. Того, кто сегодня простой посыльный, сделай завтра большим начальником. Мелкого торговца преврати завтра в крупного подрядчика. Тем, кто сегодня метет улицы, предоставь завтра собственную большую контору. Если сегодня мы ходим пешком, дай нам завтра велосипед. Я говорю: тем, кто сегодня ходит пешком, дай завтра собственный велосипед. И пусть те, у кого есть велосипед, завтра поедут в собственной автомашине».

Кредо стяжательства Воле Шойинка противопоставляет этическим идеалам своих читателей и зрителей. В их сознании в значительной мере совершилось «очищение» уходящего в прошлое общества от присущих ему пороков и противоречий, многим оно начало представляться миром справедливого эгалитаризма и гуманных человеческих отношений. В сравнении с ним беззастенчивый культ богатства «пророка» Джеро и его паствы выглядит особенно уродливым.

Свою критику социальных пороков писатель продолжил в романе «Время беззакония». Потрясенный недавно пережитой Нигерией гражданской войной, ужасами межэтнических столкновений, Воле Шойинка мучительно спрашивал, откуда выплеснулась кровавая волна бесчеловечного насилия. Одна из причин этого, по его мнению,— распад былых общественных отношений. В то же время катализатором, ускоряющим распространение «антикультуры», писатель считает капитализм.

Роман «Время беззакония» — яростное обличение молодой нигерийской буржуазии, которая пытается подчинить своим интересам, интересам оторванной от народа клики, развитие страны, ее будущее.

■

В становлении современной народной культуры в странах Тропической Африки — в Нигерии в частности — обнаруживаются как бы два потока.

Творчество Воле Шойинки и Чинуа Ачебе — прекрасная иллюстрация одного из них. Сами писатели, осмысляя происходящие в стране перемены, оказывают прямое воздействие на формирование общественного мнения. Рядом с ними работает с каждым днем увеличивающаяся группа прозаиков и поэтов, произведения которых уже выдвинули нигерийскую литературу на одно из первых мест в Африке.

Менее заметен, но вряд ли менее весом вклад в формирование народной культуры других групп африканской интеллигенции— научных работников, юристов, технических специалистов, преподавателей, врачей. Повседневной своей практикой они помогали обществу оценить собственное прошлое, свои традиции, выработать общепринятые нравственные нормы.

Этот поток культуры богат, плодотворен. Но всегда ли результаты умственной работы интеллигенции, ее творчества доступны народу?

Одной из характерных особенностей нигерийского общества можно назвать социальную дробность, существование в его среде большого числа мелких и мельчайших категорий, которые образуют неразрывную цепочку между рядовым крестьянином-общинником на одном полюсе и крупным предпринимателем — на другом. Это подчас затушевывает объективные процессы классового размежевания, остроту классовых противоречий. В то же время существует известный разрыв между интеллигенцией и остальной частью общества. Он проявляется прежде всего в образе жизни. Даже язык современной африканской интеллигенции — язык вчерашних поработителей. Ее быт копирует образ жизни европейцев. В самом своем творчестве она долгое время обращалась преимущественно к зарубежной аудитории.

Шойинка и Ачебе не раз с горечью говорили о том, что их голос слабо слышен широким слоям нигерийского народа. Их произведения написаны на английском языке и поэтому доходят до сравнительно немногочисленной части нигерийского общества. Этим определяются границы воздействия на общественное сознание, в сущности, всей современной литературы Нигерии.

Несомненно, реакцией на оторванность от народа и стал поворот значительной части творческой интеллигенции в сторону своеобразного культурного национализма: некритическое отношение к историческому наследию, выпячивание исключительности африканской культуры, нападки на любые попытки определить ее истинное место в общей эволюции мировой культуры. Подобной позиции шумно аплодировали консервативные круги, заинтересованные в изоляции континента от свежего ветра перемен.

Вместе с тем в послевоенные годы оформилась революционно-демократическая группа интеллигенции. Ее историческая заслуга состоит в том, что она стала своеобразным мостом, соединившим общественную мысль в странах Тропической Африки с передовыми идейными движениями современности. Литературные и философские произведения Кваме Нкрумы, социологические и публицистические произведения Амилкара Кабрала, поэзия Антонио Агостиньо Нето, романы Сембена Усмана — лишь малая часть вклада этой группы африканской интеллигенции в становление современной культуры континента.

С деятельностью именно этого крыла интеллигенции творчество двух нигерийских писателей сближают внимание к общественным и культурным сдвигам, глубокий интерес к жизни народа, острое чувство социальной справедливости. Но в их произведениях подчас бывает заметен и присущий

правому крылу африканского общества дух культурного национализма.

Наряду с этим потоком культуры в Тропической Африке существует и другой, и его истоки следует искать в работе народного сознания. К сожалению, он еще мало изучен, и наши представления о нем поверхностны и фрагментарны.

Его социальной основой является, в частности, урбанизация все большей части африканского общества—не механическое увеличение городского населения, а создание нового общества, качественно отличного от крестьянского. В Тропической Африке формирование такого общества знаменовало качественный разрыв с миром деревенской общины.

Этот процесс затронул и Нигерию, где города Лагос, Ибадан, Энугу, Онитша, Кано разрастались с головокружительной быстротой. В эпоху независимости приток крестьян в города еще более ускоряется, однако новые горожане могли считаться таковыми лишь формально. В Нигерии, как, впрочем, и в других странах Тропической Африки, массы покинувших землю крестьян воссоздавали в городах некое подобие того мира, который они оставили,— с его традициями, культурой, нравами, бытом. Урбанизация была в значительной степени призрачной.

Существовали, впрочем, и прямо противоположные тенденции. Ведь вчерашний общинник, знакомясь в городе с промышленным трудом, оказывался вовлеченным в сложное переплетение классовых противоречий и конфликтов. Он вынужден был приспосабливать свой быт к жестоким условиям города с его перенаселенностью, дороговизной, социальными барьерами. Его сознание неизбежно претерпевало ломку. Естественно поэтому, что Чинуа Ачебе и Воле Шойинка постоянно обращались в своем творчестве к городской действительности. Для трезвого, критически мыслящего Ачебе современный город — это арена столкновения антагонистических традиций, антагонистических культур. От его внимательного взгляда не ускользают усилия крестьян сохранить в городе свои обычаи, он видит конфликты, порождаемые сосуществованием в городском обществе архаичной и современной этики. Со сдержанной силой раскрывает писатель гангренозное действие на общественное сознание «антикультуры» с ее коррупцией, беспринципностью, презрением к народным интересам.

Несколько иное видение у Шойинки: его город болен, он анормален. Будучи оторвано от исторических корней, городское общество поражено раком капитализма, который разъедает не только его ткань, но и душу. Город противостоит деревне, как порок — чистоте, болезнь — здоровью, хаос насилия — порядку.

Действительно, капиталистическая урбанизация беспощадна к человеку. А африканский город с колоссальной безработицей, бескрайними трущобами предместий, с преступностью и нищетой особенно страшен. И тем не менее именно в его недрах совершается крутой перелом в народном сознании, переход от архаичных форм осмысления действительности к современным категориям миропонимания.

Хотя в городском обществе еще сильны давние предубеждения и суеверия, народная мысль уже отвергает столь ярко описанную Чинуа Ачебе веру в могущество слова и жеста. Культ предков, цементирующий племенное единство и чувство кланової солидарности, постепенно вытесняется верой в предприимчивую, инициативную, полагающуюся прежде всего на собственные силы личность. Коренным образом изменяется этика, утрачивающая свою узко племенную ограниченность и приобретающая характер всеобщности, необходимой в городском общежитии. Особое значение имеет тенденция к «политизации» общественного сознания. Если в деревне человек ощущает себя членом деревенской общины, рода, то в городе он начинает осознавать связь своих интересов с интересами класса, к которому принадлежит, и партии, представляющей этот класс.

Так складываются в городе элементы современной массовой культуры, окончательный облик которой еще далеко не определился. Вероятно, если бы отношения между интеллигенцией и народом были более тесными, этот процесс заметно бы ускорился. В нынешних условиях он неизбежно оказывается крайне противоречивым и сопровождается многими болезненными явлениями — вспышками религиозного фанатизма, обострениями этнической враждебности, шовинистическим культурным нигилизмом.

Как будет развиваться в предстоящие годы взаимодействие двух потоков культуры? Естественно, что исход этого сложного процесса будет зависеть от направления социальных перемен, от расстановки классовых сил, и опыт последних лет — яркое тому подтверждение. В некоторых случаях слабость связей с народом оборачивалась для интеллигенции подлинной трагедией: ее культурное воздействие на общество практически сводилось к нулю. Напротив, в ряде стран континента, как, например, в Нигерии, Танзании и других, это влияние не только возрастает, но и способствует бурному культурному подъему. Там активизируется творческий потенциал масс, увеличивается объем литературной, научной, художественной продукции интеллигенции.

Творчество Чинуа Ачебе и Воле Шойинки несет на себе неизгладимый отпечаток культурного возрождения. Оно входит в историю нигерийской литературы как выразительное свидетельство эпохи великого перелома в жизни народов Тропической Африки, как подтверждение плодотворности синтеза лучших традиций африканской и европейской культур.

◆

Ц. КИН

ПЕССИМИСТ, КОТОРЫЙ НЕ СДАЕТСЯ

Природа литературного успеха — увлекательная тема. Как много в ней слагаемых: личность художника, характер его дарования, внешние обстоятельства жизни, культурный уровень современников, мода, случайности. Не стоит повторять общие рассуждения, которые могут показаться банальными. Сейчас меня интересует один итальянский писатель и его судьба. Это Леонардо Шаша, его у нас переводили, и не раз. Шаша — один из самых значительных и серьезных итальянских прозаиков нашего времени, вызывающий большой интерес и уважение. И не только потому, что он талантлив — талантливых литераторов немало. И не только потому, что пишет в оригинальном и своеобразном жанре — и другие писатели в Италии добиваются интересных художественных результатов. А прежде всего потому, что Шаша глубоко верит в силу разума, в ту значительную роль, которую призвана играть литература в современном мире. Это особенно важно в период, когда столькие деятели культуры на Западе склонны к своего рода эстетическому нигилизму и к преуменьшению (если не прямому отрицанию) важнейшей роли искусства в борьбе за лучшее будущее человечества. Шаша отнюдь не прекраснодушен. Может быть, он зорче, чем многие другие, видит в окружающей реальности насилие и лицемерие. В его квартире — несколько портретов Вольтера, и кто-то из итальянских критиков точно сказал о Шаше: «Пессимист, который не сдается».

Леонардо Шаша родился в 1921 году в городе Ракальмуто (провинция Агридженто, Сицилия). Там — крупнейшие серные рудники и соляные копи. Более ста лет тому назад на руднике работал дед писателя, рано оставшийся сиротой. В то время невероятно жестокая эксплуатация детей, особенно сирот или незаконнорожденных, за которых некому заступиться, была одной из самых болезненных социальных проблем. Дед Шаши вытащил счастливый номер: выжил, стал мастером, а позднее — служащим. Таким образом, семья перешла в несколько более высокую социальную категорию, оставаясь неизменно связанной с рудником: там же служили отец и младший брат Леонардо Шаши. Все было буднично и монотонно, семья, можно сказать, полуинтеллигентная, со средним достатком, без уверенности в завтрашнем дне. Ничто не давало оснований предполагать в Леонардо Шаше будущего писателя. Никогда, казалось, не блиставший особыми талантами, он закончил педагогический институт и получил право преподавать в начальной школе. Много лет он то служил в каком-то ведомстве по закупке зерна, то учительствовал. Тема рудников всегда присутствовала в жизни и в сознании. Вторая тема — насилие (Агридженто — один из центров мафии).

Некоторые критики полагают, что процесс духовного созревания происходил у Леонардо Шаши довольно медленно. Когда-то, мальчиком, он испытал большое влияние своего учителя Джузеппе Граната, который через много лет станет сенатором-коммунистом. Другой человек, о котором Шаша постоянно вспоминает,— Пом-

пео Колайанни, впоследствии в Пьемонте — командир партизанского отряда по кличке Барбато. Политикой Леонардо Шаша в юности не интересовался. Он сам говорил в одном интервью, что в 1943 году у него были «лишь некоторые проблески антифашистского самосознания». Сопоставляя различные высказывания Шаши, можно считать, что он был антифашистом, но на свой личный манер: фашизм он воспринимал как насилие, пошлость и интеллектуальное убожество. Моральное чувство было обостренным, вот пример: во время войны Шаше попался на глаза один из расистских пасквилей Луи Селина, он прочел и с тех пор не желал брать в руки книги Селина.

Шаша жил в Сицилии, которая в силу исторических условий не знала форм Сопротивления, существовавших в Северной Италии[1]. Но если он не был активным борцом против режима Муссолини, то духовный его антифашизм несомненен: об этом свидетельствуют и факты его биографии, и само творчество. Может быть, правильно предположить, что процесс духовного созревания Шаши шел непрерывно и даже интенсивно, но все это было глубоко запрятано: накапливались наблюдения, возникали мысли, кристаллизовались взгляды, углублялось знание истории.

Леонардо Шаша — труженик. По всему складу ума и характера он презирает «приблизительность» и мог бы сказать о себе словами замечательного русского поэта: «Во всем мне хочется дойти до самой сути». Шаша досконально знает не только историю Сицилии, испытавшей на протяжении веков много превратностей судьбы, не только историю культуры своего острова, но и статистику, экономику, его социальную структуру, так же как и структуру органов власти и внутрисемейных отношений, верования, обычаи, легенды, предрассудки. Он знает все хорошее, но и все плохое о прошлом и настоящем своей родины. В этом смысле мы можем сказать, что Шаша работает в рамках большой культурной сицилианской традиции, включающей в себя такие знаменитые имена, как Джованни Верга и Луиджи Пиранделло (оба они сицилианцы). Однако эта тема — за рамками статьи, так же как и юношеские литературные опыты Шаши — материалы для монографии.

Первая серьезная литературная работа Шаши датирована 1956 годом. В середине 50-х годов в Италии возник интерес к социальной тематике, к документу, к репортажу хорошего, серьезного уровня. Тогда вышло несколько значительных произведений такого типа, и целая плеяда писателей то в автобиографическом, то в более объективном ключе фиксировала события и изменения, происходившие в обществе. Книги о рабочем классе, о крестьянах, батраках, ремесленниках, люмпен-пролетариях привлекали большое внимание. Именно тогда Оттьеро Оттьери написал «Сжатое время», названное романом, но фактически — нечто среднее между художественным произведением и социологическим исследованием жизни заводских рабочих. Одновременно вышла книга покойного Лючано Бьянчарди, написанная вместе с Карло Кассолой,— «Шахтеры мареммы». Большой популярностью пользовался переведенный у нас роман Васко Пратолини «Метелло».

На этом фоне надо рассматривать книгу Шаши «Церковные приходы Регальпетры» (подразумевается его родина Ракальмуто). В основу книги легли напечатанные в январе 1955-го в журнале «Нуови аргоменти» и написанные от первого лица «Школьные истории» Шаши. Это была не просто хроника, не просто раздумья о взаимоотношениях учителя с детьми. Шаша меньше всего склонен к сентиментальности: его ученики — дети из рабочих семей, связанных с серным рудником и соляными копями. Нужда, предрассудки, жестокость, бесперспективность — обо всем было написано правдиво и резко.

После публикации в журнале издатель Вито Латерца предложил Шаше написать целую книгу о Ракальмуто — Регальпетре. Так она и возникла. Отталкиваясь от своей школьной хроники, Шаша писал и о рабочих, и о чиновниках, и о местных буржуа, и о церковных приходах. Бросалась в глаза диалектичность книги: факты, цифры, ситуации, персонажи — все было абсолютно достоверным, и, вместе взятые, отдельные сюжеты Шаши создавали целостное представление о микрокосмосе маленького сицилианского городка «без мифов». Вот описание похорон рабочего соляных копей, погибшего при обвале. Присутствуют представители местных властей, привезли венки, произносят речи. Один господин говорит автору: тридцать лет тому назад такая смерть не произвела бы никакого впечатления, все равно как если бы сдохла собака. «Да, что-то изменилось к лучшему для рабочих соляных копей. Во всяком случае, положение мертвых рабочих лучше. О живых я бы этого не сказал». Вот так лаконично, как будто бесстрастно. Беспощадно.

Тогда многие считали, что Шаша останется «автором одной книги»: удачно выступил как социолог и бытописатель, а теперь вернется к своим обычным занятиям. Некоторые критики похвалили книгу, но сдержанно. Покойный Пазолини обладал тонким вкусом и чутьем, но даже он не предугадал будущего, ожидавшего Шашу. Во всяком случае, событием «Церковные приходы» отнюдь не стали: еще одна честно написанная книга об условиях жизни на Юге Италии, еще один документ — не более того.

[1] Сицилия относилась к той части Италии, которая после подписания пакта о безоговорочной капитуляции не была оккупирована немцами. *(Здесь и далее прим. автора.)*

Ц. КИН

ПЕССИМИСТ, КОТОРЫЙ НЕ СДАЕТСЯ

Леонардо Шаше в это время уже тридцать пять лет. Он как будто следует теоретическим требованиям веризма [1], но нарушает требование «научности и бесстрастности». Он не просто фотографирует реальность, он высказывает свое отношение к ней, сцена с похоронами рабочего — один из примеров негодования и иронии, выраженных внешне очень сдержанно.

Первая книга Шаши стоит несколько особняком, но написана она уверенно. Может быть, сейчас, в контексте всего сделанного позднее, легче найти в «Церковных приходах» элементы того, что станет затем характерным для поэтики Шаши.

Через два года — новая книга: «Сицилианские дядюшки». Это буквальный перевод названия, но слово «дядюшки» в данном случае многозначно. Вторая книга связана с первой, но появилось новое качество: большее богатство красок, большее внимание к детали, более глубокий «фон». Среди дядюшек один — фашист, другой — несколько пассивный антифашист. Уже история о том, как в платяном шкафу годами хранился тщательно запрятанный портрет депутата-социалиста Маттеотти, убитого фашистами в 1924 году, могла бы стать самостоятельным сюжетом. Но для Шаши — это лишь повод, чтобы показать атмосферу времени и то, какое влияние это убийство оказало даже на обывателей, далеких от политики. Вообще же политики — и не только итальянской — во второй книге много, и это указывает на будущее развитие творчества Шаши.

Итак, Леонардо Шаша вступил в литературу сложившимся человеком. У него аналитический ум, он сформировался «сам по себе», его вкусы оригинальны и несколько противоречивы. Так, он любит Витторини [2] и утверждает, что без Витторини сам никогда не стал бы писателем, а ведь гуманизм Витторини носил несколько абстрактный характер. Наряду с Витторини Шаша любит французских просветителей и Стендаля, Пиранделло, о котором он писал очень тонко, и мастеров реалистической «сицилианской школы» и, в довершение ко всему этому, любит и ценит детективную литературу как жанр, как форму отражения жизни. У самого Шаши, бесспорно, есть пристрастие к некоторым темам и сюжетам. Его неизменно привлекают судьбы, в которых есть нечто загадочное, привлекают характеры, которые нелегко разгадать.

Не считая переизданий и литературоведческих работ, за последние пятнадцать лет Шаша выпустил десять книг, и мы вправе говорить о некоторых закономерностях в его творчестве. Искусство Шаши пошло по линии, поразившей итальянских критиков. Вначале это казалось почти невозможным, но постепенно, говоря о Шаше, итальянцы привыкли к таким словосочетаниям, как giallo politico или giallo filosofico. Конечно, объединение понятий «политика», «философия» с «криминальной литературой» может показаться странным, но для Шаши оно не противоестественно: он пишет очень серьезные, очень ответственные вещи, но гротескно облекает их когда хочет в форму детектива. Ему нравятся неожиданные, парадоксальные ситуации, драмы, тайны, ребусы. Но в то же время в книгах Шаши, как и в его выступлениях по общественно-политическим вопросам,— ясность мысли и отчетливая этическая точка зрения. Мы неизменно видим позицию человека, для которого этика — не отвлеченная категория, а нечто проистекающее из того личного *выбора*, который люди делают на всю жизнь.

Мы начали с природы литературного успеха. Давно уже почти каждая новая работа Шаши, будь то проза, эссеистика или драматургия, вызывает в Италии одновременно и живейший интерес, и жестокие споры. Но порой задумываешься: почему так происходит? Что в случае Шаши является решающим? Утвердившаяся репутация писателя, приучившего своего читателя к парадоксам, неожиданным поворотам сюжета, к суховатому, лаконичному, лишь на первый взгляд простому, письму? Его чувство стиля? Его интуиция, позволяющая ему, прекрасно знающему особенности общества, в котором живет, предвидеть то или иное развитие событий? Или сама личность Шаши, присущий ему подлинный, а не показной демократизм, уединенная жизнь вдали от «ярмарки тщеславия»? Его искренность, нравственная сила, внутренняя цельность, хотя Шаша никогда не скрывает своих сомнений, противоречий, пессимизма, горечи?

Не могу ответить на вопрос «почему». Но думаю о том, как хорошо, когда художник при жизни, от современников, независимо от того, хвалят они его или спорят с ним, получает признание и понимает нужность своей работы. И может быть, не так уж важно, что именно о Леонардо Шаше будет написано когда-нибудь в энциклопедиях. А впрочем, пишут уже и теперь — много и по-разному. Было бы странным ожидать однотонных суждений. Шаша в своем сарказме не признает никаких табу и, в частности, с большой силой гражданского негодования нападает на христианских демократов, которых считает непосредственными виновниками кризиса, переживаемого Италией, и на органы правосудия, и на мафию, и на «ультралевую» интеллигенцию. Этическая позиция приводит Шашу к созданию книг, в которых он (пусть иногда и в сложно зашифрованной форме) затрагивает чисто политические темы, а это, конечно, многих задевает. Задевает одних, а у других вызывает чувство солидарности и восхищения, потому что работа Шаши отвечает неоспоримой общественной потребности.

---

[1] Веризм — течение, возникшее в Италии в 70-х годах XIX века, от слова vero — правдивый.

[2] Элио Витторини (1908—1966) — итальянский писатель, активный участник антифашистского Сопротивления, оказавший большое влияние на развитие демократической культуры в Италии.

Первый роман этого типа, переведенный у нас дважды и названный по-разному: «День совы» и «Сова прилетает днем» [1],— вышел в Италии в 1961 году и принес Шаше громкую известность. Это роман о мафии, написанный с глубоким знанием проблемы во всех ее аспектах. Творческий акт у Шаши всегда связан с большой предварительной работой, здесь нет момента импровизации, которую слишком часто называют вдохновением,— здесь именно знания, уверенность в материалах, в первоисточниках, свидетельствах. И только на этой основе строятся сюжеты, хотя некоторые гротескные романы Шаши и могут показаться литературной экзотикой. В одном из недавних интервью писатель сказал: «Для меня документы — это литература в еще необработанном состоянии. Я в них очень верю, так же как очень верю в литературу». Шаше подражать трудно, потому что писатель знает некий секрет мастерства, и у подражателей просто ничего не получится: не так-то просто, отталкиваясь от традиционных форм повествования, объединяя художественную прозу с эссеистикой, писать лаконично, иронически, страстно, напряженно. Сплав этот сложен. Шаша извлекает из исторических архивов или берет из уголовной хроники какой-нибудь факт, зафиксированный, но оставшийся неразгаданным или же допускающий различные истолкования. Иногда речь идет о группе фактов. Шаша начинает розыски, проделывает ювелирно-тщательную работу, раздобывает материалы, которые косвенно могут пролить свет на происшествие, воссоздает атмосферу времени. А потом предлагает свою версию. Не обязательно думать, что эта версия непременно верна: гипотеза Шаши — лишь одна из возможных. Даже если ему самому она представляется вполне убедительной, писатель не претендует на то, что ему известна «истина в последней инстанции».

Однако бывают случаи, когда Шаша безоговорочно уверен в своей правоте. В 1964 году он написал «Смерть инквизитора». Это книжка объемом меньше ста страниц, но трудно даже вообразить, какую колоссальную предварительную работу должен был проделать автор. Книга написана со страстной убежденностью, так как Шаша хотел восстановить историческую правду и справедливость по отношению к одному, подлинно существовавшему персонажу. Можно ли говорить о фабуле, когда речь идет не о вымышленных героях литературного произведения, а о реально существовавших людях? Мне кажется, можно, особенно если характеры, поступки и судьбы этих людей не вполне обычны. А именно такое потрясает нас в «Смерти инквизитора».

В основу положен исторический факт. В XVII веке был сожжен на костре дьякон Диего Ла Матина, который, будучи заключенным в тюрьме инквизиции, при помощи своих железных наручников убил инквизитора. Шаша изучил все архивные материалы. Он скрупулезно сопоставляет различные исторические источники и опровергает официальную версию, согласно которой Диего Ла Матина—разбойник, убийца и еретик, а инквизитор чуть ли не святой. Шаша цитирует интересные документы, мастерски воссоздает атмосферу Сицилии XVII века, описывает ритуал сожжения на костре. Основная идея книги — показать несгибаемого человека, человека огромной духовной силы, которого ничто и никто не сможет заставить отказаться от его «ереси»: Ла Матина допускал возможность, что бог может быть иногда несправедливым.

В 1967 году, при переиздании нескольких его вещей, Шаша писал, что ему самому «Смерть инквизитора» дороже всего: это «единственная моя книга, которую я перечитываю и из-за которой продолжаю волноваться». И добавил, что это, в сущности, книга незаконченная и она не будет закончена никогда, ибо Шаша все время надеется натолкнуться еще на один документ, совсем новый, или вдруг распознать новый намек, возможность нового истолкования документов, которые знает наизусть. «Может быть,— писал Шаша и, кажется, не шутя,— это случится между бодрствованием и сном, как бывает у Мегрэ в книгах Сименона, когда Мегрэ увлечен каким-нибудь расследованием».

Мир Шаши, реальность, обусловливающая все его творчество,— Сицилия. Но понимать это слишком узко нельзя, так как Шаша размышляет над природой добра и зла, над вечными общечеловеческими проблемами жизни и смерти, науки, искусства. Он говорит, что ему трудно объяснять замысел каждой отдельно взятой своей книги. Есть идея, есть тема, но потом одна мысль цепляется за другую, уводит в сторону, и в конце концов возникает «другая книга», а автор неизбежно отстраняется и начинает иронизировать над собой. В то же время на вопрос о том, как ему удается продвигаться вперед «по двойным рельсам» прозы и эссеистики, писатель ответил честно и точно: «Вещи, которые я пишу, всегда проистекают из определенной идеи и развертываются в соответствии с планом. Я хочу *доказать* нечто, прибегая к изображению подлинного или выдуманного факта».

Есть ли противоречие между определением «другая книга» и откровенным: «Я хочу *доказать* нечто...»? Формально рассуждая, противоречие есть, а по существу — нет. Напротив, в слове «доказать» я вижу подтверждение мысли о природе творческого акта этого писателя, который не опасается, что его упрекнут в рассудочности или в чем-либо подобном. Шаша каждой своей книгой занимает определенную позицию. Наивно было бы, разумеется, думать, что любая позиция Шаши вер-

---

[1] Опубликовано в «ИЛ» № 4, 1962.

Ц. КИН

ПЕССИМИСТ, КОТОРЫЙ НЕ СДАЕТСЯ

на. Она может быть спорной или ошибочной, но важна убежденность писателя, его глубокая вера в литературу и в силу разума. Шаша считает, что любая книга, даже неудачная, является «каким-то вкладом в мир». Но не нужно забывать, что Шаша отнюдь не безразличен к идейному содержанию книги (вспомним его отношение к Селину).

В 1971 году вышел «Контекст», и сам автор обозначил его как роман-пародию. Фрагменты романа, сюжет которого построен на загадочных убийствах видных чиновников судебного ведомства, были опубликованы в январе—феврале 1971 года в одном из итальянских журналов. Оказалось, что писатель, полностью погруженный в окружающую его реальность, ощутил то, что «носилось в воздухе». Он словно бы предугадал надвигавшиеся события. В мае 1971 года в Палермо был убит генеральный прокурор города.

Фабула романа — расследование серии необычайных и зловещих преступлений — не более чем канва, на которой писатель вышивает сложные узоры. Шаша издевается над стереотипным мышлением полицейских, которым не приходит в голову ничего, кроме гипотезы, что во всех убийствах виноваты «ультралевые». Но следствие ведет человек совершенно иного уровня и склада, чем все его шефы,— полицейский инспектор Рогас. Выполняя приказы сверху, он проникает и в среду «ультралевых» интеллектуалов. Сарказм Шаши при описании этих персонажей пределен: он развенчивает их мнимую революционность убедительно и зло.

Но в настоящем, серьезном следствии, которое Рогас ведет очень целенаправленно, он наталкивается на страшные вещи, разоблачающие всю систему власти в Италии. Хотя действие происходит в неназванной стране и даже имена персонажей нарочито условны, ясно, что это — Сицилия, а правящая партия — ХДП. В романе несколько центральных сцен. Одна из них — встреча Рогаса с министром, который с невероятным цинизмом говорит о положении дел и о том, что было бы неплохо привлечь к участию в правительстве главную оппозиционную — левую — партию, так как она пока не успела себя ничем скомпрометировать. Эта партия разделила бы с правящей ответственность за проводимую антинародную политику. Но, говорит министр, лидер оппозиционной партии Амар слишком умен, чтобы на это согласиться.

Сюжет развертывается неожиданно. Шаша создает острейшие ситуации и держит читателей в большом напряжении. Рогас встречается с президентом Верховного суда, чтобы предупредить его о том, что, по всем признакам, именно он, президент, должен стать очередной жертвой террористов. Происходит длинный метафизический разговор в духе философских повестей XVIII века. Разговор о природе власти и об общественной морали. Президент суда, верующий католик, выполняющий все обряды, на самом деле не верит в «христианские ценности» и откровенно высказывает это. Понятие вины для него относительно, факты неважны, признание обвиняемого тоже неважно: все и всегда неизбежно в чем-то виновны. Это важнейший разговор. В словах президента суда — смесь глубокого скептицизма, неверия, признания принципа относительности моральных истин. Конечно, отсюда протягиваются нити к персонажам и проблематике Паскаля, Вольтера, Достоевского, а позднее — экзистенциалистов. Этическая проблематика неизменно волнует и Шашу, он обращается к ней не только в этом романе.

Рогас приходит к твердому решению — встретиться лично с господином Амаром. Это не так просто, и Рогас прибегает к помощи своего друга, прогрессивного писателя. Писатель Кузан (в котором мы без труда угадываем самого автора) понимает рискованность всей затеи и просит Рогаса передоверить ему, Кузану, необходимый разговор. Но Рогас настойчив: он хочет лично поговорить с Амаром. Какова конечная цель этих необычайных переговоров— остается неясным. Амар — убежденный враг прогнившей системы, Рогас в процессе следствия увидал ее страшную суть, но имеем ли мы право думать, что и Рогас становится врагом этой системы? Шаша не любит договаривать до конца, текст романа ироничен, порой даже зашифрован.

Верный своей поэтике, Шаша не рассказывает, как и что произошло. Он просто ставит читателей перед совершившимся фактом. По радио переданы два сообщения. Первое: убит президент Верховного суда. Второе: в здании художественной галереи обнаружены два трупа. Убитые — Амар и Рогас. Согласно официальной версии, Рогас, превысив свои полномочия, заманил главу оппозиции в ловушку и убил его, а потом подоспевший полицейский агент застрелил и самого Рогаса. Версия сфабрикована грубо, она может обмануть легковерных и не умеющих политически мыслить людей, но не таких, как писатель Кузан,— его не обманешь.

Развивается тема Кузана, и эта часть романа сделана, пожалуй, сильнее других. Кузан отлично понимает смысл сложной провокации, направленной на то, чтобы скомпрометировать Рогаса, добравшегося до сути махинаций власть имущих. Он и себя считает возможной очередной жертвой, поскольку известно, что он устроил свидание Рогаса с Амаром. И Кузан решает составить предсмертный документ, в котором будет раскрыто *все*. Иными словами, составить настоящий обвинительный акт против существующей системы, против круговой поруки, коррупции, заговора молчания. Но Кузан, медленно перебирая круг возможных адресатов, не может найти никого, кому имело бы смысл послать этот документ. В конце концов он прячет его в том Сервантеса — «Дон Кихот». Трудно выбрать более ясный символ.

Однако Кузана не убивают. Более того, он встречается с заместителем покойного

Амара. И тут выясняется, что этот человек поверил официальной версии убийства. Как это возможно? Кузан подавлен, изумлен, возмущен. Тогда в ответ на прямой вопрос следует ответ, смысл которого в том, что эта версия удобна, ибо в данном случае, «как во времена Ришелье», интересы власть имущих и оппозиции совпадают.

Во время работы над романом Шаша писал в письме, адресованном редактору одного левого журнала: «В настоящий момент моей жизни я — человек, потерпевший поражение и страшащийся катастрофы, катастрофы прежде всего духовной». Это был период, когда писатель переживал глубокий кризис и терял веру в добро как таковое, не видя силы, способной противостоять всей окружающей мерзости. Таким образом, становится более понятен смысл разговора насчет того, что «как во времена Ришелье»... Некоторые итальянские критики расшифровывали это таким образом: система настолько сильна, что может интегрировать даже самых решительных своих противников. А раз так, стираются все грани между злом и добром, исчезают светотени, понятия лжи и правды теряют отчетливые границы, ничего не остается, кроме книги «Дон Кихот». Шаша — Кузан в тот момент, очевидно, считал, что честные деятели культуры в Италии обречены на трагическое одиночество. В письме, которое выше цитировалось, Шаша заявлял, что он не хочет «держать камень за пазухой» и что сам он больше ни во что не верит.

Когда вышел роман Шаши, друзья писателя, представители самой мощной оппозиционной партии страны, горько упрекали его за беспредельный пессимизм, но упрекали и себя за то, что не разглядели его душевного состояния, не спорили, не были рядом с ним в трудное время. Знаменитый художник Ренато Гуттузо написал: «Шаша не революционер по натуре, но я знаю: когда надо будет выбирать, он всегда сделает революционный выбор, даже если какие-либо его поступки могут создать иное впечатление». Гуттузо не ошибся, об этом — дальше.

В 1974 году вышел новый роман Шаши— «Todo modo» («Любой ценой» — *лат.*). Это слова из знаменитых «Духовных упражнений» Игнатия Лойолы, основателя ордена иезуитов. Если пользоваться определениями жанра, о которых уже сказано,— «Контекст» был политическим giallo, а «Todo modo» — giallo философским. Однако это условно: политика и философия присутствуют в обоих романах. Можно только заметить, что в «Todo modo» делается бóльший акцент на философских и теологических проблемах, прямо затрагивается вопрос о роли церкви в современном мире.

Действие происходит в течение всего нескольких дней на территории странного заведения: некий гибрид монашеского скита и шикарной гостиницы. В этот дом ежегодно в один и тот же срок приезжают для «духовных упражнений» знатные гости: епископы, сенаторы, министры, крупные промышленники и финансисты. Под предлогом благочестивых размышлений в этом уединенном месте собравшиеся заключают тайные сделки, договариваются о разделе «сфер влияния», проделывают циничнейшие «деловые операции» и сводят между собой счеты. Здесь также произойдут загадочные убийства.

Главные персонажи романа — священник дон Гаэтано, человек исключительного ума, обаяния и силы характера, и художник, от лица которого ведется рассказ. Это художник очень известный, пожалуй, даже знаменитый, и в его уста Шаша вкладывает некоторые важные свои мысли. Вообще поэтике Шаши свойственна одна черта: он не любит прямой авторской речи и всегда предпочитает диалог. Писатель как бы поручает избранным им персонажам обсуждать вопросы, которые волнуют его самого. Если в «Контексте» проблемы вины и невиновности, сущности и границ правосудия, моральной ответственности власти обсуждались в беседе Рогаса с президентом Верховного суда, то в «Todo modo» те же проблемы стали одной из центральных тем споров между художником и доном Гаэтано.

Шаша дает нам основания предполагать, что дон Гаэтано знает решительно все о своих «гостях» и не может не знать, кто из них и по каким причинам убил бывшего сенатора Микелоцци, который отказался от своего высокого звания во имя «высших интересов общества» и возглавил концерн Фурас. Микелоцци был застрелен во время ритуального «духовного упражнения», называемого «молитва с четками», когда все участники этой молитвы, выстроившись в квадрат с доном Гаэтано в центре, шли по поляне, скандируя текст молитвы. Разумеется, все говорят о покойном как о добродетельнейшем и бескорыстном человеке, но Шаша ироничен, и у читателей нет сомнений в том, что Микелоцци принадлежал ко всей отвратительной компании телом и душой. Однако дон Гаэтано решительно отказывается помочь идиоту-следователю Скаламбри, вызванному на место происшествия. Художник пытается понять смысл отказа дона Гаэтано.

Происходит один из важнейших разговоров. Когда художник говорит о «справедливости», «вине», «искуплении вины», священник решительно возражает. Шаша не упоминает о «великом инквизиторе» и вообще не называет имени Достоевского, но все, что проповедует дон Гаэтано,— явный метафизический спор с Иваном Карамазовым. Самая распространенная ошибка в христианском мире, заявляет дон Гаэтано, заключается в мысли, будто бы Христос хотел пресечь зло. «Говорят: «Бога не существует, следовательно, все дозволено». Никто не попытался совершить маленькую, простую, банальную операцию, видо-

---

Ц. КИН
ПЕССИМИСТ, КОТОРЫЙ НЕ СДАЕТСЯ

изменить эти великие слова: Бог существует, следовательно, все дозволено. Никто не попытался, повторяю, кроме самого Христа. И вот что такое христианство в глубокой своей сущности: все дозволено. Преступление, боль, смерть — вы думаете, они были бы возможны, если бы не было Бога?»

И художник, и дон Гаэтано — интеллектуалы, люди мыслящие, чрезвычайно эрудированные. Очень во многом их вкусы сходятся, и они испытывают друг к другу интерес и симпатию. Объединяет их презрение к тем, кто приезжает для «духовных упражнений», но есть между ними и глубокие внутренние различия. Художник — гуманист по своей сути. Дон Гаэтано — нечто совсем иное. Шаша несколько раз подчеркивает одну подробность: у дона Гаэтано очки особой формы, и, когда он надевает их, он становится поразительно похожим на странного дьявола в очках, изображенного на одной старинной итальянской гравюре. А в книгах Шаши все детали продуманы.

Тем временем свершается еще одно убийство, убит адвокат Вольтрано, которого, вероятно, убрали, испугавшись, что он что-то скажет следствию,— он уже позволил себе один неуверенный намек. Все охвачены паникой. Происходит еще один разговор между художником и доном Гаэтано. На этот раз священник, ссылаясь на Евангелие от Луки и на «Мысли» Паскаля, говорит, что для себя лично он ждет «крестного часа», а понятие это означает только одно: боль, смерть. И вскоре труп дона Гаэтано находят в лесу, подле старой мельницы. Рядом с телом лежит пистолет. Самоубийство исключено: религия не позволила бы этого. Кто же убил? Незадолго до происшедшего священник бросил открытый вызов своим гостям, поставив в нелепое и унизительное положение и министра, и следователя, и всех прочих. Так все-таки кто убил дона Гаэтано? Шаша не договаривает до конца, предоставляя читателям самим придумывать разгадку.

Советский литературовед С. А. Ошеров, с которым мне случалось спорить об этом романе, совершенно уверен в том, что дона Гаэтано застрелил художник, и приводит тонкие доводы в защиту своей гипотезы. Гипотеза меня не убедила, и ни в одном из высказываний итальянской критики я не нашла ничего, что подтверждало бы правильность такого истолкования текста, да и сам Шаша об этом никогда ничего не говорил. Тем не менее гипотеза интересна, и некоторые фразы романа могут заставить задуматься. Мы надеемся, что и наши читатели скоро прочтут роман и смогут включиться в разгадку тайны.

Есть некая взаимосвязь между романами «Контекст» и «Todo modo». Писатель последовательно и целеустремленно, с присущим ему темпераментом толкает читателей на серьезные размышления о нынешнем положении дел в Италии. В обоих случаях сила сатиры и яростного презрения к «системе» неизменны, но с точки зрения формальной «Todo modo» мне кажется написанным ярче, нежели «Контекст». Каждое слово весомо и точно. Может быть, Шаша уже начал в то время преодолевать духовный кризис, он сам говорил, что очень устал от полемики в связи с «Контекстом», и тем не менее «Todo modo» свидетельствует, что писатель был на пути к важным решениям.

Ренато Гуттузо оказался прав, говоря, что Шаша, когда понадобится, всегда сделает революционный выбор. Он сделал его летом 1975 года, согласившись баллотироваться как независимый по спискам Итальянской коммунистической партии на муниципальных выборах и возглавив группу интеллигентов-сицилианцев, последовавших его примеру. И, конечно, Шаша был избран с максимальным числом голосовавших за него: кто в Палермо мог бы конкурировать с человеком, у которого не только литературная слава, но и неоспоримый моральный престиж? Его уважают и *знают*. Говоря это, я имею в виду не только интеллигенцию, а всех, кто (примем это как символ) работает на серных рудниках, в соляных копях и на судостроительных верфях Сам Шаша не раз говорил, что чувствует свою неразрывную связь с этими людьми и что баллотировался он по спискам ИКП прежде всего потому, что ИКП верят эти люди.

В том же самом 1975 году, когда Шаша, отказавшись от дорогого ему одиночества, занялся активной политикой, вышла новая его книга: «Исчезновение Этторе Майораны». В ней всего 77 страниц, текст предельно сжат, спрессован, приводится много документов, сопровождаемых сухими — прием! — комментариями. Писатель явно стремился к максимальной «протокольности» изложения. Но все-таки возникает ощущение, что в этой вещи Шаша — впервые,— увлекшись гипотезой, стал вольно или невольно интерпретировать *факты*, так чтобы они работали на его гипотезу, даже если для этого надо было (пусть нас не обманывает «протокольность» изложения) слегка сгущать краски или, напротив, на что-то закрывать глаза.

Этторе Майорана, тридцатидвухлетний профессор Неаполитанского института физики, 25 марта 1938 года поднялся на борт парохода, курсирующего по маршруту Неаполь — Палермо. До этого он отправил письмо директору института, в котором были слова: «Я принял решение, ставшее отныне неизбежным. В нем нет ни капли эгоизма, но я отдаю себе отчет в неприятностях, которые мое неожиданное исчезновение может доставить тебе и студентам... Я сохраню обо всех вас теплую память по крайней мере до одиннадцати часов сегодняшнего вечера и — быть может — позже этого срока». В гостинице, где он жил, Майорана оставил записку родным, распорядившись отправить ее позднее. «У меня только одно желание — чтобы вы не оделись в черное. Если хотите соблюсти обычай, носите какой-нибудь знак траура, но не дольше чем три дня. После этого, если

сможете, храните память обо мне в своих сердцах и простите меня».

Многие были потрясены исчезновением Майораны. Знаменитый физик Энрико Ферми, глава так называемой римской школы, получивший впоследствии Нобелевскую премию, сказал: «В мире существуют ученые разных категорий. Люди второго и третьего плана, которые делают все, как только могут лучше, но не уходят в науке слишком далеко. Люди первого плана, которым удается делать чрезвычайно важные открытия, фундаментально важные для дальнейшего развития научной мысли. Но, кроме того, есть гении, как Галилей и Ньютон. Так вот, Этторе Майорана был одним из таких. Майорана обладал тем, чем не обладает никто другой на свете. К несчастью, он был лишен того, что мы обычно находим в остальных людях: простого здравого смысла».

По личному распоряжению Муссолини секретная полиция произвела особо тщательные розыски, но они ни к чему не привели. Не привожу сейчас еще некоторые довольно важные факты, скажу лишь, что дело об исчезновении Этторе Майораны было сдано в архив. На протяжении тридцати семи лет его имя не раз упоминалось в трудах, посвященных Энрико Ферми, римской школе, истории атомной физики. Но никто не брал под сомнение факт самоубийства. Это сделал Шаша. Он пришел к теме Майораны в начале 70-х годов более или менее случайно. Но она его очень заинтересовала. У него возникло ощущение некой недостоверности, почти двусмысленности общепринятой версии самоубийства. Разумеется, он прочел все, что только было возможно. Однако в данном случае речь шла не об архивных изысканиях, но о чисто спекулятивной работе мысли. Шаша прочел то, что читали и другие, прочел по-своему. Так, он без конца вдумывался в два «предсмертных» письма Этторе, старался расшифровать сочетание слов. Его поразил уверенный, твердый почерк, не выдававший никакого душевного смятения, предчувствия близкого конца. Поразило его и слово «исчезновение» вместо слов «смерть» или «конец».

Писатель добросовестно исследовал все, прямо или косвенно связанное с жизнью Этторе Майораны. Речь идет об ученом-атомщике. Шаша меряет Майорану очень высокой меркой: наука, конечно, но и этика. Что характерно для Этторе? Замкнутость, легкая ранимость, маскируемая напускной небрежностью, предельный индивидуализм, то, что теперь называют некоммуникабельностью. Обостренное нравственное чувство. Глубокая внутренняя требовательность к себе. Ирония. Время от времени возникающий интерес к метафизике. Чувство ответственности в чем-то самом главном и отталкивание от повседневных дел. Нервность. Одиночество. Гениальные формулы, записанные на папиросной коробке, небрежно выброшенной. О Майоране много пишет жена Энрико Ферми, Лаура. Например: «Майорана додумался до гейзенберговской теории атомного ядра, построенного из нейтронов, задолго до того, как ее опубликовал Гейзенберг. Но он даже не записал ее»[1]. Шаша пристально прослеживает путь Этторе, знает, что с каждым годом, что бы тот ни делал, в любом своем открытии, в любой догадке Майорана ощущает «приближение к смерти». Он чувствует, что, когда природа откроет ему *ту тайну*, которую ему суждено открыть, «наступит смерть». И в нем живет инстинктивное, бессознательное стремление уйти, убежать, спастись от чего-то не просто страшного, а рокового.

Мы знаем, что Шаша подвергает сомнению официально признанный факт самоубийства. Попробуем сформулировать суть его сомнений. Гениальный физик, страшась сделать несущее гибель открытие и интуитивно чувствуя, что час этого открытия неумолимо приближается, в возрасте тридцати двух лет принимает решение уйти... Уйти *из* жизни или уйти *от* жизни? Уйти *из* жизни может означать лишь одно: умереть. Уйти *от* жизни — нечто иное: не умереть, но исчезнуть, совсем, бесповоротно, навсегда. Официальная версия не допускает сомнений: правда, труп Майораны не нашли, но Майорана *ушел из жизни*, может быть, его тело лежит где-то на дне Неаполитанского залива. Гипотеза Шаши, основанная не на фактах, а на игре мысли и интуиции художника, сводится к противоположному выводу: Майорана *ушел от жизни*. Он мог, например, укрыться в каком-нибудь монастыре — для этого не обязательно быть верующим.

Если после выхода в свет «Контекста» главными участниками вспыхнувшей дискуссии были политики, то на «Исчезновение Майораны» с исключительным темпераментом откликнулись физики. Среди них — очень крупный ученый Эдоардо Амальди, который был близок и с главой римской физической школы Ферми, и с Майораной. Амальди и некоторые другие упрекают Шашу за то, что он создает своей книгой миф о Майоране, утверждают, что он пристрастно и односторонне прочел документы. Амальди пишет: «Этторе Майорана, которого все мы знали, уважали и любили, был совсем не таким, каким его рисует Шаша. Он не был гуманистом, и страх, который он испытывал, отнюдь не был связан с глухим предчувствием атомной смерти, а вызывался болезненным состоянием». Амальди обвиняет Шашу в несправедливости, опровергает его версию, отметает и суждения Лауры Ферми, которая «недостаточно хорошо в этих вещах разбиралась». Резкость споров была неизбежной, так как произведение Шаши дает основания для сомнений и несогласия.

[1] Лаура Ферми. Атомы у нас дома. Новосибирск, изд. Сибирского отделения АН СССР, 1963, стр. 74.

Ц. КИН
ПЕССИМИСТ, КОТОРЫЙ НЕ СДАЕТСЯ

Я уже писала, что Шаша здесь идет за своей гипотезой и «делает допуск». Но стоит задуматься над соотношением между жизненными фактами и фактами, преображенными литературой. Известный ученый Лючио Ломбардо Радиче опубликовал в «Уните» статью в защиту Шаши. Автор статьи спорит с Амальди не о фактах, а о праве художника на домысел. Ломбардо Радиче считает, что Шаша всего лишь отталкивается от реального Майораны в поисках символа, что он создал параболу, «почти поэму». Это право художника.

Мне лично кажется, что дело не в фабуле и не в том, кто прав — автор книги или его оппоненты. Важно другое: Шаша на протяжении многих лет так или иначе поворачивает и вновь ставит проблему личной ответственности интеллектуала перед обществом. И не так уже существенно, кто это — выдуманные писателем Рогас, или художник в «Todo modo», или реально существовавший Этторе Майорана. Мы не можем судить о том, был или не был Майорана «универсальным гуманистом», как об этом сейчас спорят в Италии. Но мы вправе судить о писателе и общественном деятеле Леонардо Шаше. И думаю, надо согласиться с мнением авторитетных итальянских критиков, что именно Шаша представляет сейчас в итальянской литературе традиции просветителей.

В декабре 1976-го вышла в свет новая книга Шаши — «Владеющие кинжалом». Здесь все основано на подлинных событиях. В ночь на 1 октября 1862 года одновременно в различных кварталах Палермо были ранены кинжалами тринадцать человек, причем ни в одном случае не было мотивов для нападения (ограбление, месть или что-нибудь подобное). Одного из нападавших задержали. Это оказался некий Анджело Д'Анджело, при котором нашли окровавленный кинжал. Как водится, он сначала все отрицал, потом сообщил факты.

События, описанные в книге, произошли менее чем через два года после объединения Италии, когда Королевство Обеих Сицилий было присоединено к Пьемонту и политические страсти кипели. Какие-то мощные силы были заинтересованы в том, чтобы поддерживать в Сицилии атмосферу смятения и страха. Шаша в книге пишет: «Стратегию напряженности изобрели именно в этот момент» [1]. Следствие ведет пьемонтец Гуидо Джакоза, честный и упорный человек, стремящийся добраться до сути происшедшего. Он арестовывает всех физических исполнителей, но когда постепенно виток за витком распутывает нити заговора и находит его идеолога и организатора, сталкивается с непроницаемой стеной. Ему просто не дают возможности раскрыть правду, и Джакоза, разочарованный, разуверившийся, возвращается в Пьемонт.

События эти до сих пор оставались загадкой для историков. Теперь Шаша, воспользовавшись не только официальными данными, но и материалами семейного архива потомков Джакозы, пришел к твердому убеждению, что этот благородный и проницательный человек был совершенно прав: виновник преступлений 1 октября 1862 года — сенатор Объединенного королевства и друг короля, князь Сент-Элиа, тайный приверженец Бурбонов, противник объединения Италии. Новая книга Шаши (90 страниц) написана с таким же мастерством, как и предыдущие его книги. И с такой же горечью. На этот раз итальянские критики, все время ищущие жанровые определения для творчества Шаши, говорят, что он написал «исторический памфлет», и добавляют, что этот памфлет полон взрывчатой силы. И мне не встречалось недоброжелательных рецензий.

На вопрос одного из интервьюеров, почему он избрал такой отдаленный по времени сюжет, рассказывая, в сущности, о проблемах сегодняшней Италии, Шаша ответил: «Потому что о трудных вещах легче говорить, соблюдая историческую дистанцию».

Почти все книги Шаши исполнены горечи и скептицизма. Но это пессимизм мужественного человека, не желающего закрывать глаза на то, что происходит в его стране. Герой последней книги — Гуидо Джакоза — терпит поражение, ему не удается добиться правосудия, виновник заговора остается на своем высоком посту. «Но ведь то же самое творится у нас и сейчас»,— говорит Шаша, и это правда. В Италии очень тяжелый, затяжной кризис, не только социально-экономический, но и духовный. Шаша заявил недавно, что он считает себя политическим писателем, только надо условиться, что это значит. И назвал как образцы имена Вольтера и Стендаля.

Леонардо Шаше сейчас пятьдесят шесть лет. Сегодня в Италии нужно иметь много мужества, чтобы хранить верность нравственному и общественному долгу, своему личному кодексу чести, не думая о литературной моде, о коммерческом успехе. Мы не можем предугадать, как будет развиваться дальше творчество этого интереснейшего писателя. Но будем ждать новых книг Шаши и новых споров об этих книгах. Ждать с доверием к таланту и к гражданственности этого «пессимиста, который не сдается».

◆

[1] «Стратегия напряженности» — термин, которым в Италии называют действия наиболее реакционных сил, направленные на создание в стране атмосферы смятения и паники, которая сделала бы возможным — политически и психологически — осуществление фашистского переворота.

ВИЛЕМ ЗАВАДА

ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ МОЕГО СЕРДЦА

Главы из книги

Перевод с чешского и вступление Л. БУДАГОВОЙ

В 1975 году в остравском издательстве «Профиль» вышел сборник статей народного поэта Чехословакии Вилема Завады, хорошо известного в нашей стране. «Земля и люди моего сердца» — единственная книга завадовской прозы. Небольшая по объему, она вобрала в себя работы, создававшиеся на протяжении почти сорока лет. Сюда включены воспоминания о детстве и юности, о поэтах-современниках, соратниках и друзьях, таких, как Витезслав Незвал, Франтишек Галас, Франтишек Грубин, Йозеф Кайнар, статьи о классиках чешского искусства XIX и XX веков, размышления о творчестве, о нелегком ремесле поэта.

«Как правило, эти очерки и статьи возникали по случаю, часто по инициативе со стороны»,— замечает Завада в послесловии к книге. Но даже и написанные «по случаю», статьи эти носят далеко не случайный характер и вопросы затрагивают не частные. В них выражена гражданская и творческая позиция писателя, суммированы его взгляды на искусство, на задачи, которые ставит перед собой поэт. И не случайно все высказанное в статьях В. Завады удивительно точно совпадает с его художественной практикой, с основным направлением его поэзии. Это ее квинтэссенция и одновременно ключ к пониманию.

Рассказывая о «местах своей души», и в первую очередь о «черной Остраве», близ которой прошло детство, Завада как бы обнажает перед читателем земные корни своего искусства, уводит к его первоистокам. «В сознании моем все время звучит тяжелый, исполненный трагизма ритм этой земли со всеми ее социальными проблемами. Я думаю, не надо повторять, что мое место — среди шахтеров и бедняков, среди трудящихся, среди угнетенных. Их судьба — моя судьба. Их борьба — моя борьба. И дорога у нас общая — к новому строю»,— так писал Завада в 1935 году. Острава — одна из главных тем его поэзии. Прозвучав в ранних сборниках — «Панихида» (1927), «Сирена» (1932), «Дорога пешком» (1937),—она как тема свободного труда возрождается в послевоенных книгах «Город света» (1950), «Полевые цветы» (1956), «Одна жизнь» (1962) и других. И в то же время это больше чем тема. Острава помогла поэту найти

верные ориентиры в жизни, опалила его поэзию своим дыханием, дала ей краски и образы. В стихах, навеянных воспоминаниями о родном крае, мы особенно ощущаем индивидуальный завадовский почерк, его сдержанно-суровую поэтическую интонацию:

Не легки на язык в моем крае люди,
Наболевшее на душе
Они отваливают, как тяжелую глыбу
в забое.
Тихий, неразговорчивый, я ходил возле
шахт,
Погруженный в себя, но с лицом,
обращенным к солнцу,
Прислушивался к голосам людей и к
шороху угля,
Я стремился к нагим, правдивым словам,
Которые продираются сквозь пустую,
фальшивую болтовню
С трудом, как при первых родах,
Неуверенно дрожат на губах,
Окрашенные кровью и еще испытывающие
боль.

(«Я родился», перевод Вл. Солоухина)

Поэзия Завады — это поэзия «нагих, правдивых слов», поэзия боли и гордости за человека. Поэт явно не на стороне тех, кто умеет только «скулить над жизнью». В его стихах с черным цветом спорит яркий свет солнца. И даже сама чернота — не мрачная чернота бездны, но чаще — цвет каменного угля, таящего в себе тепло. «Поэзия Завады подчас горька, но это горечь дорогого вина, что согревает сердце, это горечь целебной правды, ничего не замалчивающей»,— сказал однажды поэт Мирослав Флориан.

Гражданская направленность поэзии Завады обнажается в его новой книге с предельной ясностью. «Я не хочу оставаться в стороне,— говорит он в интервью с профессором Ф. Бурианеком.— Я не хочу оказаться среди тех, кто подвергает все насмешке. Не хочу быть одной веры с теми, кто исповедует ад. Знаю, в жизни есть много абсурдного, но есть в ней и смысл, и стремление к высшей упорядоченности. Возможно, утверждение это кому-то покажется наивным, что ж, в таком случае я предпочитаю лучше прослыть человеком наивным, нежели холодным и равнодушным интеллектуалом. Искусство должно оказывать на людей благотворное воздействие, либо не воздействовать вовсе. Я был бы рад, если бы мои стихи хоть немного помогли добрым силам жизни».

В нашу публикацию вошли статьи из следующих разделов книги: «Места моей души», «Как работает поэт», «Воспоминания». Статья «Счастье и честь быть поэтом» — не из сборника, хотя она тоже была написана Завадой «по случаю» — по инициативе «Иностранной литературы» и специально для нее.

Счастье и честь быть поэтом

В сложную пору становления личности, когда человек начинает жить особенно напряженной духовной и эмоциональной жизнью, тысячи молодых людей испытывают потребность выражать свои чувства и мысли стихами. Стихотворная форма кажется им наиболее подходящей и естественной для того, чтобы высказать свое отношение к жизни, к миру, чтобы раскрыть себя. Но подобно дереву, что по весне щедро расточает цветы, а потом отцветает, так и не дав завязи плодов, человек тоже далеко не всегда может сберечь в себе цветение своего сердца. Он быстро выходит из состояния сладкого юношеского опьянения, берется за ум, посвящает себя чему-то более практическому, а на порывы своей юности начинает смотреть с иронической улыбкой. Только самые одаренные и настойчивые продолжают и дальше заниматься поэтическим трудом, развиваясь и совершенствуясь, обогащая искусство новыми мотивами и образами.

Подобно многим, и я начал писать стихи еще в гимназии, не придавая, впрочем, этому никакого значения и с бо́льшим удовольствием читая других. Размышляя о будущем, я никогда не думал, что стану писателем. Приехав в 1923 году из дымной Остравы в Прагу, я принялся изучать в Карловом университете чешский язык, литературу и философию. Я собирался быть учителем, преподавать где-нибудь в средней школе. До нас еще доносилось эхо революционного 1918 года, когда закончилась первая мировая война, наша страна освободилась от австрийского господства, и мы получили надежду на лучшее будущее. Но жизнь уже поставила перед нами во всей сложности свои политические, экономические и социальные проблемы. Прежние политические партии решить их были не в состоянии — не могли, да и не хотели. Но на горизонте нашем взошла новая звезда — Великая Октябрьская социалистическая революция в России. На нее с надеждой

смотрел не только рабочий класс, но и многие пролетарии культуры — писатели и художники. Во время войны и после, когда она закончилась, мы с упоением читали наших революционных поэтов — Безруча, Неймана, а еще Шрамека и Гору. Жадно прислушивались мы и к поэзии мировой. Особенно влекли к себе французы — Рембо, Аполлинер, Вильдрак, Аркс и другие. Влияло на нас — по мере их перевода на чешский язык — и творчество выдающихся русских поэтов: Блока, Есенина, Маяковского, Хлебникова, Пастернака, Ахматовой. И меня увлек этот стремительный водоворот культурно-политической жизни, проснулась потребность вновь писать стихи. После преждевременной смерти Иржи Волькера начинающие поэты стали увлекаться творчеством молодого Незвала, Библа, Сейферта. Утверждалось искусство беззаботно-оптимистическое, проповедовавшее культ экзотики и наслаждения, искусство, которое стремилось воздействовать непосредственно на воображение, на чувство, избегая нотаций и нравоучений. Большинство представителей этой новой волны — так называемого поэтизма — разделяло коммунистические убеждения, резко выступая против капитализма и буржуазии, но иным подчас не удавалось привести художественную теорию и практику в соответствие со своими политическими взглядами, со своим марксистско-ленинским мировоззрением. Меня подкупала изобразительная сторона их искусства, яркая фантазия, богатство метафор, вдохновенность и оптимизм. Но сам я писать так, как писали они, не мог, да и не хотел.

На мое сердце еще давила огромной тяжестью первая мировая война, где погиб мой отец, меня переполняла боль родной земли, страдающей от кризиса, голода, безработицы. В первых стихах я пытался выразить трагические впечатления военных лет, суровость и красоту родного края, голод, смерть и еще — простые чувства, что помогают человеку выжить: чувство любви, радости, счастья. Обо всем этом я пытался рассказать так, как сам это пережил, и временами испытывал прямо-таки физические муки. Годы, когда я начал писать и публиковаться, когда передо мной открылись новые горизонты, новые сферы деятельности, — лучшие годы моей жизни. Первая моя книга — «Панихида» — была доброжелательно принята и читателями и критикой, об этом я не мог и мечтать. Именно тогда я ощутил в полной мере счастье быть поэтом.

Но первое воодушевление быстро прошло. Во всем буржуазном мире, в том числе и у нас в стране, нарастал кризис, обстановка делалась все сложнее, обострялась социальная борьба. Германия грозила новой мировой войной. Неожиданное счастье от сознания, что ты поэт, постепенно уступало место новому чувству. Это было чувство долга, долга оставаться поэтом и в годы приближающихся испытаний.

Чешские поэты испокон веков были не только выразителями национального самосознания, но и политическими глашатаями своего народа, их слово всегда находило живой отклик в читательских сердцах. Такими были Ян Неруда и Сватоплук Чех, Ярослав Врхлицкий, Йозеф Сватоплук Махар и Виктор Дык, Антонин Сова, С. К. Нейман и Петр Безруч. На долю же моего поколения выпала нелегкая, но крайне ответственная задача обращаться к читателю в сумрачный период Мюнхена, в тяжелые времена фашистской оккупации, в годы второй мировой войны, а потом — после освобождения страны Советской Армией — и в эпоху социалистического строительства. Во время войны и оккупации стихи нередко говорили главное лишь с помощью иносказаний и намеков, но читатели отлично их понимали и черпали в них силы для борьбы. Поэзия высоко несла свое знамя и с честью выполняла свой долг.

В жизни нашей страны поэзия всегда занимала достойное место. И все же немало поэтов страдало от сознания, что их голос не слышен другим народам. Новые, неведомые прежде возможности открылись перед нашей поэзией, да и перед всем нашим искусством, теперь, когда Чехословакия стала членом великого содружества социалистических государств, а книги наши стали переводить на русский, украинский и другие языки. Еще трудно полностью осознать, какое это имеет огромное значение, трудно поверить, что наши стихи слышат миллионы радиослушателей и телезрителей других стран. И вместе со счастьем растет стремление писать так, чтобы достойно представлять наше искусство перед самой широкой аудиторией братских народов.

(1976)

Места моей души *

Места моей души. Места моей души. Сколько их на нашей земле! И где именно, если бы можно было выбирать, хотел бы я прожить всю свою жизнь? Одно ли такое место на всем белом свете? А может, их много и назвать единственное мне будет трудно? Впрочем, теперь-то уж все равно, и этот выбор я делал не один.

Я родился в Грабове, в деревне между Островой и Мистком. Где-то в самых глубинах памяти остался наш сад с боярышником вдоль плетня, со старыми яблонями и грушами анютиными глазками, резедой, шиповником. Первые свои шаги я сделал в сторону ветряной мельницы пана Крочка, оттуда по гужевой дороге к высохшему старому речному руслу, а потом по обса-

* © Vilém Závada, 1975.

женной тополями аллее к бурной, сверкающей Остравице. Помню, какой ужас нагоняла на меня эта река, когда весной или осенью разливалась она до самой околицы, размывала берега, выкорчевывала деревья, сносила мосты. На другом конце деревни, окруженные столетними дубами, спокойно поблескивали пруды со странными названиями — Пилик, Старый и Новый Гурт, Шаяр, Красицкий и Безек. До сих пор я чувствую сладковатый запах воды и тины, запах ирного корня, рыбы, ежевики и травы. Через запруду просачивалась, булькая, вода, и мы проходили мимо на цыпочках, затаив дыхание. Нам казалось, что там нас подстерегает водяной.

Однажды, когда мне было года четыре или пять, вся семья отправилась в соседнюю деревню на свадьбу. Выдавали замуж мамину сестру. Мы наняли лошадей с коляской, отец курил сигару, и я чувствовал себя настоящим барчуком. А после свадьбы все возвращались домой пешком, в кромешной тьме. Вдруг огненное сияние озарило небо. Где-то пожар, подумал я, очень сильный, наверное. Стало так светло, что можно было разглядеть каждый камень, каждую выбоину на дороге. Я испугался, а отец успокоил меня. Он сказал, что это льют расплавленное железо и пугаться нечего. Так произошло мое первое заочное знакомство с Остравой и Витковицами.

Потом я стал прислушиваться к гулу сирен, гудков, грохоту вагонеток, скрипу тормозов и шипенью раскаленного железа. Симфония звучащего металла казалась мне прекрасной. А когда я подрос и стал ездить на поезде в остравскую гимназию, то полюбил запах паровозного и фабричного дыма. Река Остравица сразу же за деревянным мостом становилась мутной и грязной — в нее спускали отходы вратимовской целлюлозной фабрики, — но солнце чудесно преображало маслянистые пятна на глади реки и на лужах возле дороги, и они переливались всеми цветами радуги. Да и все люди казались добрыми, особенно если мы приветливо здоровались с ними и к тому же наши гуси и козы не щипали колосья и клевер на чужих полях.

Лет девяти я впервые отправился в горы. С раннего детства я видел их перед собой. Они поднимались на горизонте, огораживая наш мир. До сих пор помню густой, темный лес, влажно пахнущий папоротником и грибами, помню залитые солнцем пасеки с малиной и земляникой, пастушьи хижины с терпким запахом овечьей шерсти и дыма, помню очертания холмов и гор, простиравшихся вдали, ясное летнее небо с плывущими облаками и бездонными глубинами лазури. Я был еще ребенком, многого тогда не знал и не подозревал, что земля между этими двумя полюсами — северным, где вырисовывались домны и шахты Остравы, и южным с его райски чистой природой — останется навсегда в моем сердце, в моей душе. На земле этой, такой реальной и одновременно такой призрачной, я провел печальные и прекрасные годы детства и юности, до самых своих восемнадцати лет. Я бродил по цветущим межам и по засыпанным шлаком дорогам, ходил на свадьбы и похороны, переживал минуты радости и горя, впервые ощущал грубые удары жизни и начинал прислушиваться к своему внутреннему голосу, который утешал меня и учил протесту.

Окончив гимназию, я со связкой книг и парой белья в плетеной корзинке уехал учиться в Прагу. Всю ночь я провел в поезде, а утром, не выспавшись, прибыл в город, о котором так давно мечтал. Дорога привела меня к Главковским общежитиям, где я нашел приют на все четыре прекраснейших года студенческой жизни. В Праге я чувствовал себя деревенским бедняком, вдруг очутившимся перед дворцами королей и знатных вельмож. Я так и впивался глазами в лица прохожих — не увижу ли среди них Франтишка Ксавера Шальду, Карела Томана, Йозефа Гору, Иржи Волькера, Ярослава Сейферта или кого-нибудь еще из тех, чьими книгами я увлекался в ту пору. Мне было одиноко в этом огромном и поначалу чужом городе. Я с грустью смотрел на парней и девушек, которые ходили парочками, взявшись за руки, и целовались в темноте. Иногда я забегал в дешевые кинотеатры, где студентам продавали билеты со скидкой. Из глубины зала смотрел я на мелькающие картины жизни, картины мира.

Вековая красота пражских дворцов, соборов, площадей покоряла. Но и красота современной столицы находила в моей душе отклик. Как зачарованный стоял я на набережной возле моста Палацкого, глядя в сторону Збраславы, на юг, против солнца и против течения сверкающей Влтавы, туда, где терялась она в светлом тумане меж зеленых холмов. Очень скоро я нашел себе друзей среди товарищей по факультету, среди молодых поэтов и художников. Все чаще испытывал я неведомое прежде душевное волнение, отрывочные мысли проносились в сознании, и передо мной открывался новый, до сих пор лишь смутно предчувствуемый мир. А потом одна женщина соединила свою судьбу с моей, и я остался в Праге навсегда, бросив здесь якорь. И уже не мог я покинуть эту пристань, уступив желанию видеть новые горизонты и вдыхать неизведанные запахи. Корабль, пришвартованный к берегу, может лишь спокойно покачиваться на волнах. Больше не бродил я по улицам и набережным, как очарованный странник, правда, не стал я похож и на тех, кто, понурив голову, изо дня в день озабоченно спешит по своим делам.

А через несколько лет над Прагой загрохотали громовые раскаты, возвестившие о катастрофе второй мировой войны. В те минуты я хватался за каменные стены Праги, словно мореплаватель за скалистые утесы. Я знал этот город в пору блистательных расцветов и трагических падений, я видел его агонию и его героизм. Судьба Праги стала моей судьбой. Так где же вы, места моей души? В Остраве или в Праге? Даже птица не задерживается в гнезде, где она вылупилась из яйца. Человек — не перелет-

ная птица, но и он не может навсегда остаться в отчем доме и начинает строить собственный кров по образу и подобию сердца своего. Дом и горницы, что в детстве кажутся просторными, потом становятся тесными, маленькими, низкими. Разумеется, я не имею в виду родную деревню или родной край. Я горжусь землей, где родился, горжусь тем, что не стареет она, постоянно возрождаясь из пепла, как сказочная птица феникс. В конечном итоге человек находит свой дом там, где находит он любовь и работу. Мне кажется, я мог бы жить в любом уголке своей страны, была бы лишь комната с письменным столом у окна, где можно было бы читать и писать. Бродяжий мой посох пустил бы побеги всюду, где бы я ни воткнул его в землю. Вся наша страна прекрасна, приветлива и гостеприимна. Она подобна многогранному кристаллу. Каждый уголок своеобразен и хорош по-своему: здесь красота сурова, а там — солнечна и ласкова. Здесь земля мирная и тихая, а там — дикая, буйная. Прекрасны Татры, по-своему хороши равнины Житного острова, свой темп жизни в Остравском крае и на тихой Гане, на Чешско-Моравской возвышенности, в Южной Чехии и в Чехии Северной. Не каждый способен заметить и прочувствовать ту красоту, что его окружает, что у него под рукой. На земле нашей, хоть она и не из самых больших, места хватает всем. В Чехии, Моравии, в Силезии или в Словакии — всюду можно найти свое дело и бросить якорь.

Но где бы человек ни обосновался, ему никогда не оборвать пуповину, связывающую его с тем краем, где он родился, где впервые открыл глаза и стал смотреть на мир, где, свернувшись комком в материнских объятиях, он еще не успел познать ни зла, ни фальши. Все мы храним в себе то чистое волнение, с каким переживали первую любовь и вступали в мир. То и дело обращаемся мы к корням, что дали нам жизнь, к роднику, из которого пили в детстве. Так и я возвращаюсь к земле, где вырос, к земле, чья печать лежит на мне. Острава вдохнула в меня душу, опалила горячим дыханьем кузнечного горна. Она — начало всей моей жизни.

Я люблю Прагу, красу городов наших, где из каждого дома на вас смотрят минувшие столетья, где каждый камень окроплен потом и кровью предков. Это один из прекраснейших городов мира. Подобно Риму, раскинулась она среди зеленых холмов, на берегах полноводной реки, прямо в небо упираются тысячи ее башен и шпилей. В кремле, в храмах и дворцах Праги, в ее библиотеках, картинных галереях и музейных залах скопились огромные богатства культуры. Я люблю, смешавшись с толпой туристов, бродить по надворьям пражского Града, разглядывать вместе со всеми кафедральный собор святого Вита или базилику святого Георгия, пройтись по Златой улочке, выйти на Лоретанскую площадь, и все это как будто впервые, как если бы ты шел по улицам Брюгге или Амстердама, по набережной Сены, по переулкам Равенны, Вероны или Падуи. Я люблю, отрешившись от инерции повседневного восприятия, как бы заново ощутить красоту древней Праги и Праги современной, где мощно пульсирует жизнь огромного города. Иногда мне становится жаль, что по сравнению с другими европейскими городами, щедро расточающими свет и краски реклам, Прага выглядит более грустной, чуть запущенной и небрежной. А когда я возвращаюсь по вечерам домой через Градчанскую площадь, мне кажется, что время остановило здесь свой бег.

Прагу надо открывать квартал за кварталом, улицу за улицей, дом за домом, проезд за проездом — в разное время дня и ночи. Город этот прекрасен своей сдержанной, непоказной красотой. И все же иногда хочется вырваться из Праги туда, где в огне и дыму рождается жизнь в ее грубом, первозданном виде. Несколько раз в год я бываю в своей деревне Грабове и в Остраве. Там до сих пор живут моя мать, сестра, родные и друзья. Я счастлив, что не чужой для них, что они считают меня своим. С земляками мы хорошо понимаем друг друга. Люди в моем краю знают себе цену и никогда ничего не строят из себя.

Я родился в Остраве и возвращаюсь к ней снова и снова, но живу я в Праге, связанный с этим городом своими обязанностями и работой. В свободное время люблю бродить по пражским окрестностям, подобно Колумбу открывая для себя долины, скалы и холмы, сохранившиеся во всей своей красе еще со времен Манеса и Алеша, Косарека и Хитусси [1],— места неприметные, но примечательные, где находятся остатки древних поселений, памятники культуры и борьбы наших предков: Унетицы, Будеч, Турско, Левы Градец. Вот уже многие годы подряд я провожу каждое лето в приветливой деревушке Жерновка, совершая оттуда короткие и длительные прогулки в Кутну Гору, в город Сазаву, а потом — долиной реки Сазавы — возвращаюсь домой по лесным и проселочным дорогам. И кажется тогда, что нет ничего лучше, чем шагать пешком и смотреть, смотреть и слушать, останавливаясь, чтобы поговорить с людьми, посидеть с ними в деревенской корчме или в вагоне поезда, и еще кажется, что нет ничего лучше такого состояния, когда ноги свинцовые от усталости, а голова свежая и ясная и сердце, переполненное радостью, бьется где-то у самого горла. На таких дорогах родился не один мой стих и не одна строфа обрела окончательную форму. За счастьем, как и за красотой, не надо ходить далеко. Они на каждом шагу, и их столько, сколько способны увидеть наши глаза и вместить сердце.

У каждого есть где-то отчий дом, где он родился и вырос, и есть место на земле, где

[1] Йозеф Манес (1820—1871), Микулаш Алеш (1853—1913), Адольф Косарек (1830—1859), Антонин Хитусси (1847—1891)—известные чешские художники. *(Прим. перев.)*

он живет и трудится теперь. Но далеко не каждый чувствует себя там как дома. Кому-то не спится, кто-то мечтает покинуть обжитые стены. Нэша отчизна — это все, что нас окружает: люди, семья, общество, природа и культура,— вся та среда, где мы живем и трудимся и которую помогаем создавать своим трудом, поступками, дыханием. Но нигде и никогда не будет чувствовать себя как дома тот, у кого пустое сердце и пустая душа. Говорят, что знаменитый Архимед, открыв закон рычага, воскликнул: «Дайте мне точку опоры, и я переверну весь мир». Эта архимедова точка опоры лежит в нас самих. И места души своей, а с ними спокойное чувство уверенности человек находит прежде всего в себе самом, в своем собственном сердце, и уже потом — где-то рядом с собой.

(1969)

Здравствуй, Острава!

(К 700-летию основания города)

Сегодня, милая наша Острава, должны бы сверкать над тобой фейерверки, а на улицах греметь духовые оркестры. Но зачем тебе сияние, организованное искусной рукой пиротехника, если днем и ночью, летом и зимой стоит над тобой огненное зарево домен и шахт? Зачем тебе дребезжащая музыка жести, если ты привыкла к симфонии ревущих сирен, шумно вздыхающих локомотивов, свистящего пара, грохочущих моторов, тихо жужжащих динамо-машин и гулких ударов молота?

Как достойно восславить тебя, один из старейших городов наших и один из самых юных наших городов? Когда-то наши предки основали тебя на земле, что таила в себе мощные залежи угля. И с тех пор, как начала ты из своих недр добывать окаменевшие останки далеких веков, сильнее завертелись колеса промышленности и торговли, ты стала набирать высоту и за последние сто лет выросла намного больше, чем за все предыдущие столетия. Тебе уже тесно среди старых улиц, площадей, торговых рядов, магазинов и пригородов, и под крылом твоим встают новые города: Поруба, Гавиржов, новые кварталы. А в них, просторных, зеленых и светлых, живет, наверное, самое молодое население земли.

У тебя славное, великое и драматичное прошлое. Но знаменита ты не мрамором домов, не дворцовыми порталами, не сокровищами музеев и выставочных залов и не событиями, что вошли в исторические хроники. Будто могилы богатырей, высятся вокруг тебя курганы угля, поднятого из шахт. Словно лунная поверхность, остывает за твоими воротами разлившаяся лава доменных печей. И сама ты чумазая, будто только что вышла из глубины земных недр. На окнах — завесы из пыли, в комнаты врывается горький запах угля и кокса, а раны твои залечивает сажа.

Ты вечно погружена в свой труд под землей, и расплавленная руда для тебя — все равно что раскаленное чрево земли. Что тебе дешевый блеск внешней красоты, показная и надутая помпезность? Ты не стараешься выставить себя в лучшем свете, не раскланиваешься, чтобы сорвать аплодисменты. Величие твое — в героике будней, в героике повседневного труда. Из года в год, изо дня в день, на автобусах, трамваях и поездах, из ближних и дальних селений приезжают к тебе рабочие—каждый на свое место, каждый за свой станок, в свой отсек. Тысячи людей отдают все свои силы, чтобы ты могла сделать шаг вперед. Закон труда у них в крови. Никто не подсказывает, что надо делать, но никто не смеет и повелевать. Они сами все понимают, и железный закон труда ведет их по своему пути. Ты, Острава, воспитала в них это.

Сотнями, тысячами шли к тебе робкие, несмелые жители гор и отдаленных пасек, превращаясь на шахтах твоих и заводах в новых людей. В детстве они слушали шум лесов и рек, а теперь, под землей, они слушают шелест угля. Они научились так хорошо понимать машины, что их натренированный слух даже среди гулкого грохота подмечает любой настораживающий шорох, любую неисправность в моторе. Никому не знакомые нелюдимы, они пришли из затерянных горных хижин, из глухих деревень, и общий труд объединил их, и стали они друг другу ближе, чем самые близкие соседи, ближе, чем братья. В труде все равно что в бою. И если вдруг случается обвал, шахтеры с трудом протискиваются сквозь узкие щели, чтобы вытащить на себе из опасного места пострадавших товарищей. Когда приходит беда, весь город, затаив дыхание, молча, следит за спасательными работами. Он солидарен со своими друзьями, солидарен с героями.

Яростно бушует огонь, преодолевая сопротивление железа и угля. Яростно бушует энергия человека, побеждая камень и металл, огонь и воду, превращая их в газ, пар, электричество. Работа эта нелегка, она требует сосредоточенности. И жителей Остравы она делает людьми серьезными и гордыми.

В тебе, Острава, мощно бьется пульс жизни. Каждый человек — своя неповторимая мечта. Каждый человек — своя судьба. И все эти судьбы ты соединяешь в единую судьбу великого коллектива, направляешь его движение и определяешь цель. А цель ведет вперед, в грядущее. Огнем своих печей ты сплавляешь воедино мосты прошлого и будущего, мосты, уводящие далеко за пределы нашей страны.

Свети нам и дальше, черная Острава, свети, как огненный маяк, свети, как мирная пристань.

(1967)

Как работает поэт

Поэтическому ремеслу не учат ни в институтах, ни в академиях. Сама жизнь — школа и университет для поэта, а наглядные пособия — лучшие произведения всех времен и народов. Его наставники — прославленные мастера литературы и безымянные народные творцы песен, сказок, пословиц. По сути дела все поэты и прозаики — самоучки.

Я сомневаюсь в том, что настоящим писателем может сделать человека только литературный вуз. Методических разработок и испытанных руководств по написанию стихов или романов не существует. Каждый поэт работает по-своему, иначе, чем другие. Когда человек молод, когда ему еще недостает материала и мастерства, он пишет совсем не так, как в зрелом возрасте, когда в его распоряжении и богатый материал, и сложившаяся творческая методика. Истинный художник никогда не придерживается каких-то устоявшихся шаблонов. Это не значит, разумеется, что писатели не должны обмениваться опытом или что их опыт не будет полезен начинающим авторам.

Еще не так далеки те времена, когда поэты никому не открывали своих творческих секретов и сочли бы неуместным вопрос о том, как они, собственно, пишут. Сравнительно недавно еще поэтическое творчество окружали ореолом тайны, оно воспринималось как нечто возвышенное, доступное лишь посвященным. Но ничего столь уж таинственного, исключительного, как это виделось эстетикам-идеалистам или бесталанным версификаторам, в возникновении поэтического произведения нет. Поэзия ничем существенно не отличается от других видов творчества.

Талант здесь безусловно необходим, как, впрочем, и в любой творческой деятельности. Поэтический талант — сочетание многих качеств. Это и богатое воображение, и глубина чувства, это и эмоциональная восприимчивость, и сила интеллекта, незаурядность характера и доброта, мастерство, нравственность, идейная убежденность художника и его гражданская активность.

Есть писатели, которые могут создавать виртуозные стихи и современные по своей форме новеллы, пьесы с геометрически четким композиционным рисунком и обстоятельные романы, но которые способны в лучшем случае лишь заставить читателя оценить их профессиональную изощренность. Бесстрастные манипуляции словом, впечатлением, образом могут поразить, но никогда — взволновать или увлечь.

Природный талант сам по себе — это еще не все. Если не обогащают его чтение и учеба, постоянные контакты с людьми, сама жизнь, если не дисциплинирует его строгая, систематическая работа, он быстро сходит на нет и пропадает.

Но даже большой талант, тот, что заботливо пестуется и развивается, еще не делает большого поэта. Если поэт не хочет быть всего лишь пташкой, беззаботно распевающей на ветке, он должен стать борцом, борцом за великие идеалы времени, общества, человечества. Только тот, кто всем своим творчеством отстаивает эти идеалы, достоин называться поэтом.

Поэтическое произведение, как правило, возникает не вдруг. Это чаще — плод длительной, кропотливой работы, а не внезапного «озарения». Рождение стиха — сложный процесс. Поэт и сам не всегда осознает, когда пришла ему в голову та или иная мысль, образ, рифма, из которых потом сложилось стихотворение. Хороший поэт работает всегда, пусть даже пишет он не каждый день и не каждую неделю. Это невозможно, да и не нужно. Но умножать запас впечатлений, обогащать свой словарь поэт должен каждый день. Каждый день он должен оттачивать свою мысль, совершенствовать образы, придавая им бо́льшую силу, а стихам — бо́льшую простоту и глубину.

Нельзя механически соединить отдельные образы, строки и строфы. Хорошее стихотворение подобно живому организму, и развивается оно так же. От первых неясных ощущений — к осознанным и более точно сформулированным. Чувства и мысли постепенно проясняются, превращаясь в стихи. И неважно, происходит ли этот процесс в сознании поэта, или он последовательно фиксируется на бумаге.

Сам я, например, не могу себе представить, как это можно сесть за стол, взять чистый лист и сразу, с ходу написать стихи на заданную тему. Это не значит, что писать «по заказу» вообще нельзя. Так писать вполне возможно, и даже писать быстро, но тогда лишь, когда поэту есть что сказать, когда у него есть запасы материала или даже фрагменты стиха. Именно так работал Владимир Маяковский, об этом он рассказывал в своей известной статье «Как делать стихи»: «Работа начинается задолго до получения, до осознания социального заказа. Предшествующая поэтическая работа ведется непрерывно».

Стихи создают подобно тому, как строят дома. Прежде чем возводить здание, надо добыть песок, известь, кирпич, цемент, доски,— словом, весь необходимый материал. Но еще раньше нужно подготовить проект. Прекрасный, удобный для своих обитателей дом может быть выстроен только из качественного материала. В час нужды приходится иногда слепить наскоро хибару из земли и глины. А если потребуется, то можно возвести дворец из мрамора и металла, обставив его прекрасной, редкой мебелью. Но только иногда сколоченная на скорую руку времянка оказывается нужнее и полезнее, чем роскошные чертоги,

---

ВИЛЕМ ЗАВАДА
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ МОЕГО СЕРДЦА

требующие массу времени, энергии и материала. И неверно, если поэт готовит себя лишь к возведению роскошных и величественных дворцов «для вечности», высокомерно отказываясь строить простые дома, нужные и необходимые его времени.

Поэт непрерывно накапливает опыт и впечатления. Волнение души — его обычное состояние, разные чувства и настроения обуревают его. Но только свежесть впечатлений — еще не гарантия того, что стихи окажутся удачными. Ведь и впечатления иногда должны созреть.

Расскажу, к примеру, как возникло мое стихотворение «На дорогу»:

Этот холм — богатей, воротила и туз—
Припеваючи жил и не дул себе в ус.

Этих мест старожил —
Все богатства урвал,
Лес его сторожил,
Охранял, прикрывал.

А дороги вдали и вблизи
Утопали в глубокой грязи.

Искорежены, стоптаны, скошены,
Как ботинки
Потерты и сношены.

Но пролег в этот край
Через хляби и муть
Путь янтарный, алмазный —
Жизненный путь.

Люди поняли:
Холм необъятный хранит
Драгоценный базальт
И бесценный гранит.

Холм встряхнули:
«Довольно богатства хранить!»
И за дело:
Дороги мостить и чинить.

И теперь, если кто по дороге пройдет,
Под ногами она звенит и поет[1].

В 1946 году из Бескид я ненадолго приехал в Словакию. Где-то под Жилиной увидел развороченный холм, от которого осталась лишь половина. Там добывали камень для мостовых. А вскоре я оказался в одном из чешских промышленных городов. От вокзала до площади шел пешком. Меня, помню, поразило, что улицы, по которым каждый день идут на свои заводы и фабрики тысячи людей, так запущены, что не разберешь даже, где тротуар, а где проезжая часть. Я тогда еще подумал, что неплохо бы привести в порядок эти улицы, похожие на старые разношенные башмаки. И вспомнил базальтовый холм в Словакии, который показался мне вдруг надменным богачом с полными амбарами добра. А затем возник образ красивой, удобной дороги, где только искры летят под ногами прохожих. Стихотворение это я написал не сразу. Понадобилось время, чтобы впечатления оформились, чтобы возникла между ними связь и дала жизнь стиху в его окончательном виде.

[1] Переводы стихов выполнены специально для данной публикации Ириной Грицковой.

Работая неустанно, систематически, поэт может накопить множество образов, строф, стихотворных фрагментов, из которых потом складывается единое художественное целое. Важно не только собрать материал, но и выбрать из него необходимое. Дайте плохому повару лучшее мясо и редчайшие пряности, он все равно ничего путного не приготовит. Так и плохой поэт не создаст хороших стихов, даже если у него в запасе множество удачных образов и строк. Мастер своего дела умеет довольствоваться малым. Из самого простого и обычного он способен создать нечто высокое и прекрасное. Как нельзя излишним шумом и криком прикрыть порой скудость изобразительных средств, так и переизбыток материала еще не создает впечатления полноты. Образы для поэзии надо искать в повседневной жизни, а не в заоблачных высотах, и важно, чтобы тебя понял самый обыкновенный читатель, а не только профессиональный литературовед.

Хорошие стихи нельзя писать урывками, в свободное от работы время — в ожидании трамвая или в перерывах между заседаниями. Поэзия требует человека целиком, она отнимает все его силы, ведь это — цветение самой жизни, ее свет, ее аромат. В творчестве проявляются лучшие свойства личности художника, лучшие черты его класса, его народа.

Но и одной лишь литературой заниматься нельзя. Так, чего доброго, превратишься в автомат по производству стихов. Подлинное искусство рождается не за захлопнутыми ставнями и спущенными шторами, в тиши кабинетов, надежно изолированных от всяческого шума. Поэт должен быть среди людей, встречаться с ними не только в кафе и клубах, но и на полях, фабриках, в деревнях и городах — всюду, где кипит жизнь и работа, где идет борьба за будущее, за осуществление наших идеалов. Художник, оказавшийся в духовной изоляции, неизбежно становится скептиком и пессимистом. А тот, кто боится сосредоточенного труда и пытается заменить его чисто внешней активностью, будет всегда скользить по поверхности жизни, не достигая ее глубины. Наиболее плодотворен, на мой взгляд, такой метод, который обеспечивает самый тесный контакт с действительностью и в то же время дает поэту возможность спокойно осмыслить и творчески пересоздать тот опыт, что он вынес из общения с людьми.

Настоящий художник ищет родники, питающие его творчество, в жизни общества, в жизни своего народа. Живет лишь такое искусство, которое отражает реальность, отвечает на вопросы, поставленные самой жизнью, открывает путь вперед. Замыкаясь в стенах своего кабинета и черпая вдохновение исключительно в произведениях искусства, художник неизбежно деградирует. Можно привести не один пример из истории литературы, когда поэт, пребывая в тесном кругу своих субъективных представлений, жизнь познавал только по книгам. Таких поэтов ждала

печальная судьба, они были и пребудут поэтами книжными. И интересуются ими разве что историки литературы, читатели же никогда не нарушают их священный покой на библиотечных полках.

В то же время нельзя и недооценивать тот импульс, который может дать поэту книга или другое произведение искусства. Ведь бывает, что книга становится мощным стимулом творчества, нельзя, однако, чтобы книжные впечатления возобладали над непосредственными впечатлениями жизни. Пусть будут чтение и учеба тем благородным металлом, что обогащает расплав жизненной руды.

За этой рудой писатель должен сам спускаться в земные недра. Никто ее не добудет вместо него. А если и найдется охотник, то руда такая окажется пустой породой, из которой вряд ли что выплавишь. За материалом не надо ходить далеко, его вдоволь повсюду, куда ни кинешь взгляд. Надо только уметь видеть и воспринимать. А теперь, когда все в мире так и кипит, материал сам просится к писателю. Бывает, например, что годами ходишь по одной и той же улице, но совсем не замечаешь ее. И не знаешь, что здесь вот, скажем, висит мемориальная доска в честь ученого, композитора или писателя. И людей, бывает, тоже не замечаешь. А стоит очутиться в незнакомом месте, в каком-нибудь отдаленном городском квартале, сразу же открываются тебе дома и парки, заводы, магазины, люди. Вновь обретают остроту зрение, слух, мысль. Художник должен больше всего бояться душевного застоя. Он обязан чувствовать себя молодым, быть всегда в приподнятом состоянии, словно приподнятая пахотой земля, готовая принять в себя зерно. А зерно, упавшее на утрамбованную почву, так и не принесет плода. Некоторые художники, чтобы както встряхнуться и вдохновить себя, прибегают к разного рода средствам — кофе, табаку, алкоголю. Я не пуританин и не моралист, но уверен, что во время работы художник должен придерживаться такого же режима, какого придерживается спортсмен, желающий быть в форме. Поэт должен беречь остроту зрения, ясность мысли, свежесть и чистоту чувств, только так он может создать нечто стоящее. По моим наблюдениям, лучше всего помогает «встряхнуться» возможность вырваться на время из привычной среды, устремиться на поиски жизненного материала и новых людей, подобно археологам, уезжающим на раскопки, или ботаникам, отправляющимся собирать гербарий.

Хотелось бы еще раз вспомнить Владимира Маяковского и его статью «Как делать стихи», которую я цитировал. После смерти Есенина Маяковский задался целью написать своего рода поэтический ответ на последние есенинские стихотворения. Задача была не из легких. Она совпала с разъездами поэта по провинции, с чтением лекций. Около трех месяцев, изо дня в день он возвращался к этой теме и не мог придумать ничего путного. «Лезла всякая чертовщина с синими лицами и водопроводными трубами. За три месяца я не придумал ни единой строчки. Только от ежедневного просеивания слов отсеивались заготовки рифм вроде «в иной — пивной», «Коган—погань», «Напостов — по сто». Уже подъезжая к Москве, я понял, что трудность и долгость писания — в чересчур большом соответствии описываемого с личной обстановкой. Те же номера, те же трубы и та же вынужденная одинокость. Обстановка заворачивала в себя, не давала выбраться, не давала ни ощущений, ни слов, нужных для клеймения, не давала данных для призыва бодрости. Отсюда почти правило: для делания поэтической вещи необходима перемена места или времени. Точно так, например, в живописи, зарисовывая какой-нибудь предмет, вы должны отойти на расстояние, равное тройной величине предмета. Не выполнив его, вы просто не будете видеть изображаемой вещи». Так считал Маяковский. Думаю, что это подтвердит любой поэт.

Мне кажется, каждое готовое стихотворение важно соотносить с жизнью. Только так можно убедиться, что получился не мыльный пузырь, не пена, не узорная кайма. Только так можно определить действенность стиха, его значимость и весомость. Ведь иногда то, что кажется чем-то удивительно важным в нервозной атмосфере рабочего кабинета, за его пределами рассеивается, подобно туману над водой. Проверить готовые стихи на убедительность, на их необходимость помогают автору и читатели.

Настоящие поэты и прозаики должны быть не просто мастерами своего дела, они должны быть настоящими людьми. Поэт — не осветитель и не лакировщик. Он как солнце, что дает людям свет и тепло.

И задачи у поэта — большие и важные. Никто не рождается сформировавшимся человеком. Надо изо дня в день работать над собой, жить с широко раскрытыми глазами, трудиться не покладая рук. Только так ты совершенствуешься как личность и как художник. Даже величайшим из мастеров, которым платим мы неизменной любовью, ничего не давалось легко. Им тоже было трудно. И работали они часто в очень тяжелых условиях. Но они видели перед собой цель и, движимые вдохновением и любовью, трудились во имя ее, оставляя после себя произведения, к которым будут обращаться все новые поколения читателей. Создать высокие и прекрасные творения можно, лишь вложив в них все свои силы, усердие и талант...

(1951)

ВИЛЕМ ЗАВАДА
ЗЕМЛЯ И ЛЮДИ МОЕГО СЕРДЦА

Чтобы жизнь была полна поэзии

(С Витезславом Незвалом у Черного моря)

Начало апреля 1957 года. С делегацией чешских и словацких писателей мы отправляемся в Советский Союз. Первый раз в жизни летим на ТУ-104. Уже сам по себе полет — событие. Не отводим глаз от указателя высоты. Сначала ясно виден Ржип, потом золотые вершины Крконоше, и только над Варшавой самолет достигает своего потолка — 11 000 метров. Небо темно-синее, земля кажется неясным, расплывчатым пятном. В самолете тепло, мы спокойны, чувствуем себя прекрасно. Незвал было задремал, потом вдруг очнулся, словно бог в облаках. Мысль эта ему понравилась. Какое-то время он сидел с отсутствующим видом, затем достал блокнот, ручку, что-то записал, опять задумался, и вот уже он читает нам только что законченное стихотворение «Сонет в честь ТУ-104» — приветствуя с его борта Советскую страну, которую он так любил и встречи с которой ждал, как ребенок.

Не успели мы сложить свои чемоданы в гостинице «Москва», как Незвал сел за телефон и стал названивать своим друзьям. Их много — известные советские писатели Эренбург, Федин, Щипачев, Кирсанов, Полевой, Симонов, Сурков, Луконин, Михалков и другие. Скоро в номере становится тесно. Пришла и богемистка Нина Николаева, посвящавшая нам потом все свое свободное время. Незвал и сам ходит в гости. Вместе с ним едем в подмосковный санаторий к старому поэту Городецкому, которому эта встреча доставила огромную радость.

В Москве Незвал чувствовал себя как дома. Он знал ее так же хорошо, как родную Прагу. Знал все памятные места, исторические достопримечательности, прекрасно ориентировался и в Москве современной, будничной и деловой, любил ее укромные уголки, живописные площади, улицы и тупички, кафе и театры. Он всюду увлекал нас за собой, все хотел показать. Болезнь уже пригибала его к земле. Он быстро уставал, ступал тяжело и медленно, но не сдавался. Лишь в кругу близких друзей ронял иногда фразу, навеянную предчувствием смерти которую он не хотел и гнал от себя. Но вопреки всему он шел навстречу своей судьбе. Был по-прежнему опьянен жизнью, словно бог Дионис. Выступая в секретариате Союза советских писателей, в редакции «Литературной газеты», на открытии Декады таджикской культуры, беседуя с издателями, составителями и переводчиками антологии чешской поэзии, он переживал душевный подъем. Говорил темпераментно и страстно, как в самые счастливые свои минуты. Глубоко вдыхая воздух Москвы, по-богатырски наслаждался дарами советской земли, огненным грузинским вином, разнообразием русской, грузинской и армянской кухни. При этом вовсе не думал о калориях и диете, чувствовал себя счастливым и заражал этим других.

Он походил на танк. Однажды мы отправились в Мавзолей Владимира Ильича Ленина. Как раз в это время зарубежная правительственная делегация возлагала венок. К Мавзолею никого не подпускали. Нам не удалось даже собраться всей группой в условленном месте. Мы шли втроем— Незвал, Бранислав и я. Незвал преград не признавал. Своим обаянием, непосредственностью и сердечностью, своеобразием своего русского языка, на котором он подробно объясняет, что мы — писатели из Чехословакии, Незвал обезоруживает милицию. Мы преодолеваем первый кордон, потом второй, третий. Нас везде пропускают, и вот мы уже добираемся до генерала, у которого надо получить разрешение. Получаем его сразу же, все идет удивительно хорошо: нас пропускают без очереди, мы можем не торопиться. В сопровождении офицера милиции мы входим в Мавзолей и в молчаливом волнении долго стоим у гроба великого вождя советского народа. Мы благодарны и глубоко тронуты тем, как советские люди выразили своим отношением к нам дружеские чувства ко всему нашему народу.

После встречи с писателями в Москве делегация должна была лететь в Ленинград, потом в Грузию. Незвал чувствовал себя усталым, боялся дальней дороги, связанного с ней напряжения. Он мечтал о Черном море, хотел, чтобы мы поехали вместе. Устроить это было непросто, ведь Незвал был главою делегации. Но советские друзья все отлично поняли и опять пошли нам навстречу. После отъезда группы мы с Незвалом еще на день остались в Москве. Позавтракали вместе с дочерью и зятем Городецкого в старинном московском доме, где некогда были палаты Бориса Годунова. Потом долго бродили по старым улицам Москвы, вдыхали сытные хлебные запахи, рассматривали дома, любовались колоритом города.

Где-то нашли старую заброшенную церковь с башней-луковкой, поросшую мхом, но все еще полную очарования. Мысль Незвала работала непрерывно, то и дело рождались новые идеи и образы. Часто мы останавливались, подолгу стояли и смотрели, потом шли дальше. Незвал что-то на ходу записывал, не обращая внимания на возвращавшихся с работы прохожих, которые в эти вечерние часы заполняли улицы. Многие с любопытством оглядывались на него — он стоял, большой и могучий, устремляя взгляд за облака, и что-то быстро писал. А когда мы подошли к храму Василия Блаженного, был уже готов последний из сонетов, обращенных к сыну, Роберту Незвалу.

На следующий день мы покинули шум-

ную столицу и через несколько часов приземлились на маленьком аэродроме у Черного моря. И вот уже Сочи. Незвал облегченно вздыхает, вздыхает, как море. Море — его стихия, его любовь. Мы устроились в комфортабельной гостинице. Прямо перед нами море несет свои волны в бесконечную даль, за нашей спиной вздымаются могучие горы Кавказа. Из московской зимы мы попали прямо в южную весну, из холодных снегов — к распускающимся цветам. Незвал глядит и не может наглядеться на сверкающий морской простор, на молодую зелень в парке. Его поражает и радует, что рядом с пальмами здесь растут лютики и вероника, напомнившие ему отчизну и — увы — последний путь человека:

Последний путь прощальный.
Обратной дороги нет.
Травы, цветы и пальмы
Встречают тебя, поэт.
И в час твоего ухода
В далекое небытие
Сольется с тобой природа.
Ты взял все, что смог, у нее.
Вкусивши надежду и горе,
Смятенье и радость познав,
Уйди, как уходит море,
Ракушки свои разбросав.
Отхлынет оно в туманы.
Ты тоже ему под стать
Отхлынь...
В Вышеград, на Ольшаны
Поэта уносят спать.

Каждый день мы гуляли по берегу моря. Незвал посвежел и окреп, он в отличной форме. Он не боялся даже подъема по крутой лестнице. Мы часто присаживались на лавочки — в тени или на солнце. На наших глазах море то и дело менялось, принимая все время новую окраску. Незвал не закрывал блокнота. Море ставило перед ним свои вопросы, и он отвечал на них. За десять дней он написал около тридцати стихотворений и лирических миниатюр.

Казалось, что у нас с ним еще такое же море времени. Мы гуляли в парке, бродили по городу, заглядывали в магазины, столовые, покупали разные безделушки, вспоминали дом, друзей — живых и тех, кто уже ушел из жизни. С Незвалом мы дружили тридцать лет, и эти тридцать лет промелькнули, как фильм, смонтированный из множества коротких и долгих встреч — в кафе, на собраниях, в гостях. Незвал всегда был искренен перед собой и перед другими. Но в Сочи я узнал его так, как никогда прежде. Он рассказывал о себе, о своей работе, о планах. Он уже продумал три будущие пьесы. И собирается написать еще много стихов. Он подолгу говорит о Библе. Каждый день звонит в Прагу. В свою очередь я рассказываю ему о себе. Незвал полон удивительного внимания ко всему, что его окружает,— к людям, цветущей природе, морю. По вечерам мы сидим в ресторане. Наш столик обслуживает худенькая официантка с голубыми глазами, совсем еще девочка. Она изучает немецкий язык и хочет больше говорить по-немецки. Мы, как умеем, стараемся исполнить ее желание, а в перерывах она рассказывает о себе. Она сирота, родилась в Сибири, мать умерла от рака, а отец, вернувшийся с войны, попал под поезд. У Незвала на глазах слезы, целый вечер он сидит молча. Прямо над нами грохочет джаз, перед глазами мелькают танцующие пары. Незвал глоток за глотком отпивает грузинское вино и перелагает в стихи печальную историю Ангелины.

Однажды мы выбрались в горы. По извивающейся дороге, где с каждого поворота открывается вид на море, поднялись на вершину Ахуна. Перед нами величественная панорама Кавказа. Опьяняет запах бескрайних, прогретых солнцем лесов. Незвал записывает сначала в своем блокноте, а потом прямо на камне у смотровой вышки:

Не похожи, но добры
Люди с давних пор.
...И глядят на них хребты
Волосатых гор.

Приближался конец апреля. Деревья уже отцветали. Незвал радовался, что, вернувшись в Прагу, он опять, уже во второй раз за год, сможет встретить весну. Действительно, тогда он пережил ее дважды, но в последний раз. Любуясь в Сочи цветущими яблонями, он мечтал увидеть на тех же деревьях плоды. И решил, что вернется туда летом, в тот же самый номер, где жил весной, чтобы провести отпуск вместе с сыном.

Был конец апреля, но солнце пекло так, что днем на улице было тяжело дышать. Июль явно не подходил для новой поездки Незвала в Сочи. Я пытался объяснить ему это, советовал конец августа или начало сентября. Но Незвал, подобно танку, шел навстречу своей судьбе. В июле он недолго пробыл на Черном море, заболел и вынужден был вернуться в Москву.

Осенью я был у него в последний раз. Он принимал делегацию индийских писателей, был в ударе и с энтузиазмом говорил о том, как важно взаимопонимание между писателями всего мира. А потом мы виделись только мимоходом, на собраниях. Болезнь перешла в наступление. В марте 1958 года Незвал поехал в Италию, навстречу весне. Вернулся совсем больным. До второй весны, весны в Праге, он уже не дожил.

(1960)

От автора [1]

Что можно добавить к книге, которую только что закончил? С души спала огромная тяжесть, и ты вдруг чувствуешь легкость и пустоту. Хочется просто помолчать. Молча подставить лицо солнцу. Ведь скоро в тебе вновь

[1] Печатается в сокращении.

проснется беспокойство, и ты спешно примешься за работу, пытаясь не упустить ни минуты.

И ничего не будет, кроме труда, ибо работа со стихом — это спасение и благо. Она требует огромного напряжения, она несет с собой муку и отчаяние. И в то же время дарит мгновеньями несказанной радости.

Эту книгу ты не мог написать иначе. Следующая твоя работа будет совсем иной, потому что нельзя дважды пройти по одному и тому же пути, пусть даже и ведет он к одним и тем же темам. Что бы ты ни делал, ты будешь всегда прикован к своей судьбе. Оковы эти не тяготят, в них можно петь и даже танцевать. но расстаться с ними нельзя, как нельзя уйти от судьбы. Ее невозможно заменить какой-нибудь иной, как невозможно изменить прожитую жизнь. Из этого вовсе не следует, что поэт, ничего не замечая вокруг, живет только собой. Как любой другой человек, он работает, внося свой вклад в общее дело. И, наверное, потому, что поэт знает свои возможности и свои пределы, он стремится осмыслить и прочувствовать жизнь человека во всем богатстве — как в общих ее очертаниях, так и в мелких милых подробностях...

Перспективы поэзии огромны. Велик и необъятен, как сама жизнь, материал, ждущий своего осмысления. Темы, тысячи раз поднимавшиеся в поэзии, по-прежнему расстилаются перед поэтом, как земля с неисследованными глубинами. Только маловеры могут вздыхать, что все-де уже сказано и не остается ничего иного, кроме как многократно варьировать и дистиллировать старое. Поэзия — это не воспоминание о том, что уже было, не подтверждение того, что есть. Это вечный поиск, вечное открытие новых сторон, новых закономерностей жизни. Целая вселенная по-прежнему лежит перед нами, как на заре истории человечества: земля и океан, природа, любовь, жизнь, чаяния отдельных людей и целых народов. И куда ни взглянешь, непременно увидишь и услышишь что-то новое.

Современность произведения искусства зависит не только от его формы, но и от мироощущения художника, от идей, которые провозглашает он в своем творчестве. Необычно, по-новому может писать и художник реакционный. Современные изобразительные средства под силу и шарлатану, который скорее имитирует творчество, нежели по-настоящему творит. Однако искусство имеет не только эстетическую, но и общественную функцию. Оно пробуждает в человеке скрытые духовные силы, обогащает его. Отражая эпоху, ее проблемы и конфликты, искусство воскрешает в людях стремление к лучшему.

...Жизнь нужно видеть во всей ее сложности, не только ее розовую лицевую сторону или же черную изнанку. Художник ничего не приукрашивает, не прикрывает позолотой. Он не лакирует и не идеализирует, но и ничего не чернит. У великого художника даже в отрицании чуьствуется пафос утверждения жизни. Истинный поэт и из глубин преисподней способен извлечь образы, оказывающие сильное воздействие на людей, вдохновляющие на борьбу со злом. Лишь непризнанные пророки любят, отвернувшись от жизни, стенать по ней.

Когда поэт отрывается от действительности и черпает вдохновение в одном искусстве, он может создать всего лишь дистиллированный раствор. Жизнь с ее подлинными проблемами ускользает от него, сам он либо заходит в тупик, либо заболевает манией величия, превращаясь в марионетку. Жизненные факты, если они были собраны человеком недалеким и пустым, лишенным таланта, сердца и души, останутся лежать грудой мертвого материала. Самые блестящие образы и метафоры окажутся не более чем дешевыми безделушками, если не приоткроют нам живую, заинтересованную и искреннюю личность поэта. Искусство бесконечно. Бесконечны и рассуждения о нем. Новичкам и дилетантам искусство кажется чем-то предельно ясным. Художники искушенные говорят о нем неохотно. Чем больше думаешь об искусстве, чем больше о нем знаешь, тем кажется оно все более сложным и недоступным.

(1962)

◆

Заметки на полях

В ГУЩЕ ЖИЗНИ, СРЕДИ НАРОДА

Газета «Литературен фронт» в ряде номеров опубликовала материалы очередного, III съезда Союза болгарских писателей. Съезд проходил в обстановке оживления общественной и культурной жизни Болгарии, связанного с выполнением решений XI съезда Болгарской коммунистической партии и мерами по осуществлению курса Июльского пленума ЦК БКП на развернутую борьбу с отрицательными явлениями во всех областях жизни.

В приветствии ЦК БКП съезду писателей была дана оценка деятельности Союза:

«Болгарская коммунистическая партия всегда высоко ценила большой вклад в культуру и благородную миссию художественной литературы. Мы счастливы, что современный болгарский писатель кровно связан с народом, с его борьбой и чаяниями, что его идейно-политическое и эстетическое кредо — беспредельная преданность марксизму-ленинизму и коммунистическим идеалам, что он находится в первых рядах и на главных направлениях строительства развитого социалистического общества в нашей стране...»

И далее:

«Литературный процесс сложен, большие творческие успехи не приходят легко и быстро. Важнейшее достижение Союза писателей — решительная ориентация литературы на художественное овладение современной темой. За последние годы были созданы литературные произведения, которые правдиво и с большим профессиональным мастерством отражают нашу современность. Лучшие из них несомненно войдут в золотой фонд нашей культуры. Однако мы не только свидетели появления отдельных удачных произведений. Мы с удовольствием констатируем, что проявились важные положительные тенденции, которые в совокупности представляют собой новую, более высокую ступень идейно-художественной зрелости социалистической литературы».

Таким образом, партия назвала важнейшим достижением Союза писателей решительную ориентацию литературы на художественное овладение современной темой. Задача эта решалась целенаправленно. В рамках Союза активно работала Комиссия по современной теме под председательством Каме-

на Калчева. Комиссия устраивала обсуждения актуальных творческих проблем, командировки писателей на промышленные предприятия и в сельские районы. Через посредничество комиссии было заключено 160 договоров писателей с руководством округов о подготовке разного рода литературных произведений. Эта работа помогала знакомиться с современной действительностью. Камен Калчев заметил:

«Вопрос о глубоком и всестороннем познании действительности — вопрос очень индивидуальный, зависящий от особенностей каждой творческой личности. Здесь необходим решительный перелом. Необходимо глубокое идейное и эмоциональное проникновение в жизнь социалистического общества, если мы хотим кардинально решить вопрос о создании нашей социалистической классики. По-моему, настало время пересмотреть понятие «связь с жизнью», очистить его от устарелого, схематичного, поверхностного толкования. Поставить его на научную основу. Придать ему более глубокий политический, философский смысл. «Связь с жизнью» ничего не значит без идейной подготовки, без богатой личной биографии, без внутренней сопричастности явлениям и событиям современной жизни социалистического общества».

Тема современности широко прозвучала и в отчетном докладе съезду, сделанном председателем СБП академиком Пантелеем Заревым. Примечательно уже само его название: «За масштабное воплощение нашей современной действительности».

«Мы твердо знаем,— подчеркнул Пантелей Зарев,— что основной, ведущей и наиболее достойной воссоздания является современная тема: и как актуальная проблематика, и как отношение ко всей жизни народа — настоящей и прошлой.

С первых дней нашей работы мы поставили своей целью решить этот вопрос первостепенной важности: связать художников с современностью, с жизнью трудового народа, с жизнью рабочего класса, авангарда нашего социалистического общества. Нашей целью было и остается овладение современностью — вглубь и вширь,— чтобы достичь тех вершин художественного мастерства, которые дали бы нам право говорить о соревновании с нашей классикой, о равноправном участии в великом процессе развития мировой литературы. Вопрос о мастерстве, познании жизни, об идейности мы рассматриваем в тесной диалектической связи. Лишь их единство — залог создания социалистической классики...»

Как отмечалось на съезде, термин «современная» надо понимать широко. Он обнимает все, что работает на сегодняшний день, сливается с ним в едином потоке. Николай Христозов подчеркнул, что

«речь идет... обо всем том, что прочно живет в сознании народа как воспоминание и что нужно воспринимать как современную действительность. Мы не должны обеднять картину нашей литературы, мы должны всегда видеть всю полноту ее тем, проблем, жанров... Реальное многообразие и богатство нашей литературы нужно сохранять, развивать, умножать — таково веление нашего времени, нашего общества, нашей партии».

В отчетном докладе и выступлениях отдельных ораторов была дана оценка достижениям как всей болгарской литературы, так и отдельных ее жанров, названы десятки авторов и десятки лучших художественных произведений. В частности, отмечены «Белые кони в ночи» Павла Вежинова, «Это странное ремесло» Богомила Райнова, «Дом с лестницей красного дерева» Андрея Гуляшки, «Все и никто» Йордана Радичкова, «Генеральная проверка» Камена Калчева, «Река» Дико Фучеджиева, «Мир вечером, мир утром» Атанаса Наковского, драмы «Маленькая эта земля...» Георгия Джагарова, «Золотое обеспечение» и «Конец дня» Драгомира Асенова, поэтические произведения Младена Исаева, Димитра Пантелеева, Божидара Божилова, Димитра Методиева, Владимира Голева, Слава Хр. Караславова и многих других. О большинстве этих работ наш постоянный читатель достаточно информирован.

Большое внимание III съезд болгарских писателей уделил творчеству молодых. В отчетном докладе говорилось, что их работу отличает свежесть жизненного материала, попытки освоить неразработанные тематические области, стремление к высокому профессионализму, культуре письма.

И далее:

«Мы рады, что молодые писатели приходят в литературу с ясным сознанием, что до них достигнуты вершины, которые они смогут освоить лишь при большой и основательной подготовке, при серьезном отношении к любой мелочи в «ремесле», лишь неустанным трудом над совершенствованием своего умения создавать образы и показывать человеческие отношения».

За период между съездами в Союз было принято 50 новых членов, преимущественно молодых писателей, и численность его достигла таким образом 327 человек. Как сообщил в своем выступлении поэт Евтим Евтимов, Союз всячески заботится о том, чтобы произведения молодых писателей беспрепятственно достигали читателя. Только издательство «Народна младеж» ежегодно выпускает по 20 новых книг молодых авторов, а в 1977 г., к XIII съезду комсомола, намечено издать 15 первых сборников стихов. Конечно, начальный шаг в литературе важен и ответствен, но он не всегда является решающим. И не случайно на съезде говорилось, что молодое дарование нуждается в постоянном заботливом внимании и терпеливая, систематическая работа с ним — важная функция Союза писателей.

На съезде и в его документах неоднократно отмечалось большое значение критики в современном литературном процессе, подчеркивалось, что она «должна бороться за здоровое и положительное с мужеством и знанием дела, должна быть смелой и бескомпромиссной». В выступлениях Веселина Андреева, Ивана Цветкова, Ивана Мартинова было указано и на ряд принципиальных недостатков болгарской литературной критики. И в отчетном докладе, в частности, говорилось, что

«велико еще количество поверхностных рецензий, дилетантских упражнений в критике. В литературе особенно нетерпимо приспособленчество, угодничество перед теми или иными именами — чтобы, как говорится, «потрафить» всем, не заботясь об объективности эстетических оценок. У нас зачастую наблюдаются такие явления, когда в зависимости от положения писателя растет и число рецензий на его книги, и число его поклонников, когда заурядная книжка может оказаться в центре внимания услужливых критиков...»

Для устранения всех этих недостатков съезд призвал критиков еще теснее сплотиться вокруг политики партии, вокруг задач, поставленных руководством Союза писателей.

III съезд состоялся в год важного для Болгарии юбилея, который широко отмечался по всей стране,— это 20-летие Апрельского (1956 г.) пленума ЦК БКП.

По единодушному мнению делегатов съезда, свет, идеи Апреля продолжают питать болгарскую культуру, направляют развитие всех литературных жанров. В первую очередь это относится к поэзии, где, по словам Любомира Левчева, утвердился высокий апрельский дух:

«Вряд ли когда-либо поэзия располагала таким богатым потенциалом ярких индивидуальностей. Диапазон ее тем и идей необычайно широк».

И это при том, что поэтическое искусство сохранило свой «традиционный мужественный пафос, свою гражданскую ангажированность».

Пантелей Зарев, в свою очередь, выделил такой важный момент послеапрельского периода, как

«сознательное стремление выработать современную, отвечающую зрелому социалистическому обществу концепцию человека. Партия уже указывала на идеологический смысл и политическое значение концепции человека в социалистическом обществе, подчеркивала ее значение в поединке идей, в борьбе против реакционных сил и нравственного опустошения. Я хочу подчеркнуть

огромную роль, которую взяла на себя литература в деле создания этой концепции, то исключительное значение, которое приобретает образ нашего современника, когда он нарисован убедительно и сильно, богатыми выразительными средствами, когда он покоряет и «заражает» так, как покоряли и «заражали» герои классической литературы...»

Как отмечалось на съезде, болгарская литература переходит на новую, более высокую ступень развития, вдохновляясь успехами, преодолевая отставание на отдельных участках. И в этом движении для болгарских писателей, как говорилось в отчетном докладе,

«особенно ценен опыт советской литературы, незаменимой опоры на трудном писательском поприще. Советская литература являет постоянный пример революционной гуманности, глубокого слияния с судьбой народа, с идеями времени, пример высокой идейности, принципиальности и художественного мастерства. Уроки, которые мы извлекаем из достижений советской и других братских литератур, обогащают наше мышление новыми, более масштабными измерениями, ведут нашу литературу к еще более высоким вершинам, откуда ясно видны пути человечества, тревоги, красота и смысл нашей эпохи...»

В. П.

БЕЛЬГИЙЦЫ ОТКРЫВАЮТ БЕЛЬГИЮ

Французский еженедельник «Нувель литтерер» предоставил страницы одного из своих выпусков (ноябрь 1976 года) бельгийским журналистам и критикам для подробного разговора о национальной культуре своей страны.

Суть проблемы, в том виде, в котором она была предложена читателям, сформулировал литературный обозреватель ведущей бельгийской газеты «Суар» молодой писатель Пьер Мертенс: «Существует ли бельгийская культура? Существуем ли мы?» Вопросы эти, старые, волнующие общественность Бельгии уже не одно десятилетие, приобрели к концу семидесятых годов новый оттенок. Но и сегодня на них нельзя ответить коротким «да». Ответ требует пояснений.

«Мы, бельгийцы, как побочные дети двух культур, французской и фламандской,— пишет Пьер Мертенс.— Когда же, наконец, мы будем иметь счастье считать себя никому не обязанными? Когда же мы открестимся до конца от всяких влияний и веяний? Когда же мы рассмотрим, наконец, ситуацию, в которой мы находимся, без самоуничижения и без комплексов?»

Своего рода заклинание, прозвучавшее во вступительной заметке Пьера Мертенса, задало тон последующим выступлениям авторов, которых, однако, нельзя обвинить ни в предвзятости, ни в желании умалить заслуги бельгийских деятелей культуры.

«Что-то происходит сейчас в этой стране стариков, печальных академических лиц, безвестных рифмоплетов, стране светских раутов и бойскаутских собраний. Вдруг язык начинает двигаться, небо расчищается Целый легион живых слов вытесняет спокойствие, благородничанье, пошлость долгих лет»,— замечает поэт Жан-Пьер Верхегген.

В последние годы в Бельгии действительно появились писатели-романисты, чье творчество неоспоримо выходит за рамки местных интересов и поднимается до уровня большой литературы. Это прежде всего Даниель Жиллес с его циклом романов «Рожденные умереть», в котором говорится о Бельгии на одном из трудных для иее поворотов истории, о второй мировой войне и о человеческих судьбах, которые, не щадя, ломает история. Затем уже упомянутый выше Пьер Мертенс, чей талант раскрылся

в книгах «Вечер выпускников», «Хорошая служба» (литературная премия 1974 года Канада — Бельгия). Следует, по-видимому, назвать имена Гастона Компера, Жака Штернберга, Конрада Детреза. Одним словом, книги есть, можно даже сказать, что есть литература. Правда, к сожалению, никто из выступавших не дал анализа современной литературной ситуации в Бельгии, считая, очевидно, что читатели журнала и так знакомы с последними достижениями бельгийской прозы. Но даже при самом беглом взгляде на нее возникает ряд вопросов, которые остаются вне поля зрения бельгийских журналистов.

Бельгийская проза, чаще всего публикуемая во французских издательствах, почти механически включается во французскую литературу. Присуждаемые бельгийцам французские литературные премии, незаметно для иностранных читателей, делают из бельгийцев французов. Ведь выходит, что место рождения писателя не важно, если он пишет по-французски и становится известным во Франции, как, например, Жорж Сименон. А что думают и чувствуют при этом писатели, продолжающие считать себя бельгийцами? Например, член Гонкуровской Академии Франсуаз Малле-Жорис или лауреат литературной премии «Фемина» 1976 года Мари-Луиз Омон? Эти вопросы, сами собой возникающие у нас, не только не были решены, но даже не были и вскользь отмечены молодой бельгийской критикой, горячо взявшейся за решение проблемы национальной культуры. Она лишь оповестила восхождение новой литературной «обоймы» прозаиков, опубликовавших свои произведения два-три года назад: Марселя Моро, Боке де Торана, Жана-Пьера Отта. Ссылаясь на имена, никто из критиков ни слова не сказал о содержании творчества молодых, оставляя место лишь поверхностным эмоциональным эпитетам, выражающим их субъективные чувства. А ведь эти писатели, издавшие два-три романа, заслужили более внимательного к себе отношения именно как бельгийские писатели, привязанные к бельгийским реалиям.

Продолжая национальные традиции, сосредоточивая внимание на камерном, будничном, они нечасто поднимаются до постановки национальных проблем, а лишь скупыми, иногда яркими мазками создают «мозаику» сегодняшней жизни Бельгии. Их произведения порой расплывчаты и туманны, порою гротескны, зачастую однообразны и печальны. Но случаются вполне реалистические зарисовки, пронзительные по своей чистоте и свежести, как, например, повести двадцатишестилетнего писателя Жана-Пьера Отта.

Помимо франкоязычной прозы, в Бельгии есть еще достойная всяческого внимания фламандская литература. По этому поводу литературный рецензент газеты «Суар», начинающий драматург Жак Де Декер пишет:

> «Не располагая языком международного значения, Фландрия значительно скорее, чем Валлония — часть Бельгии, открытая французскому влиянию,— завоевала свою культурную подлинность. Неоспоримо процветающая и более плотно заселенная, она устойчивее в социальных конфликтах и кризисах, чем ее соседка».

Что касается экономико-географической оценки, содержащейся в этом абзаце, то она, очевидно, в целом верна, но так ли безоговорочно можно говорить о культурной подлинности Фландрии, если речь идет о наших днях? Имея богатейшую историю, она скорее страдает от своей замкнутости, чем обращает ее в свою пользу. Тем не менее в Бельгии наблюдается любопытный поворот в развитии социальной поэзии именно во фламандской ее части. По утверждению голландских критиков, политическая история оставила глубокий след в поэзии Нидерландов и Фландрии. В пятидесятые годы нашего века их поэзия в массе своей обрела серьезную социальную направленность. С тех пор политическая озабоченность поэтов неустанно звучит в их творчестве. Уже с начала века такие поэты, как Герман Гортер и Анриет Ролан-Хольст, вступили на путь социальной борьбы и заявили о своем желании бороться за достойное место поэта в обществе. К этому же поколению принадлежит известный у нас в стране переводами своих романов мастер прозы и поэт Виллем Элсхот. Из молодых поэтов, пишущих по-фламандски и недавно примкнувших к этому направлению, можно назвать Стефана ван дер Бремта (род. в 1941 г.) и Хедвена Верленде (род. в 1945 г.).

Совсем иначе выглядит бельгийская франкоязычная поэзия. Ее состояние очень

выразительно охарактеризовал в сентябрьском номере газеты «Суар» тот же Жак Де Декер:

«Молодая поэзия Бельгии вобрала в свои ряды начинающих авторов, в сердцах которых бушуют страсти и желание создавать все новые и новые тексты. Поэты сегодня производят продукцию с регулярностью плодовых деревьев и публикуют свои стихи так, как будто издательский кризис — это общая выдумка».

О чем пишут эти молодые поэты, Вернер Ламберси, Жак Крикийон, Эжеи Савицки, Вильям Клифф? По тематике их творчество мало чем отличается от того, что волнует молодых поэтов Франции. Это прежде всего разрушающее психику одиночество нуждающегося в контактах интеллекта, затем одиночество плоти, «тюрьма собственного тела», физическое смешение, разного рода эротические зарисовки и, в последнюю очередь, апокалипсические картины, мифология современного города.

Рассказывая о сегодняшней Бельгии, нельзя избежать разговора о поэзии хотя бы потому, что именно в этой стране организуются международные собрания поэтов, имеющие прогрессивную направленность. Так, тема последнего форума поэтов (1976 г.) была сформулирована с помощью вопросов: взаимосвязаны ли поэт и общество? Почему и в какой мере? В какой зависимости находятся социальное предназначение поэта и его социальное сознание?

Объявление общественной тематики чрезвычайно важным и существенным моментом поэтического творчества — показатель осознания высокой миссии литературы если не всеми бельгийскими поэтами, то хотя бы некоторыми из них. И, что очень важно, это внимание к вопросам критики молодого и среднего поколения, среди которых специально хочется выделить фламандца Эжена ван Иттербека, доктора права и философии, посвятившего соотношению поэзии и политики целый ряд работ.

Так же неровно, как проза и поэзия, развивается современная бельгийская живопись.

«Со времен Магрита и Поля Дельво,— пишет критик Мишель Бодсо,— бельгийская живопись всегда находилась в авангарде искусства. Эта же тенденция имеет место и сегодня».

Говоря об авангарде искусства, бельгийский критик предполагает, конечно, модернизм или, чтобы быть еще точнее, сюрреализм. Действительно, в движении сюрреализма живопись Магрита, Дельво, Ваутерса, Сервака, Мезена играет далеко не последнюю роль. В настоящее время у них есть более или менее удачные подражатели, но они не находятся в авангарде искусства, критик ошибается, утверждая это. Как и в других странах Западной Европы, в Бельгии продолжает существовать школа реалистической живописи. В этой стране она имеет блестящую предысторию, но авторы реалистических полотен часто остаются в неизвестности. Их картины реже экспонируются, о них меньше говорят в печати, и разговор об этих живописцах не нашел места на страницах «Нувель литтерер».

Немаловажное значение в культурной жизни сегодняшней Бельгии имеет театр. С 1945 года правительство субсидирует не только старые театры, например, «Театр насьональ де Бельжик», но и молодые труппы: «Театр де пош», «Театр 140». В шестидесятые годы, отмеченные обострением общественно-политической борьбы, особым успехом пользуются хэппенинги, а также «театры-листовки», местом действия которых становится улица, парк, завод.

Театральные афиши заполнены именами как французских современных драматургов: Одиберти, Адамова, Жене, Гатти, так и национальных авторов: классика Метерлинка и современника Жана Луве, который, по утверждениям все той же критики, «блестяще воплотил разочарование рабочего класса в своей интеллигенции».

Очень любопытным представляется отмеченный журналом факт децентрализации столичных театров, то есть возникновение небольших театров на окраинах города.

«Социально активный театр, вызывающий реакцию у 62% мало преуспевающих, иногда очень бедных людей, это театр, состоящий из непрофессионалов... Одна из постановщиц такого непрофессионального театра Моник Дорсель считает,

что можно изменить человеческое сознание, ставя театрализованные тексты Джойса, Лотреамона или давая слово тем, кто являет собой совесть нашего времени...»

Таким образом в задачи современного борющегося театра включается пропагандистская, просветительская работа с массами. Разросшееся племя режиссеров, актеров и драматургов с помощью жеста и слова хочет воздействовать на своего зрителя, полагая, что возбуждение эмоций сопряжено с работой мысли. К сожалению, это не всегда верно и не совсем точно. Желаемого эффекта можно достигнуть, только если театр имеет перед собою четкую программу, а просто возбуждение активности, как мы знаем, зачастую оборачивается псевдореволюциями левацкого толка.

Некоторые сдвиги произошли и в области бельгийской кинематографии. Со времен выхода фильма «Чайки умирают в гавани» (режиссеры Кемперс, Мохилс, Верхаверт) эта страна на мировые экраны чаще всего выходила с короткометражными лентами, посвященными художникам. В силу ли тяготения к малым формам или недостаточного субсидирования кино со стороны государства эта традиция поддерживается и теперь. Международное признание в последние годы получили некоторые бельгийские телевизионные фильмы, а также фильм «Жанна Дильман, 23, набережная Коммерс, 1080, Брюссель» (режиссер Шанталь Аккерман), имевший хорошую прессу за рубежом. Последний фильм — это почти документальный рассказ о буднях простой трудящейся женщины. Иными словами, и в кино мы видим обращение к социальной тематике.

Весьма конкретно и по существу обсуждаемой журналом проблемы прозвучала статья Клода Жаво, автора книги «Сутки бельгийца» (1976 г.).

«В то время как старшее поколение интеллигенции, страшно удрученное, присутствовало при крушении патриотизма, навязанного бельгийцам сверху, родилось новое поколение интеллигенции, которое не признает навязанного патриотизма.

Именно в борьбе с истэблишментом (монархией, банками, светской стороной культурной жизни Брюсселя, с посредственностью прессы, с пошлостью политиканства) бельгийцы двух наций могут объединиться. Они вновь открыли Бельгию, где борется рабочий класс, где постепенно создаются новые политические условия».

Социолог острее, чем литературные рецензенты, ставит вопрос о национальной культуре. И поскольку он связывает будущее нации с борьбой рабочего класса, можно сделать вывод, что и будущее бельгийской национальной культуры зависит от того, в какой мере она будет отражать насущные проблемы трудового народа.

О. ТИМАШЕВА

◆

Публицистика

К 60-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОГО ОКТЯБРЯ

Я ВИДЕЛ БУДУЩЕЕ

Зарубежные писатели о Советском Союзе: путевые очерки, дневники, воспоминания, статьи. 1917—1977.

С открытыми глазами

«Со стороны виднее» — этот старый афоризм, как всякий афоризм, и верен, и не всегда обязателен, когда речь идет о конкретных событиях и обстоятельствах. Литература знает и блистательные свидетельства истории, написанные участниками великих дел, не имевшими времени и возможности со стороны взглянуть на себя и на своих товарищей, и замечательные книги, созданные на материале, увиденном со стороны. Впрочем, «сторонность» — тоже понятие не однозначное. Бесстрастный летописец смотрит не со стороны, а как бы сверху, но годы наши не очень поддаются такому обзору. Пристрастность — характерная черта XX столетия. Говорю о XX столетии только как современник, в других столетиях не жил, судить не берусь.

«Главное событие века» — так все чаще и чаще и на всех континентах характеризуют нашу Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Литература страны, рожденной этой Революцией, каждой своей строкой примыкает к ее истории, участвует в ее движении и развитии. Но главное событие века принадлежит не только нам, счастливчикам, оказавшимся на его стрежне, но и всему человечеству. И если наша литература не исключительно историческими книгами, но и фактом своего существования — в той или иной мере, — каждой книгой отражает Октябрь и страну Октября, само собой разумеется, за рубежами первого в мире социалистического государства должна была возникнуть литература о нем на материале увиденного глазами писателей других стран и народов.

Первой и, к счастью, сразу же, в огне событий родившейся книгой, непосредственно отвечающей теме нашего разго-

вора, была, конечно, книга американца Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир», вышедшая в Нью-Йорке в марте 1919 года.

«...Она дает правдивое и необыкновенно живо написанное изложение событий, столь важных для понимания того, что такое пролетарская революция, что такое диктатура пролетариата». Это слова В. И. Ленина о книге Джона Рида.

Держа в руках пламенную книгу Джона Рида и с волнением перечитывая ее, невольно приходишь к раздумьям над старым постулатом «со стороны виднее». Но, поставив рядом с книгой образ «американского наблюдателя», еще и еще раз утверждаешься в мыслях о том, что уж кто-кто, а Джон Рид — никак не посторонний наблюдатель, не астроном, в телескоп рассматривающий Красную Звезду Октября. Нет, он — участник событий, и участие его лишь подтверждает международный, интернациональный характер и смысл нашей Революции.

Второй книгой об Октябре, появившейся на Западе, читатель, наверное, назовет «Россию во мгле» Герберта Уэллса и вспомнит, что она — явление совсем иного порядка. Старый буржуазный писатель (ему, когда он впервые посетил Советскую Россию, было уже за пятьдесят), известный автор фантастических романов, обладавший высоким даром предвидения, побывав в Москве и встретившись с В. И. Лениным, своеобразно сопоставил причудливые образы своей фантастики с невероятной и благородной реальностью первых лет Советской страны.

Каждая книга настоящего большого писателя — это обязательство на будущее. Можно считать закономерной антифашистскую позицию Уэллса в его последующих романах и общественной деятельности: «Россия во мгле» обязывала! В книге своей Уэллс отнюдь не «продавался большевикам», как кликушествовали травившие писателя враги нашей страны, он оставался самим собой, честно вел свою независимую линию. Невероятность и размах событий увлекли его — как фантаста!

С тех далеких времен библиотека книг и высказываний зарубежных писателей о Советском Союзе росла, и, наверное, если бы мы составили полную антологию прозы, публицистики, путевых заметок, стихов, это было бы многотомное издание. Рядом с именами Ромена Роллана, Бернарда Шоу, Теодора Драйзера, Лиона Фейхтвангера, Мартина Андерсена-Нексе, Эрскина Колдуэлла, Пабло Неруды оказались бы пусть не такие громкие, но значительные имена молодых и старых писателей всех континентов.

Из предвоенной поры мне запомнились очерки об СССР, принадлежащие перу норвежца Нурдаля Грига и чеха Юлиуса Фучика. С корреспондентом «Руде право» Юлиусом Фучиком я встречался на строительстве первой очереди московского метро. Очень подвижный, бойкий молодой чех дневал и ночевал в бригаде Вазыха Замалдинова, с которой соревновалась бригада, где состоял я. (В одном из репортажей Фучик упомянул песню, сложенную мной в честь нашей и замалдиновской бригад. Так что могу комментировать Фучика как младший современник.)

Чехословакия тогда была далеко, Фучик честно описывал все, что видел в нашей стране, он вел суровую борьбу с клеветниками и недоброжелателями, собирал факты и впечатления не для того, чтобы щегольнуть экзотикой, а для ясной пропаганды. Он не только восторгался, он изучал, он старался быть объективным. Вот несколько строк из его книги «В стране, где завтра является уже вчерашним днем»:

«Эта книга ничего не искажает. И именно поэтому она тенденциозна. Ибо ее цель — сказать всю правду о Советском Союзе». Фучик рассказывает своим соотечественникам о трудностях нашего роста. В репортаже «С открытыми глазами» он пишет: «Я видел успехи и недостатки. Если бы я их не замечал, меня бы взяли за руку, привели и ткнули носом, показав, что необходимо исправлять: «Вот они, наши недостатки». И вскоре я понял, что советские люди показывают мне свои недостатки, чтобы самим не забывать о них. Вспоминая о них каждый день, они как бы надевали узду на захватывавший их энтузиазм. Они, быть может, и не замечали, что этим преодолением трудностей умножают свою славу».

Это было написано по возвращении в Прагу, в самом начале 30-х годов...

Замечательны статьи выдающегося норвежского писателя Нурдаля Грига. В них — боевая полемика. Раскрываю наугад его книгу. Вот первый попавшийся мне на глаза абзац:

«Часто задают вопрос — не ведет ли строгая, определенная линия в искусстве к нивелировке, к уничтожению индивидуальности? Ответ на этот вопрос дается каждый вечер всеми московскими театрами. Нет другого места в мире, где театры так разнообразны, где существует такое богатство индивидуальностей».

Нурдаль Григ жил в СССР в 1932—1934 годах, писал очерки в те же годы — перед Испанией. Но как современно звучат его строки сегодня! Он не был коммунистом, но поиски правды и честная позиция привели его в интербригады в Испанию и на фронты второй мировой войны.

Я вспоминаю стремительно отдаляющиеся от нас 30-е годы. На Первом съезде писателей было около 50 иностранных гостей. Они писали о нас, писали по-разному, но посещение первой в мире страны победившего социализма так или иначе вошло в их творческие и человеческие биографии. Сильные и самостоятельные укрепились в самостоятельности и силе. Слабые растерялись. Что поделаешь, были и такие. Век XX суров, круты его перекаты. Незачем писать историю розовыми красками. К нам приезжали, бывало, и ложные друзья, и прямые недруги, и будущие ренегаты. Глубоко оскорбил нас Андре Жид. Он воспользовался своей «свободой», чтобы здесь улыбаться нам, а оттуда выливать на нас ушаты грязи...

Интересна и остра была книжка Лиона Фейхтвангера — «Москва, 1937 год».

Вспоминаю довоенные времена... Яркий и тонкий француз, тогда молодой известный писатель Андре Мальро беседовал в гостинице «Националь» с группой советских молодых писателей, глядя в окно на развороченный, обнесенный заборами Охотный ряд.

— Как вам нравится Москва?

На традиционный вопрос Мальро ответил в рифму, с истинно французским изяществом:

— Un peu trop de metro. (Немножко много метро.)

Мы не обиделись, честное слово. Ведь правда тогда в нашей жизни было «немножко много метро», но это, пожалуй, не относилось к нашим недостаткам!

Верный себе, сыпал афоризмами, а иногда подтрунивал над нами Бернард Шоу. Но его парадоксы нельзя воспринимать прямолинейно, надо войти в постоянно создаваемую писателем атмосферу иронии и сарказма. Гротеск «Анна-яиска, большевистская императрица» звучал в 1918 году во славу Октября. Веское слово Бернарда Шоу о Советской России всегда было честным.

Незабываемы слова Генриха Манна, сказанные о коммунистах в далеком 1935 году: «...сама живая современность питает их душевные силы; есть на земле такое государство, которое убедительно доказывает их правоту. Все крепче становится мощь Советского Союза, могущество целой части света».

Мне кажется необходимым откровенно поговорить и о тех писателях Запада, которые, заявив о своих дружеских отношениях с нами, вдруг начинают «вибрировать», откликаясь на те или иные эпизоды советской жизни своими интервью или подписями под письмами, оказывающимися самым недвусмысленным вмешательством во внутренние дела нашей страны. Часто такая деятельность основывается на искаженной или просто неверной информации, подсунутой «вовремя» врагами разрядки и сотрудничества.

Не всегда протестующие и чего-то требующие видные писатели взвешивают значение своего слова, своего авторитета у читателя. Пожалуй, Генрих Бёль не представлял себе, принимая Солженицына, куда заведет этого отступника ненависть к родине. Уверен, что призывы Солженицына к крестовому походу против СССР отвратительны Бёлю в той же степени, что и мне, и моим товарищам.

Что до нас, советских писателей, то мы никого не собираемся учить и наставлять. Но мы умеем, как и все люди, и обижаться и возмущаться. Когда принципиальность подменяется рефлексией, мы готовы терпеливо разъяснять,

но, когда дружба приносится в жертву политиканству, трудно сохранять спокойствие.

Стараемся...

Иные недоброжелатели утверждают в печати и по радио, что СССР — «закрытое государство», что здесь иностранцу невозможно увидеть то, что его душе угодно, а между тем, хотя писателей не принято считать сотнями, не единицы, не десятки, а сотни писателей и тысячи журналистов ежегодно посещают нашу страну, ездят по избранным ими самими маршрутам, встречаются с кем хотят. Наша открытость — часть советского характера. Тем досаднее, что ею порою пользуются гости с нечистыми руками и камнем за пазухой.

Что же касается поездок советских писателей в страны, именующие себя «свободным миром», то, увы, далеко не всегда мы оказываемся в том нормальном положении, в котором находятся иностранные гости у нас.

Получение визы в «свободный мир» сопряжено для советских писателей подчас с длительным ожиданием, с «волынкой», приводящей к невозможности осуществления поездки. Приглашенные той или иной общественной организацией на определенные мероприятия — будь то конгресс, писательская встреча или юбилейная дата,— мы, бывает, получаем визу тогда, когда уже прилететь вовремя просто невозможно. Советские писатели не раз испытали на себе их «свободу слова», когда многообразные оговорки, «случайные» обстоятельства, а то и прямые запреты лишали нас обещанных и оговоренных заранее публичных выступлений, встреч и поездок по стране. Как-то пришлось мне полгода ждать визу для посещения одной страны, считающей себя свободной. Когда терпение мое подходило к концу, я, встретившись на приеме, спросил у улыбающегося дипломата, чем вызвана волынка с визой. Мне ответили:

—Два года тому назад один советский литератор был у нас. Описывая потом нашу столицу, он упомянул о бидонвиле, раскинувшемся на ее окраине. Наши власти не хотят повторения этого инцидента.

Визу я, наконец, получил, но, разумеется, не написал о том, что тоже видел бидонвиль. Не то плохо пришлось бы следующей советской писательской делегации. Ничего не поделаешь — вынуждены приспосабливаться к нравам «свободного» мира!

Судя по обильно и постоянно появляющимся на Западе очеркам, статьям, репортажам о Советском Союзе, иностранец в нашей стране пользуется плодами гостеприимства, окружен вниманием, имеет возможность широко и подробно познакомиться с жизнью народа, с достопримечательностями страны, с ее стариной и сегодняшним днем. Практически не бывает дня в году, когда Союз писателей не принимает кого-либо из зарубежных гостей.

Знаю по личному опыту: писать о стране, где кратковременно гостил, о народе, увиденном, если можно так выразиться, бегло,— дело трудное. Порой впечатления, не подкрепленные глубоким знанием, оказываются неточными. Но тенденция писателя всегда видна, непременно пробивается сквозь любые словесные нагромождения.

Признаюсь, что я не большой любитель и поверхностно-восторженных статей во славу синих глазок гида «Интуриста» и черной икры. Во все времена советскому человеку интересны те статьи и очерки, в которых правдиво и честно рассказано о стране Октября. Мы не боимся критики, не хотим лести и не нуждаемся в комплиментах.

Особой главой Большой книги о нашей стране, увиденной глазами иностранцев, можно считать репортажи периода Великой Отечественной войны. Тогда в СССР жили или бывали Эрскин Колдуэлл, Джеймс Олдридж, Александр Верт, Жан-Ришар Блок; в сражающихся с фашизмом войсках шли на свой Запад видные немецкие, венгерские, польские писатели... Многие писатели мира, многие журналисты правдиво рассказали о сражающейся стране Октября. Снова хочу оговориться: книга клеветы пополнялась тоже — и не только под сенью геббельсовского ведомства. Атаки на нашу родину, на ее уклад и характер капитализм вел всегда—и в двадцатые, и в тридцатые, и в сороковые, и в дальнейшие годы. Находились перья, готовые испачкать все, что ни попади. Не о них речь. Мы сейчас с интересом перечитываем зарубежные репортажи о

народе, в боях отстаивающем Октябрьскую революцию. «У лжи короткие ноги». Справедливость этой народной присказки подтверждается хотя бы тем, что клеветнические статьи забыты быстро и прочно.

Много или мало написано на Западе о стране Октября? Если собрать книги, окажется, что немало. А все же, бывая за рубежом, порой диву даешься — как мало о нас знают, как неточны, а то и искажены факты. Мне приходилось в разных странах — иные в двух часах лёта от Москвы — читать и слушать невероятные небылицы об СССР! А все же правда находит дорогу к людям. Ее не заглушишь, не спрячешь. Мы с интересом воспринимаем каждое честно сказанное слово о нашей стране.

В преддверии 60-летия Октября мы публикуем фрагменты некоторых репортажей и очерков из книг зарубежных писателей о Стране Советов, не переводившихся на русский язык.

Евг. ДОЛМАТОВСКИЙ

АРТУР РЭНСОМ

Великобритания

АРТУР РЭНСОМ (1884—1967) — английский либеральный журналист. В 1918—1919 гг. представлял газету «Дейли ньюс» в России. Неоднократно встречался с В. И. Лениным. По возвращении в Англию издал книгу «Шесть недель в России...», а также цикл очерков и корреспонденций о нашей стране.

ВЕЧЕР В ОПЕРЕ

Из книги
«Шесть недель в России,
в 1919 году»

...Я отправился в Большой театр на оперу Сен-Санса «Самсон и Далила». Мое место было в ложе над самым оркестром, что в равной мере давало возможность обозревать как сцену, так и зрительный зал. В сущности, последний был даже несколько лучше виден. Но это меня как раз устраивало, поскольку прежде всего мне хотелось рассмотреть публику.

А она, если вспомнить предреволюционный период, решительно изменилась. Московская плутократия — лысоголовые купцы и их раскормленные, увешанные драгоценностями жены — исчезла. Вместе с ними вышли из употребления вечерние платья и белые манишки. Зал заполнили зрители, одетые в однообразную, повседневную одежду. Некоторый контраст основной массе являла собой небольшая группа женщин-татарок, сидевших в бельэтаже: их головы и плечи были закутаны белыми шалями. В зале также находилось много солдат и людей, которые пришли в театр прямо после работы. Повсюду виднелись серые и коричневые шерстяные фуфайки, многие сидели в верхней одежде, самой разной и нередко ветхой, потому что в зрительном зале было холодно: не хватало топлива; в конце концов это могло, если электроэнергию перестали бы выделять для нужд освещения, привести к временной приостановке работы театров. Оркестранты также были одеты самым причудливым образом. Большинство музыкантов, игравших на духовых инструментах, явно служили в годы войны в полковых оркестрах и все еще носили серо-зеленые кители, шаровары и бриджи всевозможного покроя. Другие были в будничной штатской одежде. Только дирижер был облачен во фрак и возвышался за пюпитром словно гость из иной эпохи; своей щеголеватостью он, можно сказать, изолировал себя от обшарпанных музыкантов и тех, кто находился в зале.

Я внимательно изучал, какого рода публика заполнила зал при новом строе, и пришел к выводу, что состав зрителей, расположившихся от галерки до партера, решительно преобразился. Те самые люди, которые в старое время наскребали гроши, чтобы купить билет и устроиться где-то под самым потолком, сидели теперь там, где некогда располагалась публика, посещавшая театр, дабы развлечься после обильной трапезы. Вглядываясь в тот вечер в лица людей, я понял, что очень немногие пришли сюда после сытного обеда. Но, судя по реакции этой публики, трудно себе представить

Подборка составлена по материалам готовящегося к печати сборника «Я видел будущее. Писатели и деятели культуры мира о Союзе Советских Социалистических Республик. 1917—1977. Путевые очерки, дневники, воспоминания, документы, статьи», т. I—II. Составитель Е. В. Стояновская, редактор А. А. Файнгар. М., «Прогресс», 1977.

другую зрительскую аудиторию, для которой, с точки зрения актеров, было бы приятнее играть. Аплодисменты, подобно волнам, прокатывались по залу...

Что же касается самого исполнения, то я могу лишь сказать, что потрепанная одежда и голод отнюдь не сказались на мастерстве артистов. Балерина Гельцер танцевала перед этой аудиторией точно так же, как и перед буржуазной. Подняв воротник пальто, я размышлял о том, что актеры в полной мере заслужили выпавшие на их долю аплодисменты, поскольку игра в такой холод требовала подлинного героизма. Несколько раз в течение вечера я как-то подсознательно ощущал, сколь нереальна опера в целом, особенно учитывая контраст между пышным убранством сцены и внешним видом столь восприимчивых зрителей. Но в то же время в какие-то моменты сцена и зрители образовывали единое, неделимое целое. Дело в том, что «Самсон и Далила» — поэма о революции; и произведение выигрывает в силе, когда исполняется для людей, каждый из которых наблюдал нечто подобное в реальной жизни. Восстание Самсона против филистимлян вызвало у меня в памяти Петроград 1917 года.

...Возвращаясь домой после спектакля, я не заметил ни одного вооруженного человека. Год назад улицы после десяти часов вечера были пустынны; исключение составляли люди, которые подобно мне возвращались с заседаний или других мероприятий, проводившихся в позднее время. На улицах тогда нельзя было встретить никого, кроме военных патрулей, гревшихся у костров. Теперь постоянно попадались прохожие, спешившие домой из театров и окончательно забывшие о том, что двенадцать месяцев назад улицы Москвы считались небезопасными с наступлением темноты. Ныне такой проблемы не существует. Революция укрепилась. Люди озабочены совсем другими делами и не задаются некогда больным вопросом: продлится ли революция одну неделю или две?

Перевод с английского Б. ГИЛЕНСОНА

ЦЮЙ ЦЮ-БО

Китай

ЧЕРЕЗ СИБИРЬ

Из книги «Путевые заметки о новой России», 1922 г.

■

ЦЮЙ ЦЮ-БО (1899—1935) — известный китайский литературовед, публицист, переводчик. Общественный и политический деятель, член КПК с 1922 г. Был первым китайским журналистом, рассказавшим в своих корреспонденциях, очерках и книгах «Путевые заметки о новой России» и «Впечатления о красной столице» правду о молодой социалистической республике. В 1927—1928 гг.— генеральный секретарь ЦК КПК. В 1935 г. расстрелян гоминьдановцами.

В начале декабря поступили точные сведения о том, что район станции Маньчжурия полностью очищен от банд Семенова. Потерпев поражение, они отошли в Приморье под прикрытие японцев, выступивших в качестве посредников. Появилась, наконец, какая-то надежда на наш отъезд, а вместе с ней вернулась и горячая решимость поскорее очутиться в России, которая охватила нас по пути из Пекина в Харбин, а потом несколько ослабла в результате вынужденной остановки, длившейся свыше пятидесяти дней. Добрая весть снова окрылила нас. У генконсула Чэнь Гуан-пина мы узнали, что его специальный поезд уже находится в полной готовности и отправление назначено на седьмое декабря.

В путь! В путь! К красному свету! Советская Россия — первая социалистическая республика двадцатого века. О ней распространялись различные слухи, всякого рода пропагандистские измышления. Всем известно, что она вынесла четыре года европейской войны и что вот уже три года там не прекращаются внутренние беспорядки [1]. Но никто не знает, каково истинное положение вещей за «Воротами свободы». На сей счет возникают лишь различные предположения. Попасть в Советскую Россию можно только через ее буферное государство — недавно созданную демократическую Дальневосточную республику. И сама Дальневосточная республика, и демократия, осуществляемая правящей коммунистической партией, партией большевиков,— все это представляет огромный интерес для изучения. Скорей! Скорей! Скорее к цели! Советский строй — орган власти пролетариата; социализм, основанный на экономическом учении Маркса, коммунизм — все это можно будет изучить там, на месте! Работы — непочатый край.

Но прежде чем окунуться в коммунистическую атмосферу Советской России, хотелось бы сказать несколько слов о торжествах, устроенных по случаю годовщины Октябрьской революции Харбинским объединенным комитетом рабочей партии.

[1] Имеется в виду гражданская война. *(Прим. перев.)*

Как раз в то время я находился в полном неведении относительно времени нашего отъезда и очень обрадовался приглашению одного русского приятеля прийти к ним на праздник в новое помещение рабочего факультета, который готовился открыть Харбинский объединенный комитет рабочей партии. На проведение митинга в день Седьмого ноября было заблаговременно получено разрешение полицейского управления. Народу собралось столько, что началась давка, и пробраться в зал казалось просто невозможным. Председатель комитета посоветовал нам с приятелем занять места на трибуне. Когда митинг объявили открытым, зал всколыхнулся от мощного «ура!», после чего раздались торжественные звуки «Интернационала». Здесь мне впервые довелось услышать «Интернационал», государственный гимн Советской России, который звучал там, как я потом убедился, буквально повсюду. Ораторы провозглашали здравицы в честь советского правительства, РКП(б), III Интернационала, мировой революции. Незадолго до закрытия митинга было получено сообщение об официальном провозглашении образованного в тот день нового правительства Дальневосточной республики в Чите, после этого с докладом выступил коммунист, только что прибывший из Москвы. И сообщение и доклад были встречены бурными овациями и прерывались то и дело возгласами «ура!». После митинга мы попали на вечеринку к моему русскому другу-большевику, где нас ждал роскошный ужин. Лампочки, обернутые красным шелком, освещали комнату красным светом; озаренные красными лучами, висели портреты Маркса и Ленина. За ужином все выпили, развеселились — и зазвучали приветствия. Среди собравшихся было много русских женщин. Моя соседка по столу, цветущая и благоухающая, буквально забросала меня вопросами о китайском народе, о его нравах и обычаях, о Пекине и Шанхае. Среди присутствующих оказался и только что приехавший коммунист из Москвы, который сказал:

— Вот мы собрались здесь сегодня, веселимся, а москвичи едят черный хлеб и тот не досыта... Коммунисты взяли на себя ответственность за судьбу страны и принимают все меры к тому, чтобы поднять благосостояние народа... Сегодня, в день праздника наши мысли обращены к трудящимся России...

Шестнадцатого декабря мы получили, наконец, разрешение на выезд, миновали китайско-советскую границу и, оставив позади Маньчжурию, прибыли в Сибирь. К вечеру разыгрался буран. Вместо железной дороги, разрушенной войной, прямо по льду была проложена временная колея. Поезд двигался очень медленно, покачиваясь из стороны в сторону, громыхая и скрипя. Он словно хотел поведать первым прибывшим из Восточной Азии гостям о безвинно загубленных здесь белой напастью русских трудящихся. Стояла глухая ночь. За окном было черным-черно, будто в глубокой пещере, хоть глаз выколи, как на дне морском. Только вдалеке едва заметно белел снег и угадывалась бескрайняя пустынная равнина. Но вот налетел резкий порыв ветра, подхватил дым из паровозной трубы, завертел, закрутил его, стал хлестать по стеклам. Вспыхнуло вдруг алое сияние и тотчас рассыпалось мириадами лучей, летящих на восток...

Семнадцатого утром поезд, наконец, прибыл на станцию Оловянная. Впереди виднелся разрушенный до основания в своей средней части железный мост, а под ним придавленный фермами разбитый паровоз — деяния семеновцев...

На запасном пути пустынной железнодорожной станции Чита одиноко стоит состав с пятицветным китайским флагом, который плещется на холодном ветру. Тусклые утренние лучи играют на покрытом инеем полотнище, и от этого оно кажется каким-то неправдоподобно блестящим. Флаг будто хвалится тем, что он первый гость молодого хозяина новорожденной Сибири — Дальневосточной республики. Сопки стеной окружили Читу, заключили в свои объятия и сам город, взбегающий кое-где на их склоны, и станцию. Их вершины поросли седыми соснами и елями, покрытыми снегом. Они издалека поглядывают на пятицветный флаг и улыбаются, сверкая удивительно чистой зеленью. По станции снуют с деловым видом люди в засаленных, видавших виды тулупах. Открываешь дверь в зал ожидания — и в нос ударяет спертый воздух. С привокзальной площади, насколько хватает глаз, открывается вид на город. Разбросанные там и сям домишки, здания, превратившиеся во время войны в груды развалин, повествующих о гибели капитализма. Ноги скользят — снег и лед здесь не тают до самого конца весны. К востоку от привокзальной площади находится базар, и оттуда доносится разноголосый людской гомон.

Грязные, кривые, перепутавшиеся между собой улицы и переулки, извиваясь и петляя, выплескиваются на базарную площадь. Утро выдалось ясное, морозное, и над базаром висит густой пар от дыхания множества людей.

Базар, куда я отправился из парикмахерской, представлял собой просторную площадь, уставленную как попало маленькими лотками.

Я приценился к яблокам и услышал в ответ:

— Двадцать гривенников! [1]

[1] Гривенник — мелкая серебряная монета, соответствующая по стоимости китайскому юаню. Новых денег в обращении еще не было. *(Прим. автора.)*

Я пояснил, что мне нужен всего цзинь.

— Одно яблоко — двадцать гривенников!

После этого я больше не решился спрашивать, что сколько стоит.

В районе Верхнеудинск [1] — Чита было неспокойно. Все богачи-буржуи успели сбежать. Экономика, естественно, переживала кризис военного времени, да иначе и быть не могло в этом неизбывном хаосе. К моменту нашего приезда только-только начал устанавливаться порядок, однако разрушенное войной хозяйство восстановить пока не удалось. Вечером на улицах горели чудом уцелевшие один-два фонаря. Сковывающий людей холод, под ногами лед, пронзительный свист ветра усугубляли картину царившего в городе застоя. Мы побывали на спектакле в читинском театре, оставшемся в наследство от буржуазии. Все здесь выглядит весьма культурно, но кажется каким-то маленьким, словно в миниатюре. У дверей — часовые-красноармейцы. В фойе ярко сияют люстры, неторопливо прогуливаются мужчины и женщины, есть среди них нарядно одетые...

Подавляющее большинство населения в здешних краях составляет мелкая сельскохозяйственная буржуазия, всякий пришлый люд...

Взяв власть в свои руки, большевики образовали в Чите новое правительство и провозгласили демократическую республику. Подобный шаг, несомненно, послужил делу смягчения внешнеполитических конфликтов — Дальневосточная республика явилась своеобразным буфером между Советской Россией и капиталистическими государствами мира. С другой стороны, образование демократической республики точно соответствовало реальному экономическому положению Сибири — мелкобуржуазного сельскохозяйственного края. Как раз в это время читинское правительство предприняло первый шаг по осуществлению своего плана упорядочения экономики, предписав владельцам частных промышленных и торговых предприятий представить сведения об имеющейся у них в наличии продукции. Генеральная линия экономической политики государства — это защита прав трудящихся, и, осуществляя в определенных масштабах политику государственного социализма, коммунистическо-демократическое правительство неизбежно в какой-то мере посягает на так называемое право свободы предпринимательства мелкой буржуазии...

Поздней ночью пятого января поезд подошел к реке Селенге. Здесь все вокруг погружено в полнейший мрак и непроглядную тьму. Но на современной политической карте — это граница между Дальневосточной республикой и Советской Россией. Жизнь в здешних местах едва теплится, как у больного после долгой болезни, которому ценой неимоверных усилий удалось лишь в самой незначительной степени восстановить свою жизнеспособность. Но хотя жизненный дух края сильно подорван, а причины болезней и неудач устранены еще не полностью, не до конца, к счастью, будущая судьба страны — в руках местных трудящихся.

— Проверка билетов! Предъявите паспорта! Паспорта! — раздаются окрики.

Пробуждаюсь от неверного дорожного сна: тускло мерцают свечи, слабо гудит ветер. Поезд уже остановился, и слышно, как за окном с легким шуршанием, волна за волной, налетают и вьются снежинки. В вагоне многоголосый гул — идет проверка документов. Выхожу из купе и предъявляю свой паспорт. Время ночное, позднее, холодище страшный, и я снова укладываюсь спать.

В Иркутске, который Красная Армия заняла совсем недавно, менее полугода назад, и который немало пострадал от войны, остатки разбитых вражеских войск уничтожены еще не полностью. Строительство здесь только начинается, ведется кое-как, наспех, либо к нему еще вовсе не приступили. В смысле экономического положения — это самое неблагополучное место во всей стране. Впервые «советский черный хлеб» нам довелось отведать у иркутского вице-консула Се. Горький, кислый, отдающий запахом прелой соломы — таков этот хлеб..

После сытной еды всем телом овладевает приятная истома. Побегав часа три-четыре на холодном ветру, хорошо лежать в мягких креслах, в сытости и тепле слушать мирное пыхтение самовара, стоящего на столе, и вести неторопливую беседу, испытывая каждый миг радостный интерес ко всему, что касается голодной и холодной страны, хотя многое из услышанного — пересказ пусть и свежих, но совершенно невероятных слухов.

От пребывания в Иркутске, где мы провели всего два дня, сохранились лишь самые мимолетные впечатления. Все задуманное мной по-прежнему оставалось в моих мечтах. Между тем реальная жизнь общества, продажа книг, покупка муки, все самое что ни на есть обычное и повседневное в десять тысяч раз глубже, чем любая теория. Пусть в результате поверхностного наблюдения замечаешь лишь такой в высшей степени конкретный факт, как «черный хлеб»,— в нем кроется, однако, очень глубокий смысл. И чтобы постигнуть его, потребуется израсходовать бесконечно много душевных усилий. Подчас гораздо легче разобраться в самых глубоких книгах по теории социализма...

Мы продолжали двигаться на Запад, постепенно приближаясь к европейской России. Насквозь промерзший паровоз пыхтел и дрожал, и в такт с его вздрагиваниями и рывками колебались и мои мысли.

[1] Ныне Улан-Удэ. *(Прим. перев.)*

Одиннадцатого января мы проехали Ук и Замзор, вечером двенадцатого — Красноярск, вечером четырнадцатого — Новониколаевск [1]. Пятнадцатого января проехали Барабинск, а на следующий день прибыли в Омск. Поезд тащился страшно медленно, и вдоль всего пути нас сопровождали бескрайние снега да вой ветра. В Омске нам необходимо было провести переговоры, и мы сделали остановку.

Пассажиров на вокзале, где мы сразу же успели побывать, собралось очень много. Неподалеку от железнодорожной станции, на пустынной площади, напоминающей базар, толпилось множество народа. Я купил коробку русских папирос, которая стоила тысячу семьсот пятьдесят рублей...

Чтобы понять общество, необходимо исходить из того, что это — нечто органически целое, конкретное. Если же предположить, что «общество» — понятие отвлеченное, тогда этот термин ничего не даст. Средневековое общество Сибири с его полуфеодальным экономическим укладом — как оно далеко от коммунизма! И все-таки титанические силы пролетарской революции России постепенно, шаг за шагом проникают, вгрызаются в него. Перед моим взором — одна лишь реальная действительность: политика царизма, мировая и гражданская войны, взволновавшие океан вселенной и одновременно колыхнувшие маленькую лодку — Сибирь.

Социальная революция вообще, русская социальная революция, в частности, не являются результатом одного только бурного подъема общественного сознания, они — явление, отражающее две стороны, гармонически сочетающиеся между собой,— общественную психологию, то есть духовную сторону реальной жизни, и бытие, то есть материальные условия реальной жизни. До приезда в Россию я всегда полагал, что современная Россия представляет собой «лабораторию коммунизма», что «русские большевики — это как бы химики», которые в соответствии с «формулами теории социализма» экспериментируют над «народами, населяющими Россию, как над химическими элементами», смешивая и взбалтывая их в «пробирке Советов», и что они тут же получают ощутимый результат — «социалистические соединения». И только путешествие по Сибири помогло мне понять всю глубину моих заблуждений.

Учиться можно только у реальной жизни, только она воспитывает человека, только реальная жизнь порождает общественное сознание, которое является всего лишь производным, надстроечным явлением. И народы Сибири исподволь учатся под руководством сурового наставника.

Перевод с китайского М. ШНЕЙДЕРА

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС

США

В ГЛУХИХ ДЕРЕВНЯХ СЕВЕРА

Из книги «Русская земля», 1928 г.

■

АЛЬБЕРТ РИС ВИЛЬЯМС (1883—1962) — прогрессивный американский публицист и писатель. С июня 1917 г. по август 1918 г.— корреспондент социалистической прессы США в Москве. Неоднократно встречался с В. И. Лениным, выступал на I и III Всероссийских съездах Советов. Вернувшись в США, выпустил книгу «Ленин. Человек и его дело» (1919), а также документальную книгу «Через русскую революцию» (1921). Приезжал затем в 20-е, 30-е и 50-е годы и написал ряд книг о нашей стране. Многие из них переведены на русский язык.

«Иностранная литература» публиковала главы из книги «Новая Россия глазами американцев», № 5, 1967, № 4, 1968, книгу «Путешествие в революцию» выпустило изд-во «Молодая гвардия», 1972.

«Если хотите понять жизнь крестьянина,— сказал мне Калинин, председатель ВЦИКа,— отправляйтесь в одну из самых отдаленных губерний, в самую отсталую волость, в самую глухую деревню. В этих медвежьих уголках вы многое для себя уясните».

В поисках «глухих» деревень, то есть таких окраин, куда не проникает голос внешнего мира, мы после шести дней пути по реке Пинеге оказались в дремучих лесах в двухстах пятидесяти милях к востоку от Архангельска.

Пинега столь отдаленное место, что в течение веков цари ссылали в эти места бунтовщиков; и сегодня здесь мы встретили нескольких находящихся на поселении вра-

[1] Ныне Новосибирск. *(Прим. перев.)*

гов советской власти. Пинега — столь северная точка, что летом здесь не угасает сияние белых ночей; поначалу это вызывало у нас восхищение, а потом стало действовать на нервы. Пинега находится на отшибе, а потому первый пароход, пробившийся сюда весной после окончания ледохода, был встречен с радостью, словно посланец из другого мира.

И все же Пинега не показалась нам диким и глухим местом. Поскольку пароход не сумел пройти вверх по реке выше города, мы воспользовались проезжей дорогой. Отмерив по ней верст десять, мы увидели сияющий купол собора, возведенного Екатериной II, которая отвела ему роль духовного форпоста своей империи. Затем, углубившись в чащу, наша бричка в течение нескольких часов катилась посреди зарослей сосен, елей и лиственниц. Наконец, последовал резкий поворот, и, вырвавшись из зеленого туннеля, мы выехали на берег реки. Здесь перед нами, подобно сверкающему ковру, раскинулась миль на восемь усыпанная цветами пойма Пинеги. Луга, которые несколько недель назад были залиты мутными весенними водами, превратились в сплошной цветник. Казалось, что Север, воспрянув от долгого зимнего оцепенения, увлекся безумной игрой пламенеющих красок — желтых, розовых, алых; будто все цвета и все ароматы в поисках самовыражения нашли себя в каких-то бурных, экстравагантных формах. Пройдя сквозь золотые россыпи лютиков и заросли маргариток, мы выбрались на голубые поля колокольчиков и красные поляны клевера. Повсюду возвышались гигантские соцветья таволги, которые колыхались, словно белые панамы, под легкими порывами ветра.

Этот ветер обладал волшебной силой: стоило ему затихнуть, как все цветы вдруг исчезли, а перед нами заклубились темные движущиеся тучи мошкары. Они поднимались из-под ног, налетали со всех сторон роями, слепившими глаза. Своими размерами и силой они были столь же удивительны, как и цветы. И те и другие были порождены этими лугами. И теперь, словно бы мстя за цветы, раздавленные колесами нашей повозки, они набрасывались на нас полчищами, впиваясь в кожу, оставляя кровавые следы.

Когда говорят «его заели комары» — это не метафора. В своей книге «Год на Севере» Михайлов рассказывает о двух двенадцатилетних подростках, отправившихся по ягоды; комары загнали их в болото, где закусали насмерть. Вместе с тем наш возница не обнаруживал ни малейшего раздражения по отношению к мириадам этих жалящих существ. Однако это еще ничего не доказывает. Подобно большинству русских крестьян, он, с одной стороны, удивительно терпелив, а с другой — выработал устойчивый иммунитет к паразитам; ту же безмятежность он сохранял, находясь в комнате, кишащей тараканами, или лежа в постели, посреди еще более свирепых, кусающих до крови клопов.

Заранее предупрежденные, мы вооружились скипидаром и гвоздичным маслом, которые оказывают сильное действие на обыкновенных комаров; но эти насекомые набрасывались на нас, словно притягиваемые сладким нектаром. Мы пожалели, что не запаслись вытяжкой из рога северного оленя, которую нам настойчиво рекомендовали; один запах ее способен отпугнуть медведя или хорька.

Самой надежной защитой, однако, оказалась специальная сетка, накомарник, которая спускалась с головы до пояса и висела как покрывало, что придавало нам сходство с явившимися из небытия ку-клукс-клановцами. Но даже когда мы облачились подобным образом, отдельные неистовые насекомые все же пробивались сквозь сетки. Это раздражало, но было все-таки терпимо.

Совершенно невыносимым, однако, оказалось непрестанное жужжание у самого уха, поистине сводившее с ума своей монотонностью. Говорят, что равномерно вибрирующий звук скрипки может поколебать стальные устои моста или небоскреб. Это, наверное, преувеличение. Однако верно, что непрекращающееся пение комаров может довести человека до нервного шока. Безусловно, эти комариные полчища сыграли свою роль, подрывая моральный дух войск интервентов, которые в 1918 году завязли в этих лесных болотах и чащобах.

«К ночи похолодает и комары пропадут»,— ободрил нас возница. Однако он ошибся, потому что, несмотря на начавшиеся заморозки, комариный хор продолжал звучать еще громче и нестерпимее. Влага также не действовала на комаров, которые не обращали внимания на моросящий дождь.

Так, пребывая в подавленном настроении, мы выехали на деревянную дорогу, проложенную через болото. Под копытами лошадей бревна вздымались и опускались, словно клавиши рояля. То проваливаясь в трясину, то неожиданно поднимаясь, то снова обретая устойчивость, наша повозка сотрясалась от резких толчков, которые немедленно передавались нам.

Все это привело нас в какое-то полуобморочное состояние. Сквозь таинственный белый свет белой ночи, заливавший окружающий ландшафт, мы ехали долгие часы как во сне. Я помню только переправу через реку с помощью канатного парома, стропила домов в погорелой деревне, похожие на черные скелеты, и, наконец, въезд в село Почеж, скрытое пеленой дождя.

Мне запомнился высокий крестьянин, гостеприимно пригласивший нас к себе в избу, из которой он предварительно выгнал двух собак; затем с пола встали какие-то

заспанные фигуры и начали будить: «Катя! Катя!»; они подняли с кровати маленькую девочку, яростно царапавшую себе лицо, а меня уложили на ее место. Сон буквально свалил меня. Очутившись на теплом и высоком ложе, я отрешился от преследующего меня света, холода, дождя и комаров и погрузился в мягкую нирвану.

Часов десять спустя меня разбудил приход той же маленькой девочки Кати, которая по-прежнему царапала лицо. Я извинился за то, что занял ее место.

— Что с тобой? — спросил я.

— Оспа! Черная оспа! — отвечала она, жалобно растягивая слова.

«Либо у нее ветрянка, либо она не в своем уме»,— подумал я про себя и вновь погрузился в сон.

На этот раз меня разбудил ее брат, который искал берестяное лукошко. Он жаловался на то, что должен идти собирать ягоды один.

— Почему сестра не идет с тобой? — спросил я его.

— Она болеет,— отвечал он.— У нее черная оспа.

— Оспа,— у меня перехватило дыхание.

— Да,— отвечал он беспечно.— Поэтому она и спала в вашей постели, а не на полу.

Волосы поднялись у меня на голове, и я вскочил как ужаленный. Вряд ли кто-нибудь выпрыгивал из теплой постели, одевался и выбегал из дома с такой стремительностью, как я. Взбудораженный, напуганный, я спешил выяснить, в чем дело. Факты, которые я узнал, оказались один хуже другого. В них не было ничего мало-мальски обнадеживающего.

В деревне свирепствовала эпидемия черной оспы. Она уже унесла пятнадцать человек. Маленькая девочка Катя только начала выздоравливать и, следовательно, находилась в наиболее опасной заразной стадии. Между тем врача не было ни в этой деревне, ни в соседней, ни в радиусе пятидесяти верст.

«...В отдаленную, отсталую, глухую деревню»,— советовал мне Калинин. Что ж, я оказался именно в такой деревне. В весьма интересной с познавательной точки зрения. Вот только сумею ли я воспользоваться полученной информацией?

Высказывать свое возмущение хозяину, высокому улыбающемуся крестьянину, было бесполезно. Исполненный добрых намерений, он из чувства гостеприимства уступил мне лучшую постель в доме. Чем я так страшно удручен? Этого не могли уразуметь ни он, ни кто-либо из односельчан, меня обступивших. Я вызывал их живейшее любопытство, как гость, приехавший из Америки, а отнюдь не как человек, который только что встал с постели оспенного больного. Многие из них спали в таких постелях в течение недели, а то и двух, однако не заболели. Мои объяснения относительно бактерий казались им отвлеченными и невероятными. Значительно понятней была их собственная теория: у каждого человека своя судьба, и от нее не убежишь; все написано у него на роду — кому жизнь, кому смерть, кому черная оспа.

— Дело тут нехитрое,— объяснил пожилой крестьянин.— Либо заболеешь, либо нет. Либо умрешь, либо выживешь.— Неоспоримая, но безнадежная доктрина!

Сопровождаемый сердечными «до свидания», «милости просим», глядя на маленькую Катю, чье изрытое оспой лицо виднелось в окне избы, мы покинули деревню. Мы побили все рекорды скорости, не обращая внимания на комаров, грязь и ухабы. Все это время мы напряженно припоминали симптомы оспы, которые, как нам казалось, появлялись один за другим. Так галопом примчались мы в Труфино, волостной центр. Здесь были местные власти, им я изложил суть дела со всей значительностью, словно речь шла о международном инциденте.

Тамошние должностные лица, как я и предполагал, подошли к вопросу с полной серьезностью. Однако было также очевидным, что понятие о бактериях воспринималось ими с большим трудом. Столь же нелегко было им войти в положение человека, пришедшего в такое возбуждение из-за того, что с ним только лишь могло произойти в будущем.

— Но вы же хорошо выспались? — допытывался какой-то старый фаталист.

— Да.

— И не заболели оспой?

— Пока нет.

— Тогда что же вы волнуетесь?

В итоге нам все же удалось получить некоторую обнадеживающую информацию. В Пермени, в тридцати верстах вверх по реке, находится медпункт, куда уже завезли вакцину и где под руководством фельдшера Попова развернулась борьба с эпидемией.

— Дьявол его возьми,— потешался хромой старикан, похлопывая себя по бокам.— Он царапает людям кожу. Если она набухает, то, говорит он, человек оспой не заболеет. Господи, господи!

Колоть людей иглой, дабы уберечь от оспы,— вот до какой нелепости можно дойти в наше безумное время. Его ехидные насмешки могли бы привести в восторг любого противника прививок. Сам балагур был поборником врачевания, унаследованного от предков, всех этих старинных заговоров и амулетов, которые выдержали испытание временем. Будучи общественным достоянием, они, однако, держатся в секрете. Наиболее активным средством против оспы почитается следующее заклинание, трижды повторенное:

«Святой Пантелеймон! Святой мученик Оор! Загаси огонь; притупи боль; изгони стрелу ада из раба твоего.

Лешие-лесовики! Заманите болезнь в лес, нашлите на нее дикого зверя, пусть он язвит ее, а не раба твоего.

Злое семя! Прорастай на земле, а не на человеческом лице.

Вода ключевая! Пролейся на лицо, сведи с него рябины, омой его, сделай чистым и гладким.

Святые угодники! Молитесь за своего болящего раба».

После того как это заклинание будет три раза произнесено шепотом, его пишут на бумажку и вешают больному на шею. Так она висит, пока больной не поправится. Если ему не станет лучше и он умрет, это отнюдь не значит, что заклинание недействительно, просто какая-то ошибка вкралась в само исполнение.

Этот заговор против оспы — уже не языческий, он изменен в духе христианства. Святые присутствуют в нем бок о бок с лесовиками. Заговор напоминает молитву, обращенную к невидимым силам. В своем же чистом виде заклинание является приказанием, обращением к «тайному договору» и исполнено веры в его действенность. Оно обычно заканчивается следующим образом: «Слова мои истинны» или «Слова мои тверды, крепче камня, солонее соли, прочнее стали, прилипают надежнее клея. Что мной задумано, то исполнится».

Именно так кончается заклинание против малярии, которое рассказал мне Иван Боговой, председатель Архангельского Совета. «Вместо того чтобы давать больному хинин, его окропляют болотной водой и с помощью заклинания стремятся изгнать из него злых духов, которые, по их мнению, вызывают у него озноб и заставляют скрежетать зубами».

С точки зрения крестьян, предупредительные меры — пустая трата энергии. Подобно старому фаталисту из Труфино, они считают, что есть немало реальных бед, стоит ли тревожиться о бедах несуществующих. В редких случаях, однако, они стремились отгородиться от эпидемии, для чего окружали деревню цепью костров или хотели «запугать» болезнь пальбой из ружей.

Эти старинные верования, обычно уходящие во тьму веков и нередко глубоко там сокрытые, все еще вырываются на поверхность в каких-то критических ситуациях. Но они уже умирают. Вера в древние заклинания исчезает вместе с уходом старого поколения. Только староверы оказывают упорное сопротивление вакцинации. Двенадцать миллионов крестьян, которых Россия отправила сражаться на сорока фронтах в прошедших войнах, возвратившись в свои деревни, принесли с собой дрожжи новых идей, нового отношения к жизни. И теперь, когда мы продолжили наш путь, к нам повсеместно присоединялись люди, ехавшие на лошадях, шедшие пешком, которые направлялись в Пермень, где находился центр по вакцинации.

Пройдя мимо указателя «Медпункт», мы вошли в просторный сруб, который заполняла длинная очередь крестьян, стоявших с высоко закатанными рукавами. Она медленно двигалась по направлению к человеку небольшого роста в белом халате, стоявшему у окна. Это был фельдшер Попов, который прикасался блестящим ланцетом к голым рукам по мере того, как очередь подвигалась. Быстрыми, ловкими движениями он делает надрезы на коже, после чего выступают три розовых пятнышка, и следующая рука уже появляется перед ним. Почти не поднимая головы, он время от времени предупреждает:

— Соблюдайте очередь! Не трогайте руку!

Теперь столь же медленно очередь проходит мимо него вторично: он втирает вакцину. Попов внимателен, сосредоточен; только неожиданное появление американца заставляет его прервать свою монотонную, почти автоматическую работу. Я осыпаю его вопросами об инкубационном периоде, симптомах лихорадки и т. п.

Вместо ответа он извлекает циркуляр, который поступил вместе с вакцинами из Наркомата здравоохранения. Зачитывает его вслух, но в нем ничего не сказано по интересующим меня вопросам. Да и имей он подобные книги, где бы он мог найти время, чтобы их прочесть? Он отвечает за все: растяжения, переломы, раковые заболевания, психические расстройства, воспаления легких, роды и смерти. И это в округе размером с иные королевства. Теперь к этим заботам добавилась главная — эпидемия, с которой он борется один, вооруженный лишь ланцетом.

После того как он принял в этот день девяностого по счету пациента, мы отправились к нему домой обедать. Было подано много рыбы, поскольку выдался обильный улов. Так уж здесь водится: мясо в изобилии, когда у охотников удача; хлеб на столе, если в августе мороз не погубил урожай. Ну, а если всего этого не будет, то он вынужден «садиться» на свою месячную зарплату, которую нерегулярно получает от властей. Он испытывает недостаток в средствах, знаниях, оборудовании и тем не менее отлично работает. Вакцина, которую он мне втер, прекрасно привилась.

Он никогда не задумывался над тем, что он — смелый человек. Все эти люди, живущие на севере,— герои. Жизненные трудности подстерегают их на каждом шагу: холода и бури, наводнения и эпидемии. Постоянно живут они бок о бок со смертью, но неизменно сохраняют спокойствие, твердость и невозмутимость.

В деревню Чаколово мы приехали как раз в то время, когда собравшаяся толпа с жадностью взирала на таинство, совершавшееся странной машиной, которая отделя-

ла сливки от молока. Это был волшебный аппарат, делавший в одну минуту то, что прежде отнимало у крестьянина целый день. Сепаратор был привезен из Америки, маслобойка — из Германии, а формы — из Англии. С их помощью русские сливки, проделав полный круг превращений, становились восхитительным желтым маслом.

Для тех, кто месяцами питался безвкусной, прогорклой массой, называемой крестьянским маслом, это было откровением. И когда на их глазах из того же самого молока, которое они портили, создавался этот вкусный, золотистый продукт — это уже явно походило на чудо.

А чудотворцем оказался худощавый, сутулый человек с глубоко запавшими глазами, аскетической и интеллектуальной внешности — Петр Табирин. В давние времена он мог бы стать Петром Пустынником, участником крестового похода против неверных. Но, живя в наш век политики, он стал Петром Бунтовщиком: сражался против царя, против мировой войны, против большевиков, против белых и в конце концов против всех врагов советской власти. Его жизнь — это битвы, голодовки, аресты, тюрьмы, побеги.

Устав от политической борьбы и отойдя от нее, он в течение двух лет полностью отдался изучению молочного хозяйства и практической работе. И теперь со всей страстью, подкрепленной техническими знаниями, он стал горячо пропагандировать маслоделие среди крестьян Верхней Пинеги. Для этой цели он выбрал деревню Чаколово, в которой разводят выносливую породу рогатого скота, способного добывать себе подножный корм в лесу. Здесь в изгибах реки находились пойменные луга и богатые поля цветов. Но конечно же, для такого «крестоносца», как он, они были всего лишь полем битвы.

После того как этап политической борьбы был пройден, Петр Табирин стал бойцом экономического фронта. Ему нужно было построить деревянный дом; привезти сюда оборудование и наладить его; обучить целый штат подростков; организовать кооператив; ознакомить крестьян с основами санитарии; донести новые научные теории до их сознания, освобождающегося от старых предубеждений. Чтобы выполнить все это, наряду с энергией и знаниями необходимо было проявить глубокое понимание привычек и предрассудков затерянной в лесах русской деревни.

Не так давно редкое событие не находило себе объяснения в действиях домового. Переезжая в новый дом, крестьянин брал с собой из старой печи чугунок горячей золы и приговаривал: «Добро пожаловать, дедушка, на новоселье!» Купив корову и приведя ее в стойло, хозяин кланялся на все четыре стороны и говорил: «Вот тебе, хозяин, лохматая скотинка. Люби ее, корми и пои».

Но время домовых подходит к концу. Разговаривая с Егоркой, четырнадцатилетним подростком, вожаком тех своих сверстников, которые работают на маслобойне, я сказал:

— Наверно, некоторые из домовых переберутся жить в новую молочную.

— А они уже перебрались,— услышал я в ответ.— Они теперь в каждом ведре с молоком. Петр Табирин называет их бактериями.

— Итак, старые домовые перевелись,— вздохнул я, имитируя скорбь.

— Да,— отвечал мне подросток со смехом.— Революция всех их истребила.

Но не только для подростков и красноармейцев, а также и для многих людей старшего поколения домовые умерли. Умирают и другие привычки и традиции, освещенные веками. Весьма живописные на страницах книг, они, однако, держали деревню в темноте и страхе, приковывали ее цепями к прошлому. Революция явилась подобно вихрю, который разметал старые воззрения, развеял предрассудки и принес в деревню дыхание новой жизни.

Вот почему Петр Табирин, который когда-то боролся с Октябрьской революцией, теперь ее поддерживает. Она освобождает те силы, которые делают возможными предприятия, подобные этому. Она десятикратно облегчает задачи, стоящие перед учителем и агрономом. Когда-то работа этих пионеров была гласом вопиющего в пустыне. Иногда их разгоняли, иногда убивали. Теперь эта глушь отзывается на их зов и оказывает им поддержку.

Конечно, в России все еще можно найти тысячи деревень, пребывающих в бедности и грязи, страдающих от невежества и болезней. Но ныне нет уже деревень, погруженных в спячку. От многовекового сна пробуждаются они навстречу новым голосам, к ним обращенным.

Перевод с английского Б. ГИЛЕНСОНА

ПЕТЕР ИЛЕМНИЦКИЙ ■

Чехословакия

ВСТРЕЧИ В ПУТИ

Из книги «Два года в Стране Советов», 1929 г.

ПЕТЕР ИЛЕМНИЦКИЙ (1901—1949) — известный словацкий писатель. Член КПЧ с 1921 г. В 1926—1928 гг. жил в СССР. Учился в Московском институте журналистики. Участвовал в работе I съезда советских писателей. Участник антифашистского Сопротивления, был заключен в концлагерь. В 1949 г. посмертно удостоен звания народного художника ЧССР. На русский язык переведены его романы «Хроника», «Кусок сахару», «Поле невспаханное».

Сыр-Дарья

Мальчиком я всегда мечтал: был бы я воином и участвовал в сражениях или купцом в стародавние времена. Слова: кашмир, дамаск, кофе-мокко, слоновая кость — в моем сознании были тесно связаны с представлениями о Сирии, Аравии, Береге Слоновой Кости. Однако сами эти представления были совершенно «доморощенные»; мои познания в географии, собственно, сводились к тому, что мне запомнилось из учебников или рассказов учителя. В этом было свое очарование, мысленно я создавал свой собственный мир, исполненный красоты и романтики.

В Аральское море впадают реки Аму-Дарья и Сыр-Дарья, учил я по географии, как того хотел учитель. И это было все, и этого было достаточно Но, оставаясь один, я думал: жалко, что я бедный. Мне их никогда не увидеть. Аму-Дарья и Сыр-Дарья — это ведь вроде заклинания великих магов. Звучание этих слов подобно таинству вечеров, когда муэдзин величественно восходит по бесчисленным ступеням минарета, чтобы возгласить благодарность аллаху.

Процессия муэдзинов и великих магов, мечети и минареты под покровом азиатского вечера — таковы были мои представления, столь прекрасные, что, казалось мне, никакая действительность не может их превзойти.

Аму-Дарья, Сыр-Дарья, знойные заклинания мальчишечьих снов...

А в 1926 году я их увидел. Я стоял на берегу широкой мутной реки, которая называется Сыр-Дарья. Несколько малорослых киргизских[1] коров лениво бродили по топкому побережью.

Сыр-Дарья несла свои воды с трудом, подобно человеку, страдающему неизлечимой одышкой Вода в ней была густая и желтая, как и вся эта равнина, переходящая в Голодную степь.

Солнце легло своей пылающей головой на лиловые подушки запада. Они разгорелись вечерним огнем, и его сияние опустилось на безмолвную водную гладь, на которой не было ни единой шаловливой волны. Все это напоминало некое величественное богослужение, и я сам, погруженный в эти угрюмые глубины, казался себе приверженцем какого-то нового вероисповедания, в котором молитву творят лишь расширенные зрачки и непорочная душа.

Вечер ступал по окрестностям, подобно монашке, на мраморном лике которой запечатлелось тихое лобзание луны. Неслышно, без шума, как и Сыр-Дарья, задающая тон всей окружающей местности.

Поблизости несколько киргизских кибиток. Они стояли в степи, и от очагов снаружи шел удушливый дым. Он тяжело стлался у самой земли, и можно было почуять запах жареной баранины. Дым цеплялся за скудную растительность, прибитую палящим солнцем, но не удерживался, воздушными пушинками вился и кудрявился в направлении ветерка.

Старая киргизка смотрела на меня неприязненно. Я поздоровался, а она начала браниться, размахивая руками, показывая в сторону ближайшей станции. Я не понимал ее слов — они казались мне ужасно смешными, и меня это потешало.

Перед кибиткой сидел мальчик неопределенного возраста. Раскрытой книгой он ловил последние лучи заходящего солнца.

— Читаешь? — спросил я по-русски.

Он ответил мне азиатским взглядом, безбрежным, как любовь к песчаной степи, беспросветным, как недоверие к Западу. Я дал ему кусочек шоколада, который обнаружил у себя в котомке. Угостил и старуху. Они взяли его с тем испытующим взглядом людей, которые не доверяют незнакомым вещам.

— Я не читаю,— ответил мне мальчик после продолжительного молчания,— я учусь.

Его мать попросила у меня табаку. Потом взяла простую деревяшку, лежавшую у входа в кибитку, и клок шерсти. Принялась как-то по-особому, быстро крутить дере-

[1] До 1925 года (отчасти и позднее) в литературе и документах казахов ошибочно именовали киргиз-казаками и просто киргизами, перенося на них самоназвание соседнего народа — собственно киргизов (*прим. ред.*).

вяшку в пальцах правой руки, а левой изготовлять толстую плотную нить. Я заметил, что это шерсть верблюда, песочного цвета.

Мальчик поднес книгу к глазам, потому что сумерки сгущались.

— Ты ходишь в школу,— удивился я.— А где же ваша школа, скажи мне!

Мальчик долго молчал. Потом серьезно посмотрел на меня и сказал:

— Мы — по-киргизски. Наш язык. Киргизы сегодня тут — завтра там. Школа тоже. С нами.— В руках у него была киргизская книга.

Потом повернулся к матери и что-то сказал ей. Она расхохоталась и стала извергать из могучей груди отрывистые слова. Их гортанное звучание напоминало кашель человека, страдающего хроническим брочхитом.

Было уже совсем темно, и мне пришлось поднести книгу к глазам, чтобы рассмотреть картинку.

— Паровоз! — изумился я.

А мальчик, заулыбавшись, стал делать обеими руками знакомые движения, сопровождая их шипением:

— Шш-шш-шш, шш-шш-шш...

Его белозубый рот весело смеялся. Он вскочил на верблюда, который лежал за кибиткой, и, похлопывая его по мохнатым горбам, кричал:

— Шш-шш-шш, шш-шш-шш! Киргизский паровоз. Далеко!

И он вскидывал руки куда-то на северо-запад, в сторону оренбургских пастбищ.

На востоке медленно поднимался любопытный лик большого оранжевого месяца, которому суждено всю ночь догонять ушедший день. Его долгий путь оставлял в зеркале Сыр-Дарьи золотую полосу.

Из безмолвной ночи неслышно выступила огромная, длинная тень. С треском взметнулись искры, и пламя осветило верблюда с вытянутой вперед шеей и страдальчески растянутой пастью с большими желтыми зубами.

Киргизка принесла кувшин с водой и коврик. Ее муж уселся на коврик. Вымыл руки, лицо и ноги. Потом скрестил руки на груди и, склоняясь головой к степному песку, долго молился.

Нас кормили лапшой с бараниной.

— Нам,— говорил киргиз на ломаном русском языке,— хорошо. Жена дома. Мужчины в степи. А дети — школа. Так раньше не было. Чудные дела. Машины. Машины делают — человек смотрит. Нет — это не для киргиза. Мы — верблюд и конь. Киргизская степь. Краше ее нет.

Сыр-Дарья тащилась, как ночь и как время. Трудное время, которое рождает день за днем, чтобы хоронить отжившее.

Скачет киргиз по степи вослед сухому, желтому ветру и молится.

Его жена прядет вручную и наматывает пряжу на деревяшку.

А сын читает о паровозе и о Стефенсоне...

Сыр-Дарья и время текут. Время хоронит отжившее, чтобы могло родиться будущее.

И потому мы разделяем время на прошлое, настоящее и будущее.

От полярных льдов до вечного солнца

Ох, как вспоминал я в суровую московскую зиму о Кавказе; у его ног, зеленого подножия, колышется вечно синее море, и его волны весело сверкают на солнце. Черт его знает — эта Россия такая широкая, такая бескрайняя: на севере — никогда не тающий снег, а на юге — почти беспрестанно, беспрерывно плодоносящая земля. На севере — бесконечные ночи с полярным сиянием, на юге, вблизи Батума, пальмы колышутся в изобилии жаркого солнца. Ну скажите, милые мои, какая страна сравнится с Россией?

В середине мая в Москву пожаловала весна. Люди радостно открыли ей свои сердца. Московская весна движется медленно, словно кошка по крутому скату крыши, осторожно. Нет, мне было не по душе, что в середине мая почки на березах и липах московских бульваров и парков еще не раскрылись. А каштаны и сока еще не пустили. И вот однажды поздним московским вечером, когда на деревянных улицах предместий тянет сладким деревенским духом, я сел в поезд и уехал. Я невыразимо любил вот так сесть в поезд и уехать. За окнами вагона расстилается необъятная русская земля, и широкая русская душа странствует по ней.

Напротив меня сидит женщина, вся такая складная, с выступающими скулами, с веселыми глазами, в которых не отыщешь и следа 46 лет многотрудной жизни. Приходит кондуктор, требует билеты; женщина расстегивает булавку на фартуке, лезет загрубевшими пальцами в карман, а я думаю: сейчас предъявит железнодорожное удостоверение. Но я ошибся. Она раскрывает красную книжечку с золотой надписью и подает кондуктору билет.

Во мне проснулось любопытство. Я заговорил с ней, улыбка разгладила морщинки на ее румяных щеках.

— Это мой мандат,— ответила она и протянула мне красную книжечку. Я открыл ее, читаю: мандат члена городского Совета рабочих, крестьянских, красноармейских и казачьих депутатов в городе Георгиевске, недалеко от Владикавказа. А там, где должна быть подпись владельца мандата, стоят три кривых крестика...

Было уже далеко за полночь. Вагон спал. Я вышел в тамбур и отворил окно. Мы остановились на небольшой рязанской станции. Ко мне в окно заглядывала ветка яблони. Тут тебе не Москва с ее робкой весной. Здесь из почек торчали кончики молодых листьев. Меня обрадовали эти лазутчики весны. И еще кое-что, но это я отложил на другой день. Столько было всего, от чего голова шла кругом: не одна лишь весна на рязанских нивах, с которых до меня доносился голос «последнего певца русской деревни» Сергея Есенина. Но и эта красная книжечка, мандат казачьего депутата Совета Анисьи Федоровны Василенок...

Проснулся я ранним утром. Мы подъезжали к Козлову. Земля черная, как сажа. Анисья Федоровна смотрит в окно, уже умыта, причесана.

— Откуда едете? — спрашиваю ее.

И она, улыбаясь, рассказывает певучей смесью украинского с русским, на которой стараются говорить в чужой среде кубанские казачки:

— Я из дому уехала еще прошлой осенью. Один сын у меня в Ленинграде, на фабрике работает. Другой — в Москве. Ездила повидаться с ними.

— А ваш муж — он что, не соскучился? Срок ведь не шуточный, с осени до мая.

— На будущий год пошлю его, а сама дома останусь. Пускай мир посмотрит. Как люди живут.

Меня это удивило. А она продолжает:

— Знаете — у нас на Кубани земля урожайная. Всего у нас вдоволь, ума только у людей не хватает. Вот хоть бы я — ведь неграмотная. После революции нас, стариков, начали учить в школе. И я ходила в школу, да попусту: руки не слушаются и в голову ничего не лезет. Многие выучились, и мужики, и бабы. А у меня как-то не идет дело.

— А что вы дома делаете — в свободное время?

Она обнажила два ряда крепких белых зубов:

— У меня нет свободного времени. То в горсовет на совещание, то в сельсовет — докладывать, да работа среди женщин. Вдобавок я у нас в деревне организовала детские ясли. Собрала женщин, мы попросили выделить нам десять десятин земли. Мужики очень были недовольны. Но наша взяла. Известное дело: бабы! Теперь идут нам навстречу. Сколько мужиков лодырничает, особенно в казачьих станицах. А мы землю засеяли, собрали урожай. Все сами. Потом ссуду попросили. Потом отобрали у одного кулака дом, у него было два. Дальше — оборудование для яслей, женщина, которую сперва послали в город на курсы, и дело пошло. Теперь у нас женщина на работу идет спокойно. Знает — за ребенком в яслях уход прекрасный. К тому же бесплатно.

Мы проехали Козлов, где весна была уже в полном разгаре: кусты на межах стояли в цвету, луга налились сочной зеленью. Чем дальше на юг, тем неукротимее развертывалось победоносное наступление весны с развевающимся зеленым бунчуком надежды.

— И что же мужики? — спрашиваю.— Не нравится им, что вы, женщины, отняли у них главные роли в общественной жизни?

— У нас мужики глупые. Не могут забыть, что до революции говорилось: курица — не птица, баба — не человек. Казаки — ленивые мужики. Хотят, чтобы мы ничем, кроме своего хозяйства, не занимались. Но теперь с них спесь посбивали. Известное дело — равноправие.

У Воронежа уже цвели фруктовые сады. Такая красота, так быстро все движется вперед, словно поезд.

— А что вы делали в Ленинграде и в Москве?

— Гостила у сыновей. Побывала на фабриках, на собраниях заводских комитетов, на партийных собраниях в клубах. С моим мандатом меня всюду пускали. Рабочие меня дотошно расспрашивали, как мы на селе живем, как ведем общественную работу. Я раньше не верила, что рабочие и вправду так интересуются нами, крестьянами, и такую заботу проявляют. Рассказала о кулаках — как они в этом году хлеб не сдавали. Кое-где временно были нехватки, небось знаете. Вот вернусь домой, расскажу им, обо всем расскажу, на что они зерно дают...

— У Ильича были?

— Была. Так мне стало жалко. Жалко Ленина — а потом как вспомню, сколько борцов его заменяют: партия, комсомол да пионеры, октябрята, да вот у нас в яслях, к примеру, растет новое поколение, которое будет здоровым, сильным и смелым... И еще пожалела я, что неграмотная, не могу читать его книги...

— Анисья Федоровна,— сказал я ей,— у вас Ленин в сердце. Нам очень нужны такие женщины. И они растут, подрастают из молодежи, и они у нас будут. Это как весна от Москвы до Кавказа. Она тоже неукротимо рвется вперед — как поезд, как ваша великая революция. Вам не о чем жалеть!

Она слушала, глаза большие — как неоглядные донские степи...

В поезде Москва — Алма-Ата

Ежедневно в полпервого ночи с Казанского вокзала в Москве отходит пассажирский поезд номер 49.

Поезд обычно бывает заполнен уже от Москвы. В распоряжении пассажира целая скамейка, на которой разложены дорожный матрац, подушка и одеяло. Едва поезд выедет за пределы Москвы, пассажиры устраиваются на своих местах и вскоре засыпают.

Утром начинаешь постепенно знакомиться. Все доброжелательны и общительны — ведь у каждого впереди несколько дней пути, и эта общая перспектива служит прекрасной основой добрососедских, согласных взаимоотношений между пассажирами.

В пассажирском поезде номер 49, которым я три месяца назад ехал в Среднюю Азию, подобралась интересная компания. Много женщин с детьми, которые весной проводили отпуск в европейской части Союза и теперь возвращались в Азию к своим мужьям; студенты, которые ехали из Москвы домой на каникулы, но не отдыхать, а участвовать в уборочной кампании и в общественной, культурной работе в Казахстане, Киргизии, Узбекистане. Были там красноармейцы, возвращавшиеся с черноморских курортов в свои дивизии, были рабочие, которые выполнили различные спецзадания и возвращались на свои заводы. Были в вагоне двое крестьян, которые — бог весть зачем — тоже ехали из Европы в Азию.

По мере приближения к Оренбургу, городу на рубеже двух континентов, все горячее становился воздух бывших степей, теперь распаханных в гигантские наделы колхозов.

Оба окошка вагонного тамбура были всегда открыты, и около них останавливались каждый раз новые люди. В один из шести дней моего пути обеспеченный с виду мужчина из соседнего купе спросил меня, куда я еду.

— В Киргизию, во Фрунзе. Побывать в Интергельпо.

Он хитро усмехнулся и сказал:

— Ваши соотечественники из кооператива бегут, а вы туда едете! Что вы там собираетесь делать? Там ведь скверно! Они там совсем разложились, и кооператив вот-вот развалится. Я знаю, что говорю, я там тоже полгода работал. Я организовывал сбыт кожи с их кожевенного завода...

И он принялся рассказывать мне совершенно невероятные истории об Интергельпо. Я скрыл от него, что знаю кооператив по собственному опыту и что и теперь у меня есть о нем точные сведения. Мне было интересно узнать, до каких размеров антисоветские элементы способны раздувать свои измышления и злонамеренную подрывную «информацию», с которой они лезут к приезжающим из-за границы. (Во Фрунзе я узнал, что этот бывший кожевенный фабрикант с Украины действительно работал в Интергельпо, затем был уволен и судим за вредительство.)

У открытого окна появилось новое лицо. Типичный крестьянин, молодой и без бороды, с дивными детскими глазами, вздернутым носиком, в красной рубашке. Разговорились:

— Откуда?
— С Украины.
— В Киргизию?
— Да, к брату.
— Навестить или на работу?
— Если найдется подходящая работа, так буду работать, почему нет?
— А кто вы по роду занятий?
— Я крестьянин.

Мне показалось странным, что в пору жатвы этот крестьянин способен уехать с Украины в Туркестан проведать брата. Спрашиваю:

— А там, откуда вы, есть колхоз?
— Есть. Большая часть деревни коллективизирована.
— А вы?
— Я... не вступил.

Понятно. Значит, передо мной либо один из «раскулаченных», либо один из тех, кто продает из своего хозяйства все что можно и по доброй воле бежит в национальные азиатские республики, где коллективизация пока еще не проведена, чтобы там устроиться «пока по-старому», самостоятельно. Только ныне и это уже не получается.

Остались далеко позади красноватые вздутия, напоминающие о крайнем южном Урале, и мы очутились в голой, ровной и выжженной степи. Колючая растительность в виде кустиков или клочков травы давно высохла на корню. Степь пустынна, лишь кое-где суслик прошмыгнет к себе в норку, да мелькнет охотящийся на них коршун, орел или сокол.

У окна остановился второй крестьянин с рыжей бородой и голубыми глазами.

Он смотрел на степь спокойно и невозмутимо, словно обозревал окрестности Рязани, к примеру, или Воронежа. Земля везде плоская...

Два русских парня вступили с ним в разговор. Оказывается, и этот направляется к родственникам аж в самый Ташкент.

— И на какую же работу, дядя? Ведь вы же крестьянин!

— Да я уже и плотничал. Могу какую хочешь работу делать. Ежели бы удалось, я бы остался на Аральском море... Должно быть, интересное это дело — рыбу ловить...

Мы от души посмеялись. Смотри-ка — человек пустился по свету, и ему безразлично, где прибиться. Хлебороб, но может быть и плотником, а еще больше ему нравится ловить рыбу. Сел в поезд, перед ним шесть дней и ночей пути, он без толку убивает время, поскольку не знает, чем займется по приезде. И все это в такое время, когда для успешного выполнения пятилетки требуется максимальное напряжение сил и каждая пара рабочих рук.

На станции Чиили, как и на многих других, висело большое объявление. На хлопковых плантациях совхоза в 60 км от Ташкента требуется 5000 рабочих. Рыжебородый дядя вытащил замусоленный блокнот, подошел ко мне и сказал:

— Спиши мне все это сюда! Только хорошенько, чтобы можно было разобрать!

Я переписал ему объявление и подумал про себя: «Ну, этот не пропадет. Как только ему все надоест, может податься в совхоз».

На станциях видно много подобных объявлений, и все они говорят об огромной нехватке рабочей силы. Я прикинул: если в каждом поезде, которые ежедневно бороздят СССР, случается всего лишь пяток таких неприкаянных, непоседливых странников, и то ужасно жаль впустую затраченной энергии, которая столь дефицитна, судя по станционным плакатам и объявлениям в газетах!

К счастью, эта переменчивая, попусту растрачиваемая сила возмещается самоотверженным энтузиазмом рабочих и новой советской интеллигенции.

Это было уже за Оренбургом, на какой-то станции; из вагонов выбежали несколько молодых рабочих купить у киргизок кумысу. Я подошел к одному из них — он вел прекрасную овчарку.

— Мы едем в колхозы помогать на уборке урожая, чтобы машины работали исправно, и еще затем, чтобы соблюдать политическую линию в уборочной кампании. Едем прямо от станков, из Москвы и из Ленинграда — сегодня вечером будем на месте.

— А потом назад, домой?

— Домой? — он простодушно рассмеялся.— Нет, не домой, а в Ташкент, а когда закончим под Ташкентом, переправимся через Каспийское море на Кавказ.

Я удивился и не скрыл своего удивления. Видимо, поэтому он добавил:

— Да это что! Я, например... Всего восемь дней назад вернулся в Ленинград из Крыма, из командировки.

Я все понял. Это были ударники. Те, кто на весь срок пятилетки посвятил себя великому делу и кто, пренебрегая личным удобством и невзирая на интересы собственных семей, прямо-таки горел на ударной работе, показывая образцы героизма всем трудящимся.

Подъезжая к станции Джусалы, я обнаружил в вагоне двух молодых, недавно закончивших институт инженеров. Они были из рабочих и теперь ехали в Среднюю Азию, чтобы трудом выплатить советской власти свой долг: бесплатное образование. Подобно московским и ленинградским ударникам, они тоже ехали в командировку. Это имело свои преимущества: на любой крупной станции стоило показать в буфете свое удостоверение — и буквально за копейки они получали целый обед и продукты на дорогу. Вот почему тогда, когда остались позади цветущие тамарисковые рощи и пошли одни только песчаные холмы Голодной степи, когда на станции нельзя было купить куска хлеба, они сидели над раскрытой корзиной, полной консервов и сушеной рыбы, с поразительным аппетитом ели, шутили и смеялись.

За Арысью, где железная дорога сворачивает к предгорьям Тянь-Шаня, слева от железнодорожного полотна течет река Чу.

Сюда, на эту реку, и были посланы эти двое инженеров, чтобы участвовать в колоссальных работах по орошению и электрификации. Вот что они мне рассказали:

— Недалеко от Фрунзе на реке Чу строится гигантская плотина, которая покорит реку и использует ее ресурсы. Ирригационные устройства будут орошать триста тысяч гектаров земли, которая сейчас, без воды, бесплодна. Это имеет огромное значение для всего СССР, так как избавит Союз от необходимости ввозить иностранный каучук. В здешних краях растет многолетнее растение, которое киргизы называют кендырь. Оно дает не только отличное волокно, подобное конопле, а также луб, но и содержит в листьях 9% каучука. Было решено выращивать здесь кендырь на огромных плантациях. Уже на сегодняшний день кендырем засеяно сто тысяч гектаров. На реке Чу сейчас работает пятнадцать тысяч рабочих и инженеров. Строится целый комбинат. Кроме оросительных устройств и мощной электростанции здесь будет еще фабрика по производству галош, автопокрышек и прочих изделий из резины. Кендырь даст столько волокна, что на текстильной фабрике им круглый год будет обеспечена тысяча ткацких станков. Из межволокнового луба будут вырабатывать искусственный древесный материал и выпускать готовые изделия из него. Общее число работающих — в

промышленном комплексе и на совхозных кендыревых плантациях — достигнет тридцати тысяч. Все должно быть закончено в будущем году. И будет!

Я представил себе реку Чу в этих местах, какой я видел ее пять лет тому назад. Мутные воды текли по глинистому руслу, то и дело разливаясь и образуя болота, заросшие камышом и населенные водоплавающей птицей и тучами комаров. Сюда, в этот рассадник малярии, кроме заядлых охотников, никто не наведывался. А ныне? 15 тысяч рабочих осушают болота, орошают безбрежную степь и строят промышленный комплекс...

Сколько таких великолепных комбинатов строится по всему СССР! Сколько трудящихся буквально горит на ударной работе, сколько их пошло на самопожертвование ради идеи и общего дела.

И когда теперь я смотрел из вагона на реку Чу, мне казалось, будто в ее судьбе отражается триумфальная действительность всего СССР.

Перевод со словацкого И. БОГДАНОВОЙ

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР

США

ЧТО Я ВИДЕЛ И ИСПЫТАЛ...

Из книги «Драйзер смотрит на Россию», 1927 г.

■

ТЕОДОР ДРАЙЗЕР (1871—1945) — крупный американский писатель и общественный деятель. Творчество Т. Драйзера хорошо знакомо советским читателям по переведенным на русский язык романам «Сестра Керри», «Дженни Герхард», «Титан», «Финансист», «Гений», «Американская трагедия» и др. В 1945 г. вступил в Коммунистическую партию США.

Теперь, когда я подхожу к концу своей книги, разрешите мне поговорить о том о сем, без всякого плана. В России я понял то, о чем и помыслить не мог в Америке, а именно: думать, что истинное достоинство человека может порождаться материальной собственностью, значит ошибаться. Ничего подобного. Истинное достоинство человека лежит в сфере духовной, это — его мысли и их значение для мира, а истинная сила — это нечто, рожденное мыслью, которая может найти и находит отклик в умах всех людей, которая вдохновляет всех. Я, разумеется, хорошо знаю, что способность мыслить и ум, особенно выдающиеся, встречаются не так уж часто, но когда они встречаются, их воздействие на массы просто невероятно, поэтому их надо приветствовать и беречь. И вот в России это ощущаешь очень ясно.

В России я также почувствовал, что может существовать правительство, которое мыслит, которое к чему-то стремится. А как это важно, чтобы правительство думало, чтобы оно имело программу! Есть такое правительство у нас? Когда-то я считал, что да, что хотя бы теоретически мы идем к чему-то сознательно, ищем для себя какое-то более высокое духовное и психологическое состояние, которое может породить все большую мудрость, все большую интеллектуальность. Возможно, разумеется, что я сильно ошибаюсь, приписывая своему народу такое стремление творчески мыслить. Порою мне кажется, что я только воображаю то, чего нет и никогда не будет в Америке. Последнее время я все больше склоняюсь к этой точке зрения, ибо мы насквозь материалистичны и поэтому в духовном отношении остаемся подростками.

Но как не похожа на нас Россия! Господи, какое кипение и бурление подлинной, серьезной, щедрой, не ограниченной чисто материальными ценностями, высоко духовной мысли! Вообразите группу руководителей (мужчин и женщин) — в Центральный Комитет Всесоюзной Коммунистической партии большевиков входит 167 человек, представляющих каждый уголок и сферу жизни этой гигантской страны,—руководителей, которые думают не только об одной России, как мы в Америке думаем только об Америке, но и обо всем мире! Вы можете побеседовать с человеком вроде председателя Калинина, крестьянского батюшки России — и, возможно самого ее любящего и внимательного советника,— или с Георгием Чичериным, ее наркомом иностранных дел, или со Сталиным, Генеральным секретарем Центрального Комитета партии, или с любым другим человеком, имеющим отношение к современному коммунистическому руководству России, и вы почувствуете, что говорите не просто с политиком или официальным лицом, которое по той или иной причине, связанной с его официальным или политическим положением, должен говорить так, а не иначе (как это скучно и отвратительно бывает в Америке!), но с человеком, который и сердцем и разумом убежден не только в важности, но и в неотложной необходимости всего, что делается, и который говорит без всякого оттенка «узости», не от имени какой-либо конкретной

группы — финансовой, политической или общественной,— как это бывает в Америке, Англии, Германии и Франции. Короче говоря, вы увидите перед собой человека, который в первую очередь заботится об осуществлении коммунистического идеала не только в России, но и во всем мире...

И еще один факт, которым меня порадовала Россия и который я никогда не забуду: оказалось, что с помощью коммунизма, этой коллективной отеческой заботы о каждом человеке, возможно уничтожить страшное ощущение социальной нищеты, которое так угнетало меня всю мою жизнь в Америке...

В России — другая картина: в общем тоне городов и поселков чувствуется нечто, прежде неведомое нигде в мире. Где богачи? Их нет. А где униженные, замученные бедняки? Они тоже исчезли. Сколько бы вы ни ходили по улицам любого русского города — Одессы, Ленинграда, Перми, Баку, Киева, Новосибирска,— вы не почувствуете той разницы между жизненным уровнем различных классов, которая так мучила вас в детстве. Это невозможно. Вы понимаете всю важность таких слов? Это попросту невозможно! Правда, вы видите прекрасные дома, построенные людьми, которые до войны были полны гордости и надменности не меньше любых других богачей мира и владели миллионами, когда у крестьян и рабочих не было ничего. А что же теперь? Где все эти люди? И кто живет в их дворцах? Вот этот дворец стал школой, тот — больницей, тот—учреждением, тот — библиотекой, тот — рабочим клубом, тот — санаторием, домом отдыха, родильным домом, детским садом, ремесленным или художественным училищем такого-то и такого-то профсоюза. Нигде по всей стране не найти дома, претендующего на роскошь, который не был бы поглощен системой общего социального обеспечения...

И пусть прохожие на улицах скучны, если вам так кажется. И пусть они не слишком хорошо одеты. И пусть у них мало денег — да, у большинства их, конечно, очень мало, но где же подлинная нужда? Что сталось с прежней вопиющей нищетой бедняков, которая чувствовалась особенно остро по контрасту с блеском, тщеславием и роскошью бессмысленного богатства? Ее не существует. Вы не ощущаете и присутствия роскоши — потому что ее нет. Разумеется, существует, как и везде, разница в умственных способностях, существуют такие профессиональные или официальные различия в том смысле, что один человек может занимать более ответственный пост, чем другой, и поэтому считается в данное время более нужным или даже попросту необходимым. Но нет и следа мишуры и показного блеска, нет социальных изгоев, голодных, безнадежно взирающих на богатство, на тех, кто случайно или благодаря волчьей хватке вышел победителем в зверски беспощадной классовой борьбе...

И еще одному научил меня большевистский режим, а именно — что человек, обладающий большими способностями, не должен быть о себе слишком высокого мнения. Ведь в наши дни есть много людей — очень много,— которые могут хорошо работать, если на них оказать достаточное давление. И не только это. Если нет нужного человека, его с успехом может заменить коллективная работа десяти или двадцати человек. И еще — что священная сущность частной собственности исчезла, потому что собственность уничтожена. Человека в России учат, что ему в жизни требуется очень немногое — даже самому выдающемуся человеку — и что он не должен гордиться своей силой и достижениями или использовать их для угнетения других людей. Он может использовать свои способности для общего блага — и никак иначе.

Теодор Рузвельт не раз повторял, что нам в Америке, возможно, придется наложить цепи на хитрость, как мы наложили их на алчность. Насколько я мог заметить, мы не слишком-то заковали в кандалы алчность. А уж хитрости, во всяком случае, предоставлена полная свобода. Но сама по себе эта мысль неплоха, и в России уже создали систему, с помощью которой можно обуздать и то, и другое, и теперь ее совершенствуют. Конечно, самым большим камнем преткновения на пути этого величайшего и новейшего эксперимента в области государственного строительства является сам человек, его извечные черты вроде жадности, жестокости, тщеславия и многое другое. Но на это философы и теоретики коммунизма невозмутимо отвечают, что все эти скверные черты со временем удастся путем воспитания изгнать из детей, а следовательно, из всего рода человеческого...

Однако не подумайте, что в России уже исчезли алчные и хитрые люди и связанные с ними всевозможные разновидности взяточничества и обмана. Как раз сейчас газеты публикуют материалы о разоблачении одного аферист а. Но при всем при том я не понимаю, каким образом подобным мошенникам удается действовать где-либо, кроме колоссальных предприятий. Ибо проверки многочисленны, а наказания строги... Возможно, кому-нибудь и удастся раздобыть и скрыть какие-то капиталы, но если его расходы (а на что, собственно говоря, здесь можно тратить деньги?) будут чрезмерными или хотя бы заметными, он сразу себя выдаст. Собственно говоря, единственный способ выдвинуться лежит в личном интеллектуальном или культурном развитии, накоплении знаний и использовании всего этого на благо России.

Весьма возможно, что как только русские снабдят себя материальными благами и даже кое-какой роскошью (тем, что у нас в Америке сейчас уже есть), они с некоторой брезгливостью отвернутся от них и обратятся к тому, что я лично считаю самым важным,— к духовным и интеллектуальным поискам и развитию. Если только я не полностью ошибаюсь в оценке русского темперамента, то это нация мыслящая и (что

не так уж хорошо) даже склонная к некоторой рефлексии. Русский любит размышлять и мечтать. Это видно по его глазам. И он бросит любое занятие, даже теперь, при всей спешке и волнении великого современного индустриального строительства, которое, по его мнению, идет с необычайной быстротой, чтобы обсудить все, что ему придет в голову обсуждать: искусство, литературу, науку, политику, дела и привычки своих ближних и в первую очередь тайный смысл или бессмысленность жизни. (И, по моему мнению, именно последнее занимает его более всего.) И в самом обычном разговоре он сыплет красочными пословицами, породить которые могла только склонность к образному мышлению.

Более того, даже когда они описывают великолепное материальное процветание, которое, как они верят, их ожидает, я ни разу не слышал, чтобы кто-нибудь говорил о нем с чисто личной или узкоэгоистической точки зрения. Наоборот, это всегда — общее грядущее процветание, в котором каждый будет иметь свою долю, каждого ждет изобилие, каждый будет счастлив и выберет себе занятие по вкусу. И в то же время оно означает досуг для размышлений. Если общество (не личность!) — говорят эти русские — можно будет полностью обеспечить благодаря тому, что каждый будет работать по восемь, семь или шесть часов, тогда у каждого будет больше времени, чтобы заниматься тем, что ему нравится — учиться, развлекаться, мыслить, путешествовать. А если общество сможет обеспечить себя всем необходимым при трех- или четырехчасовом рабочем дне — тем лучше...

Когда я разговаривал с ведущими государственными деятелями России или с простыми промышленными рабочими, я постоянно находился под впечатлением того факта, что все они, казалось, воспринимали это новое развитие точно так же: как общее улучшение, цель которого — не материальная роскошь, а интеллектуальный досуг, который будет обеспечен накоплением достаточного материального базиса.

Владимир Ильич Ульянов, Николай Ленин. Если весь мир когда-нибудь примет коммунизм, какой великой станет слава этого человека! Он станет всемирным героем... А с какой энергией и последовательностью те, кто стоит у власти, знакомили и знакомят с его теориями, с его словами, с его произведениями, с его мечтами и личностью каждого человека, живущего в этой огромной стране! Все написанное им опубликовано не только в тридцатитомном собрании его работ, но и в бесчисленных отдельных изданиях и брошюрах. И популярность их ни с чем не сравнима. Миллионы людей, еще только учащихся читать и писать, пользуются его произведениями как учебниками. Его проницательные и дальновидные высказывания и острые афоризмы, написанные на кумачовых лентах, висят на улицах и в рабочих клубах, на фабриках и в коридорах учреждений...

А его тело лежит в стеклянном гробу траурного деревянного Мавзолея на Красной площади. Потолок затянут красной материей, резкий белый свет падает на его бледное, усталое лицо с монгольскими скулами, высоким лбом и небольшой бородкой. Невысокий человек, и очень-очень утомленный. (Мне показалось, что он устал лежать там под взглядами миллионов глаз, которые скользят и скользят по его неподвижному лицу.) Но как удивительно это лицо и какие поразительные вещи рассказывают о его жизни! И вот каждый вечер, из года в год, вечно меняющиеся многотысячные вереницы людей приходят, чтобы посмотреть на него и обрести новое вдохновение.

Я не раз видел их зимним вечером между пятью и семью часами, когда они стояли вдоль высокой, присыпанной снегом кремлевской стены и ждали, ждали... В эти часы вход в Мавзолей открыт для всех. Одни, проходя, вытирают глаза. Другие, более мистические по натуре, крестятся или благоговейно касаются барьера, окружающего стеклянный гроб с телом. Иные останавливаются и глядят на него внимательно, благоговейно, словно о чем-то спрашивая или желая что-то постигнуть,— ведь его дела, слава и гений превосходят пределы их понимания.

Спи спокойно, Ильич, отец новой социальной силы, которая — кто знает — может быть, изменит мир!

Перевод с английского И. ГУРОВОЙ

(Продолжение следует)

РУДИГЕР БЕРНГАРДТ

МАСШТАБ ГУМАНИЗМА

Начало строительства новой демократической немецкой культуры и вклад офицеров Советской Армии

В городе Лейпциге некоторое время тому назад состоялась совместная научная конференция ученых Германской Демократической Республики и Польши, посвященная 30-летию Победы Советской Армии над фашизмом, ее всемирно-историческому значению и влиянию на борьбу прогрессивных сил во всем мире за свободу, независимость и новую жизнь. В работе конференции участвовали представители социалистических стран, а также гости из ФРГ, Франции и другие. На этом, весьма представительном, форуме ученых, в их докладах и рефератах всестороннему обсуждению и анализу подверглись различные аспекты затронутой темы: речь шла о мужестве, стойкости, беспримерных ратных подвигах советских воинов в Великой Отечественной войне, сокрушивших страшную машину фашизма, избавивших народы Европы от угрозы порабощения, а также о нынешней силе и мощи Советской Армии как надежной гарантии прочного мира в Европе и во всем мире Особое внимание уделялось морально-нравственному облику советских воинов — солдат и офицеров,— их гуманизму и великодушию, помощи, которую они оказали немецкому народу в первые послевоенные годы.

Большой интерес участников конференции вызвал обстоятельный доклад ученого Рудигера Бернгардта. На основании огромного фактического материала он показал, как участвовали офицеры Советской военной администрации в Германии (СВАГ), работавшие в области культуры и народного образования, в строительстве новой демократической культуры, в духовном обновлении нации. Он подчеркнул, как плодотворна и действенна была их помощь в борьбе с фашистской идеологией, в возрождении прогрессивных традиций немецкой литературы, искусства, науки, в реформе всей системы народного образования. Новизна темы, обилие конкретного материала придали выступлению Рудигера Бернгардта особенно актуальное звучание. Его доклад был оце-

нен как убедительная отповедь нынешним противникам разрядки напряженности, злостным клеветникам, всем тем, кто пытается мощь и силу Советской Армии выдать за угрозу миру и безопасности.

По-разному именуют себя противники разрядки — антисоветчики, но преследуют они одни и те же цели. Все «центры» и «комиссии», «комитеты» и самозваные «группы наблюдателей» из кожи лезут вон, чтобы сорвать и без того нелегкий, сложный процесс разрядки. Именно с этой целью они выпускают всяческие «манифесты» и «хартии», собирают фальшивую документацию, сомнительные показания «очевидцев», рукописи «мемуаристов-правдолюбов», извлекающих на свет божий некие «фактики» и «эпизодики», пригодные для очередной антисоветской акции. Поднимают голову и недобитые гитлеровские генералы, которые, как показали недавние разоблачения, нацепив на себя полученные из рук Гитлера железные кресты и прочие регалии, проникают в казармы бундесвера, чтобы повествовать солдатам о традициях разбитого вермахта. Сваливая с больной головы на здоровую, они пытаются обвинить наших воинов в мстительном и жестоком поведении на немецкой земле.

Но правдивые факты опрокидывают измышления, восстанавливают непреложную истину.

Важность, достоинство и злободневность работы, проделанной Рудигером Бернгардтом, состоит в том, что она от начала до конца насыщена конкретными фактами, точными, выверенными данными, опровергнуть которые невозможно. Поэтому она камня на камне не оставляет от клеветы антисоветчиков и антикоммунистов, напрасно мечтающих повернуть колесо истории вспять, вернуться к временам «холодной войны».

Мы печатаем ниже сокращенный вариант доклада Рудигера Бернгардта по тексту, помещенному в журнале «Нойе дойче литератур» (№ 4 за 1976 год), издающемся в ГДР.

В дни, когда отмечалась тридцатая годовщина разгрома фашизма Советской Армией, в многочисленных органах печати Германской Демократической Республики, в частности в газете «Зонntаг»[1], публиковались статьи, обзоры, воспоминания, интервью и другие материалы о деятельности офицеров СВАГ в области культуры и народного образования в первые послевоенные годы. В тот начальный, антифашистско-демократический период истории нашей республики они проделали колоссальную работу, масштаб и значение которой можно в полной мере представить себе лишь сейчас. Само собой разумеется, что данный обзор не может восполнить всего, что еще предстоит изучить и издать нашим историкам, литературоведам, но, возможно, в каком-то смысле он послужит исходной точкой для последующих исследований этого периода. Именно тогда были созданы предпосылки и условия, послужившие основой дальнейших достижений культуры, искусства, литературы и науки в нашей республике.

Ясность цели и принципов

Следует, как мне думается, начать с констатации того исторического факта, что после разгрома гитлеровского вермахта и крушения третьего рейха в Германии наступило время полной дезориентации и апатии, духовного банкротства и безразличия. Всех немцев охватило настроение пессимизма и безысходности. В этот момент именно советские Kulturoffiziere[1] оказались теми, кто очень тактично и ненавязчиво, не злоупотребляя позицией силы и властью победителей, способствовал перелому в настроениях немцев, обретению веры в будущее. Они многое сделали, чтобы прояснить представления немецкой интеллигенции о ее задачах и целях в области культуры и литературы, об эстетических принципах, без осознания которых невозможно было начинать строить новую немецкую культуру, создавать немецкую демократическую литературу и искусство.

Рассуждая с позиций сегодняшнего дня о вкладе советских офицеров в области культуры, прежде всего отмечаешь две характерные особенности: с самого начала они последовательно обращались к тем демократическим традициям немецкого искусства и литературы, которые в годы господства фашизма были подавлены и не могли развиваться. И второе — принимая участие в беседах и дискуссиях (владение языком позволяло им свободно и квалифицированно, «на равных», вести эти беседы и дискуссии), они всегда стремились выступать не как администраторы, а прежде всего как специалисты, в деталях разбиравшиеся в порученном им деле, проявляя понимание психологии людей, ситуации, считаясь с душевным состоянием немцев в то суровое, трудное время. Стараясь способствовать развитию немецкого искусства в соответствии с чер-

[1] «Зонntаг» — орган Культурбунда, Союза немецкой прогрессивной интеллигенции. *(Здесь и далее примечания Г. Вайса).*

[1] Так сегодня в ГДР называют офицеров СВАГ—Советской военной администрации в Германии, работавших в области культуры и народного образования.

тами его своеобразия, они употребляли свою власть и свои права победителей лишь в исключительных случаях, когда речь шла о судьбе интересов дела.

Александр Абуш [1] вспоминает о том времени: «Как часто мы, руководители Культурбунда, на собственном опыте убеждались, что наши советские друзья стремятся в своей деятельности по возможности не пользоваться правами оккупационной власти. Они стремились лишь к тому, чтобы оказывать нам, немецким деятелям культуры, посильную помощь в нашей трудной и важной работе — возрождении гуманистической немецкой культуры».

Программный Манифест ЦК Коммунистической партии Германии, с которым она обратилась к народу 11 июня 1945 года, наметил неотложные задачи дня: «очищение всего дела воспитания и просвещения от фашистского и реакционного мусора», «...забота о внедрении подлинно демократического, передового и свободолюбивого духа во всех школах и учебных заведениях, о гарантии подлинной свободы научных исследований и художественного творчества». Речь шла не только о перспективах будущего развития общества, но и о насущных требованиях текущего момента, призванных объединить и мобилизовать все антифашистские силы.

Еще находясь в эмиграции в Советском Союзе, антифашистские организации, в первую очередь Национальный комитет «Свободная Германия», с помощью советских товарищей занялись подготовкой будущей реформы школьного дела в послевоенной Германии. Существенный вклад в осмысление новых проблем внес поэт-коммунист Иоганнес Р. Бехер. Совместно с советскими коллегами разрабатывали немецкие коммунисты программу духовного перевоспитания немцев после окончательного разгрома фашизма, до которого в ту пору было еще далеко.

Советские офицеры, вошедшие затем в органы Советской военной администрации, ведавшие делами культуры и народного образования, тоже почти как правило начинали свою деятельность еще на войне, когда конца ее еще не было видно.

Действовали они очень тактично. Чаще всего, давая указания, остерегались категоричности, избегали навязывать личные вкусы и пристрастия, стремясь к тому, чтобы сами немецкие антифашисты первыми проявляли инициативу, и помогали им лишь тогда, когда в этом возникала необходимость или когда они встречались с трудностями, преодолеть которые были не в силах.

Опыт сотрудничества с немецкими антифашистами времен войны многое дал советским офицерам. Однако в новых условиях они обогатили этот опыт, все время искали новых путей сплочения вокруг себя деятелей искусства, писателей, художников, привлечения как можно большего числа их к практическим заботам становления нового искусства, литературы, живописи, создания произведений с глубоким идейным содержанием.

Главная цель этой деятельности подчеркнута, в частности, даже в самом названии «Культурбунд» — союза, созданного для демократического духовного обновления Германии. Красной нитью обозначалась эта цель в многочисленных речах и выступлениях печати, четко формулировалась в соответствующих распоряжениях и приказах, имевших силу закона. На всех руководящих постах в Управлении информации СВАГ, в его отделах, ведавших вопросами культуры и народного просвещения, в редакциях газет, журналов и в издательстве находились, как уже говорилось, люди квалифицированные, профессионально разбиравшиеся в специфических проблемах искусства, литературы и культурного строительства.

Трудно перечислить всех (многие имена еще предстоит отыскать) советских товарищей, работавших в городах и деревнях советской зоны, кто благодаря своему такту, уму, опыту и сердечности установил отношения дружбы и товарищества с немецкими антифашистами, кто прямо или косвенно помогал им решать то и дело вставшие перед ними трудные задачи. Благодаря их усилиям и настойчивости был организован переезд в Берлин Ганса Фаллады из Фельдберга, где он был бургомистром и откуда его с трудом согласился отпустить тогдашний советский военный комендант. С их помощью сразу же после войны удалось привлечь к сотрудничеству в издававшейся СВАГ газете «Теглихе рундшау» Бернгарда Келлермана: цикл его статей под названием «Что же нам делать?», призывавших каждого немца определить свою позицию и вызвавших отклики в широких кругах читателей, появился на ее страницах осенью 1945 года. Особый резонанс статьи Келлермана получили в среде интеллигенции.

Разумеется, сфера забот советских офицеров не ограничивалась одними лишь заботами о деятелях немецкой литературы и искусства. Она была весьма обширна.

Широкий фронт антифашистских сил

Когда речь заходит об отношении советских офицеров к немецкой литературе, часто вызывает удивление тот факт, что многие из них обнаружили обширные и глубокие знания в области истории и современного состояния немецкого искус-

[1] Писатель, политический деятель, старый коммунист, бывший министр культуры ГДР, ныне почетный президент Культурбунда.

ства. Чувствовалось, что советские товарищи не переставали пополнять свои знания и во время войны и поэтому были в курсе самых последних событий и фактов. Сегодня мы знаем, что ничего особенно удивительного в этом не было. Уважение и любовь к культуре, искусству и литературе других народов и стран всегда были неотъемлемой чертой, основополагающим принципом советского образа жизни, обязательным условием интернационального воспитания советских людей. И этому принципу они оставались верны в любых обстоятельствах.

С самых первых шагов они ставили целью помочь восстановить и укрепить связь между традициями революционной и буржуазно-гуманистической немецкой литературы. Однако это ни в коем случае не означало отступления от идейных основ социалистической немецкой литературы, как их понимали немецкие писатели-коммунисты. Наоборот, советские товарищи делали все для того, чтобы создать широкий антифашистский фронт немецких деятелей культуры и на этой базе повести наступление на пережитки фашистской идеологии. Важное значение придавалось тому, чтобы в нем участвовали и прогрессивные буржуазные авторы, либерально настроенные деятели всех видов искусств, деятели науки.

Наиболее примечательным примером этого могут, пожалуй, служить усилия поэта Иоганнеса Р. Бехера и советских военных властей, предпринятые ими для того, чтобы установить контакт с Герхартом Гауптманом.

Между немецкими писателями-антифашистами и советскими товарищами уже давно существовало единое мнение, что после войны необходимо будет по возможности привлекать к сотрудничеству в строительстве новой немецкой культуры тех буржуазных писателей, которые придерживались антифашистской позиции. Полагая, что благодаря известности и международному значению его творчества Герхарт Гауптман мог бы повести за собой многих деятелей немецкой гуманистической антифашистской литературы, Бехер в данном случае исходил отнюдь не из личной оценки значимости слова престарелого Гауптмана, которого он в прошлом не раз остро критиковал за его нейтральную позицию. Скорее всего это было результатом последовательной политики опытного деятеля передовой немецкой культуры, сознававшего свою ответственность коммуниста за демократическое обновление немецкой нации, за судьбы немецкого искусства и литературы.

«С большой настойчивостью,— отмечал Александр Дымшиц,— Иоганнес Бехер вел войну за каждого, кто мог бы служить делу демократии. Он был великим «объединителем», подлинным собирателем творческих сил».

Всеми средствами способствовать тому, чтобы немцы осознали непрерывность и преемственность демократических традиций немецкой культуры,— такова была цель.

Сосредоточивая свои усилия на создании широкого антифашистского фронта, советские офицеры в работе с немецкими писателями стремились учитывать их состояние, особенности характера, биографии, позиции, ее эволюцию. О гибкости этой тактики говорит, например, разница в подходе к Герхарту Гауптману и Бернгарду Келлерману, чья позиция неизменно оставалась ясной и последовательной. После первого же обращения к нему Бернгард Келлерман немедленно согласился включиться в совместную созидательную работу. Для Ганса Фаллады, Вайзенборна «Теглихе рундшау» стала трибуной, с которой они впервые после войны вновь выступили перед немецкими читателями.

Дело самих немцев...

Создание демократической культуры могло быть делом только самих немцев — этот принцип лежал в основе взаимоотношений советских офицеров с немецкой художественной интеллигенцией, со всеми деятелями культуры, вместе с которыми велась борьба за преодоление фашистской идеологии. Еще во время войны советских товарищей и немецких писателей-коммунистов связывали тесные контакты. Во многих случаях в итоге этих контактов складывалась личная дружба. На основе взаимопонимания рождался союз в борьбе за развитие новой, социалистической литературы в Германской Демократической Республике.

Можно привести немало примеров и фактов того, как совместная работа советских офицеров с немецкими товарищами перешла в тесную дружбу.

Вскоре после окончания войны многие важные политические функции были переданы в руки немецких деятелей культуры. Занимая ответственные политические посты, став активными «деятелями на культурном фронте», немецкие писатели-коммунисты чувствовали себя уже не просто партнерами советских офицеров. Опираясь на опыт прошлых контактов и совместную работу с советскими товарищами и друзьями, они решали самостоятельно важные и ответственные задачи, которые выдвигала жизнь.

Именно поэтому удалось поразительно быстро создать дееспособные немецкие самодеятельные культурные организации, в том числе и такую, как Культурбунд, наладить столь важные средства массовой пропаганды, как, скажем, кинематограф, открыть театры, приступить к изданию влиятельных газет. Очень быстро повысилась роль литературы и искусства во всей воспитательной и общеоб-

разовательной работе. Именно это и было записано в известных положениях Программы Коммунистической партии Германии, в директивах СВАГ.

Герои литературы и их прототипы

Не один немецкий писатель нашел способ выразить благодарность, признательность советским друзьям и товарищам, избрав советских офицеров прототипами героев в своих произведениях. Инга фон Вангенхейм в книге воспоминаний тепло рассказала о дружеских деловых и личных отношениях между представителями оккупационных властей и немецкой художественной интеллигенции, об их взаимопонимании, искренности, о бережном и возвышенном отношении советских офицеров к искусству вообще.

Другой немецкий писатель, Вернер Эггерат, описывая свои встречи с советскими офицерами, указывает на их интерес к духовной и культурной жизни немцев. Вспоминая о встрече с советскими генералами Чуйковым и Колесниченко, он пишет: «Я пережил час, который никогда не забудется. В такие часы для тебя открывается целый мир. Я сидел рядом с известными военачальниками и беседовал с ними о Гёте и Шиллере, о Виланде и Гердере».

Немецкие писатели воссоздают картину огромных усилий Советской военной администрации в Германии в области культуры. В романе Германа Канта «Выходные данные» выведен собирательный образ майора В. В. Спиридонова, приводятся его оригинальные историко-материалистические истолкования теоретических взглядов Мольтке. В романе Эриха Нойча «Мир на Востоке» советский полковник Кошин расспрашивает взятых в плен немцев о Генрихе Гейне. В книге Ганса Лорбеера «Из дневниковых записей» советский офицер интересуется, какие книги читал немецкий пленный солдат, и рассматривает его ответы как некое удостоверение личности. Следует также указать на книгу Людвига Турека «Семья Нагельшверт». Герой этого произведения Карл Фридрих Нагельшверт, работая в отделе культуры одной из военных комендатур, имел возможность близко познакомиться с деятельностью советских офицеров.

Наиболее значительное выражение деятельность советских офицеров получила в романе Вилли Бределя «Новая глава», где содержится попытка дать обобщенный образ советского офицера.

Пропаганда принципов социалистического реализма

В первые послевоенные годы мало кто из немецких критиков — я не говорю о таких именах, как Пауль Рилла или Герберт Иеринг,— был в состоянии правильно оценить творчество возвращавшихся из эмиграции немецких писателей, глубоко понять и осмыслить роль их произведений в духовном обновлении немцев. И тут им на помощь опять пришли советские товарищи и друзья. Они приняли участие в дискуссиях и диспутах, где тактично, но, однако, настойчиво и последовательно пропагандировали произведения немецких писателей, верных методу социалистического реализма, терпеливо популяризировали принципы этого метода. Сошлюсь для примера на статью Ильи Фрадкина «История и современность», где советский литературовед, выступая с критическим анализом конкретного произведения Фридриха Вольфа, одновременно представил немецкому читателю и в целом творчество только что вернувшегося из эмиграции писателя, рисуя его как активного и страстного борца-антифашиста, нашего современника, который не напрасно старается учить читателя на уроках истории.

Идейно-политическое единство советских и немецких писателей было особенно важно укреплять потому, что наши классовые враги уже начали предпринимать тогда массированные нападки на культурную политику, проводившуюся в советской зоне, всячески пытались помешать совместной работе советских офицеров и немецких литераторов.

Сначала произведения социалистического реализма публиковались на страницах газеты «Теглихе рундшау», а также в издававшемся ею журнале «Нойе вельт». В 1946 году возникла необходимость выступить против клеветнических утверждений буржуазной пропаганды, будто советские оккупационные власти ограничивают круг советских авторов, которые публикуются в Германии. Против этих домыслов Александр Дымшиц выступил на страницах «Теглихе рундшау» с большой серией статей. Во вступлении к ним он писал: «После более чем десятилетнего периода изоляции новая Германия ищет пути к возобновлению утерянных контактов с духовным миром своих соседей, стремится наверстать упущенное. Необходимо устранять препятствия, постепенно развивать связи, пока не будет установлено полное взаимопонимание и содружество наших культур». В упомянутом цикле статей, на основании конкретных примеров из практики советской литературы были изложены и истолкованы главные принципы социалистического реализма.

«В немецких кругах,— писал А. Дымшиц,— нередко существует ошибочное мнение, будто социалистический реализм — это художественная догма, навязанная государством художнику норма, которая подчиняет себе все другие худо-

жественные формы и течения. Художник в Советском Союзе, так же как и все трудящиеся, является свободным человеком. Социализм для него — это осознанная, исполненная глубокого смысла необходимость нового мироустройства».

Активно участвуя в дискуссиях и диспутах, советские офицеры стремились исключить возможность проникновения националистических или даже фашистских идей в новую немецкую культуру. При этом они подчеркивали, что эстетические принципы социалистического реализма дают широкий простор для творческой деятельности в рамках антифашистского, демократического развития культуры. Как на конкретный пример указывалось на творчество таких писателей, как Рикарда Хух, Вилли Бредель, Бернгард Келлерман, Иоганнес Р. Бехер.

Особую свою задачу они видели в «очищении» понятий, которые использовали фашисты в собственных целях, ничего общего не имевших с их истинным смыслом. Речь шла и о таком искаженном нацистами понятии, как «тенденциозность». «Отмывая» это понятие от националистического искажения его истинного смысла, они указывали, что тенденциозность в истинном своем смысле является главным условием действенности произведения искусства и что слово это обозначает общественное направление творчества художника.

Правда о первой стране социализма

С советской и русской классической литературой немецкие читатели в первые послевоенные годы знакомились из трех главных источников. Газета «Теглихе рундшау» систематически печатала на своих страницах рассказы, повести, отрывки из романов в высококвалифицированных переводах на немецкий язык. В журнале «Нойе вельт» печатались новинки советской литературы, проза и поэзия. Много места в нем уделялось также информации о жизни в Советском Союзе, о его социальном строе, экономике и культуре. «Нойе вельт» пользовался широкой популярностью и, несмотря на солидный тираж, расходился мгновенно.

Создано было и специальное Издательство СВАГ, выпускавшее наиболее значительные произведения советской литературы, впервые открывая немецкому читателю сокровища, которые скрывали от него фашисты. Советская литература становилась мощным оружием в борьбе с нацистской идеологией и несла в массы правду о стране социализма.

В журнале «Нойе вельт» печатались почти все выдающиеся советские писатели, выступали на его страницах и немецкие авторы, главным образом те, кто годы своей эмиграции провел в Советском Союзе и знал правду о советских людях: Вилли Бредель, Фридрих Вольф, Гедда Циннер, Инга фон Вангенхейм, а также поэт Гуго Гупперт, талантливый переводчик Маяковского на немецкий язык.

Публикациями художественных произведений советских авторов журнал «Нойе вельт» на конкретных примерах подтверждал жизненность и плодотворность принципов социалистического реализма. Советская литература с самого начала выступала в качестве партнера немецкой антифашистской литературы, она была его союзником в борьбе за революционные, демократические традиции.

Остается лишь напомнить в этой связи, что помимо произведений Горького, Маяковского, Шолохова Издательство СВАГ большими тиражами печатало тогда и книги Каверина, А. Грина, Катаева, Гайдара, Паустовского, А. Толстого и других писателей. Большую роль сыграли в ту пору произведения Шолохова, в особенности первая часть «Поднятой целины», изданная в 1944 г., и уже в 1947 г. потребовалось ее второе издание.

Представление об издательстве было бы неполным, если бы мы не сказали, что наряду с произведениями художественной литературы оно напечатало основные труды классиков марксизма-ленинизма, немало работ по эстетике и другой актуальной политической литературы.

Знаешь ли ты Гейне?

В своей идейно-пропагандистской работе советские офицеры охотно и часто использовали произведения немецких писателей, олицетворявших прогрессивные, революционно-демократические традиции немецкой литературы. При нацистах эти произведения, как известно, были запрещены, скрыты от народа, особенно от новых поколений немецкой молодежи. Сошлюсь еще раз на роман Эриха Нойча «Мир на Востоке» Советский полковник спрашивает одного из главных персонажей, Ахима Штайнгауэра:

— Знаешь ли ты Генриха Гейне?

— Нет! — отвечает на это Ахим.

Вопрос советского полковника заставляет задуматься Штайнгауэра, возбуждает в нем стремление открыть для себя этого немецкого поэта, чьи книги нацисты сжигали на кострах.

Автор романа Эрих Нойч хорошо знал то, о чем писал: многим из немецких солдат, побывавших в русском плену, доводилось так отвечать на этот вопрос.

«В чем тут дело?» — спросит читатель. В том, что по ответу на этот вопрос советские офицеры примерно определяли кругозор сидящего перед ними молодого немца, степень оболванивания, которому он подвергался в школе, в жизни, в армии.

Вопрос о Генрихе Гейне становился, таким образом, лакмусовой бумагой, помогавшей разобраться в духовном мире

немцев. Журнал «Нойе вельт» и газета «Теглише рундшау» не раз печатали произведения Генриха Гейне, а также статьи и исследования, указывавшие на его место и роль в развитии прогрессивной немецкой литературы.

Осознание подлинного значения прогрессивных традиций не было, разумеется, самоцелью, и его нельзя было добиться автоматически — к нему можно было прийти в процессе идейного роста и самовоспитания, осмысления опыта классовой борьбы, революционного движения рабочего класса. И тут диапазон конкретных литературных явлений, изучение которых могло сослужить плодотворную службу, все время расширялся. Одним из примеров является оценка творчества Гёте. Здесь предстояло разоблачить версии фашистских фальсификаторов, пытавшихся извратить смысл его произведений, надо было вернуть немецкому народу представление об истинной сущности его гуманистического вклада в сокровищницу немецкого искусства.

Восстановление демократических традиций предполагало также и критическую оценку тех философских направлений, которые служили питательной почвой для фашистской идеологии. Этой проблеме были посвящены напечатанные в журнале статьи, в которых был дан глубокий анализ философии Ницше и Шпенглера. Для многих немецких интеллигентов статьи эти стали настоящим откровением.

...и разные другие дела

Говоря о деятельности советских офицеров на идеологическом фронте, нельзя не указать на трудности, с которыми они встретились в послевоенной Германии. Они должны были вести борьбу против различных форм идеологических диверсий. Политическая ситуация в Германии после окончания второй мировой войны была чрезвычайно острой и сложной, страна оказалась оккупированной четырьмя державами. Идеологические и политические концепции трех из них диаметрально отличались от политики и идеологии Советского Союза. Это давало себя знать во всех сферах жизни и особенно в области идеологической работы и культуры.

В Германии проходил передний край «холодной войны», были вырыты первые ее окопы. Это тема особого исследования, я хочу лишь остановиться на одном факте — истории постановки пьесы К. Симонова «Русский вопрос» на сцене Немецкого театра. В какой-то своей части пьеса К. Симонова, как известно, была ответом на антисоветскую кампанию, которая велась в американской прессе. Абстрактным рассуждениям о гуманизме она противопоставляла последовательно антиимпериалистическую позицию, веру в новый, социалистический гуманизм и демократию, которые стали в Восточной Германии политической реальностью.

И тут разразился настоящий скандал. Дело дошло до того, что американцы попытались вмешаться в дела театра, добиваясь запрета постановки пьесы. Они не остановились перед прямым шантажом и угрозами, пытались одних артистов подкупить, других запугать, требуя, чтобы они отказались от своих ролей. Пьеса К. Симонова все же была поставлена на сцене Немецкого театра и долгое время шла с большим успехом, напоминая зрителям, что существует не только два понятия — абстрактный или социалистический гуманизм, но и две Америки.

Со стороны буржуазных оккупационных держав велась систематическая подрывная работа среди немецких писателей и деятелей искусства — их пытались подкупить, переманить на свою сторону, тех же, кто оставался на принципиальных позициях, подвергали клеветническим нападкам. Мишенью для таких нападок и шантажа со стороны правобуржуазных органов прессы в ту пору не раз оказывался, например, Ганс Фаллада, ему не могли простить сотрудничество в «Теглихе рундшау», симпатии к советским людям.

Советские офицеры решительно выступали на защиту передовых деятелей немецкой культуры.

Трудно сегодня восстановить в полном объеме картину, способную дать конкретное, всеохватывающее представление о тех годах, где бы одновременно освещались отдельные стороны работы советских офицеров и основные ее направления. Хотелось бы в заключение коротко сказать о помощи советских офицеров в создании новой, демократической немецкой кинематографии. Деятельность ее началась с выступления небольшой группы энтузиастов, в которую входили ныне известный режиссер лауреат пяти Национальных премий Курт Метциг, известный актер-антифашист Ганс Клеринг и другие. Им была оказана всяческая поддержка со стороны советских офицеров. Как и в остальном, здесь большую роль вновь сыграли личные дружеские отношения, сложившиеся между советскими офицерами и немецкими творческими деятелями. Во многом эти отношения отличались по характеру от контактов немцев с представителями других оккупационных властей.

Когда в 1975 году Культурбунд наградил группу советских офицеров, работавших в области культуры и народного образования, Золотыми медалями имени Иоганнеса Р. Бехера, первый секретарь Культурбунда доктор Карл Гейнц Шульмайстер, обращаясь к награжденным, сказал:

РУДИГЕР БЕРНГАРДТ
МАСШТАБ ГУМАНИЗМА

— За что, дорогие друзья, мы благодарим вас? Чему вы научили нас? Прежде всего вы учили нас своим примером, своей повседневной заботой о развитии культуры и искусства в нашей стране. Но сильнее практической помощи были ваши сердечность и человечность, ваше поведение как офицеров Советской Армии и советских людей. Ваш интернационализм, проявленный на деле, оставил глубокий след в наших сердцах. Разрешите мне сказать о том, что произвело на нас самое сильное впечатление. Это прежде всего была ваша вера в то, что немецкий народ может быть перевоспитан в духе гуманизма и мира, это ваше убеждение, что с Октябрьской революцией начался новый период в развитии истории человечества, новый отсчет времени в развитии новой морали и новой культуры, это, наконец, были ваши новые оригинальные суждения о прошлом, о путях развития человечества, ваше глубокое понимание способности человека к изменению и твердая вера, что будущее принадлежит социализму и коммунизму. Это было также ваше духовное превосходство, которое проистекало из идеологического превосходства социализма над империализмом.

Перевод с немецкого Н. ИСТОМИНОЙ

ЛИСТЬЯ СТОЛЕТНИКА

Вместо послесловия

Прежде всего к приведенной Рудигером Бернгардтом заключительной цитате мне хотелось бы добавить слова из речи недавно умершего профессора — доктора Макса Бургхардта, около двадцати лет выступавшего в роли бессменного президента Культурбунда. Слова эти были произнесены в дни торжеств, в связи с тридцатилетием Союза немецкой прогрессивной интеллигенции и относились ко всей Советской Армии, к ее нравственному подвигу, совершенному уже в мирное время.

Профессор доктор Макс Бургхардт сказал тогда: «Велик подвиг славной Советской Армии, разгромившей военную силу фашизма. Но в этом ее подвиге имеется еще одна сторона, не менее важная, чем ратная победа на поле боя: победа Советской Армии была и триумфом социалистических идеалов советского народа. Народ и армия знали, что быть победителем означает не только отдавать должное силе оружия, мужеству солдат и граждан Советского Союза, но и высоко держать знамя социалистических, гуманистических идей и чувств.

Быть победителем, как учат нас древние легенды, означает накладывать на раны, нанесенные острием копья, целебные листья столетника. Быть победителем — это значит руководствоваться благородным духом человечности и достоинства. Именно в этом духе, предопределенном марксистско-ленинским мировоззрением, действовали советские победители... Представители немецкой интеллигенции, художники и поэты, артисты и писатели, деятели всех областей культуры, как и труженики всех других профессий, при общении с советскими людьми испытывали на себе влияние вашего духовного и человеческого обаяния».

Точная метафора: на раны, нанесенные острием копья, — целебные листья столетника!

Что же это означало на деле, в буднях работы советских людей, которые оказались в разгромленной стране, не получив ни дня передышки после войны, должны были помогать налаживать нормальную жизнь народа, напуганного и подавленного, не знавшего, что ему делать, с чего начинать?

Первый, решающий подвиг Советской Армии, ее многочисленного отряда военных комендантов и политработников, действовавших на территории советской зоны оккупации, состоял в том, что они сумели вселить надежду, что все разрушенное войной можно и нужно восстановить, потом построить новое своими руками, без капиталистов и помещиков. Начинали, на первый взгляд, с мелких, но жизненно важных дел: с выпечки хлеба в пекарнях, с ремонта продуктовых магазинов, восстановления водопроводов и починки разорванной бомбами и снарядами электросети, восстановления взорванных мостов. Потом стали пускать заводы и фабрики, взялись за расчистку руин, уборку битого кирпича и щебня.

Непросто было ликвидировать развалины и на их месте строить новые дома и кварталы, возводить города и рабочие поселки. Но во сто раз трудней и сложней оказалось завоевать души немцев, которые сами заявляли нам, не рисуясь и не кокетничая:

— Наши души и наши сердца — сплошные руины, они кровоточат...

В первую очередь это относилось к немецкой интеллигенции, нуждавшейся в немедленной помощи.

Прошли годы, а в памяти жива в подробностях встреча первого коменданта Берлина, Героя Советского Союза генерал-полковника Николая Эрастовича Берзарина с представителями немецкой интеллигенции. Она состоялась

14 мая 1945 года — когда еще и двух недель не прошло со дня окончания боев в Берлине. На беседу были приглашены известные деятели немецкой культуры, в частности артисты и режиссеры Пауль Вегенер, Болеслав Барлог, Эрнст Легаль, Густав Грюндгенс и другие.

Многим из тех, кто присутствовал на встрече, был известен эпизод, происшедший в первые послевоенные дни с Густавом Грюндгенсом. Некогда он был назначен руководителем Немецкого театра. Должность директора театра в Германии именовалась весьма грозно: генерал-интендант!

Когда после капитуляции наши военные власти выявляли уклонявшихся от обязательной регистрации бывших генералов и офицеров вермахта, они в телефонной книжке Берлина нашли имя генерал-интенданта Густава Грюндгенса. Он еще не явился на регистрацию. В ту же ночь он был, разумеется, интернирован и до выяснения обстоятельств помещен в тюрьму. Но офицер городской военной комендатуры, работавший в отделе культуры, в свою очередь уточнявший адреса немецких театральных работников, был весьма обрадован, встретив имя Густава Грюндгенса. Он стал его тут же разыскивать.

На другой день генерал-полковнику Берзарину было доложено о случившемся и Густав Грюндгенс был освобожден. Перед ним извинились, ему оказали помощь во всем, в чем он нуждался.

Об этом инциденте и напомнил теперь первый комендант Берлина.

— Я знаю,— сказал собравшимся генерал-полковник Берзарин, — что немцы, и берлинцы в частности, озабочены сейчас тем, как добыть хлеб насущный. Мы уже принимаем меры, чтобы накормить людей, обеспечить их продуктами, завозим мясо, молоко... Но людям нужна и духовная пища... Немало и они натерпелись горя, страхов, нервотрепки, каждый день им до сих пор нашептывают всякие небылицы, умышленно распространяются самые нелепые слухи... Надо помогать людям возвращаться к нормальной жизни, надо дать им возможность сходить в театр, послушать хорошую музыку, посмотреть фильм.

К сидевшему напротив него Эрнсту Легалю, знаменитому режиссеру, интенданту берлинской оперы, генерал-полковник Берзарин обратился с просьбой позаботиться о том, чтобы уже в ближайшие дни берлинцы могли бы услышать лучших немецких певцов. Обещая поддержку, комендант Берлина назвал свои служебный и домашний телефоны.

— В чем каждый из вас нуждается, чтобы начать работу? — спросил он всех остальных. — Говорите откровенно, без утайки.

Выступил Пауль Вегенер. Он пожаловался на то, что актерам, чтобы добраться до театра, надо пройти пешком не один десяток километров, ибо в городе никакого транспорта не существует, а те из актеров, у кого остались собственные машины, не могут достать бензин.

Комендант Берлина распорядился выделить специальный автобус, который, курсируя по определенному маршруту, будет доставлять актеров в театр, а потом развозить их по домам. Имеющим собственные машины был выделен лимит на горючее.

27 мая 1945 года — тогда не прошло еще и месяца после окончания боев на улицах Берлина — с успехом состоялась премьера оперы Шонтана «Похищение сабинянок». 18 мая берлинский камерный оркестр дал свой первый концерт, 26 мая состоялся концерт оркестра Берлинской филармонии. Впервые после большого перерыва исполнялись и произведения славянских композиторов, которые были запрещены во времена фашизма.

Было бы, разумеется, наивным предполагать, что фашистская идеология выветрится сама по себе, что головы немцев, подвергшиеся многолетней обработке геббельсовской пропагандой, просветлеют в одну ночь. Еще долго давали себя чувствовать и полный сумбур в политических взглядах даже тех, кто с первых дней искренне старался включиться в созидательную работу. У многих длительное время не проходил страх перед возмездием, которое они считали неизбежным. Немало было и таких, кто «разоружился» только внешне... Особенно это чувствовалось в первые дни и недели после войны.

Работники газеты «Теглихе рундшау» решили провести собрание-встречу с интеллигенцией Берлина. Она была назначена на воскресенье 28 мая 1945 года, о чем и было объявлено в двух номерах подряд, вышедших накануне.

По дороге в ратушу Вильмерсдорфа, где должна была состояться эта встреча, главный редактор «Теглихе рундшау» очень волновался. Ему не давал покоя один вопрос: соберутся или нет?

Когда мы вошли в зал, больше половины кресел было уже занято; собралось около двухсот человек. Наши немецкие друзья из районного управления Вильмерсдорфа напомнили: городской транспорт в Берлине все еще не работал, и тем, кто уже здесь, пришлось добираться сюда пешком. Некоторые прошли не один десяток километров. Кроме того, многие деятели культуры еще не успели вернуться в Берлин из провинций, где они спасались от бомбежек. Поэтому наши друзья считали форум более чем представительным.

РУДИГЕР БЕРНГАРДТ
МАСШТАБ ГУМАНИЗМА

День был жаркий, но мне сразу бросилось в глаза, что многие собравшиеся одеты не по погоде: в теплых шерстяных свитерах, черных костюмах с пестрыми шерстяными жилетами, а женщины — в платьях, застегнутых на все пуговицы. Окна зала были раскрыты настежь, но почти все присутствующие обливались потом. Только после собрания стало ясно, в чем тут дело...

Выступил редактор, за ним один за другим брали слово другие работники редакции. Рассказали о задачах газеты, о том, что она призвана проводить политику советских властей и говорить немцам правду. Мы приглашали всех деятелей немецкой культуры активно сотрудничать с нами, выступать на страницах газеты. Собравшихся, как нам рассказывали затем наши друзья-коммунисты, прежде всего удивил тот факт, что с ними разговаривали без переводчика. Поразил их дружественный тон наших выступлений — мы обращались к ним с просьбами, а они ждали приказов...

Пришла очередь говорить немцам. Наступила томительная пауза. Наконец слово взял средних лет мужчина в темных круглых очках. Толстый шерстяной шарф обмотан вокруг шеи. Он представился бывшим собственным корреспондентом какого-то голландского агентства печати, жившим и работавшим в Берлине. В агрессивном, можно сказать, провокационном тоне он спросил:

— Зачем вы морочите нам голову? Зачем призываете к сотрудничеству? Каждый второй из сидящих здесь был членом нацистской партии или работал по ее директивам... Вы им этого не простите... Скажите откровенно, когда все мы будем сосланы в Сибирь? Мы осознаем свою вину против России и готовы понести за это кару. Видите, мы все явились сюда тепло одетыми, а за стенами этого помещения многих из нас поджидают матери. Они все с узлами и чемоданами, набитыми теплыми вещами. Это на тот случай, если нам придется прямо после этого собрания отправиться на Восточный вокзал, где, говорят, уже стоят вагоны, в которых мы будем отправлены в Сибирь.

Некоторые из собравшихся слушали его опустив глаза и явно нервничали. Другие делали попытки остановить его.

— Я обязан оставаться или могу покинуть собрание? — спросил, закончив свою речь, этот господин.

— Вы можете поступать как вам угодно, — ответил ему главный редактор. — Вы сюда пришли добровольно, и каждый свободен решать сам, как ему себя вести, что делать. Насильно мы никого задерживать не станем...

И вновь наступила пауза.

Мужчина в темных очках и пестром шарфе взял стоявший под креслом чемодан и демонстративно покинул зал. Никто больше не последовал за ним. Почти каждый, кто выступал, начинал с извинения за речь первого оратора, считая долгом отмежеваться от него.

Начиная со следующего дня к нам стали ежедневно приходить немецкие журналисты, критики, театральные рецензенты, выражавшие желание работать в нашей газете. Многие из них связали с ней свою судьбу на долгие годы.

Мы никогда не заставляли заполнять длинных анкет, не требовали справок или поручительства. Главным критерием была квалификация и готовность начать свою биографию с новой, чистой страницы. Не обходилось, конечно, без разочарований, но подавляющее большинство принятых на работу сотрудников оправдало оказанное им доверие: борьба с фашистской идеологией, духовное обновление, демократизация из абстрактных лозунгов превращались для них в повседневные, конкретные дела, становились смыслом жизни.

Немало сложностей пришлось преодолевать и активно помогавшим нам коммунистам, а также активистам, вышедшим из концлагерей и фашистских тюрем, из подполья: жизнь требовала пополнения информации, немедленной реакции на новые проблемы. Многому учились в этом процессе и советские офицеры — комендант и политработники, те, кому впервые в жизни пришлось выполнять новые для них, сложные задачи. Помогали им во всех случаях наш советский образ жизни, воспитание воинов Советской Армии в духе интернационализма, политическая зрелость и опыт строительства новой жизни, накопленный в нашей стране. Все пережитое нами прежде в борьбе и труде оказалось верной и надежной опорой, компасом в океане необычных дел и забот.

В области культуры главной проблемой было — преемственность демократических традиций и правильная ориентация.

— С чего начинать? Что делать? — спрашивали немцы.

Отвечать надо было немедленно, ясно и недвусмысленно. Для этого в первую очередь следовало найти конец той нити, которая была грубо оборвана нацистами в 1933 году.

«Теглихе рундшау» в номере от 8 июля 1945 года посвятила всю вторую полосу памяти писателей, прогрессивных деятелей немецкой культуры, первыми принявших на себя удары фашистов и вступивших в неравный бой с ними. Речь шла об Эрихе Мюзаме, Стефане Цвейге, Курте Тухольском, Эрнсте Толлере. Вальтере Газенклевере и Карле Осецком. Газета рассказала о жизненном пути, творчестве и трагической судьбе каждого из них. На всю полосу жирным шрифтом и самыми

крупными буквами была дана шапка: «ИХ УБИЛ ФАШИЗМ!»

Вечером, когда полоса была сверстана, приехали сотрудники отдела культуры — советский офицер и немецкая девушка, литературовед, которую попросили на свежую голову прочитать внимательно весь материал, выявить все ошибки и опечатки.

Она старательно сделала свое дело, а потом откровенно призналась:

— Мне стыдно, но я никого из них не знаю... Неужели это немецкие писатели?

— Вы же недавно окончили Берлинский университет? — удивились мы.

— Да, при этом литературный факультет! Но нам ни слова о них не говорили...

Во врезке ко всем материалам полосы было, между тем, сказано: «...эти люди не стали на колени перед фашизмом, они боролись с ним до последнего дыхания и тем самым спасли честь немецкой литературы, доброе имя немцев».

Нам не раз приходилось впоследствии сталкиваться с подобной ситуацией, когда, как Диоген с фонарем в руках, мы разыскивали немецких деятелей культуры, писателей, художников, артистов и ученых, ставших неугодными фашистам, чьи имена были уже позабыты и неизвестны либо оклеветаны геббельсовской пропагандой. Так было, например, с Бернгардом Келлерманом, Карлом Грюнбергом, Отто Нагелем и другими. Даже братья Томас и Генрих Манн, Герхарт Гауптман и Ганс Фаллада должны были быть заново, в совершенно ином, правдивом свете представлены немцам.

Не лучше обстояло дело и с классикой. На свой, нацистский манер были подстрижены и загримированы Гёте и Шиллер, а с Генрихом Гейне поступили так: в хрестоматии по литературе было помещено его знаменитое стихотворение «Лорелея», но под ним стояла подпись: народная песня! Памятник автору песни, ставшей народной, был разрушен до основания.

В таких условиях, практически на голом месте, пришлось начинать возрождение прогрессивных традиций немецкой культуры и строить новую, демократическую, социалистическую.

В нашей работе не было мелочей, все оказывалось важным: и борьба с фашистской идеологией, и пропаганда советского образа жизни, опыта и героического пути Страны Советов, и защита немецких деятелей от наветов, несправедливых упреков и угроз, и, наконец, забота об их быте, повседневных нуждах. Потому-то доводится и теперь еще слышать признания немецких друзей в том, что именно тот или иной советский офицер сыграл важную роль в их личной судьбе и творческой деятельности...

Буквально на днях я получил письмо от своего давнего друга из Берлина. Он пишет: «Недавно я узнал, что американцы выпустили пять томов, посвященных деятельности своей военной администрации в послевоенной Германии. Они на все лады расписывают свои успехи, дальновидность и все прочее... Вы же, советские товарищи, чрезмерно скромны или ленивы. Я еще ни одной книги не читал и не видел на полках о деятельности Советской военной администрации в те годы...

Между тем что сделали американцы? Они, по-моему, до крайности упростили свою задачу: перекачав миллиарды долларов в немецкую экономику, они взамен «обыкновенного фашизма» восстановили там «обыкновенный капитализм» со всеми присущими ему родимыми пятнами и пороками: безудержной эксплуатацией и перманентными кризисами, растущей безработицей и лихорадкой инфляций, неустойчивым и негарантированным жизненным уровнем для всех трудящихся.

Вы же, мои друзья, советские люди, как истинные интернационалисты, бескорыстно помогли нам не только стать на ноги, но и построить новую жизнь, новое государство — Германскую Демократическую Республику, признанную уже во всем мире, ставшую равноправным членом Организации Объединенных Наций. Ее голос теперь всегда звучит в защиту свободы, справедливости и прав угнетенных. Но самая главная ваша заслуга — это воспитание нового человека, миролюбивого немца, свободного от эксплуатации, работающего на себя и своих близких, живущего и строящего свою жизнь без капиталистов и юнкеров-помещиков и не тоскующего по ним...»

Прочитав это письмо, я подумал: да, все это сделано и никто не смог помешать нам! Потому-то и беснуются наши враги-антисоветчики, противники разрядки, потому-то и не умолкают разные истошные голоса из хора очернителей, подвизающихся в своих и чужих подворотнях. Но как бы ни пытались они оклеветать нашу Советскую Армию-победительницу, в сердцах миллионов людей, в их памяти, в рассказах, передающихся из поколения в поколение, образ советского воина останется символом гуманного и великодушного победителя, добрыми руками накладывающего на раны, нанесенные копьем, целебные листья столетника.

ГРИГОРИЙ ВАЙС —
кавалер Золотой медали имени Иоганнеса Р. Бехера

Антирубрика

ЖОРЖ ГОДО

МИНИАТЮРЫ

■

Перевод с французского
ЛЮДМИЛЫ ВЕДЕНИНОЙ

ГРУЗЧИК

Гаэтан может один перенести шкаф.
Когда он останавливается на лестнице закурить трубочку или поболтать с профессором философии, мебель на его спине не шелохнется.
Он вынослив, как дуб, и терпелив, как пастух,— это очень ценно, особенно когда съезжаешь с квартиры. Сделает все аккуратненько, как портниха.
И вдобавок ко всему обо всем об этом не догадывается.

МЕДНИК

Мать умерла, жена сошла с ума, детей нет.
Я пью и скандалю.

Стоит мне появиться на улице, как поспешно закрываются все двери. А зря. Я парень честный.

Когда становится особенно тоскливо, работаю. Антиквар дает мне подновить медные вещи. Он говорит, что я лучший медник в округе.

В бистро меня уважают.

СТРОИТЕЛЬНЫЕ БРИГАДЫ *

С этими людьми я встречаюсь на лесах, в траншеях и колодцах, я показываю им планы (они разбираются в них лучше, чем я), говорят они коротко и ясно, без всякой словесной шелухи. Среди этих людей есть желтые, белые и черные. После работы они остаются поболтать на строительной площадке, потом идут по своим времянкам спать. Придет день, когда времянки размонтируют, погрузят на грузовики и люди уедут в другое место. С тем чтобы начать все сначала.
Они сами выбрали себе такую жизнь. «Слава богу, что сами»,— говорят они. И замолкают, останавливаются. Вдаваться в подробности не принято.

АВТОЦИСТЕРНА

Главное — успеть отослать телеграмму: «Ночь провели за починкой оси. Все в порядке. Едем дальше. Автоцистерна Бордо — Дюнкерк».

Двадцать раз лежали под прицепом. Позади разборка, ночь, сборка, ремонт сцепления, смазка. Длинные, как шоссе, часы дороги.
Главное, что грузовик на ходу.
Все остальное — наше личное дело.

Мы умылись на ферме, теперь болтаем с мужчинами. Женский голос зовет: «Идите все». Так хочется есть, что отказываться нет сил. Садимся на деревянную скамью и достаем свои перочинные ножи. Мы дома.

ФОРМОВЩИК

В центре литейной я поставил форму из песка для насоса в 20 тысяч лошадиных сил. Она похожа на огромную допотопную улитку. Потом пошла сталь.
Меня засняли в этот самый момент. Стою рядом с чудовищем. Указательным пальцем показываю на гигантскую спираль.— Сделана крепко!
Фотографию напечатали в каталоге фирмы. Страница 34. Инженер дал мне две штуки, пожал руку и сказал: «Большая победа. Вы можете гордиться».
После работы эта самая гордость быстрее крутит колеса моего велосипеда, хочется скорее сесть за стол, посадить на колени ребятишек, открыть 34-ю страницу и спросить как ни в чем не бывало: «Знаете, кто это?»

---

* © Здесь и далее Editions saint-germain-des-prés, 1974.

МУЛ

Никак не может заснуть Фермен. Ферма у него старая и бедная. Кончилась мука. Вчера он отдал за нее последнюю пшеницу.
Надо продавать мула.

В голове у крестьянина неразбериха: двадцать лет вместе с мулом пахали бок о бок. Никто в деревне не ходит по борозде так прямо.

Мул удивленно смотрит на хозяина. От его взгляда переворачивается нутро.

И Фермен завидует людям, которые ночью спокойно спят.

ЧЕМОДАН

Илэр поехал на ярмарку. Вспомнил о жене и купил ей подарок. Чемодан из белой кожи, полный тонкого белья.

Приехал он рано. Поставил подарок на стол. От восхищения молодая женщина не может двинуться с места: никогда не видела белого чемодана. И вот у нее созревает план: она снимает фартук, надевает пальто, берет в руки чемодан. Смотрится в большое зеркало — отлично выгляжу! — идет в город, садится в поезд, что отправляется в Париж — в Париж, Илэр!

Крестьянин молчит. Он терпеливо ждет ее возвращения. Ведь это первое ее путешествие!

ВЫХОДНОЙ ДЕНЬ КРЕСТЬЯНИНА

По воскресеньям в деревне спят тракторы.
У Луки нет ни трактора, ни воскресенья.
Он работает в поле один. Сейчас время подготовки к севу.
Время от времени мимо проезжает телега.
Лука старается разглядеть ее издалека.
Ждет. И вот, наконец, видит жену и дочь.
В светлых платьях. Как две сестры. Несут обед.
Вот и у Луки выходной день.

ЖЕНА

У ночи был запах сена.
Целый день Жозеф работал, смешивал свой пот с пылью стогов. Солнце пекло в затылок. Сейчас прохладно, работать приятнее.
Сверчки, как Жозеф, предпочитают ночь.

На ферме жена Жозефа уложила маленькую дочку и ждет его на пороге.
Битва за сено — нелегкое дело, отбивает даже охоту разговаривать. Но женщины села умеют лечить от усталости.
Просто нужно понимать без слов и любить.

Жозеф возвращается поздно. Моется по пояс. Жена растирает спину — полезно для кровообращения.
Очень хочется есть.
Она вдруг чувствует, что голодна. «Нужно было пообедать раньше»,— говорит он. «Не догадалась».

По лицу Жозефа мелькает чуть заметная улыбка.
Это правда, есть в одиночестве он не любит. Но ведь об этом он никогда не говорил.

С нежностью смотрит он на молодую женщину. И сенокос начинает казаться ему детской забавой.

КОМНАТА 17

Комната 17. Окно как в тюрьме. Я приговорен к вечной темноте.

Вхожу. Вешаю на гвоздь кепку.
Сажусь. Все вокруг прямоугольно.

Вдоль стен 400 папок. С названиями трав и водоемов. Начинаю невеселую игру.

Комната 17. Алло, войдите,— разговариваю, (подсчитываю), распределяю, смотрю на часы, надеваю кепку и выбегаю на улицу, радуясь как школьник.

И так два раза в день, 25 дней в месяц, за 40 000 франков — только на хлеб и на кино.

МАШИНИСТКА

Ты сидишь за машинкой, выпрямив спину. Пальцы мелькают, как ноги бегущей лошади. Пятьдесят слов в минуту, рекорд.

Иногда ты говоришь: «Войдите», предлагаешь клиенту сесть и подождать. Можно капельку поболтать. Это парадная сторона жизни — ты идешь по ней как лошадь с завязанными глазами.

Иногда, оставшись одна, ты мечтаешь.
О том, что тебе 20 лет и у тебя красивая прическа.

Это твоя личная жизнь. Она только начинается.

ЛИДЕР *

Я секретарь профсоюза издательских работников. Два раза в год собираю их в дорогом отеле на каком-нибудь шикарном курорте. Поговорим и разойдемся.

Накануне забастовки навещаю каждого. Получка, отпуск, повышение в должности — я знаю слова, которые им нужны. Одному скажу: «Без людей трудно». Другого просто успокою. Люблю, когда все идут в ногу, а на правом фланге — я. Дирекция мне доверяет. Ведь у меня 100 гектаров земли и 6 домов, я их сдаю за хорошую цену.

Успеваю заботиться и о себе, и о здоровье общества.

НАШИ СОСЕДИ

Мы живем под самой крышей.

Когда вечером после работы ты задыхаешься на лестнице, я беру у тебя сумку с продуктами, и мы начинаем подниматься вместе.

Иногда с шумом распахивается какая-нибудь дверь и на площадку вышвыривают плачущего ребенка. Иногда вылетает женщина.

В нашем доме восемь лестничных клеток.
По четыре двери на каждой.
Тридцать два неизвестных.

Ты бываешь очень бледна, когда
открываешь свою дверь.

ФАСАД *

Она хотела быть актрисой, он — великим журналистом. Оба стали конторскими служащими.

Каждый вечер перед сном они мечтают, каким будет их дом.

Чтобы отделать фасад дорогими украшениями из кованого железа, они готовы вылезти вон из кожи, пойти на край света и дальше.

Наговорившись вдоволь, они засыпают.

ЧУДО

Однажды к вам в кабинет входит Интеллект в образе незнакомого молодого человека, без визитной карточки; устраивается на стуле в неудобной позе, слушает, встает, несколько раз пытается уйти, пятясь назад, протягивая потную руку, а потом, в такой же обычный день, вдруг решается раскрыть перед вами то, что у него внутри. Теперь встаете вы, чтобы проводить его до

двери, продлить удовольствие и насладиться великолепной его естественностью — манерой мыслить, видеть, говорить и даже уходить всегда с открытым лицом: теперь он чувствует себя свободно.

ПРЕСТУПНИК

На улице трое мальчишек закричали: «Держи вора!»

У преступника короткие штанишки и лицо как налитое яблоко.

Он продолжает идти своей дорогой, как будто ничего не случилось.

Он знает, что, если он побежит, все пропало.

Я иду в том же направлении. Прошли сто метров. Опасность миновала. Он поднимает голову, заглядывает мне в глаза. Ждет не защиты, а признания своей невиновности.

Я заговариваю с ним. Начинаю говорить, а он горько плачет и, как собака, жмется к моей ноге.

ЖАН РЕНО

Мне восемь лет. Отец умер.
По вечерам сижу дома один, учу
вслух уроки и жду мать.

Если она задерживается, растапливаю
печь, ужинаю и ложусь
спать.

В темноте, с открытыми глазами,
я долго прислушиваюсь к звукам
ночи.

Иногда, на цыпочках, входит кто-нибудь
из соседей, беспокоятся — как будто
я маленький.

У МЕНЯ В ГОЛОВЕ

Я тот самый подкидыш из сказки,
которого мать оставила у колодца.

Только она не вернулась.

А мне до сих пор очень хочется увидеть ее.

Иногда я придумываю ее и пытаюсь найти
среди других женщин.

Не ищу среди тех, кто весел и
у кого куча детей.

Представляю ее одной из дам, которые
проезжают мимо в своих автомобилях.

Или продавщицей газет, которой было
не по силам воспитать ребенка.

И это так крепко засело у меня в голове,
что ни для чего другого там нет больше места.
Только моя мать.

ЖИЗНЬ БЬЕТ КЛЮЧОМ *

Если вас не беспокоят косточки на ногах, не болит ни живот,
ни голова, если день до отказа наполнен встречами и разговорами,
и если начинает получаться мост, который вы
строите, книга, которую вы пишете, или пара башмаков,
которые вы шьете.
И кроме того, стоит хорошая погода
и почтальон приносит вам письмо от друга —
это значит, что праздник жизни
в полном разгаре.

ОБЩАЯ БЕДА

Газеты сообщили, что мой сын попал в катастрофу.
И каждое утро ребята спрашивали: «Как дела в больнице?»
Я отвечал: «Все так же».
Теперь они не спрашивают ни о чем, но когда в 10 часов
утра заходят перекусить, то больше не валяют дурака,
а со мной внимательны и осторожны. Как будто мой сын
им родной.
Я верю, что наступит день, когда я скажу: «Опасность
миновала. Он будет жить».
«Он будет жить»,— скажут они и засмеются вместе со мной.

НАСТОЯЩИЕ

У нее деревянная нога и двое малышей вцепились в
левую руку.
Не всем же иметь настоящие ноги.
Беда всегда приходит незваной.
Медленно идут они по улице. Не смотрите
на нас, знаем, что мы не такие, как все.

Переглядываюсь со знакомым каменщиком: мы-то
знаем, что эти трое настоящие.

РАЗОБЩЕННОСТЬ *

Они так долго мечтали о собственном доме и так
настрадались, пока его выстроили, что теперь, когда он
стоит — крепкий, солидный, закрытый со всех сторон,
словно сундучок с драгоценностями,— они никогда не
выходят на улицу, только на работу, за хлебом или вынести

мусор. Промелькнут мимо, помашут издали соседям, скажут через загородку: «Никак не соберемся повидаться. А надо бы как-нибудь...»

Деревья растут все выше и выше, образуя живую стену между домами. А обещания остаются обещаниями.

ИЗ-ЗА ВЕДРА ВОДЫ *

Я живу в лачуге из толя, на городской окраине. Каждое утро иду в город, роюсь в мусорных ящиках, достаю куски труб и деревянные коробки. Продаю их старьевщику. Этим живем.

Летом наш ручей высыхает, приходится брать воду во дворе, где придется. Дворы не огорожены. Но все равно меня гонят, кричат и ругаются.

Осточертело все это до крайности. Сегодня я огрызнулась, сказала, что мой хозяин уже нашел работу и пусть они спросят у мэра — он скажет, что я порядочная женщина.

В ответ они заложили руки за спину и с умным видом заговорили о своих скульптурах.

Я даже не плюнула. Слюны жалко.

КУЗИНА, ЛЮБИВШАЯ СИДЕТЬ У РОЯЛЯ *

Судьба хлестнула тебя крепко: сразу после смерти отца, пьяницы полковника,— развод, опись имущества, уход из дома детей и, наконец, появление мужчины, который разоряет то, что осталось от семьи.

И вдобавок еще я шел сегодня утром по улице и увидел тебя за мытьем витрины книжного магазина. Ты очень просила дать работу внутри, но, по правилам, новенькая моет снаружи. Ты долго не можешь прийти в себя. Глядя на меня — остолбеневшего, не находящего предлога, чтобы уйти,— пытаясь овладеть собой, хочешь вспомнить что-нибудь значительное, важное. И не находишь ничего лучшего, как объявить, что твой сын поступил в институт, лучший институт Франции.

Если б ты знала, как ты прекрасна в борьбе с огромными волнами моря жизни!

Збигнев Юйка
Польша
Без слов

БЕССМЕРТИЕ

Всю свою жизнь он продавал жареный картофель. Был молчаливым и мрачным. Дети прозвали его медведем.
Но поднялся занавес над его убогой лачугой, газеты узнали, что в молодости торговец написал три песни, ставшие теперь знаменитыми.
По воскресеньям к дому потянулись толпы посетителей. Пахло затхлым и жареным. Каждый пытался отыскать на стенах следы песен.

Но ни один не заглянул в часовню — там у тела умершего не было никого, кроме старой монахини.

СТРАННИК

По горам по долам бродит он.
Приближаясь к городу, поднимает
воротник пальто и проходит мимо,
как мгновение ночи.

Как упрек.

■

КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН

Стихи

■

Перевод с немецкого ВИКТОРА ТОПОРОВА

Эксперимент

Я (и теолог и зоолог)
запасся дюжиной иголок.

Был у меня (и стар и худ,
но смел и голоден) верблюд.

Невдалеке, на груде злата,
дух испустил богач треклятый.

Он помер и явился в рай
с обычным делом: «Отворяй!»

На что ответил Петр, лелея
шпаргалку в Библии: «Скорее

в игольное ушко пройдет
верблюд, чем ты — на небосвод!»

Я, веруя в господне чудо,
мгновенно растолкал верблюда

и сквозь ушко моей иглы
подсунул крошку пастилы.

Воистину! сия зверюга
пролезла, хоть не без испуга.

И тут услышали в аду
крик богача: «Иду, иду!»

Волчье мясо

Овечки — тихонькая раса,
но обожают волчье мясо.

Волк: волчья злоба, волчья стать.
Овечка: божья благодать.

Овечки блеют, волки млеют
и мысль об ужине лелеют.

Мясцом отужинав, овца
всегда благодарит Творца.

Схоластическая проблема

Сколько ангелов рассадишь
на конце иглы! С наскока
ты с проблемою не сладишь,
чтец без страха и упрека!

«Всех! — так шепотом беззвучным
ты ответишь простодушно.—
Ибо духам, даже тучным,
места как бы и не нужно».

«Ни единого! — Небесным
громом грянула тирада.—
Ибо духам бестелесным
и седалища не надо!»

Цветок, вышитый на ковре

— Благоухать я не могу,
зато и не увяну,
ведь я цвету не на лугу,
а около дивана.

Ты смотришь на меня, как тать,
но брось свои замашки,
ведь все, кто мнил меня сорвать,—
в смирительной рубашке.

Признания посредственного поэта-переводчика

1

Сам от ужаса дрожу я...
Подрубаю на корню:
или рифмы не рожу я,
или мысль похороню.

2

Я большой оригинал:
не гляжу в оригинал.

3

Переводчики эклог,
од, сонетов, басен!
Перевод бывает плох
или же... ужасен!

◆

Наши гости

Элисео Диего

(Куба)

«Мы находим в советской поэзии богатство образов, разнообразие стилей, подлинно творческий поиск»

Элисео Диего начинает нашу беседу с чтения своего, только что сделанного в Москве, перевода стихотворения Андрея Вознесенского «Гойя»... И происходит то, что кубинский поэт называет «волшебным таинством перевода». Это труднейшее, казалось бы непереводимое, стихотворение, построенное на сложной игре образов и метафор, аллитерациях и ассонансах, звучит по-испански... как по-русски!

Представлять нашим читателям Элисео Диего—поэта нет нужды. С его творчеством они знакомы по многочисленным переводам, которые, так же как и его собственные стихи, отличает глубина проникновения в образ, мастерство слова, вдохновение и требовательность к себе.

— Переводить советскую поэзию,— говорит Элисео Диего,— очень ответственное дело. В странах Латинской Америки ее знают плохо, а это создает почву для клеветы на нее. Враждебная нам пропаганда объявляет ее однообразной, лишенной художественных достоинств. Мы же, кубинские поэты, находим в ней богатство образов, глубину чувств, разнообразие стилей и подлинно творческий поиск. И вот все это, бережно сохранив, нужно донести до читателя...

Мне вспоминается, как несколько лет назад, работая вместе с Элисео Диего над переводами советских поэтов, мы провели любопытный эксперимент. Элисео Диего перевел тогда по одному стихотворению С. Есенина, М. Дудина и Л. Мартынова. Мы пригласили советских поэтов, не знавших испанского языка, и предложили им прослушать переводы и угадать, какому автору какое стихотворение принадлежит. Они безошибочно назвали: «Это—Есенин. Это—Дудин. Это — Мартынов»,— столь точно был передан ритм и общее звучание стихов.

— При переводе поэзии,— говорит Элисео Диего,— самое важное — воспроизвести лирический настрой, атмосферу стихотворения, его аромат. Неизбежно приходится чем-то жертвовать — порой метафора или образ, близкие и понятные читателям, живущим в одной языковой атмосфере, звучат чуждо и невнятно для читателей с другим языком, а в отдельных случаях могут даже произвести обратное впечатление. И вот найти правильный эквивалент можно, лишь вжившись в стихотворение, почувствовав его «своим», не забывая в то же время и об особенностях оригинала. Стихотворение становится «твоим», а в то же время оно «не твое» — в этом одна

из основных трудностей работы переводчика. Но когда достигается слияние этих двух противоположностей, происходит волшебное таинство перевода, приходят образы, возникает музыка стиха, появляется нужный ритм...

Элисео Диего — не впервые в Советском Союзе. На этот раз он приехал для того, чтобы продолжить работу над большой антологией советской поэзии, которая выйдет на Кубе к 60-летию Октября.

— Скажите, что вам, как кубинскому поэту, дает работа над переводами советской поэзии? Не мешает ли она творчеству? — задали мы ему вопрос.

— Конечно, отнимаешь время у собственных стихов. Но я с удовольствием работаю над переводами советской поэзии. Именно с удовольствием, потому что это огромная радость — открыть истинный талант у того, кого до этого знал лишь по имени. Таким открытием теперь для меня стал Павел Антокольский. Я перевел его небольшое стихотворение «В долгой жизни моей», привлеченный простым, суровым и в то же время лиричным тоном, каким поэт говорит об огромной, всем понятной, человеческой трагедии отца, потерявшего на войне единственного сына. Но в этих стихах звучит и гордость отца за то, что сын погиб, сражаясь за правое дело, стало быть, его смерть была не напрасной. Кстати, это стихотворение дало мне ключ и к поэме Антокольского «Сын», написанной на ту же тему, перевод которой у меня не получался....

— Вы переводили и Антокольского и Вознесенского — поэтов очень разных. Что, по-вашему, общего между ними?

— Между ними существует преемственность. Оба они принадлежат к разным поколениям, принципиально отличаются друг от друга системой образов, поэтическим языком, но оба озабочены проблемой Человека в самом глубоком смысле этого слова. Впрочем, это константа всей русской и советской поэзии: преклонение перед свершениями Человека — такого, казалось бы, биологически слабого существа,— его силой, его чувствами, которые воспроизводятся в тончайших оттенках...

Элисео Диего — давний друг нашей литературы. Он оставил нам поэтические свидетельства своего преклонения перед русскими и советскими писателями. Стихи о Пушкине, Тургеневе, Достоевском... Вот, например, несколько строф из его стихотворения о Вагифе, написанного в Азербайджане, которое он нам продекламировал:

По краю зыбкой пропасти прозрачной,
как птицу, что поет нам песнь свободы,
они влекут, влекут Вагифа к смерти,
Как страшно это место! Как красота его
жестокая пугает!
Как не хотят они, чтоб даже в смерти
он песней стал!
. . . . . .
Но даже рассеченное о скалы,
лишь ставшее прозрачностью незримой
века стихом пронзает сердце барда[1].

[1] Здесь и далее стихи даны в переводе автора этих заметок.

Наша беседа коснулась положения в современной кубинской литературе. Элисео Диего сказал:

— Прежде всего нашей литературе свойственно на данном этапе появление новых жанров, например, документальной прозы, которую мы называем «литературой свидетельства». Однако следует сделать небольшой экскурс в историю. Еще кубинская литература XIX века дала миру прекрасных поэтов и прозаиков. Вершиной ее развития стало творчество Хосе Марти, который был не только великим революционером-борцом, мыслителем, внесшим большой вклад в развитие революционного сознания на континенте, но и оставил нам художественные произведения, и по сию пору служащие источником вдохновения. Находки же его в области поэзии не потеряли своей жизненности и сегодня На протяжении первых десятилетий XX века, когда кубинская литература жила словно бы в сумерках, когда не было издательств, не существовало писателей-профессионалов, не было театральной публики, а следовательно, и драматургии, поэзия оставалась на высоте...

— Вы хотите сказать, что не было перерыва традиции?

— Именно. Даже в тяжелых условиях североамериканского колониального гнета, культурного проникновения империализма янки, кубинская литература существовала, развивалась, боролась. Но ее подлинное возрождение произошло после победы революции. Я имею в виду не только появление солидной издательской базы или создание возможностей для писателя стать профессионалом. Наша литература качественно шагнула вперед. Не случайно наш старейший, знаменитый романист Алехо Карпентьер написал свои лучшие романы после победы революции. А в творчестве молодых прозаиков сейчас очень заметно тяготение к большим формам, настоящая страсть к роману. Среди них есть очень талантливые, уже сделавшие заявку на свой творческий метод и на свою тему. Я имею в виду новеллы Уго Чинеа о военных операциях в горах Эскамбрая; повесть Густаво Эгурена «Тени на стене» и роман Мануэля Кофиньо Лопеса «Последняя женщина и близкий бой», ставшие впервые известными советским читателям по публикациям в вашем журнале. Вспоминаю и прозу Имельдо Альвареса.

Интересные явления произошли за последние годы и в поэзии. Еще несколько лет назад наши молодые поэты слишком увлекались верлибром, считали его единственно возможным поэтическим языком, причем и пользоваться-то им порой не умели. А ведь писать верлибром очень сложно и трудно! Словом, поэзия стояла на грани прозы. В стихах молодых отсутствовала не только рифма, но и ритм. В погоне за лженоваторством, за литературной модой, так называемой «разговорной поэзией», молодые поэты забывали о великих традициях испаноязычной поэзии, в том числе и кубинской. Сейчас эта болезнь роста

преодолевается. Могу назвать книги молодого поэта Рауля Риверо, получившего премию Союза писателей и деятелей культуры Кубы за сборник стихов «Поэзия о земле». Он как бы заново открыл для себя, что поэзии без ритма не существует. Можно отметить книгу Хосе Мартинеса Матоса «Ураган». Этот поэт отражает жизнь на основе личного опыта, того, что пережил и прочувствовал, того, что стало частью его души и сердца. Интересно и творчество Франсиско де Ораа, который любит эксперименты в композиции, ищет новые формы. Самые разнообразные традиционные жанры использует Давид Черисьян — десимы, сонеты, глоссы.

Вообще же наша общественная жизнь характеризуется обширными дискуссиями обо всем, что касается проблем культуры, а творческая молодежь хочет учиться и совершенствует свое профессиональное мастерство. Над Кубой занимается настоящая литературная заря, которая в недалеком будущем разгорится в яркий день.

В ответ на наши расспросы о своем творчестве Элисео Диего с улыбкой заметил:

— Сейчас все свое время отдаю работе над переводами произведений советских поэтов...

— И ни одного стихотворения?

Он только улыбается. А я знаю, что за день до отъезда в Москву он начал писать новое стихотворение. Работал над ним в самолете и в Москве. Я выдаю его тайну, и Элисео Диего замечает: «Стихи не пишутся по заказу. Приходит какой-то момент, и вот тебя что-то затрагивает, и тогда, конечно, пишешь, потому что не писать не можешь».

Мы просим нашего гостя прочитать нам что-нибудь из его собственных стихов, и он читает стихотворение об «инструментах, придуманных человеком»:

...Вот острая бритва, которой он бреется,
когда время бриться ему приходит.

А это ножницы — ими полотна мы режем,
срезаем цветы, разрезаем интриги,
пока, наконец, они сами походя
нить нашей жизни не перережут...

Вот ложка — важна человеку ложка:
хлебаем мы принципы ложкою полной,
едим наши дни, а впрочем, съедаем тоже
собственное человеческое ничтожество...

А это — мехи — мехи нужны нам, не скрою
чтобы огонь оживить их дыханьем,
хотя на этом огне порою
мы закаляем секиру и голову ею
срубаем...

А вот и очки — и они нам нужны.
Сквозь очки мы рассмотрим, сделано ли
все, о чем мы мечтали,
то предвиденное и непредвиденное,
невозможное и обыденное,
да и сами наши инструменты из стали —
так ли мы их выковали, как были должны?

Одним из «инструментов», изобретенных человеком, Элисео Диего считает и поэзию. И без преувеличения можно сказать, что кубинский поэт выковал этот свой инструмент как должно и пользуется им «не походя, а как следует и любя».

Н. БУЛГАКОВА

◆

ФЛОРИАН НЕУВАЖНЫ

«ПОТЕРЯННЫЙ КРОВ» ЙОНАСА АВИЖЮСА

Предлагаем вниманию читателей фрагмент статьи известного польского критика о творчестве Йонаса Авижюса, лауреата Ленинской премии по литературе 1976 г. Полностью статья опубликована в польском журнале «Литература на свете» № 8, 1976 г.

Роман литовского писателя Йонаса Авижюса «Потерянный кров» — значительное событие советской литературной жизни. Писатель обратил на себя внимание читателей еще книгами «Стеклянная гора» и «Деревня на перепутье» — эти романы отличались остротой общественной проблематики, широким эпическим дыханием, стремлением поставить реальные и волнующие вопросы, связанные с формированием сознания литовцев в условиях социалистической действительности.

Знакомство с первыми страницами романа, отмеченного Ленинской премией, вызывает в памяти образ спокойно плывущей, широко разлившейся по равнине реки. Тихое, на первый взгляд, ее течение производит на воображение читателя большее впечатление, чем быстрое и шумное стремление горного потока. Под спокойной поверхностью обнаруживаются стремительные вихри, водовороты, бушуют страсти, разыгрываются драмы. Начало романа вводит нас в знойное лето 1941 г. и обещает обстоятельную, широкую картину литовской деревни, в которую пришли оккупанты, не сразу показавшие свое истинное лицо. «Если бы не следы прогремевшей бури у дороги — снарядные ящики, воронки от бомб, наспех вырытый окопчик или подбитый танк, облепленный чумазыми ребятишками,— никто не поверил бы, что здесь недавно прокатился фронт...»

Один из главных героев романа — Гедиминас Джюгас, учитель гимназии в маленьком городке, историк, поэт, а по своей жизненной позиции — «осторожный гуманист». Гедиминас — патриот, он удивительно чуток к национальной проблематике. В студенческие годы его увлекали националистические лозунги, но скоро он разобрался в существе игры, которая велась политиканами и демагогами. Его живо волнует судьба своего народа, малого числом, пережившего потрясения троекратной смены власти, каждый раз ломающей жизненный уклад.

Позиция Гедиминаса — позиция человека, осуждающего всех тех, кто, клянясь Литвой, одновременно угнетает литовский народ. Это позиция гуманиста, не считающегося ни с реальностью политических сил, ни с их целями, позиция осуждения всякого насилия: «Сегодня убивали друг друга по одной причине, завтра — по другой. И те и другие утверждают, что они освобождают Литву. Еще несколько таких освобождений — и литовцев не останется...».

Националисты, среди них бывший друг Гедиминаса Адомас Вайнорас, теперь начальник местной полиции, брат Аквиле, любимой Гедиминаса, идут на сотрудничество с оккупантами и втягиваются в преступную деятельность. Очень быстро мнимые идеологи национализма становятся слугами гитлеровцев, безропотно выполняют их приказы, участвуя в уничтожении литовцев, подозреваемых в сочувствии к коммунизму.

Гедиминас решительно отказывается от каких-либо контактов с силами насилия, беззакония, с кровавой практикой фашистов и их местных помощников. Его отец, крестьянин из крестьян, Миколас Джюгас, говорит о себе: «Я кормилец, а не убийца». Даже охваченный жаждой приобретения земли и богатства, задавленный работой крестьянин Кяршис, которому импонируют богачи и Адомас Вайнорас, стремится отодвинуть от себя соблазн сотрудничества с гитлеровцами: «Бог и люди будут свидетелями, что руки Кяршиса пахнут навозом и землей, а не кровью».

Гедиминас, разумеется, понимает, что нельзя целиком быть свободным от политики, особенно в столь грозных обстоятельствах. Он склоняется скорей к пассивному сопротивлению, нежели к политической нейтральности. Это проявляется в отказе от службы, стремлении порвать со своей средой; он замыкается в себе. «Человек бессилен что-либо изменить. Единственное, что мы можем сделать,— оставаться честными. Человек беззащитен, но у него есть своя крепость. Это он сам. Когда он замкнется в своей крепости один на один со своей совестью, тогда он может защищаться».

Роман, откликнувшийся на человеческие судьбы, сложные, как сама жизнь, трагические, как время, о котором он рассказывает, не мог не поставить вопрос об отрицании пассивной позиции героя. В крайних ситуациях, а именно в них действуют герои этого политически и общественно заостренного романа, единственный путь гуманиста, борющегося с фашизмом во имя человека,— это путь борьбы и победы над палачами. В конце романа Гедиминас, который прошел через многие круги фашистского ада и ада своей совести, убивает приставленного к нему гестаповского шпика.

Совершить этот поступок заставила его сама жизнь, превращая гуманного созерцателя в активного мстителя, примыкающего к тем, кого представляют в романе Красный Марюс и партизаны. Поступок Гедиминаса, совершенный после долгих колебаний, драматических переживаний, является проявлением мучительного, но сознательного выбора, и это выбор не только Гедиминаса, но и многих ему подобных. В его образе Авижюс отразил судьбу целого поколения литовских интеллигентов, поколения патриотов, которых воспитала и заставила сделать выбор история.

Не пассивность и метания в сфере философских абстракций, а лишь непосредственное участие в борьбе может помочь обрести потерянный кров в условиях, когда грозная действительность требует однозначного ответа на основные вопросы жизни. Все это восхищенный читатель видит на фреске, живой, пульсирующей мыслью и страстями,— выразительной панораме литовской деревни, литовского народа в самый драматический период его истории.

Литовский критик Альгимантас Бучис так написал о романе «Потерянный кров»: «Новую книгу Авижюса я считаю не только выразительной панорамой Литвы в период немецкой оккупации, но могучим в своей трагедийности антифашистским и антинационалистическим романом. В книге автор представляет не судьбы отдельных людей, ошибающихся или правых, борющихся или сомневающихся, а драму народа. Лишь большой эпический талант в состоянии охватить не только внешнее движение истории, но и направление глубоких внутренних потоков, их смысл для современности и будущего».

Книга Авижюса примыкает к традициям великой советской эпики, представленной именами Шолохова, Леонова, Фадеева, Межелайтиса, которая умеет показать органическую связь судьбы человека с судьбой коллектива и мастерски утверждать идеи социалистического гуманизма.

Перевод с польского В. АГРИКОЛЯНСКОГО

◆

Среди книг

Издано в СССР

ЧЕЛОВЕК НОВОГО МИРА

Вашим, товарищ, сердцем и именем... Писатели и деятели искусства мира о В. И. Ленине. Составитель Георгий Злобин. Художник Гордиан Дмитриев. Редакторы Кира Потапова и Алексей Файнгар. Москва, «Прогресс», 1976.

Однажды, став зрелей,
из спешной повседневности
мы входим в Мавзолей,
как в кабинет рентгеновский...
. . . . . .
«Скажите, Ленин, мы—
каких вы ждали, Ленин?!»

(А. Вознесенский. «Лонжюмо»)

Ходил по свету парень. Заглядывал людям в глаза. Расспрашивал. Сокрушенно качал головой: «Нет, ты не такой.. » Высшей мерой мерил он людей — Лениным...

Такую историю рассказал нам Джеймс Олдридж. Называется она «Парень, который искал Ленина». Это одно из полутораста литературных произведений двухтомного сборника «Вашим, товарищ, сердцем и именем...»

Не только читать, даже держать эту книгу в руках хочется бережно. Высока и культура ее издания, безупречно оформление. К тому же литературный том соседствует здесь с большим комплектом фотографий и репродукций изобразительного искусства И каждый из публикуемых материалов снабжен достаточно полной библиографической справкой.

В посвященных Ленину сборниках последних лет большое внимание уделялось новым именам, новым произведениям, новым переводам На этот раз составитель задался иной целью — объединить лучшее в мировой художественной Лениниане. Потому мы встречаем здесь имена давно знакомые — Горький и Маяковский, Джон Рид и Альберт Рис Вильямс, Анри Барбюс и Ромен Роллан, Клара Цеткин и Генрих Манн, Эммануил Казакевич и Мариэтта Шагинян... Но в итоге получилась не просто хрестоматия, а огромное мозаичное панно, тема которого — человек нового мира.

Сколько существует род человеческий, столько мечтали люди о счастье, о светлой доле, о прекрасной гармонической личности... Легенда о Прометее и Венера Милосская, баллады о Робин Гуде и Сикстинская мадонна, «Что делать?» Чернышевского и поэзия Уитмена, утопии — от Томаса Мора до «Человеческой комедии» Уильяма Сарояна... И тема, столь обычная в современной литературе Запада — обесчеловечивание человека-собственника и человека-потребителя, самоотчуждение его, убогость духовных запросов, психическая и нравственная аномалия,— не рождена ли она, в конечном счете, той же жаждой преображения жизни, той же тоской по человечности и доброте, которая мучила и героев Чехова, и обитателей горьковского «дна»?

Возрождение человека, всестороннее развитие личности неотделимо от коммунизма. По Марксу, коммунизм и есть «возвращение человека к самому себе как человеку *общественному*, т. е. человечному». При этом — «с сохранением всего богатства достигнутого развития» [1].

Ленин, ленинский отряд российской социал-демократии олицетворяли новую, социалистическую культуру России, новых ее

[1] К. Маркс и Ф. Энгельс об искусстве, т. I, М., «Искусство», 1957, стр. 241.

граждан. «Ленин с головы до пят человек нового мира,— писал Луначарский.— В этом его огромная особенность, в этом его непередаваемое очарование».

В каждом из материалов сборника мы ощущаем воздействие этого «очарования»; в каждом высвечиваются какие-либо грани духовного мира Ленина именно как человека коммунистической формации. «...Законченный тип нового человека, он являлся для нас прообразом будущего»,— пишет Поль Вайян-Кутюрье «Ленин для меня одна из самых всеобъемлющих и цельных личностей»,— свидетельствует Анри Барбюс. «Сама внешность Ленина, его простота обличали в нем человека нового времени»,— читаем у Мартина Андерсена-Нексе.

А знаменитая беседа Ленина с Гербертом Уэллсом! (Глава из книги Уэллса «Россия во мгле» включена в сборник.) Она словно предвосхитила идеологические битвы наших дней. Скепсис, неверие с одной стороны. А с другой — способность «видеть мир будущего, преображенный и построенный заново», как признает сам скептик.

И еще одно честное признание писателя: «...Мне хотелось думать о Ленине, пока память моя хранила каждую черточку его облика...» В этих словах зафиксирован редкостный момент — еще неосознанное начало того духовного перелома в жизни Уэллса, который в итоге приведет его к поддержке английских коммунистов. И все потому, что писатель, в десятках книг пытавшийся приоткрыть людям завесу будущего, вдруг сам нежданно увидел этот мир будущего воочию — в облике Ленина...

Потребность думать о ленинских «высших качествах человека» Уэллс сохранит на всю жизнь. Об этом свидетельствует и публикуемый в сборнике фрагмент «Действительно великий человек» из книги «Опыт автобиографии», написанной Уэллсом полтора десятилетия спустя, после поездки в Советский Союз летом 1934 года «Силу его,— пишет Уэллс,— составляла ясность цели в сочетании с тонкостью мысли...»

Ленинский завет об освоении духовных богатств, выработанных человечеством, общеизвестен. Но лучшим аргументом, наиболее действенным стимулом к овладению знаниями остается сама ленинская мысль. За ней угадывается бездонность знания, непостижимое богатство «источников» и «составных частей», предстающих, однако, в том самобытно-неповторимом сплаве, который и определяет ленинскую мысль как вершину духовной культуры XX века.

И многое еще предстоит исследовать, чтобы в должной мере судить о глубочайшем освоении Лениным истории всемирной культуры. Что, например, побудило его весной 1908 года, в пору «философского запоя» — интенсивной работы над «Материализмом и эмпириокритицизмом» — посетить лекцию о Шекспире в Женевском университете, хотя в самой книге непосредственных ссылок на Шекспира, как известно, нет?.. А библиотека Ленина в Кремле! Тут и антология китайской лирики VII—IX веков, и сборник статей о Чарли Чаплине, и каталог выставки картин раннего Возрождения в Италии, и «Теория относительности» Эйнштейна... «Весь арсенал ума — искусство, литературу, науку — мобилизует он для действия...» — это слова из публикуемой в сборнике статьи Ромена Роллана «Ленин: искусство и действие».

Маркс видел в коммунизме «решение загадки истории». И, может быть, главное в Лениниане то, что она подводит к ответу на вопрос вопросов бытия — о смысле жизни человеческой, о тайне ее предназначения. В этом суть многих произведений сборника — от известного очерка Горького, которым книга начинается, до одного из заключающих ее материалов — стихотворения Ярослава Смелякова «Счастливый человек».

Извечную человеческую мечту — о счастье, о светлой доле, о прекрасной гармонической личности — Ленин, по словам пакистанского писателя Фаиза Ахмада Фаиза, «первым на земле претворил в жизнь».

Направление поисков сегодняшней Ленинианы неотделимо от основного русла развития всей советской литературы, утверждающей этические основы социалистического образа жизни, осмысляющей коммунистическую нравственность как итог духовного развития человечества. «Эпосом об истоках того нравственного мира, той духовной атмосферы, в которой зародилось и развилось учение Ленина», назвала свою тетралогию о семье Ульяновых М. Шагинян.

Каждый советский писатель, создавая образ нашего современника, каждый художник на земле, задумываясь о том, каким должен быть человек нового мира, неизбежно ведет свой «разговор с товарищем Лениным», как вел его Владимир Маяковский, строкою которого назван новый сборник Ленинианы.

Страницы сборника воскрешают множество деталей, штрихов (заметки Луначарского так и озаглавлены — «Штрихи»), движений души, характерных для Ленина. И даже самые известные из них останавливают внимание, заставляют задуматься. Вновь и вновь поражает духовная красота человека, в присутствии которого, по словам Г. М. Кржижановского, «каждому хотелось быть лучше, чем он есть»

В первой книге «Семьи Ульяновых» М. Шагинян есть глава «Воспитание человека», та, где рассказывается, как Илью Николаевича еще в гимназические годы захватила мысль Лобачевского о призвании подлинного учителя — «формовать совершенного человека...»

Роль такого учителя и выполняет сегодня Лениниана. Притом учителя, к голосу которого прислушиваются во всем мире. В этом и убеждают прежде всего материалы нового сборника. «Люди, подобные Ленину, являются хранителями и обновителями совести человечества»,— говорит Альберт Эйнштейн. «Он стал для меня критерием нравственности»,— заявляет Ренато Гуттузо.

И ходит по свету парень, заглядывает людям в глаза. Высшей мерой мерит он человека — Лениным...

И. ПОПОВ

ПЕСНИ БОРЬБЫ

Поэзия борьбы. Сборник стихов. Перевод с португальского и креольского. Составитель и автор предисловия Е. Ряузова. Редактор Е. Солонович. Москва, «Прогресс», 1976.

Несколько лет назад издательство «Художественная литература» выпустило том африканской поэзии. Книга не прошла незамеченной, ибо в последнее десятилетие свободные народы Африки выдвинули многих талантливых поэтов, приносящих радость своей поэзией не только землякам, но и читателям всех континентов. Появление этого сборника стихов африканских поэтов было, конечно, событием чрезвычайно важным. Советский читатель впервые мог почувствовать богатство и разнообразие африканской поэзии. В том сборнике были и стихи поэтов, чья родина находилась на юге Африки. Эти стихи давали представление о колоссальном динамическом потенциале африканской поэзии, рожденной в борьбе против колониализма, в которой так тесно переплетены гнев и ненависть, любовь к своей земле, вера в грядущую победу, чувство общности африканских народов и всех угнетенных народов мира. На наших глазах произошли исторические перемены на политической карте Африки. Добились свободы Ангола, Мозамбик, Острова Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи. Ожесточенная борьба за независимость и вместе с тем классовая борьба идет на землях Зимбабве и Южной Родезии, дрожат колониальные устои в Южно-Африканской Республике.

Мне вспоминается Конференция солидарности народов Азии и Африки, проходившая на земле страны, которая тогда называлась Танганьикой, в городе Моши, расположенном недалеко от подножия горы Килиманджаро. Многие из ныне независимых африканских стран были тогда еще владениями колониальных держав. Только-только должна была получить независимость Кения. И вот в этом небольшом и красивом городе встретились борцы за свободу Африки: известно, что писатели стран Азии и Африки активно участвуют в борьбе народов своих стран. Никогда не забудется эта встреча. Под звуки тамтамов, доносившиеся откуда-то из глубины леса, шли бесконечные беседы о перспективах полного освобождения народов Африки от колониализма.

Миновало не так уж много времени, а африканские поэты, которые тогда слагали гневные стихи против поработителей, ныне поют песню свободы...

И вот передо мной — недавно изданный сборник стихов «Поэзия борьбы» В нем представлены стихи лучших поэтов пяти африканских стран: Анголы, Мозамбика, Островов Зеленого Мыса, Сан-Томе и Принсипи. Но я не погрешу против истины, если первым назову одного из крупнейших поэтов всей Африки, президента свободной Анголы Агостиньо Нето. Легендарное имя вождя борющейся Анголы воплощает для нас прежде всего мужество и твердость:

История — всегда перемены.
Неспроста, не случайно
я — чернокожий,
считавшийся раньше ничтожнейшим
из ничтожных,—
себе возвращаю Африку,
и глаза — совершенно сухие.

(«Страхом насыщен воздух», перевод Л. Сенкевича)

Как же не вспомнить те встречи с Агостиньо Нето, которые происходили в Москве, в Советском комитете солидарности, когда он возглавлял сражающихся ангольских партизан! Уже тогда заботился он не только об оружии и боеприпасах, но и о подготовке своего народа к новой жизни. В Комитете шла долгая беседа с Агостиньо Нето, который, заглядывая в простенький блокнотик, просил нашу организацию о том, чтобы мы послали в сражающиеся районы Анголы школьные тетради, карандаши, ручки, учебники, специально отпечатанные в Москве, медикаменты и т. д. Тогда я спросил Агостиньо: «А стихи удается писать?» Нето както застенчиво улыбнулся и ответил: «Изредка».

Я думаю, что стихи Агостиньо Нето, боевые и исполненные веры в будущее, будут жить всегда:

Скажу как сумею:
неугасима вера в человечность Вселенной,
неугасима,
как звездный огонь,
как любовь в твоем взгляде,
как надежда в человеческом сердце.
Неистребима,
как сила натруженных рук,
как повадки хищных зверей,
их бесшумная легкая поступь,
как ужас, рождаемый бездной.
Я просто скажу: «Да!»
Вечное «да»—
человеческой честности,
раскованной музыке леса,
дерзкой, как юность,— да!
Да! — благоуханью природы,
приглушившему горькие запахи трав.

(«Стихи», перевод Л. Сенкевича)

Это чувство глубокой уверенности в победе свойственно и другим ангольским поэтам. Антонио Жасинто в прекрасном стихотворении «Народ ушел на войну» писал:

Каянга ушел на войну. Каянга ушел на войну,
Вернется ли он, не знаю.
Народ ушел на войну, народ ушел на войну,
Я знаю: народ вернется.

(Перевод Б. Слуцкого)

Независимо от формы, будь это свободный или рифмованный стих, африканская поэзия всегда покоряет целостностью, насыщенностью, образностью

С удовольствием я прочел стихи Фернандо Коста Андраде «Горизонт». Особое чувство испытываешь и от того, что ты знаешь этого человека, встречался с ним. Причем в жизни Андраде кажется значительно более спокойным, чем в своих пламенных стихах:

Партизан —
человек,
оружие
и огромное расстоянье.

сокращающееся у черты горизонта,
и любовь к тебе,
вросшая в жизнь
настолько,
что ты никогда не узнаешь:
я любил тебя
или прожил жизнь за тебя.

(Перевод В. Резниченко)

Знаменательно, что все чаще в африканской поэзии звучат мотивы интернационализма. В стихотворении Гарсиа Бireша «Сыновья — матерям» есть удивительные строки о чувстве единства со всеми борющимися народами мира:

Я готов переплыть Атлантику,
Продолжить свой путь от Мексики и до Чили,
Я хотел бы пропеть все победные гимны
на всех наречьях
И заплакать от горя над мертвым шахтером,
И обо всем расспросить жителя новой Кубы,
А потом
В бамбуковых зарослях Индокитая
Или на гладкой спине Меконга
Коснулся бы черной своей ладонью
Нежных побегов счастливого завтра.
Я хочу,
Чтобы голос мой запрещенный
Слился с голосом Миссисипи
И повстречался на долгом пути
С голосом бедных, бесправных негров,
С голосом бедных белых
И вечно гонимых индейцев,
Голос мой, поющий на благо завтра,
Которое будет светлым.

(Перевод О. Чугай)

Мне доводилось встречаться и с поэтессами Африки. Поэтессы Судана, Ганы, Малагасийской Республики удивляют своими необычными стихами, которые, хотя и не менее социальны, чем мужская поэзия, при этом гораздо более лиричны. В этой книге представлена поэзия Ноэмии де Соуза (Мозамбик):

Мать! Я слышу, как поют рабыни
под луной, в ночной теплыни,
и вскипает кровь рабыни чернокожей —
кровь земли, чащобы, шквала,—
дикая — твоя, моя — до дрожи,
до последней капли алой,
до последней клетки черной кожи!

Я живая, я страдаю, я смеюсь,
с материнской кровью
навсегда сольюсь!..

(«Негритянская кровь», перевод И. Горской)

Есть какое-то волшебство в этом удивительном сочетании нежности, простоты и чувства будущего.

Много лет назад, в Москве, мы впервые познакомились с одним из талантливейших поэтов Мозамбика — Марселино Дос Сантосом. Впервые книга его стихов была издана в Библиотеке «Огонька». Поэт никогда не оставался в стороне от борьбы своего народа, и об этом свидетельствуют стихи, опубликованные в сборнике.

Составители включили в сборник стихи героического сына Африки, патриота Островов Зеленого Мыса Амилкара Кабрала:

Современное представление: душа
распахнута настежь,
Завоевание жизни сравнимо с постройкой дороги:
Следуйте дальше, ликуйте — все ваше,
нате же
Любовь мою в спутники, в проводники —
ноги!

(«Эволюция в представлениях и действительность», перевод О. Чугай)

Рука подлого убийцы оборвала жизнь этого прекрасного человека, но имя его и жизнь стали легендой. Африканцы никогда не забывают своих героев.

Надо сбросить гнет с народа!
Дождь идет или дождь не идет —
без борьбы останется нищим народ!
Нищета Нашей Земли
пройдет не с дождем,
а тогда, когда сбросим гнет!
«ВПЕРЕД!»
Яростный ливень с юга идет.
Это — Свобода!
Будет зеленомысец сыт,
Новая Жизнь навстречу спешит —
кров, очаг и школа — для всех!
Яростный ливень идет, как лавина.
Никогда больше — слово «чужбина»!

(Луис Силва. «Яростный ливень», перевод В. Куприянова)

Этот лозунг «Вперед!» вдохновляет и объединяет народы тех стран, чья поэзия широко представлена в сборнике.

Хочется отметить плодотворную работу составителя и автора предисловия Е. Ряузовой, которая дала возможность нашим читателям познакомиться с поэзией Юга Африки.

АНАТОЛИЙ СОФРОНОВ

Издано за рубежом

НЕУСТАРЕВАЮЩИЙ ЖАНР

Атанас Свиленов. Събеседници. София. Български писател, 1975. Атанас Свиленов. С повея на април. София. Български писател, 1976.

За сравнительно короткий период Атанас Свиленов выпустил две книги, в которых собраны интервью с крупнейшими представителями современной болгарской литературы. Ознакомление с ними убеждает нас в том, что поиски А. Свиленова оказались плодотворными. Литература этого несколько забытого у нас жанра являет собой не только любопытное чтение, но и серьезный материал для настоящих и будущих исследований литературных процессов.

Интервью Свиленова — не результат случайных бесед, как это бывает у иных интервьюеров; оно всегда тщательно обдумано и старательно подготовлено. В книгу «Собеседники»[1] включены анкеты, над которыми автор работал много лет.

Конечно, есть и такие интервью, которые получились сразу, спонтанно — искра контакта возникла при счастливых обстоя-

[1] Интервью с Б. Райновым из этой книги опубликовано в «ИЛ» № 9, 1975.

тельствах, и потребовалось меньше энергии, чтобы «расколоть» ядро. Но под интервью с Эмилианом Станевым мы читаем: декабрь 1968 — май 1973 года. Выходит, что над этим интервью автор работал около пяти лет! И вовсе не потому, что писатель необщителен — хотя такое представление о нем и существует,— а потому (как поясняет А. Свиленов в начале), что Эмилиан Станев не любит говорить о чем попало и где попало. Для него единственный серьезный повод для разговора — недавно вышедшая книга.

Из этого интервью читатель узнает так много о любимом писателе, видит его и в будничные и в праздничные дни его творчества. Именно во время беседы с критиком выдающийся беллетрист высказывает неудовлетворение своей повестью «Тырновская царица» — явление довольно редкое, чтобы не сказать небывалое, в нашей литературе. Свиленов умеет сообщать разговору естественный ход, умеет так настроить собеседника, чтобы присутствие интервьюера его не тяготило. Поэтому у читателя и создается ощущение, что сам он тоже присутствует при разговоре.

К различным писателям Свиленов подходит по-разному. Интервью с П. Вежиновым он начинает так, словно речь будет идти вовсе не о литературе, Радичкова же он атакует фронтально, вопросом, заимствованным у французского радио: «Какой вы?..» Не повторяясь, Свиленов одинаков лишь в одном: к каждому писателю он относится с неподдельным интересом и благоговением И этим в значительной степени объясняется успех его интервью. Потому что в искусстве сохранение каких-либо ценностей связано и со своего рода консерватизмом — разве само искусство не есть стремление удержать улетающее мгновение?

Но это вовсе не значит, что Свиленов замирает в смятении перед вратами таинственной лаборатории. Благоговение и преданность искусству не мешают ему, а напротив, являются надежным оружием, с помощью которого он овладевает и самыми недоступными «крепостями». С помощью этого оружия Свиленову удалось собрать много интересной и разнообразной информации об объектах своих анкет. Глубина исповедей покоряет и самого предубежденного читателя, из этих бесед можно извлечь значительно больше, чем из некоторых литературных портретов. Биографические, исторические, эстетические, философские элементы находятся тут в такой сложной, но естественной, органичной амальгаме, что читателю трудно определить, какой же из элементов преобладает. В сущности, для этого вопроса не остается времени, и, как говорил Вольтер, скука нас не посещает.

Над второй книгой — «Веяния апреля» — автор работал меньше времени, но это ни в какой степени не умаляет значения помещенных в ней интервью. Тематически эти интервью связаны единым как политическим, так и культурно-эстетическим моментом, каковым является апрель 1956 года в новейшей истории Болгарии; и сама книга представляет собой нечто новое в жанре литературной анкеты. Будущим исследователям она будет служить не только как источник информации, но и как психография, в разных аспектах исследующая воздействие политических событий на творческую судьбу и на литературный процесс в целом.

В виде пожелания хочется отметить необходимость библиографического аппарата, которым следовало бы снабдить обе книги, что только бы повысило их ценность. Может быть, в будущем, когда автор расширит и круг интервьюируемых писателей, и круг обсуждаемых проблем, он сам почувствует необходимость это сделать.

КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ

г. София

ЗАНОВО ОТКРЫВАЯ ПРОШЛОЕ...

Rafael Abellа. La vida cotidiana durante la guerra civil. La España republicana. Barcelona, Editorial Planeta, 1975.

В романе «Рыжие сестры» испанского писателя Франсиско Гарсиа Павона, написанном еще в 1969 году[1], один из персонажей многие годы после окончания гражданской войны скрывался в доме приютившей его вдовы, лишь изредка выходя на улицу по ночам. Но едва ли даже в самой Испании, читая этот роман, кто-либо мог тогда представить, что у персонажа Павона имелся реальный прототип,— об этом не знал даже автор «Рыжих сестер». Теперь его имя известно. Это Перес Идальго — после войны он партизанил в горах Малаги и Кадиса, а с 1947 года нашел пристанище в заброшенной пастушьей хижине Эль Серро, где жил в вырытом им подполе Полиция случайно напала на его след лишь в начале 1977 года. Идальго был задержан, предстал перед судом. Его отпустили, так как в любом случае он попадал под амнистию. «Об этом можно было бы написать роман,— сказал Идальго корреспондентам из журнала «Камбио-16».— Я чудом сохранил разум: у меня то и дело возникало чувство, что я перестал быть человеком...»

Жизненный факт и на этот раз оказался безжалостней, нежели придуманная художником ситуация, которая многими воспринималась как условная, а то и просто фантастическая. И сейчас, после смерти Франко и краха фашистского режима, испанцы открывают подобных фактов множество, как бы заново открывая и само прошлое. Так, многие только сейчас узнали, что уже давно известно всему миру: Гернику разбомбили не республиканцы, как твердила франкистская пропаганда, а

[1] Роман Ф. Г. Павона известен советскому читателю по публикации в «Иностранной литературе» (№ 3 за 1976 г.).

посланный Гитлером в помощь каудильо легион «Кондор». И что Федерико Гарсию Лорку убили не случайно в ходе перестрелки, а хладнокровно расстреляли под Гренадой, не отметив даже места, где он захоронен. Что...

Впрочем, список подобных «открытий» можно продолжать без конца. Важно другое — факты и события прошлого превосходят самый смелый вымысел. Именно поэтому документальная «литература свидетельства», ярким примером которой является и книга Рафаэля Абельи «Повседневная жизнь в годы гражданской войны (республиканская Испания)», в последнее время приобрела в Испании наибольшую популярность. Даже художественная литература стремится вскрыть подоплеку недавней политической жизни. Не случайно список наиболее читаемых произведений возглавляют романы Хесуса Торбадо «Сегодня, такого-то числа...» и Рамона Тамамеса «История Элио» — своего рода художественно-политические утопии, причем в романе Торбадо действие развивается в вымышленной Испании, где по воле автора в 1939 году победили республиканцы.

Чисто же документальные книги — мемуары, популярно написанные труды по новейшей истории и социологии, сборники документов — становятся подлинными бестселлерами Работа Рафаэля Абельи выделяется среди них благодаря тому, что в ней по-новому освещаются события в Испании 1936—1939 годов, — тема, очень близкая всем испанцам и миллионам других людей.

По этому вопросу, как утверждает видный английский испанист Хью Томас, на Западе написано даже больше, чем о второй мировой войне (это не удивительно, так как война в Испании была прологом — и исключительно драматичным — к решающей схватке с фашизмом). Но в самой Испании при Франко на эту тему избегали писать серьезные труды. И достоинство книги Абельи не только в том, что она написана непосредственным участником событий. Дополняя свой рассказ обширным фактическим материалом (документы, выдержки из газет и журналов, фотографии, свидетельства очевидцев), автор воссоздает панораму жизни в республиканской зоне Испании в ту суровую тысячу дней, что длилась борьба народа против фашизма. Он показывает, как и чем жили рядовые люди, какие шли кинофильмы и постановки в театрах, сколько выдавали хлеба по карточкам, как выглядели многочисленные варианты песеты и, пользуясь выражением Хемингуэя, «какая была погода». Все это придает книге убедительность и способствует разрушению франкистских мифов. Еще недавно в Испании события 1936—1939 годов именовались не иначе как «славный крестовый поход» против «красных». А первые же строки краткого введения к книге звучат так: «18 июля 1936 года Испания была до основ потрясена военным мятежом...» Оказывается, как это важно: всего лишь назвать белое белым, а черное черным. Да, то был мятеж реакции, ударной силой которой стали консервативные генералы, выступившие против законного, созданного в результате выборов правительства республики.

Автор почти в бытовом плане («повседневная жизнь...») повествует о том, что испытали тогда миллионы испанцев. За несколько часов люди были разделены причудливыми, быстро меняющимися линиями фронтов — они прошли через самое сердце народа, во многих случаях разлучив отцов и сыновей, братьев и сестер. «От этого варварского удара,—пишет Абелья,— Испания раскололась надвое».

По официальной франкистской историографии, азы которой долго—но, как теперь выясняется, со скромным конечным результатом — пытались вдолбить нескольким поколениям испанцев, участники «крестового похода» с первых же дней начали одерживать «славные» победы, и лишь «международный коммунистический заговор» привел к появлению в Испании «чужаков» из интернациональных бригад и оттянул на три года триумф всехристианнейших воителей Франко, якобы поддержанных народом. Иной предстает картина на страницах книги Абельи. Повседневная жизнь в районах, оставшихся под контролем законного правительства, в первые недели после 18 июля походила на «фиесту»: ведь народ, почти без оружия быстро сломивший сопротивление путчистов во всех крупных городах страны, во всех основных промышленных районах (мятежники взяли верх лишь в наиболее отсталых провинциях и в Северной Африке, где находилась созданная в ходе колониальных войн армия под командованием самых реакционных офицеров), праздновал победу. «Безусловно, распределение территорий и ресурсов было исключительно благоприятным для правительства,— пишет Абелья — Что могли сделать мятежники без судов (военно-морской флот перешел под контроль революционно настроенных матросов и офицеров.— **Х. К.**), локализованные в узкой аграрной полосе от Арагона до Галисии?» Лишь мощная поддержка, оказанная мятежникам со стороны Гитлера и Муссолини, изменила ход событий. Для многих за пределами Испании все это — истины азбучные, но для многих испанцев — это открытия, помогающие окончательно порвать с франкистским прошлым.

Особенно важными, причем не только для испанского читателя, представляются те разделы книги Абельи, в которых он касается так называемого «революционного террора». Тема эта острая, зачастую утрированная литературой (вспомним некоторые сцены из романа «По ком звонит колокол» Хемингуэя, очерки Экзюпери).

Опираясь на факты и свидетельства очевидцев, Абелья показывает, какая сложнейшая ситуация возникла в республиканской зоне в годы борьбы, когда наружу прорвалась сметающая все на своем пути волна народного гнева. Порой нарушался правопорядок. Правительственный механизм

республики, по сути буржуазно-демократической, был парализован. Гарантами порядка стали многочисленные комитеты и патрули, которые, вооружившись в момент подавления мятежных гарнизонов, продолжали «чистку» от фашистских элементов. Единого руководящего центра у этого стихийного народного движения не было — наравне со Всеобщим союзом трудящихся, ориентировавшимся на социалистическую партию (около двух миллионов членов), действовала Национальная конфедерация трудящихся, насчитывавшая 1 млн 800 тыс. человек и находившаяся под контролем анархо-синдикалистов, а также множество самых пестрых, гяготеющих к анархизму, да и просто весьма темных организаций. Коммунистическая партия была в тот момент малочисленной — лишь в процессе дальнейших событий она стала быстро разрастаться, возглавив сопротивление франкизму и борьбу за упрочение революционного порядка в стране. Ситуация осложнялась тем, пишет Абелья, что наиболее сознательные рабочие, студенты, служащие отправились на фронт и в тылу остались менее сознательные элементы, а зачастую и примазавшиеся.

Примечателен рассказ Абельи о том, как на границе с Францией местные вожаки Иберийской анархистской федерации долго не пропускали через границу правительственную делегацию во главе с членом парламента Долорес Ибаррури, направлявшуюся в Париж для переговоров о закупке для республики оружия в счет денег, депонированных во французских банках, и организации актов солидарности с испанским народом. Даже в этом случае дело едва не окончилось самосудом над представителями правительства, и лишь мужество и хладнокровие Пасионарии, заставившее анархистов отступить, позволило делегации приехать во Францию.

К чести для республики, пишет Абелья, в отличие от своих врагов, она никогда не пыталась скрыть суровую правду «хаотического лета» 1936 года и с первого же дня вела энергичную и неустанную борьбу против самосудов «Не позволим, чтобы республика утонула в крови! Революционная законность — да! Убийства — нет!» Этот призыв постоянно звучал со страниц газет, в выступлениях министров и лидеров, занимавших подлинно революционные позиции. И порядок постепенно восстанавливался, законность укреплялась. Пресса, не придавая значения тому, что враги республики во враждебной зоне и других странах могут спекулировать на ее откровенности, систематически разоблачала все акции самосуда, решительно отмежевываясь от них и призывая испанцев к нетерпимости по отношению к анархии. И хотя после «хаотического лета» предстояла суровая борьба против «пятой колонны», законность продолжала восстанавливаться. Позже такая позиция подвергалась весьма суровым испытаниям. Абелья приводит случаи, когда после варварских бомбардировок фашистской авиации, в результате которых гибли ни в чем не повинные дети, женщины и старики, массы разъяренных людей пытались ворваться в тюрьмы, где содержались фашисты. На пути их, подвергая риску собственную жизнь, вставали истинные революционеры. И автор подчеркивает: «Об аналогичных эпизодах в националистической (то есть франкистской.— **Х. К.**) зоне мне еще никто не поведал».

С тех пор прошло сорок лет. В Испании начинается новая страница ее истории. И когда в страну возвращаются видные деятели республики, до сих пор жившие в изгнании, а все еще существующая ультраправая печать пытается подогревать страсти, спекулируя на «преступлениях» этих людей, в ответ со страниц большей части испанской прессы звучат аргументы: «Если мы вновь примемся за старые счеты, не известно, кто окажется больше виноватым. Во всяком случае, те, что сейчас возвращаются на родину, защищали, как могли, законное правительство Сейчас надо думать о другом — о строительстве новой, демократической Испании, в которой подобное не сможет повториться!»

Созданию такой политической и нравственной атмосферы в стране способствует также распространенная сейчас в Испании «литература свидетельства», которую представляет и книга Рафаэля Абельи.

ХУАН КОБО

РАЗГОВОР О НАСУЩНЫХ ПРОБЛЕМАХ

Franz Josef Degenhardt. Brandstellen. München, Autoren Edition bei, Bertelsmann, 1975.

«Пожарища» — так многозначительно назвал свою новую книгу Франц Йозеф Дегенхардт, роман которого «Бикфордов шнур» был опубликован в «Иностранной литературе» [1]. Очень важное место в новой книге писателя занимает изображение антимилитаристской борьбы трудящихся и всех прогрессивных сил ФРГ направленной против военных полигонов НАТО и в целом против идеологии гонки вооружений. Возможно, не все здесь будет понятно читателю, который сам не был свидетелем политической жизни Западной Германии в последнее время: диалоги и описания насыщены историческими соотнесениями и намеками на политические события в ФРГ

Особое внимание Дегенхардт уделяет исследованию одной из наиболее остро стоящих сегодня в нашей стране политических проблем — проблеме анархизма. Взрывы и

[1] См. № 1, 2 за 1976 г.

пожары, то и дело возникавшие в последние годы в ФРГ, свидетельствовали об активной «политической» деятельности разного рода анархистских групп. Такими пожарищами кормятся целая армия полицейских и буржуазная пресса, которая использует их для ежедневных нападок на левых. Писатель подчеркивает, что анархизм по сути дела служит реакции. В романе показано, как политическая реакция в ФРГ под флагом борьбы против террористских группировок организует подавление всяких демократических движений.

Автору удалось убедительно изобразить взгляды и деятельность анархистки Карин Кунце. Герой книги — симпатизирующий левым адвокат из Гамбурга Бруно Каппель — думает о ней: «Ее или застрелят, или сгноят в тюрьме». Карин — молодая женщина, живущая «только мечтой о революции», которая, правда, представляется ей итогом террористской деятельности небольших левых группировок. Писатель пытается объяснить, к чему в конечном счете ведет «активизм» Карин и ее группы, независимо от того, насколько чисты и благородны исходные мотивы их действий. Дегенхардт показывает, что прокламируемая группой «народная война» в Западной Германии представляет собой всего лишь «игру в революцию». На мой взгляд, многое в образе героини напоминает судьбу Ульрики Майнхоф, которая после продолжительного тюремного заключения не так давно покончила с собой в одной из западногерманских тюрем. Это случилось при загадочных обстоятельствах, и подробности ее смерти до сих пор полностью не выяснены. Но как бы там ни было, в основе ее заблуждений лежало неверие в силы рабочего класса, в его способность правильно оценить положение и вступить в борьбу Я познакомился с Ульрикой еще до того, как она стала анархисткой, и уже тогда спорил с ней по ряду вопросов.

Адвокат Каппель, посвятивший себя защите людей, стоящих на прогрессивно-левых позициях, разыскивает свою прежнюю подругу и единомышленницу Карин Кунце, чтобы убедить ее порвать с группой анархистов. В поисках Карин он попадает в так называемую Малую Швецию — заповедник, который должен стать военным полигоном. За сохранение заповедника выступают многие прогрессивно настроенные граждане ФРГ — люди различных профессий и политических взглядов. Учреждается гражданский комитет, координирующий выступления против сооружения нового военного полигона НАТО. С другой же стороны — и это показано Дегенхардтом правдиво и убедительно — государственные власти используют все имеющиеся в их распоряжении средства, чтобы нейтрализовать общественное мнение и попытки противодействия, начиная с клеветнических сообщений в печати и засылки провокаторов до жесточайшего подавления. В книге описано, как протекала одна из «общественных» дискуссий на тему «Малая Швеция—место отдыха или военный полигон?»

«Город кишел полицией. Звездообразно расставленные машины перекрывали центральные улицы. Здание было окружено тройным кольцом кордонов. Его охраняли танки, водометы, конная жандармерия и своры овчарок; само же здание было охвачено двойной цепью из пятисот полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Перед всеми входами дежурили машины «скорой помощи». А в небе кружились два вертолета». Характерно, что это описание почти до деталей совпадает с картиной действительного события, разыгравшегося через несколько месяцев после выхода романа в свет, когда население, протестовавшее против строительства атомной электростанции в Вюле, столкнулось с жестокими полицейскими мерами.

Дегенхардт изобличил в романе практически все методы, которые применяются для подавления демократических движений. Из той части книги, где рассказывается о так называемых «исполнительных органах», с очевидностью явствует, какой обкатанный и мощный аппарат мобилизован для борьбы с теми, кто, согласно официальному мнению, считается левыми и, следовательно, находится под подозрением.

Книга затрагивает много текущих политических проблем, являясь своего рода хроникой современной действительности ФРГ. И это тоже можно отнести к числу достоинств романа, потому что книг, отражающих политическую жизнь ФРГ семидесятых годов, все еще до крайности мало. «Запад дик, и тяжела профессия адвоката», — такую ироническую характеристику дал один буржуазный критик роману Дегенхардта, словно никогда не слышал о практикующихся в нашей стране запретах на профессии, направленных против демократически настроенных граждан, или о массовых демонстрациях сотен тысяч молодых людей, протестующих против существующей у нас системы обучения. Подобные высказывания лишь подтверждают, что Дегенхардт написал очень злободневную книгу.

По сравнению с предыдущим романом, которому не хватало психологической убедительности, «Пожарища» характеризует большая глубина художественного проникновения в действительность. И, конечно, на каждой странице здесь чувствуется поэт-песенник Дегенхардт, умеющий короткой и емкой фразой выразить наиболее существенное.

ГУБЕРТ КУШНИК

Из месяца в месяц

АВСТРАЛИЯ

АЛАНУ МАРШАЛЛУ 75 ЛЕТ

Один из известнейших и любимых писателей и у себя на родине, и за ее рубежами — Алан Маршалл 2 мая 1977 года отмечает свое 75-летие.

Человек большого личного мужества, Алан Маршалл, несмотря на тяжкий физический недуг, много сделал для людей своей страны. В годы второй мировой войны Маршалл был корреспондентом фронтовой газеты. Позднее он писал об австралийских тружениках в путевых заметках «Это мой народ», в романе о рабочих-обувщиках Мельбурна «Как прекрасны твои ножки», в многочисленных рассказах. Он жил среди аборигенов на Северной территории Австралии, собирая их легенды, которые позднее вошли в книгу «Люди незапамятных времен». Маршалл выступал за равноправие коренных жителей австралийского материка в книге очерков «Мы такие же люди».

На родине признание пришло к писателю не сразу. Эстетствующая критика считала его «приземленным» только потому, что Маршалл предпочитал всем другим героям тружеников австралийской земли.

На снимке: Алан Маршалл.

Переведенные в Советском Союзе книги Маршалла быстро нашли своего читателя и завоевали популярность. Многократно, большими тиражами в нашей стране издавались его автобиографические повести «Я умею прыгать через лужи», «Это трава, что повсюду растет», «В сердце моем», а также другие книги, выходившие как на русском, так и на других национальных языках Советского Союза.

Знают творчество Маршалла и в других социалистических странах, где переведены и изданы его произведения. В Чехословакии, кроме того, поставлен фильм по книге «Я умею прыгать через лужи», которому сам писатель дал высокую оценку.

В последние годы австралийская кинематография, лишь недавно начавшая избавляться от иностранной зависимости, «открыла» для себя рассказы Маршалла. Многие из них экранизированы и стали достоянием массового австралийского зрителя.

Алан Маршалл полон творческих сил и продол-

жает свою плодотворную литературную деятельность. Известен он и как общественный деятель, выступающий за дружбу с СССР: уже не первый год Маршалл — председатель общества «Австралия — СССР».

АВСТРИЯ

«СЫН СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО РАБОЧЕГО»

Так называется роман Михаэля Шаранга. Его герой, двадцатилетний Франц Вурглавец, не хочет работать в сельском хозяйстве. Окончив профессиональную школу, он устроился каменщиком на стройку, принадлежащую небольшой местной фирме. Несмотря на скромный заработок, Франц задается целью построить собственный дом, в котором будет жить со своей будущей женой. На этом доме сосредоточены все помыслы главного героя. Чтобы наскрести денег и довести строительство до конца, он выкладывается до предела на работе, а когда и этого оказывается недостаточно, начинает красть со стройки нужные ему материалы. За это он попадает в тюрьму, а там, тяжело переживая крушение всех своих жизненных планов, кончает жизнь самоубийством.

Как отмечает рецензент журнала «Кюрбискерн» Луц Хольцингер, маленькая деревушка в Бургенланде, место действия романа, не имеет ничего общего с идиллическими картинками австрийских ландшафтов на страницах рекламных проспектов для иностранных туристов. Бургенланд, с его давнишней ориентацией на сельское хозяйство и земледелие,— один из наиболее отсталых в экономическом отношении районов Австрии.

Основной конфликт развивается между главным героем романа Францем Вурглавецем и инженером Хольтером, возглавляющим фирму. Социально-дифференцированный подход к материалу, показ двух полюсов общества в их противостоянии, отмечает рецензент, придает роману особую точность социальных характеристик. Возможно, именно эта социальная заостренность и вызвала сдержанное отношение к роману у рецензента газеты «Ди цайт» Вольфганга Промье, который в своей заметке о романе Шаранга упрекает писателя в том, что мотивы поступков героев выводятся не из их глубинной психологии, а определены их социально-экономическими отношениями.

В противовес ему Хольцингер утверждает, что роман Шаранга, при его двуплановости, — полноценное художественное произведение, а не социологическое исследование. Писатель показывает повседневную жизнь своих героев через отношения их друг к другу. Их чувства, желания и помыслы раскрываются в конкретных действиях, которые вместе с тем оказываются всегда социально обусловленными. Шаранг, пишет Хольцингер, воспроизводит в своем романе действительность Австрии, давая читателю точное представление об обществе, где жестокие законы конкурентной борьбы, борьбы за выживание, пронизывают все человеческие отношения.

«Читатели часто спрашивают,— пишет Хольцингер,— почему такой безысходный конец? Франц, молодой пролетарий, еще совершенно незнакомый с традициями многолетней борьбы рабочего класса, отказывается от всякой помощи, от контакта с товарищами, считая, что только в одиночку сможет построить собственное счастье. И поэтому гибнет. Шаранг показывает, что у рабочих людей есть только одно оружие против жестоких законов капитализма — их солидарность в совместной борьбе. А сплочением рабочих занимаются коммунисты и на том предприятии, где работает Франц».

АНГЛИЯ

ЗАВЕРШЕНИЕ ТРИЛОГИИ

«Единственно правдивый конец» — последний роман трилогии С. Барстоу, выпущенный издательством «М. Джозеф» (первая часть «Любовь... любовь?..» была опубликована в «ИЛ» № 11—12 за 1965 год, вторая вышла под названием «Наблюдатели на берегу»).

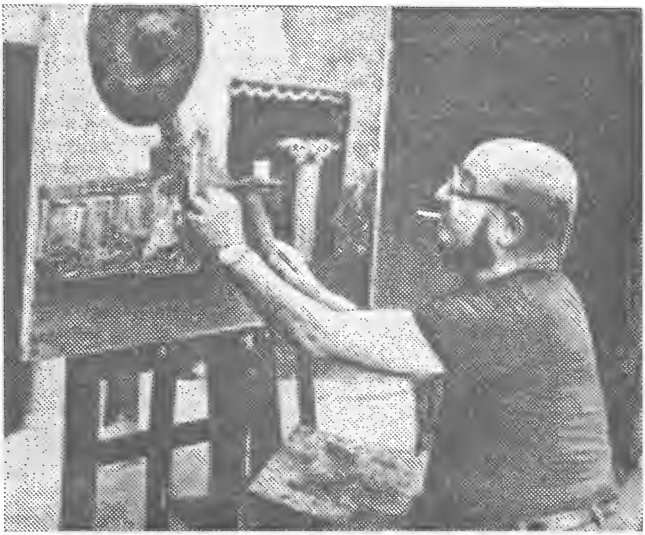
В новом романе перед читателем, пишет литературный обозреватель еженедельника «Нью стейтсмен», повзрослевший и погрустневший герой трилогии Вик Браун. Он мало чем похож на зеленого подростка из романа «Любовь... любовь?..» Неплохо образованный для рабочего паренька, теперь он живет не в своем родном краю — на севере, а на юге Англии, занимает сравнительно прочное социальное положение, зарабатывает около 6000 фунтов в год, разведен после неудачного брака с Ингрид, первой его любовью. У Вика была довольно долгая связь с актрисой по имени Донна, но и она кончилась разрывом, который герой до сих пор мучительно переживает.

Внешнее благополучие, замечает рецензент «Таймс литерари сапплмент» С. Лим, не принесло Вику счастья: по собственным словам героя, «жизнь ничего не оставила ему, кроме пропуска в одиночество». Эти невеселые раздумья и составляют, пишет рецензент, костяк романа. Правда, к концу повествования жизнь Вика несколько упорядочивается: случайно он вновь встречается с Донной, узнает, что у нее ребенок, как выясняется — его, и они вновь соединяются.

Рецензент «Нью стейтсмен» дал очень сдержанную оценку роману. Причину неудачи писателя он видит в том, что Барстоу пишет о среде, которую знает лишь «понаслышке». Стихия С. Барстоу — рабочая среда, ее интересы, ее нравы, идеалы. Когда же он берется описывать жизнь

среднего класса или аристократических кругов, проза его становится фальшивой, искусственной. Лучшими страницами романа рецензент считает те, где С. Барстоу вновь воспроизводит хорошо знакомую ему жизнь в Йоркшире, на севере страны.

Рецензент литературного приложения к «Таймс» в целом разделяет это мнение. Роман раздражает его неправдоподобием типов и характеров, примитивностью и определенным упрощением социальной проблематики: паренек из рабочего класса интегрируется обществом «массового потребления» и превращается в лондонского чинушу.



На снимке: Антонио Берни в своей мастерской.

(Журнал «Висьон»)

АРГЕНТИНА

70-ЛЕТИЕ АНТОНИО БЕРНИ

В Буэнос-Айресе торжественно отмечено 70-летие выдающегося аргентинского художника, одного из ярких представителей современной реалистической живописи Антонио Берни.

«Когда умрет живопись, умрет и человек»,—эти слова Антонио Берни в одном из интервью как бы иллюстрируют глубочайшую его убежденность в том, что современный художник немыслим вне живой связи с обществом и его интересами.

Антонио Берни использует нередко самые разнообразные материалы в своих работах. В материале, выбираемом художником, по его мнению, уже заключено определенное мировоззрение, отношение к тому миру, в каком он вращается и творит. «Чистые эстеты,— говорит Антонио Берни,— думают, что высокий художественный уровень достигается самим благородством материала. Авангардисты полагают, что акриловые краски, сталь, алюминий могут иметь самодовлеющую ценность. Но это — оптический обман... Для меня главное не в этом — главное в том, *для чего я использую* мои кисти и краски».

Свою кисть аргентинский художник отдал народу. На его полотнах отражена жизнь простых тружеников, жителей бедняцких районов — «вилья мисерия». Именно здесь, в трущобах Буэнос-Айреса, родились и персонажи его картин.

Живописную манеру раннего периода творчества Антонио Берни критики сравнивают с манерой Диего Риверы и Давида Альфаро Сикейроса. В 30-е годы им были созданы такие боевые реалистические полотна, как «Земледельцы», «Демонстрация», «Безработные». В 1943 году Берни была присуждена Большая премия Национальной выставки Аргентины.

БОЛГАРИЯ

«ПИШУ — ЗНАЧИТ ЛЮБЛЮ»

Лиляна Стефанова известна не только как одна из ярких болгарских поэтесс, но и как страстный публицист. За сборник очерков «Вулканы Мексики» несколько лет назад она была удостоена Димитровской премии. К публицистическому жанру относится и ее привлекшая внимание критики последняя книга «Пишу — значит люблю».

В ней, отмечает рецензент еженедельника «Литературен фронт», Л. Стефанова взволнованно пишет о борьбе за мир и свободу, против расизма и неоколониализма в возрождающихся странах Азии, Африки и Латинской Америки; о выдающихся общественных деятелях прошлого и настоящего, в частности, о таких известных представительницах революционного движения современности, как Цола Драгойчева и Анджела Дэвис; она размышляет о поэзии Пушкина и творчестве советских и болгарских поэтов; вспоминает о студенческих годах, проведенных в Москве.

Книга ее разнообразна не только по тематике, но и по форме — здесь и путевой очерк, и эссе, и проблемная статья. Особое место занимают страницы, посвященные Советскому Союзу и советским людям, с которыми Лиляну Стефанову, выпускницу московского Литературного института име-

ни А. М. Горького, связывает давняя дружба. В цикле, озаглавленном «Вы принесли этот мир», в новой книге Лиляны Стефановой, как подчеркивает болгарская критика, отразились лучшие черты ее таланта — тонкая наблюдательность, высокая культура, умение открывать новое в будничном и привычном, но главное — искренняя и горячая любовь к тому, о чем она пишет, и прежде всего к советской стране.

ЛУЧШИЕ ФИЛЬМЫ МИНУВШЕГО ГОДА

XIV Варненский кинофестиваль определил лучшие болгарские фильмы минувшего года. Высшая награда фестиваля — Золотая роза — присуждена создателям художественного фильма «Дополнение к закону о защите государства»: режиссеру Людмилу Стайкову, сценаристу Ангелу Вагенштейну, оператору Борису Янакиеву, композитору Симеону Пиронкову и группе актеров. В фильме, по мнению болгарских обозревателей, глубоко и объективно исследовано положение, сложившееся в Болгарии в 1923—1925 годах. То было трудное, героическое для болгар время — борьба болгарских коммунистов против наступления фашистской реакции, военно-фашистский переворот 9 июня 1923 г. и июньское антифашистское восстание, подготовка и проведение Сентябрьского вооруженного антифашистского восстания, его кровавое подавление. Как подчеркнул в интервью журналу «Филмови новини» постановщик фильма Л. Стайков, авторский коллектив стремился объективно показать болгарский фашизм образца 1925 года и тот мучительный путь поиска форм противодействия ему, который стал частью революционной биографии болгарских коммунистов.

К лучшим фильмам года отнесен и «Циклоп», поставленный режиссером Христо Христовым. Вместе с ним награду фестиваля получили оператор фильма Венец Димитров, композитор Кирилл Цибулка и актриса Невена Коканова. Этот фильм, посвященный острым нравственным проблемам современности, по словам обозревателя журнала «Филмови новини», «никого не оставляет равнодушным».

Приз фестиваля был присужден также режиссеру Любомиру Шарланджиеву, сценаристу Константину Павлову, художнику Александру Лякову и оператору

На снимке: кадр из фильма «Дополнение к закону о защите государства».

(Журнал «Филмови новини»)

Цанчо Цанчеву за фильм «Воспоминания о близких» — сложное, многоплановое эпическое полотно.

Среди фильмов, отмеченных первой премией,— «Бой последний» (режиссер З. Хеския, сценаристы Св. Бычварова, Н. Русев, З. Хеския, оператор В. Чичов, композитор К. Дончев) — суровый и величественный партизанский эпос, посвященный героической эпопее антифашистского движения Сопротивления в Болгарии в период второй мировой войны.

Второй премии была удостоена картина «Сверчок в ухе» (сценарист Н. Русев, режиссер Г. Стоянов, актеры И. Финци и Ст. Мавродиев). Это фильм о современности, о проблеме взаимоотношений города и села, о миграции сельского населения в города. Авторов фильма привлекли прежде всего философско-нравственные аспекты этой актуальной темы. (Кстати, в настоящее время режиссер Людмил Кирков работает над экранизацией книги «Матриархат» известного писателя Георги Мишева, также посвященной этой теме.)

Приз за лучшую экранизацию литературного произведения получили режиссер Васил Мирчев и группа актеров, работавших с ним над фильмом «Сноха»,— по одноименному роману классика болгарской литературы Георги Караславова. Сценарий фильма — известного писателя и общественного деятеля Слава Хр. Караславова. «Экранизация романа Георги Карасла-

На снимке: кадр из фильма «Сверчок в ухе».

(Журнал «Филмови новини»)

вова «Сноха»,— писал журнал «Филмови новини», — еще раз свидетельствует о постоянных и закономерных связях болгарского кинематографа и болгарской литературы».

Для прошедшего года вообще характерна успешная работа в кинематографе многих болгарских писателей — прежде всего Слава Хр. Караславова, Николы Русева, Георги Мишева.

Другой характерной чертой прошедшего кинематографического года стала совместная работа болгарских и советских кинематографистов, в частности, постановка фильма «Солдат из обоза» («ИЛ» № 7, 1976 г.). Советский актер Н. Кузнецов получил на фестивале специальную награду за исполнение одной из главных ролей в фильме — Олеся Казанка.

Венгерский режиссер Тибор Хорват создал телефильм «Серая шляпа» по пьесе известного эстонского драматурга Арди Лийвеса (сценарий Габора Турзо).
На снимке: исполнители главных ролей в телефильме «Серая шляпа» Ласло Сачван и Эстер Вереш.

(Журнал «Фильм, синхаз, мюжика»)

ВЕНГРИЯ

ВЕНГЕРСКИЕ ИЗДАТЕЛИ — НАВСТРЕЧУ ВЕЛИКОМУ ОКТЯБРЮ

По сообщению прессы, около двух десятков названий из продукции венгерских книгоиздательств этого года выйдут под знаком «К 60-летию Великой Октябрьской социалистической революции». От издания трудов В. И. Ленина, работ мемуарного и документального характера, произведений советской литературы, отражающих период становления советской власти, и до специальных выпусков для детей и юношества и памятных изданий для библиофилов — таков диапазон отклика на знаменательную годовщину. Среди готовящейся к изданию литературы большое место занимает тема «Ленин — вождь революции и первого в мире социалистического государства». Лениниана пополнится двумя антологиями лучших в мировой литературе стихотворений о Ленине, одну из которых под названием «Ленин жив» переиздает изд-во им. Мора, а изд-во «Магветэ» включает в свой сборник «Ленин в мировой литературе» не только широко известные стихотворения о Ленине, но и дополняет издание произведениями, написанными в последние десятилетия. Издательство «Корвина» подготовило юбилейное издание «Образ Ленина в изобразительном искусстве», куда включены репродукции произведений, начиная с 1910 года и до наших дней. Из сопроводительного текста читатель узнает о художниках, запечатлевших образ В. И. Ленина, и об истории создания того или иного произведения.

Подборки воспоминаний современников и подлинных документов той эпохи позволят воспроизвести атмосферу великих преобразований. «Поколение Ленина» — под таким названием изд-во «Гондолат» выпустит сборник воспоминаний, писем, статей Горького, Луначарского, Фрунзе, Майского, Драбкиной и других современников революции; публикуемые материалы расскажут о культурной политике молодого советского государства, зарождении советской дипломатии, первых шагах в научных изысканиях. В художественной форме события Октябрьского восстания — на основе документов и воспоминаний современников — воспроизводит книга П. И. Капицы «Завтра будет поздно» (изд-во им. Кошута). Несомненный интерес представит и сборник исторических документов «Так видели революцию современники», где на основе фактических материалов читатель сможет убедиться, как восторженно приняли Октябрьскую революцию лучшие представители венгерской культуры.

Подрастающему поколению о событиях 1917 года, о значении великой революции расскажет целый ряд изданий, подготавливаемых к печати изд-вом им. Мора. В серии «Иллюстрированная история» 4-м изданием выйдет пользующаяся большой популярностью у юного читателя работа Петера Фельдеша «Великий Октябрь». Специальный выпуск «В день рождения революции», задуманный как руководство для школьной сцены, подскажет, как организовать торжественные программы

и вечера в школе. Большой познавательной ценностью обладают цветное, богато иллюстрированное издание «Мы знаем, кем был Ленин», а также «Альбом о городе революции», посвященный Ленинграду.

Интересным изданием порадует читателей изд-во им. Кошута: в антологии «Свет Октября» стихотворения будут напечатаны на языке оригинала и в переводе на венгерский. А библиофилы смогут пополнить к юбилею свою коллекцию двумя новыми миниатюрными изданиями: «Декрет о мире» с воспроизведением текста на русском языке (изд-во им. Зрини) и книгой Д. Миллеи «Венгры в борьбе за первую в мире Советскую державу», посвященной венгерским интернационалистам.

В фильме Петера Фойгта «Последовательность» рассказывается о судьбе двенадцати молодых западногерманских коммунистов, ставших жертвами закона «о запрете на профессии».

На снимке: кадр из фильма «Последовательность».

(Газета «Нойес Дойчланд»)

«СЛОВАРЬ СИНОНИМОВ ВЕНГЕРСКОГО ЯЗЫКА»

Как сообщает венгерская газета «Мадьяр немзет», готов к выходу в свет первый в истории Венгрии словарь синонимов. Его подготовила старший научный сотрудник Института языкознания Венгерской Академии наук Ева Ружицки. Вот что рассказала она на страницах газеты: «В работе над словарем был использован опыт самых различных и многочисленных изданий такого рода: от первого в мире словаря синонимов французского лингвиста Габриэля Жирара и английского словника Джона Траслера до современных русских, польских, чешских синонимических словарей. Но, естественно, главным источником служили венгерские толковые словари: вышедшие еще в конце прошлого века этимологический словарь Цуцора — Форгата, словари Баллаги, Ласло Балашши и другие. По-настоящему серьезная научная работа по подготовке словаря синонимов стала возможной лишь после 1945 года. Этот труд был поручен известному венгерскому лингвисту, одному из ведущих редакторов Большого и Краткого венгерских толковых словарей Габору О. Надю. Трагическая смерть настигла его в самый разгар работы».

С 1973 года, указывается далее в газете, начатое им дело продолжила Ева Ружицки. Работала она над словарем в течение четырех лет. Редактором данного издания является Йожеф Юхас, коллега Габора О. Надя по редактированию этимологических словарей.

Однотомный «Словарь синонимов венгерского языка» состоит из 11 тысяч заглавных слов и 25 тысяч их синонимов. Он ориентирован на людей, профессионально работающих со словом: писателей, переводчиков, журналистов, преподавателей.

ГДР

ПЕРВЫЙ РОМАН БЕНИТО ВОГАЦКОГО

Бенито Вогацкий, долгое время известный в основном как автор сценариев телевизионных фильмов (см. «ИЛ» № 12, 1968 г. и «ИЛ» № 9, 1975 г.), выпустил сборник рассказов, высоко оцененный критикой. Недавно, отвечая на анкету еженедельника «Зоннтаг», писатель рассказал о работе над первым своим романом, который под названием «Романс с Амелией» выходит в издательстве «Нойес лебен» (отрывок из него был напечатан в газете «Берлинер цайтунг»).

Действие книги развивается в маленькой деревушке в последний период второй мировой войны и первые послевоенные месяцы. В центре повествования — шестнадцатилетний Юрген Зибуш. Он мечется, не в силах разобраться в сложных, противоречивых событиях своего времени, и понастоящему взрослеет лишь после многих личных переживаний.

«Меня очень волнует, как примут читатели мой первый роман,— сказал Вогацкий.— Ведь это совершенно новый для меня жанр. Правда, друзья, уже прочитавшие книгу, говорят, что из нее тоже можно сделать сценарий для фильма, но это уже другой вопрос...»

«Берлинер цайтунг» отмечает поэтичность и боль-

шое чувство юмора, свойственные повествовательной манере автора в первом его романе. В какой-то мере, по мнению газеты, он поможет читателям лучше понять недавнее прошлое.

СОВРЕМЕННЫЙ РОМАН О ПОЭТЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Четверть века назад берлинский студент-филолог Эбергард Хильшер обратился с письмом к Томасу Манну, творчество которого он с увлечением изучал. Особенно его занимал поздний роман Т. Манна «Избранник», представляющий современную переработку средневековой легенды. Прославленный писатель ответил студенту — началась содержательная переписка.

Теперь Эбергард Хильшер — известный литературовед и прозаик; двенадцать писем Т. Манна к нему публикуются в качестве приложения к монографии Хильшера «Томас Манн», выдержавшей ряд изданий. Э. Хильшеру принадлежат также труды об А. Цвейге, Г. Гауптмане, эссе, рассказы.

Недавно в издательстве «Ферлаг дер национ» вышел первый роман Эбергарда Хильшера «Утренняя звезда, или Четыре превращения Вальтера фон дер Фогельвейде». Жизнеописание крупнейшего мастера немецкой средневековой лирики дано на широком историческом фоне — перед читателем проходят картины рыцарского и народного быта, феодальных междоусобиц, государственных и религиозных конфликтов. Вальтер фон дер Фогельвейде, певец любви и свободы, встает в романе как человек, опередивший свою эпоху. Многолетние размышления над прозой Томаса Манна не прошли для Хильшера бесследно. Он вносит в историческое повествование философски обобщающий элемент, уверенно владеет искусством стилизации и пародии; романист перемежает рассказ о жизни Вальтера фон дер Фогельвейде размышлениями о проблемах нашего времени, утверждая в своеобразной художественной форме идеи гуманизма и мира между народами.

ФРГ

ПРОБЛЕМЫ ЗАПАДНОГЕРМАНСКОЙ КИНЕМАТОГРАФИИ

Западногерманская пресса бьет тревогу в связи с положением в кинематографии ФРГ. «Мы, кажется, достигли состояния, которое можно назвать близким к нулю»,— повторяет журнал «Шпигель» слова одного из кинопродюсеров. Приводятся и другие, еще более категоричные высказывания: «Если в западногерманской кинематографии не произойдет революционных перемен, можно опасаться, что очень скоро мы окажемся не у дел. Это был бы единственный в мире случай, когда исчезнет национальное кино».

«Хотя такие фразы кажутся чересчур драматичными,—пишет «Шпигель»,— произносят их люди, знающие положение дел». В подтверждение журнал приводит такие цифры: в 1956 году кинотеатры ФРГ посетило 818 млн. зрителей, в 1976 году — всего 117 млн. За эти же двадцать лет резко снизилась в прокате доля западногерманских фильмов: в 1956 году 120 работ кинематографистов ФРГ составляли около половины проката, в прошлом году 58 фильмов представляли всего лишь 12,9% проката. Журнал подводит итог: все меньшее число фильмов западногерманского производства смотрит все меньшее число зрителей ФРГ. Соответственно сокращаются доходы кинопромышленности.

Слабеют и позиции западногерманского кино на мировом рынке. Сейчас, констатирует «Шпигель», его доля в мировом кинопрокате составляет лишь около 3%, в то время как у США вместе с Канадой — 50%.

Причины называются разные. Владельцы кинотеатров и кинопродюсеры жалуются на «равнодушие и недооценку кино» со стороны средств массовой информации, на конкуренцию телевидения. Упреков заслуживают и многие кинорежиссеры, чьи работы не вызывают интереса зрителей. Но все пишущие на эту тему единодушно считают, что значительную долю ответственности за создавшееся положение несет государство, не оказывающее западногерманскому кинопроизводству достаточной помощи.

ДАНИЯ

ТЕАТР — РАБОЧИМ ДАНИИ

У труппы «Фиолтеатрет» давно сложилась хорошая традиция: давать представления на заводах и фабриках для главных своих зрителей — рабочих. В конце прошлого года «Фиолтеатрет» неоднократно выступал перед копенгагенскими рабочими со своим новым спектаклем «Чем теснее наша сплоченность, тем мы сильнее». Газета датских коммунистов «Ланд ог фольк» опубликовала интервью с руководителями труппы — Ханной Андерсон, Осе Хансеном, Петером Хетчем.

«В основе сюжета нашей последней пьесы лежат события, связанные с недавней забастовкой рабочих-автомехаников,— сказал П. Хетч.— Мы много беседовали с рабочими, старались не пропустить ни одного газетного сообщения об этой забастовке. И только после этого приступили к созданию пьесы. Речь в ней идет о рабочих автомеханических мастерских, но мы поставили своей целью затронуть проблемы, волнующие весь датский пролетариат».

«На последней репетиции присутствовали руководите-

ли профсоюза автомехаников,— рассказала Х. Андерсон.— Они помогли нам своими советами и замечаниями, которые мы учитывали, когда готовили окончательный вариант постановки».

«Необходимо отметить,— подчеркнул О. Хансен,— что каждый рабочий должен лично участвовать в деятельности своего профсоюза, тогда работа этой организации будет наиболее эффективной. В последней постановке нашего театра мы как раз и показываем, какую большую роль играют профсоюзы в борьбе датского пролетариата с крупным капиталом».

Немалый вклад в эту борьбу, констатирует обозреватель «Ланд ог фольк», вносит и коллектив «Фиолтеатрет».

ИНДИЯ

КИНО — БИЗНЕС

Индийская печать все чаще выражает тревогу по поводу ситуации, сложившейся в сфере производства и проката фильмов. Дух коммерции господствует в киноиндустрии, отмечает пресса. Дельцы, в чьих руках находится индийская кинематография, рассматривают кинематограф лишь как одну из форм бизнеса. «Нет поэтому ничего удивительного в том,— пишет газета «Джан юг»,— что основную часть продукции индийского кинематографа составляют коммерческие фильмы либо дешевые боевики-детективы, рассчитанные на низкий художественный вкус невзыскательной публики».

Поскольку подавляющую часть фильмов такого рода поставляют кинокомпании Бомбея, то для их характеристики в индийской кинокритике утвердилось выражение «бомбейская болванка». В картине, созданной по «бомбейской болванке», присутствуют все атрибуты коммерческих фильмов: погони, стрельба, драки, поножовщина, убийства и, конечно же, секс. Обычно такой фильм насыщен сценами «сладкой жизни», которой предается знать в фешенебельных отелях или на аристократических курортах, расположенных где-нибудь в живописных горах или на берегу лазурного моря...

Так как основная цель выпуска подобного рода фильмов — обеспечить максимально высокие кассовые сборы, для участия в этих фильмах приглашаются лучшие актеры, завоевавшие любовь и признательность индийского зрителя. «Скупая таланты, коммерческий кинематограф развращает и зрителя, и актера»,— отмечает газета.

Прогрессивные деятели индийской культуры решительно выступают против засилия коммерческого ки-

ИРАК

Как отмечает журнал «Проект», национальное керамическое искусство Ирака переживает эпоху расцвета. Своими корнями оно уходит в глубь веков. Именно в Ираке был изобретен первый гончарный круг. Знаменитая иракская глина служит народным умельцам для создания зверей, утвари, божков. На снимке: произведение народного иракского художника.

(Журнал «Проект»)

нематографа. Выдающаяся индийская киноактриса Наргис в одном из своих выступлений заявила, что индийскому кино не следует слепо копировать западные образцы; резко отзывался о подобных тенденциях в индийской кинематографии и известный комический актер Джонни Вокар.

ИСПАНИЯ

ДВЕ НОВЫЕ КНИГИ КАРЛОСА АЛЬВАРЕСА

В Испании первый сборник стихов известного советским читателям испанского поэта Карлоса Альвареса увидел свет лишь в 1969 году. И вот теперь на родине поэта изданы сразу две его новые книги.

Первая из них, «Стихи мрачного времени», написана в тюрьме, куда поэт был заключен за то, что напечатал несколько статей в датской прессе.

Ощущение мрачной тюремной действительности пронизывает в большей или меньшей степени все стихотворения сборника. Но из этого мрака рождаются свободное слово, надежда, любовь к жизни, которые стремятся победить «медленное сумеречное молчание», «слепую ночь». Лирический герой Альвареса — человек, лишенный свободы, брошенный в насильственное одиночество, но не впадающий в отчаяние. Как пишет в журнале «Инсула» критик Эмилио Мирó, «Стихи мрачного времени» являются кульминацией гражданской лирики — поэт через личное переживание сумел передать переживания многих, противопоставил долгой ночи и несправедливой гибели песню жизни и надежды. Это впечатляющее выступление современного испанца против всех врагов свободы и человеческого достоинства.

Первая книга Альвареса по форме своей традиционна, пожалуй даже классична (большая часть вошедших в нее стихотворений — сонеты), вторая же, «Вой ликантропа», написана в подчеркнуто современном, модернистском духе. В ней перемешиваются поэзия и проза, фантастика и реальность, ирония, сатира. Автор явно отдает дань столь популярному в современной литературе мифотворчеству. Его герой, он же рассказчик, человек-волк Ларри Толбот — некое литературно-кинематографическое чудовище, его и окружают уроды и страшилища, точно сошедшие с экрана фильмов ужасов или со страниц комиксов. Но в то же время он в какой-то степени отражение самого автора, его биографии, он тоже был «заключенным», «узником»; да и за другими чудовищами встает вполне реальная, ничуть не сказочная в своей кошмарности действительность. Э. Мирó оценивает эту книгу как безусловную удачу поэта.

В одном из своих интервью Карлос Альварес сказал: оружие поэзии в том, что она обращается к человеческой совести. Этому девизу поэт верен и в своих новых книгах.

ЗАЯВЛЕНИЕ САРЫ МОНТЬЕЛЬ

Всемирно известная испанская певица и актриса Сара Монтьель (советские зрители видели ее в фильмах «Мое последнее танго» и «Королева Шантеклера») отказалась участвовать в ежегодном «международном фестивале песни», который должен состояться в Винья дель Мар, в Чили. В ответ на это заявление чилийское посольство в Мадриде выступило с инсинуациями по адресу Сары Монтьель, противопоставляя певице ее соотечественника и коллегу Камило Сесто, который «не погнушался» гастролями в Чили и сообщил о своем намерении приехать на фестиваль.

На снимке: Сара Монтьель во время выступления на концерте.

«После того, как сеньор Камило Сесто побывал «в гостях» у Пиночета, в народе его метко прозвали «Камилочет»,— сказала актриса репортерам, интересовавшимся ее окончательным решением,— я не изменю своих намерений относительно поездки в Чили и не дам испанцам повода прозвать меня «Сарой Мончет».

ИТАЛИЯ

БАЛЛАДА О ПОЭТЕ И ПОЛИТИЧЕСКОМ ДЕЯТЕЛЕ

Спектакль труппы «Кооператива театроджи» — «Скандальная жизнь молодого поэта» Николы Сапонаро — начал свое шествие по театрам страны во время фестиваля «Унита» в Неаполе, где он был поставлен на открытой арене перед более чем пятью тысячами зрителей. С большим успехом прошел затем этот спектакль в римском «Театро тенда».

Главный герой, вокруг которого сосредоточивается все сценическое действие,— поэт и политический деятель Рокко Скотелларо, проживший недолгую, но яркую жизнь. Он умер почти четверть века назад, в 1953 году, в возрасте 30 лет. Эпитет «скандальная» в названии пьесы приобретает в данном случае иное, чем

обычно, значение, он говорит о том общественном «скандале», который вызывала в правящих кругах поэзия и политическая деятельность Рокко Скотелларо.

На сцене воскрешается почти вся его жизнь. Важнейшие исторические события послевоенных лет отражаются на судьбе жителей луканского городка Трикарико. Здесь двадцатилетний поэт Скотелларо был избран мэром, победив на выборах кандидата партии «хозяев» — землевладельцев. На глазах у зрителей разворачиваются эпизоды его деятельности на этом посту: борьба за новые правовые нормы для батраков, движение за захват крестьянами необрабатываемых земель, стремление перестроить жизнь своих соотечественников. Спектакль воспроизводит и трагические эпизоды в биографии поэта, когда он по фальшивому обвинению был заключен в тюрьму, однако вскоре был полностью оправдан.

Спектакль о поэте и общественном деятеле решен в жанре народной баллады. Рецензенты отмечают прекрасное исполнение в пьесе роли Рокко актером (он и режиссер спектакля) Бруно Чирино, так же как очень простое и вместе с тем изобретательное сценографическое ее решение (художник Бруно Буонинконтри).

На снимке: сцена из спектакля «Скандальная жизнь молодого поэта». В роли Рокко Скотелларо Бруно Чирино.

(Газета «Паэзе сера»)

КАНАДА

«ОЧАРОВАННОЕ ЛЕТО» ГАБРИЭЛЬ РУА

В издательстве «Макклелланд энд Стюарт» вышла на английском языке книга одной из старейших и популярнейших писательниц франкоязычной Канады Габриэль Руа.

Предыдущие книги Г. Руа, пишет рецензент, отличались резко социальной направленностью. Ироничные, порой насмешливые, они доказывали, что никакой сельский уют, никакая «пасторальная» безмятежность не могут служить убежищем для тех, кто вырвался из душной атмосферы современного города. Но то, что она отрицала в своих ранних книгах, сейчас ею утверждается. Именно поэтому, заканчивает рецензент свою статью, появление «Очарованного лета» стало неожиданностью для многих почитателей таланта Г. Руа.

КОНГО

КНИГИ СТИХОВ ЭЖЕНА САМЫ

В парижском издательстве П. Ж. Освальда вышла книга стихов Эжена Самы «Дипломатические поэмы». Автору ее немногим более тридцати лет, родился он в деревне Отомбоко (район Макуа), окончил Педагогический институт Центральной Африки, был профессором английского языка, затем дипломатом.

Острые пропагандистские статьи Э. Самы часто появляются в печати, но стихи свои он прежде не публиковал. Поэтому появление его поэтического сборника сразу же было отмечено прессой. Сборник открывается авторским предисловием, в котором Э. Сама пишет, что политическая деятельность расширила его горизонты, помогла ему оценить боевую действенность слова, поэтического в особенности.

Э. Сама пишет о свободе, мире, красоте, о вечном и мудром народе. Его стихи — призыв к борьбе с силами зла, где бы они ни проявлялись: в Конго, где погиб Патрис Лумумба, в Чили, где убили Альенде.

Книга Э. Самы, как отмечает еженедельник «Этумба», свидетельствует о ярком даровании и большой ответственности поэта за судьбу своего народа.

КУБА

МУЗЫКА В «КАСА ДЕ ЛАС АМЕРИКАС»

Научно-исследовательский и пропагандистский центр латиноамериканской культуры на Кубе «Каса де лас Америкас» проводит большую работу по расширению контактов латиноамериканских композиторов, певцов и музыковедов.

За минувшие десять лет «Каса де лас Америкас» организовал немало крупных мероприятий. В 1967 году в Гаване прошла первая встреча исполнителей «песен протеста», в которой приняли участие певцы Латинской Америки, Европы и США. В 1972 году состоялась Встреча латиноамериканских музыкантов. Дважды собирались в Гаване исполнители народных латиноамериканских песен — панамские «десимисты», «пайядорес» из Аргентины, венесуэльские и колумбийские исполнители «хороло», певцы из перуанского города Куско. По приглашению «Каса де лас Америкас» на Кубе побывали известные исследователи латиноамериканской музыкальной культуры Дора Перес де Сарате (Панама), Кармен Сордо Соди (Мексика), популярные исполнители Анхель и Исабель

На снимке: пластинки, знакомящие кубинцев с лучшими образцами латиноамериканской музыки.

(Журнал «Боэмия»)

Парра (Чили), Даниэль Бильетти (Уругвай), ансамбль «Лос Тровадорес» (Аргентина).

Отдел музыки «Каса де лас Американас» в последние годы издал большое количество пластинок, знакомящих кубинцев с лучшими образцами латиноамериканской музыки. Вышли пластинки с записями Виолеты Парра, Сары Гонсалес, Виктора Хары, кубинских певцов «Нузва трова» — Сильвио Родригеса, Пабло Миланеса, Ноэля Никола. Выпущена пластинка с записями песен, посвященных Че Геваре, а также альбомы дисков, посвященных Встрече латиноамериканских музыкантов.

В настоящее время отдел музыки «Каса де лас Американас» стал подлинно исследовательским центром, располагающим большим фондом музыкальных партитур и магнитофонных записей. Это — одна из крупнейших музыкальных коллекций на континенте.

МАЛАЙЗИЯ

ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА НАЦИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

Как сообщает куала-лумпурская газета «Санди таймс», в конце прошлого лета министерство культуры Малайзии объявило национальный конкурс на лучший короткий рассказ. По условиям конкурса были учреждены две первых премии — для начинающих прозаиков и для зрелых писателей. Всего на конкурс поступило более трехсот рассказов. Победительницей конкурса «молодых» стала восемнадцатилетняя студентка университета Хелена Чан Хюи Менг, которая получила первый приз за рассказ «Открытое окно», опубликованный в «Санди таймс».

МАЛИ

ЖИЗНЬ АФРИКАНСКОЙ ЖЕНЩИНЫ

По сообщению журнала «Жён Африк», Большой литературной премии Черной Африки, присуждаемой Ассоциацией франкоязычных писателей, удостоена малийская общественная деятельница Ауа Кейта за книгу «Африканская женщина. Жизнь Ауа Кейты, рассказанная ею самой», вышедшую в парижском издательстве «Презанс африкен» в 1976 году.

Ауа Кейта принадлежит к числу первых малийских женщин, получивших образование и занимавшихся общественной деятельностью еще до провозглашения независимости. Она была активисткой партии Суданский союз, малийской секции Африканского демократического объединения.

Естественно и просто рассказывает Ауа о своем детстве. Мать ее никак не могла примириться с мыслью, что дочь ходит в школу вместо того, чтобы вместе с другими девочками оставаться у очага и заниматься домашним хозяйством. Она долго сопротивлялась и придумывала множество причин, чтобы удержать дочку дома, а иногда просто запрещала ей выходить на улицу. Но настойчивость любознательной девочки победила. Она окончила школу и, нарушив обычаи, стала работать самостоятельно.

Жизнь А. Кейты неразрывно связана с историей страны. Профсоюзная и политическая борьба занимает большое место в ее повествовании. Она включилась в нее в 1931 году. Трудно, а иногда и страшно было приехать в глухую малийскую деревню и агитировать там. Ей угрожали не только старейшины племени — женщины, ради которых она приехала, с проклятиями изгоняли ее, не понимая, что она печется об их благе, об их будущем.

Книга А. Кейты, по мнению критика журнала «Жён Африк», не сухое изложение фактов, интересных сами по себе. Непосредственность, простота изложения, яркие описания местных обычаев, введение в текст сказок — все это сделало книгу А. Кейты ярким явлением литературной жизни Африки.

МОНГОЛИЯ

ДРЕВНОСТЬ И СОВРЕМЕННОСТЬ В РАБОТАХ МОНГОЛЬСКИХ ФИЛОЛОГОВ

По сообщению еженедельника «Утга зохиол урлаг», в Институте языка и литературы Академии наук МНР состоялась научная конференция, посвященная проблемам теории и истории монгольского стихосложения. «Особенности древнего стиха монголов и тюрков», «Вопросы развития

Молодой монгольский художник Н. Соднома, как пишет журнал «Монголия», является одним из лучших в МНР художников-графиков. Им выполнены иллюстрации к произведениям таких крупных прозаиков и поэтов, как С. Эрдэнэ, Ц. Гайтав, Ч. Чимида, Б. Явуухулан, М. Цэдэндорж, Ч. Лхамсурэн.

На снимке: одна из работ Н. Соднома.

(Журнал «Монголия»)

жанров современной монгольской поэзии», «Язык и стиль современной поэзии Монголии» — таков далеко не полный перечень докладов и сообщений, заслушанных на конференции.

Коллектив одного из старейших научных учреждений Монголии — Института языка и литературы АН МНР ведет исследовательскую работу по широкому кругу проблем лингвистики, важных для монголоведения и традиционно связанной с ним тюркологии, а также занимается вопросами литературоведения, охватывающими большой период в развитии национальной культуры. Средн специалистов хорошо известны труды монгольских филологов по исследованию литературного наследства, по истории современной монгольской литературы. Располагая ценнейшими фондами рукописей ксилографов, фольклорных записей, филологи публикуют в своих изданиях уникальные тексты, среди которых немало образцов народного поэтического творчества.

В издательских планах института — академическая история монгольской литературы, исследования о связях монгольской литературы с литературами народов стран Востока и другие работы.

НОРВЕГИЯ

РОМАН О МОЛОДЕЖИ

В издательстве «Гюльдендаль» вышел роман Рольфа Сагена «Ночная работа».

Молодой писатель, автор двух романов и двух сборников стихов, на этот раз адресует свою книгу широкой читательской аудитории. Тема романа — молодежь, ее нравственные и духовные поиски, ее бунт против навязываемых обществом стереотипов образа жизни и морали.

«Книга читается с большим интересом,— пишет рецензент газеты «Фрихетен».— Герои романа, молодая пара Эстен и Оддни, внешне и внутренне ничем не примечательны: он — студент, она — служащая магазина. Но оба они страдают от чувства одиночества, от духовного вакуума в обществе с тотально потребительским климатом».

КНИГА ИНТЕРВЬЮ

В издательстве «Пакс» вышла книга интервью с лесорубамн Норвегии — «Красиые леса». Редактор и составитель ее Стейн Тэннесон представляет читателям три поколения рабочих-коммунистов. В своих монологах-исповедях они повествуют о тяжких годах экономического кризиса, о трагическом периоде оккупации Норвегии фашистскими захватчиками, о легальной и подпольной борьбе с фашизмом и фашистской идеологией, о положении рабочего в современном буржуазном обществе.

«Книга «Красные леса» — ценный вклад в современную публицистику»,— пишет рецензент датской газеты «Ланд ог фольк».

ПОЛЬША

СТОЛЕТИЕ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ЯНУША КОРЧАКА

Как сообщает газета «Жице Варшавы», в стране широко будет отмечаться

столетие со дня рождения замечательного педагога, писателя, врача и общественного деятеля Януша Корчака.

Юбилейные торжества возглавит Председатель Совета Министров Петр Ярошевич.

Создан юбилейный Комитет, в который наряду с учеными, видными общественными деятелями, педагогами вошли и писатели — Ярослав Ивашкевич, Ян Щепаньский, Казимеж Козьневский, Халина Аудерская.

Комитет утвердил программу проведения торжеств. Помимо других мероприятий предполагается провести международную научную сессию, посвященную Янушу Корчаку, а также издать его биографию на многих языках.

Вся жизнь Януша Корчака была отдана воспитанию сирот в детских домах довоенной Польши. Он был замечательным педагогом, его труды «Право ребенка на уважение», «Шутливая педагогика», «Правила жизни», статьи, написанные в период 1900—1936 гг., передают его врачебный и педагогический опыт в тяжелых условиях буржуазной Польши.

Януш Корчак писал книги для взрослых и для детей. Его повести «Лето в Михалувке» и «Король Матиуш Первый» переведены на русский язык.

Когда гитлеровцы оккупировали Польшу и детский дом, которым руководил Януш Корчак, отправляли в лагерь смерти, Янушу Корчаку предложено было остаться, но он не бросил детей и предпочел разделить их трагическую участь.

Именем Корчака названы в Польше десятки школ, Домов ребенка и других учебно-воспитательных заведений. После войны его произведения были изданы в Польше общим тиражом 800 тыс. экземпляров.

ЮНЕСКО внесло столетие Корчака в список юбилейных дат выдающихся людей, деятельность которых имеет мировое значение.

СНОВА О ТЕЛЕФИЛЬМЕ «ДИРЕКТОРА»

Газета «Жице Варшавы» поместила интервью с создателями многосерийного телефильма «Директора» (см. «ИЛ» № 4, 1976 г.), получившего Государственную премию и премию «Гран-при» на недавно состоявшемся Первом фестивале телеспектаклей и телефильмов «Ольштын-77».

Фильм вызвал широкие отклики в печати, а польское телевидение получило 70 тысяч писем телезрителей — свидетельство того, что фильм затронул вопросы, волнующие многих людей.

Збигнев Хмелевский, режиссер картины, сказал: «Мы подняли острые, глубоко меня волнующие вопросы современности, стремясь побороть равнодушие зрителей к «производственной» тематике. То, что благодаря фильму «Директора» состоялся откровенный разговор с многомиллионной аудиторией, результат преодоления нами самими комплекса «осторожности» в показе действительности во всей ее сложности и противоречивости».

Автор сценария Александр Миньковский подчеркнул, что в картине затронуты наболевшие вопросы и производства, и отношений между людьми, которые раньше с такой откровенностью не воспроизводились на экране. «В большинстве писем телезрителей выражена просьба продолжить эту серию — доказательство того, что тема «Человек — работа» далеко не исчерпана в фильме «Директора», — сказал А. Миньковский, призывая польских кинематографистов развивать ее и дальше.

РУМЫНИЯ

«ГОД САДОВЯНУ» В РУМЫНСКОЙ КРИТИКЕ

В 1976 году в СРР вышло три серьезных исследования, посвященных творчеству М. Садовяну: «Садовяну — основные темы творчества» З. Сынджеорзана, «Мир героев Садовяну» П. Марчи и «Садовяну, или Утопия книги» Н. Манолеску.

Выступая на устроенной еженедельником «Контемпоранул» дискуссии по итогам литературного года, Л. Ульич назвал 1976 год «годом Садовяну в критике».

«Н. Манолеску, П. Марча и З. Сынджеорзан оценива-

Театр Повшехны в Лодзи инсценировал роман известного польского писателя Ежи Путрамента «Болдын». Автор инсценировки Кшыштоф Селицкий, режиссер спектакля Роман Клосовский

На снимке: Влодимеж Саар в роли Болдына и Зыгмунт Малянович в роли Зиберта.

(Журнал «Театр»)

ют творчество писателя с разных позиций, да и уровень исследования у них различный, — отмечает критик.— Но при всех различиях в их работах есть нечто общее: стремление рассеять укоренившиеся парадоксальные предрассудки, в том числе и тот, что творения великого писателя ныне не актуальны».

Столь же высоко оценивают значение появившихся исследований и другие критики. Ал. Добреску, рецензент еженедельника «Конворбирь литераре», подчеркивает, что все эти работы вышли в год, когда отмечается пятнадцатилетие со дня смерти М. Садовяну. «Возможно ли более убедительное доказательство любви и уважения к большому писателю!.. — пишет он.— И это тем более знаменательно, что авторы указанных исследований принадлежат к разным поколениям и придерживаются различных литературных направлений».

Рецензенты единодушно отмечают, что работы трех румынских критиков удачно дополняют друг друга.

В труде З. Сынджеорзана рассматриваются — в свете последних достижений современного литературоведения — темы, наиболее характерные для автора стотомного собрания.

Работа П. Марчи раскрывает социальную сущность любимых садовяновских героев — крестьян, горных пастухов, гайдуков, жителей маленьких городов.

Н. Манолеску, по мнению рецензента «Конворбирь литераре», «не только предлагает самую оригинальную из всех известных до сих пор интерпретаций творчества писателя в целом, но и определяет его место в идейно-художественном ареале Юго-Восточной Европы, где так тесно переплетались культурные веяния Востока и Запада».

ИЗДАТЕЛЬСКИЕ ПЛАНЫ НА 1977 ГОД

Три знаменательные даты отмечает в нынешнем году социалистическая Румыния: столетие со дня завоевания независимости, семидесятилетие крестьянского восстания, потрясшего основы буржуазно-помещичьего государства в 1907 году, тридцатилетие Народной республики. Редакции журналов «Ромыния литераря» и «Лучафэрул» обратились в этой связи к руководителям издательств с просьбой рассказать, как готовятся книжные центры страны отметить указанные даты.

Как явствует из ответов, издательство «Минерва» осуществляет обширный план переиздания произведений классиков, в том числе В. Александри, Г. Кожбука, М. Садовяну, М. Эминеску и других, в чьем творчестве нашли отражение события, связанные с тремя важнейшими датами в истории Румынии.

Издательство «Албатрос» намечает выпуск около 150 книг. Среди них знаменитая поэма «1907» Т. Аргези, произведения Ал. Ивасюка, Ал. Миродана, А. Бландианы, А. Баранги и других.

В планах издательства «Эминеску» — несколько сборников одноактных пьес и стихотворений для самодеятельных театральных и музыкальных коллективов, участвующих во всенародном фестивале «Песнь Румынии», который впервые будет проводиться в честь отмечаемых дат. В них представлены произведения В. Теодореску, П. Эверака, М. Бенюка, В. Николеску, Г. Томозея и др.

Руководители издательств перечисляют также названия ряда альманахов, поэтических антологий, очерковых книг, сборников писем участников исторических событий. Многие прозаики и драматурги завершают работу над историческими романами и пьесами на те же темы.

Особенно знаменательно, подчеркивается во многих материалах, публикуемых в эти дни румынскими газетами и журналами, что отмечаемые даты олицетворяют те давние традиции дружбы и совместной борьбы, которые характеризовали отношения между Румынией и Россией на протяжении веков. Победа в войне 1877 года освящена кровью русских и румынских воинов, пролитой на полях совместных битв. События 1907 года были отзвуком революционных боев в России 1905 года.

Установление народной власти в стране стало возможным лишь после победы над фашизмом, в завоевании которой бок о бок с советскими войсками участвовали и румынские подразделения. Эти прочные традиции дружбы, скрепленные совместно пролитой кровью, найдут свое отражение в готовящихся к изданию работах «1877 год — Отечественная война за не-

В театре им. Ноттара в Бухаресте с большим успехом прошла пьеса Виктора Розова «Четыре капли».
На снимке: Маргарита Погонат в роли Нины Сергеевны и Санду Стиклару в роли Зосимова.

зависимость», «От Народной республики к социалистической Румынии», «Великая Октябрьская революция и Румыния» и многих других.

СИРИЯ

РАССКАЗЫ О СОПРОТИВЛЕНИИ

Сирийским министерством культуры и национальной ориентации выпущен сборник рассказов палестинского писателя Халиля ас-Савахири «Кафе Башура». В рецензии, опубликованной журналом «Аль-Марифа», иорданский критик Махмуд Шукейр пишет: «Этот сборник посвящен периоду после израильской оккупации арабских земель в результате агрессии, совершенной в июне 1967 года. В нем показаны картины борьбы арабского палестинского народа против оккупационного режима, начиная от распространения листовок и организации забастовок и демонстраций и кончая вооруженным сопротивлением. В книге правдиво отражены будни массового сопротивления на оккупированной территории, включающего в себя самые различные формы борьбы».

В рассказах ас-Савахири читатель встречается с представителями разных слоев населения оккупированного Западного берега Иордана. Здесь и палестинские партизаны, и сторонники пассивного сопротивления, и колеблющиеся обыватели, и открытые пособники оккупантов. Автор показывает, как все больше людей втягивается в открытую борьбу с захватчиками. Среди участников Сопротивления и женщины — участницы антиизраильских демонстраций, и рабочие, и представители мелкой буржуазии, занимавшие прежде выжидательную позицию.

Рассказы ас-Савахири, заключает иорданский критик,— свидетельство стойкости и мужества палестинцев, живущих на оккупированной территории и ежедневно сталкивающихся с оккупантами, должны послужить стимулом для создания новых произведений, рисующих борьбу арабского народа Палестины за освобождение своей родины и за право на самоопределение.

США

«ВРЕМЯ ПОДЛОСТИ»

Вышедшая в прошлом году мемуарная книга известного драматурга и прозаика Лилиан Хеллман «Время негодяев» (речь в ней идет о временах маккартизма начала пятидесятых годов, когда власти США развернули кампанию преследований демократически настроенной интеллигенции под предлогом «борьбы с коммунизмом») подвергается ожесточенным нападкам реакционной печати. Журнал «Энкаунтер», выходящий в Англии, поместил в февральском номере статью профессора Стэнфордского университета Сидни Хука, задавшегося целью опорочить мужественную писательницу, которая, будучи вызвана в 1950 году в пресловутую «комиссию по расследованию антиамериканской деятельности» при конгрессе США, отказалась, несмотря на угрозу тюремного заключения, сообщить «компрометирующие» сведения о ряде прогрессивных деятелей театра и кино.

Смысл статьи Хука, построенной на нелепых измышлениях об американских коммунистах, сводится, по существу, к оправданию реакционных государственных деятелей США и малодушных интеллигентов, которые ради своекорыстных интересов помогали «охоте за ведьмами», в результате чего одни «инакомыслящие» оказались за решеткой, а другие были лишены возможности заниматься творческой работой. Ослепленный ненавистью к Советскому Союзу, объявляя коммунистов «врагами демократии», Хук сознательно игнорирует тот исторический факт, что именно Страна Советов сыграла решающую роль в освобождении человечества от смертельной угрозы гитлеровского фашизма.

Резким контрастом с этим злобным выпадом антикоммуниста предстают оценки, которые дает книге Л. Хеллман американская демократическая печать. Обозреватель журнала «Политикал афферс» Дэниел Мэйсон, не закрывая глаз на ряд существенных недостатков книги (в частности, он считает, что автором не раскрыта истинная причина появления маккартизма в США), пишет:

«Книга Хеллман преподносит читателям, в памяти которых те времена не сохранились, обнаженный, ужасающий облик подлеца и угодника. Она открывает ту главу гнусной истории, которая касается кино и театра. Жертвами лжи и обмана оказались сотни и тысячи людей, которых преследовали не за их поступки, а за их убеждения и за отказ выступить предателями и лжесвидетелями».

В числе этих жертв, напоминает Мэйсон,— руководящие деятели компартии, «голливудская десятка», Поль Робсон, Уильям Дюбуа и многие другие честные американцы.

Волна ненависти, обрушившаяся на автора книги «Времена негодяев», попытки западной пропаганды реабилитировать маккартизм, давно осужденный американской общественностью, изобличают тех, кто, обвиняя сегодня Советский Союз в нарушениях «прав человека», пытается свалить вину с больной головы на здоровую.

СОРОК ЛЕТ СПУСТЯ

Новая книга Эрскина Колдуэлла «К вечеру в центре Америки», вышедшая в нью-йоркском издательстве «Додд энд Мид», представляет собой дневник путешествия автора по не-

скольким штатам, расположенным западнее Миссисипи, по тем местам, где происходит действие лучших книг писателя, созданных им в начале 30-х годов,— романов «Табачная дорога» и «Акр господа бога». Колдуэлл верен теме, которая оставалась для него важнейшей на всем протяжении его творческого пути,— теме «одноэтажной» Америки; он вновь обращается к жизни рядовых американцев, с большим сочувствием изображая их повседневные заботы, трудности, борьбу, свершения, мечты. На страницах книги читатель встретит десятки мастерски очерченных характеров, в которых воплотились лучшие душевные качества трудового народа Америки. В повествование включены записанные Колдуэллом рассказы его персонажей о суровых временах «великой депрессии», которые нашли отражение в «Табачной дороге» и других произведениях молодого прозаика. Новая книга как бы возвращает читателей Колдуэлла к самому началу его творческого пути, позволяет ощутить верность писателя своей главной теме и глубокое, органичное единство всего его творчества.

В книге создана живая и достоверная картина того края, который вошел в американскую литературу под названием «колдуэлловской страны»: распаханные до самого горизонта поля Джорджии, поселки нефтяников, индейские резервации с их бескрайней нищетой, негритянские деревни, в которых почти не видно молодежи, устремившейся в города. Колдуэлл сам вырос в этих краях, и он с грустью вспоминает о своем детстве, когда впервые столкнулся с несправедливостью и человеческим горем. Память возвращает писателя к годам его наивысшего литературного успеха, к встречам со многими знаменитыми своими современниками — Фолкнером, Хемингуэем, Стейнбеком.

Рецензент журнала «Паблишерз уикли» пишет о книге Колдуэлла: «Это бесхитростное повествование, в котором нет и следа претенциозности, и хотя автор не ставит перед собой особенно сложных задач, его рассказ завораживает и увлекает, как лучшие произведения такого жанра».

ФРАНЦИЯ

КНИГИ О НАРОДНОМ ФРОНТЕ

«Да здравствует Народный фронт!» — так называется книга воспоминаний Люси Мазорик, выпущенная издательством Плон, о годах подъема левого движения во Франции с февраля 1934 года до начала второй мировой войны. Она рассказывает о деятельности писателей и журналистов, создавших еженедельник Народного фронта «Вандреди» и руководивших его работой. В «Вандреди» сотрудничали писатели и журналисты, которые внесли значительный вклад во французскую литературу: Андре Шамсон, Жан Геенно, Андре Вюрмсер, Андре Ульман, Андре Виоллис, художники Жан Брюллер, ставший впоследствии писателем Веркором, и Жан Эффель.

«Книга написана тепло и сердечно»,—отмечает Андре Вюрмсер в «Юманите», подчеркивая, что большое место в ней уделено Андре Шамсону — его жизни, произведениям и любви (Люси Мазорик — жена писателя, спутница всей его жизни). Годы, описанные в книге Люси Мазорик,— тот период в жизни Шамсона, когда он играл активную роль в честной, полезной, благородной работе, которая помогала становлению Народного фронта и борьбе с фашизмом.

«Борясь за лучший мир с великим энтузиазмом,— пишет Люси Мазорик,— мы были совершенно убеждены в своей правоте, в том, что наши враги неправы, в том, что правда истории на нашей стороне».

«Да, правда истории на нашей стороне»,—подтверждает Андре Вюрмсер. Он напоминает о том, что участие в борьбе за Народный фронт, в работе «Вандреди» было школой политического воспитания молодого поколения левой интеллигенции тех лет. И не случайно, по его словам, не было ни одного сотрудника «Вандреди», который не нашел бы своего места в Сопротивлении.

А. Вюрмсер останавливается на тех страницах воспоминаний Люси Мазорик, в которых рассказывается о ее поездке вместе с Шамсоном в СССР и которые со всей определенностью говорят о вере французской прогрессивной интеллигенции в социалистическую революцию.

Среди книг, посвященных Народному фронту в год его сорокалетия, Мари Луиз Кудер в «Юманите диманш» особо отмечает «Лето 36 г.: 100 дней Народного фронта», вышедшую в издательстве «Куртий», — сборник свидетельств и документов, снабженных необходимыми коммеитариями.

«В этом сборнике присутствуют,— пишет критик «Юманите диманш»,—доказательства побед Народного фронта, неопровержимые свидетельства закономерности стремления трудящихся и возможности их осуществления, короткого триумфа Народного фронта и его уроков».

◆

Авторы этого номера

■

ОМАР ЛАРА МЕНДОСА — OMAR LARA MENDOZA (род. в 1941 г.).

Чилийский поэт. Филолог по образованию; основатель и главный редактор прогрессивного молодежного поэтического журнала «Трильсе» (1964—1973 гг.). Автор пяти стихотворных сборников, последний из которых «О, эти хорошие манеры» («Oh, buenas maneras». La Habana, 1975) получил премию журнала «Каса де лас Американас».

Публикуемые стихи взяты из этого сборника, а также из рукописи новых стихов.

(Подробнее о поэте см. вступление Риммы Казаковой).

■

КАЗАКОВА РИММА ФЕДОРОВНА

Советский поэт, секретарь Правления Союза писателей СССР. Автор десяти сборников стихов. Переводила стихи поэтов Латинской Америки и Испании, а также поэтов Болгарии, Румынии, Монголии, ГДР.

■

БЕРИНСКИЙ ЛЕВ САМУИЛОВИЧ (род. в 1939 г.).

Советский поэт-переводчик. Переводит немецких, румынских и латиноамериканских поэтов. «Иностранная литература» печатала его переводы румынских поэтов З. Станку, Р. Теодореску, М. Сореску.

■

РЕНАТО ПРАДА ОРОПЕСА — RENATO PRADA OROPEZA (род. в 1937 г.).

Боливийский писатель. Автор сборников рассказов «Никто уже не ждет его» («Ya nadie espera al hombre», 1969), «На краю тишины» («Al bordo del silencio», 1970), рома-

на «Последнее лезвие» («El último filo», 1975).

Нашим читателям Ренато Прада Оропеса знаком по роману «Зажигающие зарю» («ИЛ» № 11, 1971).

Публикуемая в этом номере повесть «День рождения» (в оригинале озаглавлена «Hombro con hombro» — «Плечом к плечу») была напечатана в 1976 г. в журнале «Каса де лас Америкас», издаваемом в Гаване.

■

ДЮЛА ИЙЕШ — ILLYÉS GYULA (род. в 1902 г.).

Венгерский поэт, прозаик, драматург. Автор многих поэтических сборников, пьес, литературоведческих работ. Творчество поэта неоднократно отмечалось премией имени Кошута, Государственной премией первой степени, другими литературными премиями.

Произведения Д. Ийеша переведены на многие языки мира. На русском вышли сборник стихов «Рукопожатия», повесть «Обе́д в замке» («ИЛ» № 9, 1971), книга «Шандор Петефи», «Избранное». Стихи Д. Ийеша публиковались также в различных антологиях, сборниках, в журнале «Иностранная литература» (№ 12, 1973) и других периодических изданиях.

В этом номере мы начинаем публиковать роман-эссе Дюлы Ийеша «В ладье Харона» («Kháron ladikján». Budapest, Szépirodalmi könyvkiadó, 1969).

■

ВОРОНКИНА ТАТЬЯНА ИОСИФОВНА

Советский переводчик. В ее переводах выходили произведения классических и современных венгерских писателей: Мора Йокаи, Ласло Немета, Дюлы Ийеша, Иштвана Эркеня, Эндре Фейеша Эржебет Галгоци и др. Переводы Т. Воронкиной неоднократно печатались на страницах «Иностранной литературы».

■

В разделе «Литературное наследие» публикуются классические японские танки (пятистишия) японской поэтессы Си́киси-на́й-синно́ (1151?—1201) и поэта Садаи́э (Тэйка, 1162—1241) (см. вступление В. Марковой).

Составляющие подборку танки взяты из антологии XII века «Синкокинсю» и других поэтических сборников того времени.

■

МАРКОВА ВЕРА НИКОЛАЕВНА

Советский переводчик и литературовед. Ей принадлежит много переводов из классической японской литературы (прозы и поэзии), в том числе вышедшие в последние годы «Японские трехстишия» (1973), «Сэй-Сёнагон. Записки у изголовья» (1975), «Две старинные японские повести» (1976); она также автор ряда статей по истории японской поэзии, прозы и театра.

■

ИОРДАНСКИЙ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ (род. в 1929 г.).

Советский историк-африканист, доктор исторических наук, журналист-международник, член коллегии ТАСС. Автор книг: «Стратегия борьбы за независимость» (1968), «Огненные иероглифы» (1968), «Тупики и перспективы Тропической Африки» (1970), «Африканскими дорогами» (1976) и ряда работ по новейшей истории и социальному развитию стран Тропической Африки.

КИН ЦЕЦИЛИЯ ИСААКОВНА

Советский критик, литературовед, публицист. Автор книг «Миф, реальность, литература» (1968), «Итальянские светотени» (1975) и многих статей по вопросам итальянской литературы и культуры, публиковавшихся в журналах «Вопросы философии», «Вопросы литературы», «Иностранная литература», «Новый мир» и др.

ВИЛЕМ ЗАВАДА — VILÉM ZÁVADA (род. в 1905 г.).

Чешский поэт. Народный художник ЧССР. В 30-е годы был редактором ряда литературных журналов. Перу В. Завады принадлежит много книг стихов. Наиболее известны: «Крепостная башня» («Hradní věž», 1940), «Воскресение из мертвых» («Povstání z mrtvých», 1945), «Город света» («Město světla», 1950) «Полевые цветы» («Polní kvití», 1955), «На пороге» («Na prahu», 1970), «Без имени» («Beze jména», 1970) и др.

Произведения Вилема Завады много раз издавались в Советском Союзе, в частности, в 1967 г. вышел сборник его стихов «Одна жизнь». Подборки стихотворений печатались в «Иностранной литературе» (№ 5, 1965, № 4, 1971), в журнале «Новый мир» (№ 1, 1975), в книге «Поэзия ЧССР» (1975) и других изданиях.

Мы публикуем главы из новой книги В. Завады «Земля и люди моего сердца» («Krajina a lide meho srdze». Profil Ostrava, 1975).

ДОЛМАТОВСКИЙ ЕВГЕНИЙ АРОНОВИЧ (род. в 1915 г.)

Советский поэт и публицист; лауреат Государственной премии СССР; профессор Литературного института им. А. М. Горького. Автор многих поэтических сборников. На его стихи написано много песен, получивших широкую популярность.

РУДИГЕР БЕРНГАРДТ — RÜDIGER BERNHARDT (род. в 1940 г.).

Немецкий литературовед, доктор философских наук (ГДР). Окончил Лейпцигский университет имени Карла Маркса. Доцент кафедры германистики университета имени Мартина Лютера в г. Галле. Опубликовал ряд работ по истории немецкой и скандинавской драматургии.

Мы публикуем сокращенный вариант доклада Р. Бернгардта, напечатанного в журнале «Нойе дойче литератур» (№ 4, 1976).

ЖОРЖ ГОДО — GEORGES GODEAU (род. в 1921 г.).

Французский писатель. Излюбленным жанром Годо являются миниатюры (он называет их поэмами). С 1953 г., когда вышла его первая книга «Копья» («Javelines»), Ж. Годо выпустил несколько сборников своих миниатюр-поэм; некоторые из них вошли в антологию французской поэзии (составитель проф. Ж. Мунен).

Публикуемые в этом номере миниатюры взяты из книг: «Трудные слова» («Les mots dificiles», 1962), «Скопища» («Les foules prodigieuses», 1970) и «Суть вещей» («Le fond des choses», 1974).

КРИСТИАН МОРГЕНШТЕРН — CHRISTIAN MORGENSTERN (1871—1914).

Немецкий поэт. Широкой известностью пользуются его сатирические и пародийные стихи из книг «Песни висельника» («Galgenlieder», 1905), «Пальмштрём» («Palmström», 1910), «Пальма Кункель» («Palma Kunkel», 1916). К. Моргенштерну принадлежат также несколько книг лирических стихов, сборник метких афоризмов «Ступени. История жизни в афоризмах и дневниковых записях» («Stufen. Eine Entwicklung in Aphorismen und Tagebuchnotizen», 1918) и другие произведения.

Публикуемые стихи взяты из сборника избранных произведений поэта («Ausgewählte Werke». Leipzig, Insel-Verlag, 1975).

КОНСТАНТИН ЕЛЕНКОВ (род. в 1941 г.)

Болгарский литературный критик. Окончил филологический факультет Софийского университета. Печатается в болгарской периодической печати.

Статья «Неустаревающий жанр» получена в рукописи.

ГУБЕРТ КУШНИК — HUBERT KUSCHNIK (род. в 1924 г.).

Западногерманский журналист, корреспондент газеты «Унзере цайт» в Москве.

Статья «Разговор о насущных проблемах» получена в рукописи.

◆

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Н. Т. ФЕДОРЕНКО

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:
Н. А. АБАЛКИН, Л. А. ГВИШИАНИ, Л. П. ГРАЧЕВ, Ю. В. ДАШКЕВИЧ, Е. А. ДОЛМАТОВСКИЙ, И. Ф. ЗОРИНА, Т. П. КАРПОВА, Е. Ф. КНИПОВИЧ, А. А. КОСОРУКОВ, Т. А. КУДРЯВЦЕВА, Т. Л. МОТЫЛЕВА, П. В. ПАЛИЕВСКИЙ, Е. Н. ПРАЛЬНИКОВ (зам. главного редактора), **А. Н. СЛОВЕСНЫЙ, К. А. ЧУГУНОВ** (зам. главного редактора), **М. А. ШОЛОХОВ.**

Ответственный секретарь **М. Г. ФЕДОРОВ.**

Художественный редактор **Л. Б. Филиппова.** Технический редактор **Л. Д. Фарафонтова.**

Адрес редакции: 109017, Москва, Пятницкая ул., д. 41. Телефон 233-51-47.

Издательство «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

Журнал выходит один раз в месяц.

Сдано в набор 4/III 1977 г. А 10472. Подписано к печати 12/IV 1977 г.
Бумага 70 × 108¹/₁₆ = 9 бум. л. = 18 п. л. (25,2) усл. печ. л. Уч.-изд. л. 27,41.

Тираж 600.000 экз. (1-й завод: 1—350 000 экз.). Зак. 832.

Типография издательства «Известия Советов депутатов трудящихся СССР».
Москва, Пушкинская пл., 5.

АУРЕЛ ПОПП (Румыния). Вдохновение

Цена 80 коп. Индекс 70394